

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1983

7

1983



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1983 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ — Сергей Смирнов, М. Дудин, Лариса Васильева, Марк Лисянский, Владимир Савельев, Александр Ткаченко, Джубан Муддагалиев (перевел с казахского Вл. Савельев), стихи	3
СЕРГЕЙ ИВАНОВ — Из жизни Потапова, роман. Окончание	9
ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ — Максим Танк (перевел с белорусского Н. Кислик), Иракий Абашидзе (перевел с грузинского А. Межиров), Владимир Соколов, Емилиан Буков (перевел с молдавского Равиль Бухараев), Константин Ваншенкин, Яков Хелемский, Ирина Волобуева, Арви Сийг (перевел с эстонского Вячеслав Куприянов), стихи	88
ГРЭМ ГРИН — Почетный консул, роман. Окончание. Перевели с английского Е. Гольшева и Б. Изаков	95
ГЕОРГИЙ ЗУБКОВ — На явку выходит Эйфелева	169
ПУБЛИЦИСТИКА	
НИКОЛАЙ ИВАНОВ — О рачительности	196
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Б. М. КЕДРОВ — Запечатленный образ Ленина. Глазами подростка	204
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛ. МИХАЙЛОВ — «Я к вам приду...». Наследие поэта и современная русская поэзия	224
ДМ. МОЛДАВСКИЙ — Владимир Неодимович. Из тетрадей о Маяковском	238

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛЮБОМИР ФИЛДЕК — <i>Маяковский в Словакии</i> . Перевела со словацкого С. Давыдюк	246
ГЕВОРГ ЭМИН — <i>Революцией мобилизованный...</i> Перевела с армянского Арменуи Гамбарян	248
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Сергей Антонов. Роман о селе и о себе.	
Гр. Горин. Читая рассказы Леонида Ленча.	
Леонид Бежин. По законам смежной прозы.	
<i>Политика и наука</i>	
В. Турбин. Трактор -- машина авторитетная.	
Евгений Добровольский. Встречи на родной земле.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Илья Абель.— Александр Житинский. От первого лица. Повести. ◆	
Светлана Анисимова.— О Сельвинском. Воспоминания. ◆	
В. Нежданов — Валерий Капралов. Забытая дорога вдаль. Стихотворения и поэма. ◆	
Т. Снегирева.— Е. Горбунова. Юрий Бондарев. Очерк творчества. ◆	
Р. Баландин.— Н. Н. Моисеев. Человек, среда, общество. Проблемы формализованного описания. ◆	
А. Преображенский.— В. Дружинин. Державы российской почвы. Роман. ◆	
Анна Илупина.— Марис Лиела. Вчера и сегодня в балете	266
ПАМЯТИ ФЕДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АБРАМОВА	271
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ

★

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

Первофланговый

Я к вам приду
в коммунистическое далеко...
В. Маяковский.

Владимир Владимирович
Маяковский.

Фигура. Фамилия. Дикция. Бас...
Былое

не знает
громады таковской.

Все помыслы — к Вам
И все взоры — на Вас!

Крылаты и огненны
Ваши глаголы.
Мы их

наизусть
Возглашаем не зря.
Вы правофланговый.
нет — первофланговый

Поборник добра,
Трубадур Октября.

Травимый врагами,
Рубцованный болью,
Нещадный во всем
и красивый во всем,

Вы рыцарь,
Осмеянный
хищной любовью.

А мы Вам
созвездья симпатий
несем.

Мы Вам говорим,
главарю-побратиму,

Что свет Ваших строк
Свету солнца
родня.

Все горести — мимо.
Все выстрелы — мимо...

МАРК ЛИСЯНСКИЙ**Эхо**

Обожаю
всяческую жизнь!
В. Маяковский.

Высокое солнце на землю легло,
Твоя забелела страница.
Кто жизнь обожает,
Тому нелегко
С той жизнью навек распротиться.

Какая ж безмерная боль обожгла
Твою неумную душу
И все города на земле обошла,
И звезды, и воду, и сушу!..

И грянуло эхо. И длится оно,
В просторной дали не смолкая.
И сердце мое этим эхом полно
И болью — до самого края.

На миг даже недруги стихли твои,
Друзья онемели от боли —
Такая большая, что больше любви,
Сильнее и жизни и воли.

Поэты бессмертны. Саженьи шаги
Твои сотрясают планету.
Друзей стало много, но живы враги,
Положено так уж поэту!

Разносится эхо твое далеко,
Все дальше и дальше граница...
Кто жизнь обожает,
Тому нелегко
С той жизнью навек распротиться.

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ**Излом его строки**

От равнодушья и до увлечения,
от ликования и до огорчения
гремит — исполнен острого значенья
всему благодаря и вопреки,
гремит — не отрешенный и не праздный,
зигзаговидный, молниеобразный,
и грубый, и прекрасный, и опасный,
и трепетный излом его строки.

Он выглядит и трассой и тропею.
И небом надо мной и над тобою,
когда, то хмурое, то голубое,
оно зовет помчаться вперегонки.
Зовет — и есть поэзия на свете.
Зовет — и рвутся к звездам наши дети.
Зовет — и за сознание их в ответе
клокочущий излом его строки.

Непониманье? Зависть? Смена моды?
 Я многих суетливые восходы
 перетерпел — и вот гляжу сквозь годы
 на тех, кто принимал его в штыки.
 Какое право двигало поэтом,
 когда живой по всем земным приметам
 на лестницу он вышел с пистолетом,
 как будто на излом своей строки?

Тут сделать бы ни много и ни мало:
 встать между ним и капелькой металла...
 А в нашем времени, сквозящем шало,
 в чем мы разобщены и в чем близки?
 В чем скрытны? В чем предельно откровенны?
 В чем переменчивы? В чем неизменны?
 Твою вселенную с моей вселенной
 смешал в одно излом его строки.

Он — в пригородной речи и в московской,
 в молве студенческой и стариковской.
 Он —

точно

сам

Владимир

Маяковский

его

вгоняет

в мир

под взмах

руки.

Мелькает у виска он и над бровью,
 проносится по венам вместе с кровью.
 Довдохновляет гневом и любовью
 мою строку излом его строки.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

Владимир Маяковский

Не могу подступиться к нему.
 Не пускает всегда. И не каждого.
 Только вымучав душу, пойму
 глубину его голоса влажного.
 Он как мрамор.

Как глина.

Как речь.

Изваянья его только к горлу и подступают.
 С ним на каждом углу ожидаю я встреч,
 но толпятся другие и не подпускают.
 Пропустите меня, пропустите!
 Мне бы только взглянуть на него, на живого,
 и сказать: Маяковский, простите,
 если что-то не так.

не как Ваше думало́ слово...

Я люблю Ваше детство грузинское,
и Багдади в цвету до сих пор,
и московскую юность, и искренне
кофту желтую
и вокруг нее не смолкающий спор.
Я люблю Вашу грозную зрелость.
И не в лесенке дело, конечно.
И когда все труднее на вещи смотрелось,
в наше время смотрели,
проживая свое скоротечней...

ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ

Его голос

Не над пустынным
грохотал
бугром он.

Дошедший к нам
из отдаленных дней,
тот голос,
хоть и был подобен грому,
звучал во много
тысяч
раз
сильней.

Да, голос тот
орлом парил высоким,
с народом разделив его судьбу.
Он в бой

бросал
воинственные строки,
открыто
воспевавшие
борьбу.

Среди словесных и иных баталий
по праву полководца и вождя
поэт был чужд
невнятных бормотаний,
стихами

в наступление
идя.

О Маяковский!
С бурей по соседству,
являясь для нее поводырем,
он свой талант
и огненное сердце

сливал
в одном
порыве
с Октябрем.

В цель попадали
пули строк и пики.
В чаду забот
и повседневных дел
воспел он силу
партии великой
и Ленина великого воспел.

Ничто поэту
 в мире
 не помеха!
И от грядущих дней
 невдалеке
его стихов
отчетливое эхо
звучит
 и на казахском
 языке.

Его стихи
сердца завоевали.
Я верю:
 с поэтических вершин
шагнет в коммунистические дали
Советского
 Союза
 гражданин.

Перевел с казахского ВЛ. САВЕЛЬЕВ.



СЕРГЕЙ ИВАНОВ

★

ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА *

Роман

День четвертый

Валя Горелова. Вот тебе и Валя Горелова. Уже три дня как Потапов был с нею знаком. А сегодня начинался четвертый. В ванной жужжала Севина бритва, и Потапов решил воспользоваться удачной минуткой. Набрал номер:

- Здравствуйте, Валя.
- Доброго здоровья.
- Валечка, мы сегодня повидаемся?
- Дак ведь допоздна работаю-то!
- Дак ведь во вторую смену-то! — сказал Потапов, слегка переразвивая ее такой непривычный для москвича выговор.

— Полно вам, Александр Александрович, не пора ли кончить смеяться-то! (И Потапов легко представил себе, как она улыбается своими розовыми губами.) Я и в самом деле не могу. Техникум запущен. Да и в горсовете у меня дела.

На горе Потапова она была еще депутатом городского Совета и заканчивала текстильный техникум.

- Валечка! Очень вас хочу видеть!
- Охо-хо-хо-хонюшки! Ну если уж очень, дак повидаемся. Только вы там... прямо не знаю, как и сказать!.. Вы блокнот там у Севы возьмите-ка.

— Чего? — удивился Потапов.
— Ну будто вы журналист. У нас дак город-то невелик, не Москва, все на заметке. Неловко. А что за Гореловой-то Валентиной журналисты ходят — оно дак вроде и ничего, привычно.

Валя была Севиной знакомой. В прошлый свой приезд Сева брал у нее интервью. «И я бы в нее влюбился, Сан Саныч, если б она не была на полголовы меня выше!»

— Ладно, — сказал Потапов. — Ладно. Будет исполнено. — И засмеялся. Несколько, правда, нервно.

— А вы что же, обиделись никак? Вы не обижайтесь. Мне ведь жить здесь, в этом вот Текстильном городе.

Валины слова неожиданно задели Потапова. О них он думал, когда одевался и, стоя перед зеркалом, сооружал узел на галстук и когда ехал в трамвае. «Мне ведь жить здесь» — так она сказала. Мне жить, а ты приехал и уехал.

Так для чего ей тогда Потапов? Для развлечения? Но совсем она не такой человек... Хм... Городок наш ничего, население таково... Депутат горсовета товарищ Горелова Валентина Николаевна.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

А для чего она мне?.. Потапову было странно и почти не верилось: ведь еще три дня назад он думал только о своем несчастье — об Элке. А вот сейчас летит на свидание в разболтанном, таком уютном весной, трамвайчике. Как же это все-таки понимать прикажете? И одиннадцать лет вместе и Таня — что же оно теперь? Куда?.. Стоп. Таня — это особое. Ну, а Элла Николаевна...

И в то же время видел, что ему сейчас пора выходить! Только осталось повернуть трамвайчику, поскрипеть колесами по крутым рельсам. И у Потапова вдруг словно задача явилась: все именно здесь решить, сейчас. И он подумал: а я знаю, знаю — ну вот и правильно! То я без конца о своем несчастье думал, а теперь стану думать о счастье... И это не измена, понимаешь ты, не измена — ни себе, ни тем одиннадцати годам. Я просто хочу быть счастливым. Так что же тут плохого?

Трамвай пропал за углом, и стало тихо. Большие белые облака медленно проплывали над крышами.

И все-таки что же за судьба занесла меня на эту улицу, в эту северную весну?

Моя собственная судьба и занесла! Значит, мне это зачем-то нужно. Каким-то образом закономерно, что ли... Мистика! Любой учебник скажет тебе, гражданин Потапов, что судьбы нет.

И все же она была. Она вышла из подъезда, такая высокая, не по-московски крепкая. Очень, наверное, подходящая для женской баскетбольной команды. Валя Горелова. Она так шагала, что любому было ясно: у нее все ладилось в жизни. С тротуара она ступила на мостовую, уверенная, что ни одна машина не наедет на нее в этом городе... Потапов торопливо шагнул ей навстречу. Вот и жену нашел!

Тут же предупредил себя: так не бывает. Но не успел додумать. Валя была уже рядом. И Потапов, словно давно решившись на это, быстро притянул ее к себе и поцеловал. Она не отстранилась. Как бы не успела... Внимательно смотрела на Потапова.

Лицом к лицу лица не увидеть — неправда это, еще как увидеть! И губы и глаза... Гладко зачесанные назад волосы. Потапов снова хотел поцеловать ее. Но синие глаза чуть заметно качнулись: «Нет!» Валя отступила на полшага, и Потапов опустил руки.

— Однако стоим-то, — сказала она, окая больше, чем обычно, — стоим-то прямо на дороге. Машинам уж и не объехать дак.

— Валечка! — Ему хотелось сказать: «Ты будешь моей женой?» или что-нибудь такое же невозвратимое. — Валя. Я...

Она быстро покачала головой:

— Мне в горсовет сейчас непременно надо. Непременно! Меня ждут. Хотела тебя-то с собою взять, да теперь... ты уж не езд со мной. Вечером тогда приходи. К одиннадцати, что ли. — Она все так же серьезно смотрела на него. — Нет, к половине одиннадцатого, хо-рошо?

Повернулась и пошла опять на свою сторону тротуара, сказала, не оборачиваясь:

— Не ходи, не ходи. Не провожай.

Оказалось, что здесь есть река. К ней Потапов вышел неожиданно. Спустился по какому-то косому переулочку, свернул направо — река. Полузаросший пологий берег. Рыжие вихры прошлогодней травы. Чуть дальше, по самой воде, голые кусты ивняка.

Отдаленно припомнилась Потапову география седьмого класса, когда он проходил экономику этих мест. Текстильная промышленность, областной центр — город Текстильный, и там же говорилось про эту реку, про ее, кажется, даже судоходность.

Потапов присел на черный и гладкий камень, наверное, валун. Здесь город как бы кончался. К воде спускались деревянные хибарки, дровяные сараи, окруженные редкозубой изгородью огорода.

Однако на том берегу город начинался опять, дымил заводскими трубами. И оттуда слышался неясный, но грозный промышленный грохот. По реке, примерно в километре, виднелся высокий мост: тянулись грузовики, бежал желто-коричневый «Икарус». И опять Потапову припомнилась страничка «Географии», которую он читал более двадцати лет назад. И припомнилось так удивившее и так понравившееся ему выражение — роза ветров. После войны, когда закладывали здесь новые комбинаты, то учли преобладающее направление ветра. А направление это как раз из города за реку. Вот и получилось у них, что город промышленный, а воздух чистый... Над улицей белые облака.

Он сидел на гладком, чуть пригретом солнцем камне. В спину, как раз в соответствии с розой ветров, поддувал ветерок. Было около двенадцати дня. Вода в реке текла темная, медленная, как у всех северных рек. Где-то у середины посверкивала золотом. Он стал вспоминать прошлые три дня, которые был знаком с Валей...

Неизвестно почему Севе пришла идея пригласить еще не виданную Потаповым Валю в кино. И вот они стояли среди праздничной толкучки у кинотеатра. Сева дымил беломориной, а Потапов отчего-то курить не мог, он все озирался поверх народа. Хотя никаких предчувствий, надо сказать честно, у него не было. Больше всего это его ожидание походило на, пожалуй, осторожность — когда человек не хочет, чтобы его застали врасплох.

Первым ее все-таки увидел Сева и повернулся, задев Потапова. А может быть, нарочно подтолкнул... Валя шла к ним, как-то удивительно легко пробираясь сквозь толкущийся оживленный народ. Потом уж Потапов понял, что у нее от рождения хорошая координация. Можно сказать, спортивная — даже именно баскетбольная. Она тоже была весела, под стать этой толкучке. И ничего еще не зная про нее, Потапов уже понял: решения принимать она умеет. И одновременно усталость была в ее глазах. А под глазами лежали тени. От этого кожа там казалась особенно тоненькой, почти прозрачной.

Потапов вспомнил Элку, которая мягкой кисточкой пририсовывает себе такие же вот тени... Ну не такие, конечно!

И совсем не таким было у Элки общее, глубинное выражение глаз. Обычно, когда она бывала в хорошем настроении, глаза ее задевали усмешкой... «Ну?.. Ну и что?» А когда она была раздражена: «Господи! Ну и что из этого?»

У Вали в глазах прежде всего были твердость, уверенность. Только в женском, так сказать, переложении — надежность. И в то же время отсвечивала надежда, что сейчас она увидит хорошее. И вопрос и вместе вера. И... необычная синева, заметная даже в электрическом огне кинорекламы.

И еще здесь обязательно надо добавить, что Валя сразу показалась Потапову очень красивой... А потом, примерно через час, в свете утреннего солнца, которое лилось в зал с киноэкрана, Потапов увидел и сказал себе: да нет, не такая уж она и... А еще через какое-то время, и уже окончательно, убедился: хороша!

Но ведь и это ничего не доказывает, ничего не объясняет...

Говорила она не торопясь, как бы чуть смущенно:

— Полно, Севочка. Это вот твоему товарищу простительно. А уж тебе положено знать, как от шума-то у нас устаешь. Завтра суббота, дак поеду в Малиновские луга... Заливные-то луга наши знаешь?..— Она так и сказала «знаешь», с таким длинным «а».— Девочки сказывали, будто уж просохло. Воды-то давно нет... Теперь не те разливы пошли,— это она сказала, обращаясь к Потапову.— Что вы! Ни транзисторов, ничего не берем. Тишины больно хочу. Знаете, по тишине соскучилась.

Сейчас он заметил, что помнил только Валю, ее слова. А себя и Севу не помнил вовсе.

— Там хорошо...— она улыбнулась.— Как в деревне! Там родные мои живут— дядька, мамы покойной брат, и баушка.

Хорошо, как в деревне... И тогда впервые ее слова затронули Потапова.

— Ну если хотите, то милости прошу, поедemте. Встаете-то раненько или по-московски?

— Мы солдаты,— брякнул Потапов.— Пospать любим, но когда надо, можем подняться и по трубе.

Сразу стало ему стыдно за свою бравую чепуху. Но Валя спокойно улыбнулась в ответ. Да и откуда ей было знать, кто такой Потапов. Может, он и правда какой-нибудь майор на отдыхе.

Однако она, оказывается, все же не забыла его дурацких слов. Часиков в шесть разбудила телефонным звонком:

— Доброе утро, товарищ командир. Готовы ли к походу-то?

— Валя! — сказал Потапов и сам удивился, чего так радостно он завопил.— Сева и я— жалкие тыловые крысы. Простите нас! Отзовним через двадцать минут и уже в полном параде. Обождете?

— Обождем, что же с вами поделашь.

«Знаашь», «поделашь» — так она говорила...

Они вышли из автобуса и остановились, словно чего-то ожидая. Автобус газанул, растаяло сизое облачко выхлопа, и ветер унес самое воспоминание бензинного запаха. Они все стояли.

— Ну, слышите? — спросила Валя и улыбнулась.

— Нет,— ответил Потапов. Кругом была полная тишина.

— Вот и я ничего не слышу. Пойдемте... Так у нас сегодня целый день и будет.

— А разговаривать-то хоть можно? — спросил Потапов.

— Потом.

— А курить? — спросил Сева.

— И курить вам не позволяю пока. Через часик, хорошо?

Почти сразу от шоссе начинался сосновый лес. Но не тот, который называют бором, то есть не с высоченными и косматыми наверху деревьями, а тот, что зовут более скромным словом сосняк. Деревья были густые, рукастые, не слишком прямые и не слишком рослые. Под ногами, прикрытый жесткой травой, похрустывал песок. Часто из-за деревьев, словно огромные головы, выглядывали неровные темные камни, обросшие светло-серым и желтым мхом.

Валя шла впереди уверенно и споро. И Потапов очень легко представил себе, как она ходит в походы... или ходила, как она поет песни под гитару, разводит костер и тому подобное. Хотя с ней не было сейчас рюкзака и шла она в туфлях, а не в туристических бахилах на рифленой подошве.

Тропинка по ровной и довольно широкой спине песчаного холма уходила влево, а Валя свернула вправо, прямо в сосняк, низко наклонилась, чтобы не задевать ветки. Потапов не надеялся так угнуть-ся, пошел во весь рост.

— Граждане, где вы? — крикнул Сева снизу.

— Слышишь, где деревья-то крушат? — крикнула Валя.

— Чего? В эту глухомань? Не полезу!

— А начальство велит,— сказал Потапов.

Они выбрались на продолговатую поляну. С трех сторон ее обступали сосны, четвертая была довольно крутым склоном, почти обрывом. И с него раскрывался вид на широкую луговую пойму, по которой, извиваясь, текла река. (Теперь Потапов, сидящий на камне в сегодняшнем дне, сообразил, что это была, конечно, та же самая река.) За нею вдаль виднелись дома, стоящие у того берега поймы и полого ползущие кверху. Какая-то деревенька, что ли.

— Вот они и есть, наши Малиновские луга,— сказала Валя.

Признаться, ничего особо малиновского, малинового в этих лу-

гах не было. Их покрывала бурая прошлогодняя трава. Темная река резала все пространство на неровные полуострова.

Тихо поругиваясь, из зеленой стены вылез Сева. И остановился:

— Вот это красота!.. Да, но где же все-таки малина? Почему так называется, Валяш?

— Даже и не знаю,— ответила Валя.— Спокойно здесь очень, вот и называются: Малиновские.

Кривая сосна выгибала корневище и потом снова тянулась вверх, так что получалось словно бы кресло с чуть откинутой назад спинкой. В этом кресле и сидела как раз Валя, положив руки за голову.

Потапов посмотрел на нее.

— Садитесь, Александр Александрович. Здесь и будем отдыхать.

Сева скинул куртку и лег на спину, словно убиенный воин. Потапов сел прямо на землю. Подумал: да аллах с ними, с этими брюками, с этим плащом... Ему хотелось посмотреть на Валу. И не вышло — она заметила его взгляд. Тогда Потапову пришлось сказать первое, что пришло в голову:

— Наверно, часто в походы ходите?

— Я? — удивленно улыбнулась Валя.— Почему так решили вдруг? В ПТУ когда училась, сходила раз, а больше дак и никогда не хаживала... У меня походов-то на работе полным-полна коробочка. Я ведь всю смену на ногах. За смену-то километров тридцать пройдешь: от станка к станку, от станка к станку.

— Серьезно? — Сева приподнялся.— Вот же вы люди-человеки! Я про них очерк пишу, а они от меня такой факт скрывают!

— Я-то сама не считала,— сказала Валя, словно оправдываясь.— Но есть которые считали. Специалисты. И в учебниках по нашему делу это говорится. Путь ткачихи — двадцать пять, двадцать восемь километров... Ну, а я, как многостаночница, думаю, дак километров тридцать уж обязательно.

Многостаночница... Это слово прозвучало для Потапова как-то чужеродно и слишком газетно. А для Вали, видать, было родным.

— Тридцать в день,— сказал Сева.— Ну-ка считай, Сан Саныч. В неделю сто пятьдесят, в месяц... шестьсот. В год...

— Семь тысяч двести,— сказал Потапов.

— Да пожалейте же меня,— засмеялась Валя.— Отпуск-то дайте. На бюллетень откиньте немного.

— Ну шесть шестьсот,— сказал Сева.— Ничего себе походы!

— Я когда выступаю где перед ребятами, так все говорю: надо, мол, спортом заниматься. А сама-то лучше всего люблю посидеть,— она улыбнулась, покачала головой,— да чтоб вот потише было.

Валя, вот так Валя... Некоторое время они молчали. И Потапов исподтишка все разглядывал ее.

— А я вроде слышал, тут где-то у вас озера? — довольно принужденно начал Сева.— Километров за двадцать, что ли?..

— Это место люблю,— отвечала Валя,— дак чего и ходить? Вот Малиновские-то луга по мне — краше и нету. И не будет.

— Ну, а в отпуск? Море там, Болгария?

— Была..— Валя махнула рукой.— Загораашь, загораашь... Шумно очень. А мне отдыхать надо. Иначе дак год не выработашь.

И эти ее слова тоже были очень понятны Потапову: отдохнуть, чтобы потом хорошо поработать. Ему хотелось что-то сказать об этом. Но сказал Сева. Он подошел к Вале, быстро наклонился и поцеловал ей руку:

— До чего ж ты молодец, Валяш! До чего же я тебя люблю!

Валя осторожно убрала руку:

— Полно, Сева.— Она посмотрела на Потапова.— Что Александр Александрович-то скажет?.. Он шутит, он свою Машу любит. Уж столько тут про нее порассказывал...

— Так! Приехали! — сказал Сева. — Ехали и наконец приехали... А ты лучше вот что скажи, хозяйка, ты нас кормить собираешься? Или пищей святого Антония?..

— Это что же за пицца такая, Севочка? — спросила Валя слишком заинтересованно. Она хотела перевести разговор.

— Пицца эта — один чистый воздух, и святой помер. Так что где тут магазин? За шоссе, что ли?

— Да полно тебе, Севочка...

— И слушать вас, сударыня, не желаю! — Сева быстро вошел в зеленую стену и пропал, словно фокусник Кио.

— У него что там дома-то? Несчастливо? — тихо спросила Валя.

Потапов пожал плечами, не зная, как ответить:

— Может, и наоборот — счастливо. Тут не угадаешь.

Облако, закрывавшее от них солнце, наконец продырявилось. Сосняк и поляну залил желтым весенним светом. А Малиновские дуга все оставались в тени, словно в ночи, — казались теперь еще молчаливее и просторней.

Потапову хотелось сказать об этом Вале, да он не умел такого говорить. Впервые он почувствовал неловкость от своего молчания.

Но Валя сидела, закрыв глаза. Так что все было вроде бы нормально... Потапов мог спокойно смотреть на нее.

Элка была, конечно, красивей...

Валя открыла глаза, заметила, что Потапов смотрит на нее.

— А вы... а вы зачем приехали сюда? — спросила она не очень ловко.

— Да вот чтобы познакомиться с вами, — в тон ей, тоже неловко ответил Потапов. Опять наступило молчание. Чтобы хоть что-то делать, он поднялся, отломил сухой сучок, подобрал с земли гнилушку и пяток шишек. — Я... может быть... Давайте костер разведем?

Он огляделся кругом и не увидел здесь ни одного старого кострища. Ему стало жаль этого нетронутого места... Валиной поляны. Кострища ведь зарастают долго...

— Наверно, не стоит, да?

— Нет, пожалуйста, — тихо ответила Валя. — Память вот останется у меня о москвичках.

— Хороша память — черная дырка.

— Так оставьте другую...

Облако окончательно прохудилось, разгромленное ветром. Теперь и равнина Малиновских была залита солнцем. На бурой ее желтизне заметны сделались бледно-зеленые с размытыми краями пятна. Это наступала на затянувшийся холод травяная весна.

Так оставьте другую... Валя сама приоткрыла дверь в тот разговор, который ему хотелось начать. А он, как назло, молчал, тупо переламывая сухие сучки... Какой-то я тяжеловесный стал! Начальник. Только с ПЗ и умеешь обшаться!

— Так палите костер-то... Хотели память оставить...

— А вот пусть такая память и будет, — сказал Потапов. — Придете сюда, поглядите, а трава не испорчена!

— Было, да все быльем поросло — так хотите?

Промелькнула в этих ее словах будто б обида и усмешка.

— Валечка! — сказал Потапов почти что с отчаянием. — Вы не думайте, я не такой уж дуб, я умею разговаривать с красивыми и умными девушками. Но сегодня у меня... вот бывает — накатило!

— Ну если меня в красивые да умные произвели, тогда все вам прощается.

— Валь! Я завтра, ей-богу, лучше буду... Можно вам на завтра свидание назначить?

— Ой! Ну и словечко — свидание... Такого я сто лет не слыхивала!

— Валечка! Скорее соглашайтесь! А то вон Сева идет!

— Ну дак завтра утром, часиков в восемь,— тихо сказала Валя.— Где горсовет, знаете?

Сева вылез из сосновой стены в обнимку с разными кулками, словно многодетный отец. Остановился посреди поляны, посмотрел на Валу и Потапова:

— Граждане, а чего это у вас такие хитро-мышинные глазки? Чего это вы на меня смотрите, будто персик украл?

О том, что ему делать завтра, куда вести «свою девушку» в этом незнакомом городе, Потапов задумался только вечером. Сева отправился принять душ на сон грядущий, а Потапов сидел в кресле и курил сигарету — такой невероятно праздный и счастливый товарищ... Вот тут его и стукнуло: да куда же я с Валею пойду в такую рань?

Потапов стал перебирать имевшиеся возможности: кино, музей... зоопарка здесь вообще нету... Очень скоро из всех этих весьма скудных донжуанских развлечений он выбрал более или менее подходящее — ресторан.

Но что это можно делать в ресторане с восьми утра?..

Явился Сева — такой распаренный, благодушный, одетый всего лишь в полотенце. Надо признаваться, решил Потапов, выхода нет. Пусть хоть он чего-нибудь присоветует, иначе кранты... Это слово, неожиданно выплывшее из древнемальчишеского лексикона, будто прибавило Потапову сил.

— Значит, так, Севочка... Я тебе должен, Сев, сознаться. Я б тебе не сознался, но у меня, Сев, иного выхода нет. Обращаюсь к тебе непосредственно как к инженеру человеческих душ.

— Обращайся,— сказал Сева.— Но не подлизывайся!

Затем он выслушал Потапова, довольно-таки нагло ухмыльнулся, по-хозяйски взял потаповскую недокуренную сигарету.

— Ты есть глупый и неопытный человек, Александр. И кстати, мог бы ничего мне не рассказывать. Но коли уж ты рассказал, я, так и быть, дам тебе мой очень ценный совет. Вернее, разъяснение... Неужели же если человек приглашает тебя встретиться в восемь утра, он не имеет в виду чего-то сам?

— Сев, ты просто гений!

— Не выдавай свою глупость за мою гениальность! — Он повернулся к стене и выключил лампочку над своей кроватью.

Автобус качался, переваливался, старая тортила, Потапов то и дело плечом дотрагивался до Вали. Он каждый раз ждал этого прикосновения... вместо того чтобы придумать хоть какую-нибудь тему для разговора.

— Валечка...

Она посмотрела на него. Ее лицо было совсем близко...

— Валя, а куда мы едем?

— Да в Малиновские же опять. Только на другую сторону. К родным моим зайдем.

Ехали еще минут десять. Потапов прилежно рассматривал пассажиров, лица у всех были спокойные, воскресные... А пассажиры, как он заметил, очень даже поглядывали на него... Да что такое, думал Потапов, чего я ежусь-то? Я же нормальный мужик, симпатичный!..

— Ну вот и до места добрались.— Потапов почувствовал Валины пальцы у себя на рукаве. И невольно взял их. Рука у Вали была с шершавинками от работы, совсем не Элкина рука.— Нам выходить дак... Выходи-ить! — тихо сказала Валя и убрала руку свою в карман.

Они стояли на бульжной дороге. Валя, как и вчера, подождала, когда уйдет автобус. А уходил он медленно, по-черепашьи валясь из колдобины в колдобину.

— Пойдемте, реку вам нашу покажу. Река хорошая.

Песчаной, рыхлой и сырой дорогой они спустились к реке. Теперь было видно, что она в самом деле медлительна и полноводна. Текла почти вровень с низкими берегами. За нею расстилась рыжая равнина Маиновских лугов, которая на самом деле вся была в кочках да в высохших лужах.

— А трава подыметса,— сказала Валя,— и ровно станет, как небо!

Наклонилась, зачерпнула воды. В ее ладони вода была совершенно прозрачной. Валя бросила эту пригоршню обратно в реку:

— Пусть бежит куда бежала, верно? — и улыбнулась.

Она стояла к нему спиной. Косынка зеленым крохотным хвостом выбилась из-за ворота ее куртки. Потапов хотел прогнать этот хвостик внутрь, но вместо того обнял Валу, притянул к себе... Несколько секунд она стояла не шевелясь. Потапов чувствовал на губах ее волосы. Потом Валя повела плечами, шагнула вперед. Теперь она оказалась у самого края воды. И если бы Потапов снова обнял ее, Вале уже некуда было б от него уйти. Но тут же она повернулась, покачала головой:

— Хотела вам речку нашу показать... Да уж, видно, не получится. Идемте-ка лучше сразу к моим родным.

— Так я больше не буду! Валя!

— Никогда в жизни и ни за что на свете? — Валя улыбнулась.— Знаю, что будете... Пойдемте уж.

— Тяжеловато с вами разговаривать.— Потапов покачал головой.— Где это вы так научились?

— Так я же наставница. С девчонками-то с молодыми попробуйте-ка по-другому!

— Так! Вот я и в девчонки попал...

— Да полно вам.— Валя взяла его под руку.

Так странно было идти ему по пустынному берегу реки и под руку с девушкой. Никогда он так не гуливал.

Валины бабушка и дядька были на вид словно бы одного возраста — с коричневатыми и морщинистыми, пропеченными старостью лицами. Но на самом деле мужчине еще не исполнилось и семидесяти, а старухе перевалило за девяносто.

— А это кто ж будет? — спросила она, указывая пальцем на Потапова.

— Журналист, баб Дунь, в газету пишет,— ответила Валя.

— Опять про тебя, что ли?

— Про всех... про нашу смену...

Старуха медленно кивнула. И вдруг сказала:

— Так и останешься Валя Половинкина!

— Ну полно тебе, баб никакая я не Половинкина.

— Потому что мужа надо заводить! А то Половинкина все и будешь... Ты, голубчик, не обижайся,— обратилась она к Потапову,— о тебе тут разговора нет.

Валя засмеялась такой ее категоричности. Тогда старуха внимательно посмотрела на Потапова:

— А тебя как звать-то?

Потапов на секунду замешкался, не зная, что ответить: одно имя или с отчеством.

— Саша их зовут,— сказала Валя.

Старуха спокойно кивнула:

— Ну пусть Саша будет. Для меня-то он Саша и есть!

Опять она посмотрела на Потапова строгими синими глазами, которые светили из глубины, почти не мигая... Прямо-таки рентгеновская старуха, подумал Потапов,

Она ходила как-то нарочито медленно, как будто на каждом шаге экономила силы. В правой руке ее, словно приросшая, твердо постукивала клюка.

— Не болеет и не собираются! — покачал головой Петр Никанорыч, Вагин дядя, глядя вслед старухе. — Законсервировалась!

Сам он не консервировался вовсе. Курил папиросу за папиросой. И с утра от него припахивало вином. Правда, в воскресный день отчего-то рабочему человеку и не позавтракать с рюмкой.

На крыльце, перед тем как войти в дом, баба Дуня и Валя остановились у серой дымчатой кошки, которая нехотя лакала из блюдца молоко.

— Чуть чего — уж квасит нос на сторону: несвеже! — Старуха погрозила ей пальцем. — Баловная, баловная ты, девка!

Кошка безбоязненно смотрела на нее снизу вверх.

— Что ни есть, все до нее касается! — покачал головою Петр Никанорыч. — А сердце, а? Девяносто годов без перерыву бьется. Вот и посудите сам.

— Это мама ваша? — спросил Потапов.

— Теща. Жены нет, а теща, видите, осталась. — Он усмехнулся этому невеселому обстоятельству. — Пожалуйте, хозяйство вам свое покажу. Вы в какой же газете работаете? Не в сельской?

— По промышленности, — с заминкой ответил Потапов.

Они осмотрели сиротливый покуда, не копаный еще огород («Каждый год, поверите ли, как копать, так плакать — ревматизм да еще сольотложение») и прекрасную теплицу, в которой трудно было дышать от запахов земли и зелени.

— Первые-то огурчики у кого будут, а? Как думаете? — Старик открыл печную дверку. Внутри лежали раскаленные добела куски каменного угля. И точно вспомнилась Потапову Севина дача. Стало душно. С трудом он удержался, чтобы не выйти на улицу. Петр Никанорыч полюбовался на угли, закрыл печь, так и не тронув их кочергой. — Вот оно, ихнее солнышко. А это пусть хоть и совсем не греет, — он указал на стеклянный потолок.

Однако огурцы, и рассада помидоров, и еще, и еще что-то (земное, здоровое, чего названия Потапов не знал) — все лезло вверх, к стеклянному потолку, безмолвно росло... Все в космос тянется, вдруг подумал Потапов, а я со своим «Носом» все на земле вожусь... Его удивила эта мысль. При чем тут «Нос» и при чем тут космос? Чего там нюхать в пустоте?

Хм... Но что-то есть в этой мысли!

Ее скрытая идея была совсем близко, как невидимый некто, который находится в соседней комнате за фанерной стенкой. А ты сидишь не дыша и слушаешь его шаги и кашель...

— Случилось что, Александр Александрович? — Старик старался заглянуть ему в глаза снизу вверх. — Нехорошо вам?

Потапов очнулся — губа закушена, руки сжаты в кулаки. Мысль, которая только что была рядом, испарялась без следа. И Потапов старался поскорее зафиксировать словами то, что так глубоко ему почувствовалось. Но словами было еще рано! Слова получались грубые. Еще надо было слушать себя, прислушиваться.

— Голова, что ли, закружилась, а? Может, рюмочку выпьете?

— Можно и рюмочку, — сказал Потапов рассеянно.

— Это от воздуха... Тут у нас воздух особый, на Малиновских-то. Ну а если от воздуха закружилась, значит, здоровья больше. Не расстраивайтесь! — Он снова посмотрел Потапову в глаза. — И позавтракать, а? Вы и не завтракали поди? Вот ведь хозяйин же я! Ах нумизмат такой-сякой, ах фарадей. Это ведь что ж такое? Античность полная!

От неожиданности Потапов рассмеялся. За ним рассмеялся и

старик. И неясно было, то ли он шутил таким образом, то ли всерьез считал эти слова бранными.

В то свидание с Валею он еще копал огород. Сказал:

— А что, если я вам огород вскопаю, а, Петр Никанорыч?

И по тому, с какой надеждой старик отнекивался, Потапов понял: вот это будет человеку помощь!

На ноги Никанорыч дал ему галоши со своих валенок. Другое бы ничего, конечно, на потаповские корабли не полезло. Пиджак и галстук были изгнаны прочь. Потапов копал и видел, как Валя глядит на него из окна. Потом вышла:

— А ну-ка давайте в две лопаты. Примете в бригаду?

Дыша, Потапов мотнул головой. Пот и жар уже стали выходить из него. Но Потапов не останавливался, уговаривая себя воспоминанием о том, как он умел терпеть на тренировках.

Рядом копала Валя. Она была в кирзовых сапогах, на голове козырька — «косочек», как она говорила.

Рентгеновская старуха стояла у края вскопанной земли:

— Разбивайте комья дак! — и сама тыкала своею клюкой в рыхлято-черные свежие комки.

— Будет вам! — суетливо говорил ей Петр Никанорыч и бросал взгляды на Потапова: мол, уж вы ее простите Христа ради!

— А комы-то что же, засолим? — и старуха опять ударила по мягким земляным комкам.

— Да будет вам!

— И тебе будёт!

Не сказать, что Потапов был очень уж рад теперь своей инициативе. Он устал как собака, спина его стала деревянной...

Но как же он был вознагражден потом. каким полным крестьянским отдыхом — с сидением на крыльчке, с ласковым солнышком... Чувствуя себя прямо-таки Микулой Селяниновичем, он мылся, раздевшись до пояса, по возможности делая свой живот стройным. Валя поливала ему из большого эмалированного ковшика.

— Телогрейку пока набросьте, я вашу рубашку проведу.

— Валь, даже не думайте!

— Вся мокра рубашка-то. Употели, труженик.

— Я журналист. Известный журналист! — сказал Потапов не без ехидства.

Валя улыбнулась, но ничего не сказала. Она смотрела, как он вытирается чистым, чуть подсиненным вафельным полотенцем...

— Ну дак пойду, — Валя взяла его рубашку и майку. — Волосы-то разлохматил. — и поправилась: — Разлохматили. Гребень-то есть или дать?

— Валя!

— Ну что же, Саша? — она уже собралась уходить, стояла вполоборота. — Телогрейку-то набросьте. Остудитесь.

Потом они обедали. На веревке, под солнышком махала рукавами его модная, купленная Элкой рубашка. Потапов сидел в телогрейке на голое тело — словно так и надо. Рентгеновская старуха смотрела то на него, то на Валью, качала головой.

— Ну, рюмочку-ту еще одну опросташь?.. Тебе-то хватит, — осекала она Петра Никанорыча. — А Сане-то Олександровичу одну еще, однако, можно и выпить... Захаживай к нам. С Валечкой с моею вместе. Или что же? Уедешь — не приедешь больше?

Потапов поднял рюмку, хотел сказать: «За будущую встречу!» Но показались ему эти слова какими-то слишком книжными. Тогда он просто улыбнулся, тронул своею рюмкой Валину, Никанорыча. Старухиной же рюмки на столе не существовало.

И еще он помнил, как уже в городе остановились у Валиной двери и Потапов держал ее руки в своих руках — такое сверхневинное, по современным понятиям, проявление чувств. Но Потапову и

это казалось много, сердце грохотало под чистой рубашкой. Потапов хотел усмехнуться над собой: ну что в самом деле за мальчишество — в сорок-то лет. Хотел усмехнуться и не смог.

По логике событий, с молодых ногтей преподанной нам теле- и киноэкраном, Потапов, наверное, должен был сейчас поцеловать Валю... Но хоть ты застрелись, не мог он перейти какую-то границу, духу не хватало! Валя смотрела на Потапова, словно спрашивала: ну что же дальше? В каждой ее ладони стучало по сердцу.

— Пойду я, пустите...

Она вынула из его руки свою правую руку, достала ключ, отперла дверь. А левая ее рука все не расставалась с Потаповым... Надо что-то сказать, думал Потапов, поцеловать или к ней войти, что-то сделать надо. Если сейчас расстанемся, завтра — все!

Тихо Валя освободила свою левую руку, посмотрела на Потапова, полуобернувшись, как она любила, и захлопнула дверь.

Он шел домой к гостинице. Шел всю дорогу пешком. Шел и говорил себе: ну вот и все, допрыгался, дуб мореный, в гробу тебя Валечка видала, увальня! Завтра хоть обзвонись... И улыбался и не верил ни одному своему слову!

Причина для расставания

Так были прожиты им счастливая суббота и счастливое воскресенье. Теперь шел счастливый понедельник — он слонялся по городу и ждал, когда кончится Валина вторая смена.

Вечер настал, но до пол-одиннадцатого ночи было ох как еще далеко. Что было делать Потапову? В номер идти неудобно: Сева работать вроде сел, а ты тут со своими любовями. По улицам шагать — устал... В кармане бутылка, словно сом в сети, тяжело-неповоротливая бутылка шампанского.

Отчаявшись придумать что-то более или менее гениальное, он пошел в кино, купил три билета на три сеанса, которые начинались один за другим с перерывом только на пиво и бутерброды.

Как-то одну из зим своей жизни он ходил в Дом кино. То есть его таскала туда Элка. И помнится, некий человек им рассказывал, какая это нелегкая якобы работа — сидеть в жюри разных кинофестивалей. Потапов кивал из приличия. А сам думал: милый, в нашу бы тебя контору, вот тогда бы ты кой-чего понял по-другому!

Сейчас, глядя вторую подряд картину — кстати, недурной детектив и даже с намеками на психологизацию, Потапов подумал, что, наверно, это действительно невеселое дело — смотреть по пять фильмов в сутки, прав был тот «жюрист»... И подумалось об этом без раздражения, хотя и было связано с Элкой... Вот тебе и пережил я высокую трагедию, неужели правда? Стало даже как-то неудобно. Ведь прошел всего месяц! Вот тебе и... Тут началась погоня, и Потапов забыл свои мысли. Но пока преступник пил в ресторане (фильм этот был двухсерийный, и поэтому преступник не спеша пил, ел, одевался, раздевался и прочее), мысли Потапова снова вернулись на сломанные погоней рельсы... Значит, так. Сперва ты переживал из-за нее. Теперь переживаешь, что мало переживаешь. Не хватит ли? Тебя ждет чудесная девушка...

«Чудесная девушка»... ну пусть не самое оригинальное выражение, неважно, не придирайся — да, чудесная девушка. Так искренне из себя ничего театрального не строит. И кажется, искренне от тебя чего-то ждет. Ему вдруг представилось, как он знакомит Танечку и Валю... Увидел Танюлины внимательные, приглядывающиеся глаза, сердце заняло... Это, Танюлечка, тетя Валя. А Танька, конечно, никакой радости не изображает. Она у Потапова умница, врать не обучена...

Он вышел вместе со зрителями из кино и вошел в него снова — уже с другими зрителями. И снова стал в не очень длинную очередь к буфету. Снова бутерброды с сыром и пиво.

Прошло полтора часа, кончился и этот сеанс. Потапов опять остался бездомным.. И тут его осенило: а поеду-ка я встречу Валу после смены. Ему представилась полутемная тихая улочка, проходная — будка с дверью, над которой висит лампочка, — где-то когда-то он видел такое...

— Девушка красивая, скажите мне, пожалуйста, как до имени Первой добраться?..

Автобус покатило его по булыжным улицам, потом по асфальтовым, потом по мосту через реку. На реке было темно, только редкие огни высвечивали полыньи дрожащей воды.

А вот и проходная! Широоченные ступени, электрические часы, стеклянные двери. Ну то есть все то, что бывает на современных предприятиях, что сам Потапов видел сотни, наверное, тысячи раз! Ведь и вход в его контору был примерно такой же!.. Да, мил друг, потихонечку глупеешь...

Он зачем-то поднялся на несколько ступенек этой совершенно пустой сейчас лестницы. Постоял немного, засунув руки в карманы. Собственно, правой руке очень мешала треклятая бутылка. А внизу, на небольшой площади, у этих почти что дворцовых ступеней было довольно людно. Со своего пьедестала он мог спокойно рассмотреть несколько разреженную, но все же толпу — в основном ребята лет на десять — пятнадцать моложе Потапова... Девчонок ждут со смены!

Вот так номер! Вот тебе и коси косой свободных красавиц! Сюда бы Севку с его глубоким знанием жизни... Потапову неловко стало торчать на ступенях одному, и он спустился вниз, присоединился к толпе ожидающих. Возможно, здесь был кто-то, кто ждал Валу. Ну а что? А почему бы и нет? На всякий случай он решил постоять где-нибудь около остановки Валиного автобуса и посмотреть, как она выйдет... И кто ее встретит.

Нет, дело не в том, что он чего-то там испугался. Но просто могла выйти неловкость, глупая сцена... А зачем же тогда подглядывать? Зачем вообще тут оставаться?.. И остался...

Замахали блестящими крыльями двери — это пошел со смены народ: женщины, женщины, женщины. Лишь редкие мужики двигались в этой реке. И опять Потапов довольно глупо кое-чего недоучел. Забыл, что современное текстильное предприятие — это тысячи людей, целый конвейер лиц, разговоров, движений. Взгляд Потапова пробежал направо, налево (да где уж там!) и бессильно, почти слепо пополз по лицам на мгновение родившихся автобусных очередях.

Наверное, впервые Потапов понял, до чего ж он погружен только в свое узкое знание. И до чего ж он плохо представляет всякую иную жизнь! Его, столь уверенного в себе, мысль эта поразила. На некоторое время он даже забыл о Вале. И неужели, подумал он, надо было получить по башке в институте и от Элки, чтобы сделать для себя вот такое открытие?.. Глупо, конечно...

Тут он увидел Валу. Она шла рядом с каким-то мужчиной лет примерно тридцати. Впрочем, Потапов видел его лицо лишь секунду. «Тридцать» — это он автоматически вычислил по Валиному возрасту. Многие, как и Потапов, смотрели им вслед. Их здесь, наверное, знали... именно в этом сочетании. Валя шла чуть опустив голову — слушала, что говорил ее спутник. А говорил он спокойно, не торопясь. Наверное, с ним трудно было не согласиться.

Они остановились шагах в двадцати от Потапова, и он хорошо видел их поверх других голов. Мужчина повозился секунду у дверцы «Жигулей», влез внутрь, открыл дверь для Вали. Она привычно, как показалось Потапову, села на то место, куда любят садиться все девушки — рядом с водителем. «Жигуль» аккуратно проехал, под-

сигналивая фарами на столичный лад (хотя здесь не запрещено было пользоваться и клаксоном), подкинул газку и уехал, мелькнув напоследок красными огнями.

Вот так все вышло. И неожиданно обрыв открылся перед Потаповым — он стоял на берегу обрыва со своими намерениями, со своей идиотской бутылкой. Автобусы подъезжали один за другим, расхватывая последние остатки очередей. Вечер, может впервые за всю весну, был удивительно теплый. И Потапову очень легко было представить, как Валя едет в «Жигулях», приоткрыв окошко.

Он никогда не имел собственной машины. Может быть, потому, что был человеком весьма нерукодельным. Да к тому же машину вдруг и не купишь. На нее надо копить! А они с Элкой жили всегда довольно безалаберно. Потапов не желал другого житья и не жалел об отсутствии машины — да тыщу лет нужна ему эта движимая собственность, в такси все улицы близки, и точка.

Но сейчас все было по-другому. Он заметил, что не так уж мало девушек разлеталось отсюда на «Москвичонках», на «Жигулях», на «Запорожцах», которые в соответствии с рангом пропускали вперед своих более классных собратьев. А Потапов стоял бы сейчас с Валею в этой длинной очереди, мимо которой, уютно фырча, проплывают автомобили... Господи! Чушь какая! Еще не хватало ему страдать по такому пошлому поводу.

Он влез в автобус. Девчонки — а здесь почти сплошь были одни молодые девчонки — с интересом поглядывали на него. Потапов улыбнулся какой-то симпатичной, что стояла рядом. И она улыбнулась ему в ответ... Ну вот, а ты говорил. Да пошли они к черту-дьяволу, эти «Жигули».

Полный решимости, но при этом все-таки не зная, как поступить, он вышел на Валиной остановке. Вот и дом. Потапов попробовал найти окно... На пятом этаже горело окон пять или шесть. В одном висела голая лампочка, и Потапов сразу исключил его как «не Валино». В других были вполне уютные розоватые и желтоватые света. Надо позвонить, сказал себе Потапов. Так приличней... Или я просто испугался, а? А чего мне бояться-то!.. Но приличней все же позвонить.

Минут пять он шел, разыскивая автомат. Но никаких автоматов тут не было... Неужели я уйду? Просто так уйду и все?.. Времени уже без десяти одиннадцать. Он вернулся к Валиному дому, горящих окон на пятом этаже прибавилось — это вернулись со смены ткачихи, и прядильщицы, и мотальщицы, те самые девчонки, с которыми, быть может, он ехал в автобусе.

Вдруг свет в одном окне погас, и это неожиданно больно задело Потапова... Да брось ты глупить!.. Нет, теперь уж вообще неудобно идти без звонка.

Так сказав себе, он быстро вошел во двор.. Он даже не знал ее адреса. Но сразу увидел то парадное, в которое ему надо идти. Пошел вверх, шагая через ступеньку и сильно дергая перила назад, словно бежал на лыжах.

На площадке пятого этажа было светло, даже слишком. Он увидел латунную табличку «В. Н. Горелова» и сразу позвонил, и почти сразу дверь открылась.

— Ну что же ты опаздываешь? — тихо сказала Валя. — Заходи скорее!

Она была в домашнем платице, в мягких тапках. Отступила на шаг — только чтобы впустить Потапова.

— Дверь-то закрывай... Жду-жду тебя, кавалер! — Она улыбалась, но и укоризненно смотрела на Потапова. — Я-то и со смены сумела не опоздать. А он ко мне опаздывает!

Они по-прежнему стояли в тесной ее прихожей. Потапов хотел снять плащ, но остановился на полпути: не развернуться и... и что-то он не то сейчас делал. Валя была совсем рядом, словно нарочно за-

гораживала ему проход, смотрела на него снизу вверх и улыбалась. И Потапову, можно сказать, ничего не оставалось делать как только обнять ее.

— Ну подожди, подожди! — сказала она. А сама подняла руки, обняла его за шею, как в Москве не обнимаются, наверное, уж лет десять.

Повеяло на Потапова чем-то забытым и молодым. Он крепко прижал к себе Ваю и тут же почувствовал с закрытыми глазами, какие у нее мягкие губы. Валя вздохнула, и Потапов тихо отпустил ее.

— Господи! Какой ты здоровенный, Саша... Да что это у тебя? Чуть мне ребра не поломал.

Потапов вынул проклятущее шампанское...

— Как на Новый год. И времени скоро двенадцать... — Казалось, она совсем не была смущена тем, что Потапов поцеловал ее. — Ну раздевайся. Что же ты остановился-то?

Потапов снова потянулся к ней. Валя быстро отступила, покачала головой — шуточно и с кокетством, чтобы не обидеть его. Только она совсем не умела кокетничать... Потапову тут надо было бы сказать какие-то слова. Но за давностью он все их забыл! Валя, наверное, это все поняла, засмеялась.

— Саша, Саша! Никуда мы с тобой не годимся. И кино про нас снимать не будут!

Она так радостно пошла на кухню, вообще так радостно двигалась, что все потаповские тревоги, связанные с «Жигулями», показались ему сущей чепухой.

— Валя... — Он снял плащ.

Ничего ей говорить не буду!

— В комнату иди, я скоренько.

Телевизор, шкаф, диван, проигрыватель, две полки книг... Потапов приотдвинул штору, увидел то место на улице, где он стоял несколько минут назад. И почти не узнал его — таким пустынным и сирым оно теперь казалось. Странно было представить Потапову, что он стоял там и смотрел на горящие окна.

Отпустил штору, повернулся спиной к окну, еще раз оглядел комнату. Пожалуй, здесь было слишком светло — горела пластмассовая люстра под потолком, а в углу еще и торшер... Из кухни прилетали тихий звон и какие-то шорохи.

Люстру на фиг, радуясь своему мальчишеству, подумал Потапов и стал искать глазами выключатель. Но может, в создании этой полутьмы будет некий непрощенный намек?

Он выключил люстру, но тотчас включил ее... Вошла Валя, в руках ее было шампанское и два простеньких фужера:

— Это что же такое? Сигнализация? — и улыбнулась.

У нее было такое милое, умытое лицо. Да, самым натуральным образом умытое — водой из-под крана и, наверное, даже с мылом. И ни капли краски, ни пудры, ни туши.

...До чего ж ты хороша у меня!..

Но этих слов не сказал Потапов. Эти слова он говорил Элке, давно, в первые годы их любви. А Валя словно чего-то ждала от него. Но прошла секунда, две, три...

— Помоги же мне, Александр Александрович. Что растерялся-то?

Он слишком поспешно взял фужеры, чуть не уронил... Валя выключила верхний свет:

— Ну? Так ли тебе больше нравится?.. Да садись же ты, Саша. Что-то растерянный такой?

— Валечка, знаешь, попрошу тебя: ты задавай мне поменьше всяких наводящих вопросов. Я и так от тебя не очень в себе, а тут еще на вопросы отвечать.

Она секунду смотрела на него:

— Ладно... Ну так шампанское ты умеешь открывать?

Есть на свете такие особые умельцы по открыванию шампанского. Мастера, можно сказать, своего дела. Потапов к ним отнюдь не принадлежал. А сколько, в самом деле, раз за тридцать восемь лет нормальный человек открывает шампанское? Да очень ведь редко!

Пробка хлопнула, сильно толкнула Потапова в ладонь. Однако он успел наклонить горлышко прямо в фужер!

Все еще переживая свой гусарско-официантский успех, Потапов весьма изысканно протянул Вале бокал:

— Ну? За Валю?

— За Валю так за Валю!

Они чокнулись, и звук получился глухой, словно они чокались не стеклянными фужерами, а деревянными бочонками... Они сидели друг против друга через стол.

— Как на переговорах,— сказал Потапов и поднялся. Валя сидела на диване, снизу вверх смотрела на него.

— Нет, подожди, Саша... Мы на переговорах с тобой и есть.

Потапов удивленно улыбнулся.

— Ты мне можешь рассказать, кем работаешь ты?

— Зачем тебе? — опять удивился Потапов.

— Ну расскажи уж, пожалуйста...

— Хм... раз настаиваешь, изволь.

Цепляясь душой за каждую фразу, он стал рассказывать об основах своего дела, потом об устройстве «прибора», о принципах слежения за выходящим газом. Наконец перешел к своей теперешней работе, к любимейшему «Носу»... На душе у него не осталось и следа недавнего раздражения. Он словно и сам что-то узнавал!

— Вот так, Валечка. Такие мои пироги!

— Это очень сложно?

— Как сказать... В принципе этим весь мир занимается. А подробности, конечно, сложны.

Валя кивнула. И странное какое-то было у нее лицо. Скорее всего печальное — так, пожалуй, можно сказать. Потапов с удивлением вглядывался в это лицо. А Валя с тою же внимательностью и еще с грустью смотрела на него.

— Да что произошло-то, Валечка?

— Ты ведь не уйдешь оттуда, верно?.. Со своего предприятия?

— Я?! — изумленно переспросил Потапов.— Я?..— И запнулся.

Валя поняла его и кивнула — раз и два. Сказала очень грустно:

— Ну а я ведь тоже с комбината дак не уйду. Понимаешь? Понимаешь теперь, чего я говорю? Здесь буду я жить, в Текстильном. Камвольных-то на свете комбинатов много, правильно. И в Москве их довольно. Да мой-то один!.. Не подумай только, что слава и другое. Тут обязанность моя! Понимаешь? Ну так и что говорить?

Потапов слушал ее, качая головой.

— Ну, а жить-то, чтобы жена в одном городе, а муж в другом — так и не бывает. И не будет... Сашенька!

Потапов совершенно не знал, что ему ответить. Он чувствовал грусть и огромное удивление.

— Ты не подумай, милый. Я не сватаюсь к тебе. А только говорю, что уж пока не полюбила тебя сильно-то, ты уж уезжай, пожалуйста. И тебе легче будет и мне.

— Почему легче? — с трудом выговорил Потапов.

— Ну время-то пройдет, полюбимся дак сильнее. И уж деваться некуда, наделаем что не надо. А мы с тобой другое должны!

— Да как же ты будешь жить, Валя?!

Он хотел сказать, что невозможно вот так: смирать себя — надо и надо! Но не сумел или не решился произнести этого, потому и спросил невнятное: как будешь жить...

— Жить буду так, Сашенька,— она пожала плечами.— И сама не знаю пока...

Однако тотчас вспомнились Потапову «Жигули»...

— Ну замуж-то все-таки пойдешь?

— А старой девой в почти двадцать восемь лет, а? Хорошо ли? Людей все счастьем учу, а сама... Э-э, скажут, не будем дак слушать ее, горемыку. Понимаешь? А мне надо, чтобы слушали!..— Она серьезно и грустно посмотрела на Потапова.— Ах, да не знаю я ничего... Налей-ка мне вина-то... Ну давай стукнемся за твое здоровье. Иди ко мне сюда...

К Тане

Странно, из-за чего только не расстаются люди. Миллион причин. Оказывается, бывает вот и такая.

Ну а что? Возьми — брось контору. Устройся в Текстильном какин-нибудь там инженером по красителям... Примут. Чего бы не принять: кандидат технических наук, столица...

Бросишь?.. Вот то-то и оно. И «Нос» не бросишь... Гоголь ты несчастный!

А коли не требуешь с себя, нечего и от нее требовать!.. Это последнее он подумал так неожиданно, что даже остановился.

Выходит, не отдавая себе отчета, он все же требовал этого от Вали. Думал: она-то может... Я, значит, не могу, а она может? Нет, милоч, давай уж по справедливости... Расставание — миллион причин. До чего ж это хрупкий предмет — счастье.

«До свиданья, Таня, а может быть, прощай. До свиданья, Таня, если можешь, не сердчай...» Была в свое время такая в Москве песенка. Году, наверно, так в шестидесятом, шестьдесят первом.

До свиданья, Таня, а может быть... Только не Таня, а Валя... Вдруг он подумал о Тане. О Танюле своей! Неужели правда не вспоминал ее целых десять дней?.. А Валя даже не спросила: женат он, не женат. Потому что уже знала: расстанутся... «А это, Танечка, тетя Валя». Так, кажется, он собирался? Собирался, да. Может, и к лучшему, что Танюле этого не предстоит.

Он стал думать о Тане... К Таньке поеду, прямо завтра. Возьму ее куда-нибудь на целый день... На ВДНХ. Точно — на ВДНХ! Коров посмотрим, коняшек. На пони покатаемся... Эх ты! Пони же в зоопарке. Все-то ты забыл, отец!

Прямо с вокзала он позвонил теще — подошел тесть. Отвечать сразу начал сухо и холодно: так решил он скрыть свое смущение. И хотя Потапов это понимал, все ж ему стало обидно.

Тесть строил свою холодность на потаповском якобы невнимании к ребенку. А Потапов, который и сам себя корил за то же — причем не далее как вчера вечером, теперь слушал слова тестя с особой досадой.

— Хорошо, Николай Егорович! Я совершенно понял вашу точку зрения на этот вопрос. Позовите мне Таню.

— Нету Тани!.. И неужели ты предполагаешь, что я стал бы говорить о таких вещах в присутствии ребенка?!

— Не знаю, простите.

— Ах вот даже как!

Они впервые разговаривали друг с другом в таком тоне. И оба как бы привыкали к новым отношениям. И оба думали: «Да, не знал, что он такой. Ну нечего тогда и жалеть!»

— Где же все-таки Таня?

— У добрых людей.

Стало быть, не у мамы... Так хотел сказать Потапов, но не сказал, удержался. И тесть тоже осадил немного.

— Уехала Таня, на дачу. С детским садиком... Поедешь если, шоколада не вози. Диатез у нее... если ты еще не забыл!

Потапов промолчал. Как-то нелепо это было, по-бабски — обмениваться колкостями посредством телефонных проводов.

— Фруктов ей свежи,— сказал тесть таким голосом, словно и сам подумал о том же, о чем сейчас подумал Потапов.— Адрес у садика, значит, вот какой...

Поезд из Текстильного привез Потапова на Ярославский вокзал. А Танечкина Малаховка — это с Казанского. То есть площадь перейти — и все дела.

Он сунул походный портфель в шкафчик автоматической камеры хранения, набрал на шифровом диске первые четыре цифры своего служебного телефона, опустил пятнашку, проверил — заперто... И словно бы еще одна ниточка оборвалась с Текстильным.

Все выходило так грустно... Но за это какое-то везение мне сегодня быть должно. И действительно, повезло. Ни на что абсолютно не надеясь, он зашел в магазин. Спросил у толстого продавца с красными — видать, после вчерашнего — глазами:

— Чего там, фруктиков у тебя никаких нет, начальник?

— Такой лоб вырос, все ему фруктики,— дружелюбно отозвался продавец.— Вон портвешка-то бери... фруктики...

— Да мне дочке надо, в садик,— сказал Потапов.

Продавец ничего не ответил, но когда Потапов повернулся уходить, он вдруг тихо позвал:

— Э! Слушай-ка, «дочке». Бананов пара килограмм устройт?.. Ну плати в кассу.

— Мужик, с меня причитается.— Потапов протянул чек.

— Пахнуть будет — нехорошо. А ты к дочке едешь,— спокойно рассудил продавец.— В другой раз тогда... Заходи.

— Зайду!— Они пожали друг другу руки.

Что говорить, такие встречи поднимают настроение. Начинает казаться, будто сам ты жутко обаятельный. А народ кругом сплошь симпатичный... А ведь он, этот продавец, в сущности говоря, жулик жуликом! Торгует бананами из-под прилавка.

Потом он стал думать о тесте. И о себе. До чего ж это все-таки странно выглядит. Ведь он, Потапов, здоровенный мужик. В своем деле, скажем, как вообще царь, бог и воинский начальник. Но едва вопрос касается Таньки, он сразу становится каким-то недоразвитым юнцом. И так было всегда, не только после его развода с Элкой. Это, можно сказать, вообще знамение времени: старики помыкают нами посредством наших собственных детей.

Хм, так, а в чем, собственно, дело? Ведь мог же он сказать (естественно, пока они с Элкой были вместе), мог же он сказать: ну-ка хватит, дочь-то все-таки моя! А вот и не мог: то командировки, то путевки. В общем, нету времени. На воспитание собственной дочери времени нет. Потому что жизнью своей поступиться боимся хотя бы на грамм! Не думал о Тане больше недели... Ну а Таня думала о тебе эти дни или нет?.. Вопрос!

Он вышел из поезда и наконец понял: в Подмосковье-то за его отсутствие потеплело, повеснело. Деревья распустились на полную мощность. Солнце светило. Но по небу шли красивые, строгие облака. Сверху белые, а днища их были темны.

И синева казалась особенно сквозной.

У женщины, идущей ему навстречу, Потапов спросил, где тут детский сад «Ягодка». Она ответила так:

— Вывески там, правда, нету. Но вы все равно увидите... в конце улицы такой участок весь заросший.

Потапов слегка удивился ее словам: почему же заросший? Дети ведь бегают... Но сразу узнал участок Таниного садика. Трава действительно стояла там высокая и густая. Долго смотрел Потапов на

эту удивительную траву. Открыл калитку, осторожно пошел по дорожке. Трава поднималась слева и справа. Детки были слишком легки, и ноги их слишком малы, чтобы помять ее.

Приехал Потапов неудачно — только что начался мертвый час. Об этом сказал ему лысый бородатый старик с пронзительными и хитроватыми глазами академика Павлова с известного школьного портрета.

Старик чинил перила, привинчивая их шурупами. Потапов стоял рядом — деваться ему все равно было некуда.

— Сломалось? — спросил Потапов для разговора.

— Детишки! — улыбнулся в ответ старик.

Потапов покачал головой.

— Пусть ломают, — сказал старик. — Без этого дети не растут. — Он взял шило, стал продавливать дырку для нового шурупа.

— А вы чего гвоздями-то не приколотите? — спросил Потапов.

— Шумно будет.

— Так вы бы после мертвого часа...

— Это неинтересно. — Старик усмехнулся. — А то встанут — глядь: перила-то уже срослись!

Потапову старик нравился. Хотя сам он понравился, наверное, старику не очень — из-за холодноватой своей непонятливости.

— Здравствуйте...

Потапов обернулся. Перед ним стояла девчонка в мини-платице.

— А вы?.. А вы Тани Потаповой папа! — И улыбнулась, довольная своей догадкой.

— Неужели мы так похожи? — Потапов тоже был очень доволен этим обстоятельством.

— Очень!

— Просто вы мою супругу не видели! — Так легко у него вырвалась эта «супруга»... Привычка!

— Нет, видела... — ответила воспитательница с некоторой заминкой, и Потапов понял, что Элка приезжала сюда не одна... «А это, Танечка, дядя...» Потапов даже и не знал, как его зовут... И знать не хотел. Он сделал над собой усилие. Сказал спокойно:

— Вы расскажете, как у Танечки моей дела?

Дела у Танюли шли, по-видимому, недурно. Воспитательница рассказывала о ней спокойно и вроде даже с удовольствием. Потапов слушал ее и успокаивался. Ему нравился воспитательницын тон — серьезный такой, приветливый. Вообще видно было, что она относится к своему делу очень серьезно. Один раз сказала:

— В целом она девочка очень устойчивая. И без излишнего перпетуум-мобиле.

— Что?

— Знаете, какие бывают дети: шумит, шумит, буквально до патологии. А Таня, когда, естественно, устанет. Засыпает спокойно.

— Вы... извините... Вы что кончали?

— Педучилище. — Воспитательница чуть нахмурила свои такие молодые и совсем еще не пуганые брови.

Педучилище — это вроде техникума?.. Потапов подумал о девчонках-чертежницах из своего института. Те и вполтину так серьезно не относились к своей работе, как эта девочка...

Наконец мертвый час прошел. Потапов, сидя в починенной беседе, ждал, когда из дверей дачи выйдет его дочь.

Таня вышла почти что первая. Не теряя ни минуты на просыпание, они уже играли своей компанией в четыре человека. Шли умываться и играли. В вечную, наверное, игру «дочки-матери». Танька со своим мальчиком была, видимо, в гостях у другой «пары». Татьяна мальчишка сказал:

— Заказывай такси, домой пора.

Таня поднесла к ушку правую руку, сказала:

— Пришлите нам такси на столько-то времени, на восемнадцать часов вечера!

Играть в заказывание такси было для этой куклы в порядке вещей! Потапов смотрел на нее, все оттягивая ту секунду, когда Таня его увидит, когда она уже будет знать, что он здесь. Сейчас Потапов очень остро чувствовал себя отцом.

Потапов никогда не верил, что придет какой-то год и он станет старым. Не мог этого представить. Как в школе он никогда не мог представить, что станет взрослым. Теперь, именно в это мгновение, глядя на Таню, он очень ясно представил себя старым, стариком. И, испуганный, как спасение крикнул:

— Таня!

Они вышли за ограду. С воспитательницей все было оговорено заранее. Прошли мимо забора, за которым росла дремучая детсадовская трава. И тут они переглянулись с Танькой: да, уже можно, уже никто за ними не подсмотрит.

— Ну что? На невидимого? — спросил Потапов. Таня кивнула, в глазах ее было предвкушение счастья.

Когда-то давным-давно была у них придумана такая игра, что будто бы Танюлю везде и всегда сопровождает невидимый слон. И на прогулке и за завтраком. И стоит перед нею вечером в спальне... Собственно, вот и все. Ну и еще в тех редких случаях, когда день у них складывался абсолютно счастливо, Потапов сочинял для Тани сказку — по-видимому, довольно нескладную, сказку про девочку Танюлю и ее невидимого слона, неслона, как они говорили для сокращенности и секретности.

С годами неслон не исчез и не забылся. Он действительно был все время с Танькой. И может быть, оттого она обычно и вела себя так спокойно и некапризно, что рядом с нею всегда была ее огромная сила и поддержка — невидимый слон!

Во время гулянья, когда они считали, что поблизости никого значимых нет, Потапов по совместительству с законной ролью отца играл еще и роль неслона. Вот и сейчас он как бы неожиданно подхватил Таньку под мышки, резко поднял...

— Ой! Невидимый слон, осторожней! — закричала Таня.

Потапов посадил ее к себе на плечи и пошел, слегка раскачиваясь то влево-вправо, то вперед-назад. Так, у них считалось, должны ходить слоны.

Затем начался следующий номер программы. Потапов спросил:

— Ну так что? Где блины, там и мы? Где с маслом каша, там и место наше, а?

Танька лишь засмеялась в ответ, ожидая чуда. Тогда Потапов вынул из кармана банан и протянул ей наверх. Он взял с собой три банана, а остальные отдал для всей компании. Таньке и этих трех хватит выше крыши. Сейчас он слышал, как Татьяна отдирает кожуру, и чувствовал запах спелого банана. Потаповская голова служила ей чем-то вроде стола.

— Куда поедем, Танюль?

— На мостик.

— А куда это?

— Ты едь, едь, я тебе проруковожу.

Знает слово — и понятие! — «проруковожу», не моргнув глазом заказывает такси для своей игры. И верит в невидимого слона... Что же такое акселерация? Ему захотелось о чем-нибудь спросить Таню, о чем-то не касающемся дела, а самому опять услышать в ее ответе отзвук этой непонятной акселерации.

Но не спросил. Потому что было в их... в их бывшей семье такое металлическое правило: когда Танька ест, спрашивать ее ни о чем нельзя. От кого же это пошло? Ну да, от самого Потапова и пошло.

Это его всегда мама ругала, когда он пытался говорить с набитым ртом.

— Слон, а куда кожуру девать?

— Давай мне в карман.

— Эге, хитрый какой! Нетушки! Разве у слонов бывают карманы?

— У слонов, которые возят красивых девочек, которые любят бананы, у которых есть кожа, которую некуда девать...

Танька засмеялась — тоненько, как мышка. Она отлично понимала такие, выражаясь научным языком, лингвистические шутки, потому что очень даже весело и давно существовал на свете дом, который построил Джек...

Таня осторожно потянула отца за левое ухо, и это значило, что надо поворачивать налево. Они спустились к тому, что когда-то было речкой, а теперь превратилось в длинное болото, разбавленное щепочкой крошечных озер, а скорее прорубей в хищной густо-зеленой осоке. Прошли по дощатому мосту.

— Слон, эй, слон, хочешь, я сама немножко похожу?

Быть не может! Да неужели Танька заботится о нем?.. И спросил вполне беспечным голосом:

— А зачем тебе ходить?

— А потому что вдруг, может быть, ты устал, слонишка?

Верно, так и есть! Во как выросла Таня — уже заботится о своем престарелом отце.

— Слон! Ну что же ты не трубишь мне никакой ответ?

— Ответ, Танюля, будет такой: своя ноша не тянет.

— Какая своя ноша?

— Своя ноша какая?.. Ну ты же моя дочка, правда?

— Значит, я дочка слона? Значит, я слоненок, да?! — Танька засмеялась и, совсем забыв, что только что очень заботилась о Потапове, начала прыгать у него на плечах.

Начался березовый лес. Почти по-летнему зеленый, но еще по-весеннему прозрачный. Солнце, уже начавшее краснеть и тяжелеть, потихоньку сползло к горизонту. Березовые стволы на просвечивающем сквозь них небе казались плоскими, словно картонными и нарисованными, будто декорациями к какой-то сказке.

Потапов остановился, тихонько ссадил Таню на землю. Она стояла, маленькая, прислонившись к его ноге.

— Смотри, слон, елка...

Темная ель стояла среди хоровода берез как колдунья, пришедшая на свадьбу... Но Таня видела, оказывается, совсем иную картину. Она сказала:

— Да, слон? Похожа на нашу елочку?

— Похожа, — ответил Потапов. — Они подружки.

— А ты ее откуда взял? — спросила Таня, и веря и не веря своему вопросу.

— Да, откуда...

В марте этого года или в конце февраля, но уже в сильную оттепель они возвращались с гулянья. И Потапов, сам не зная зачем, а вернее всего по взрослой дурости, показал Тане их бывшую елку. Как всегда, как каждый год, елка была выволочена из дому после старого Нового года и брошена умирать возле мусорных баков. Однажды, возвращаясь с работы, Потапов увидел эту елку. Он узнал ее по картонному зайцу, древнему и облезлому, которого они забыли снять или не сняли специально.

И вот он подвел Таню к этой погибшей елке, никак ее заранее не предупредив. Лишь секунду она ничего не понимала, а потом вздохнула... да, именно вздохнула — не ойкнула, не вскрикнула. И потом заплакала, прислонясь к его большой отцовской ноге — точно как сейчас.

Потапов запоздало и отчаянно ругал себя идиотом, потому что чувствовал, какого горького горя влил в Танину душу. Но не решался ни соврать ей про то, что елка оживет, ни хотя бы просто увести ее. Есть такие ситуации, которые уже нельзя поправить, а нужно только пережить.

Таня все плакала... Обычно она находила выход из слез, обвинив кого-нибудь в своем горе: противный папка (если они ссорились) или противная дверь (если, не дай-то бог, прищемляла себе палец). Но в ту минуту она просто стояла молча и плакала.

— Ну хочешь,— сказал наконец Потапов,— давай этого зайца с собой возьмем?

— Ты что, не понимаешь? — тихо ответила Таня. — Его нельзя забирать. Пусть он с ней остается...

Тогда Потапов поднял Таню на плечи, отлично понимая, что она грязными галошами испачкает ему пальто, и понес домой.

Элку он тем же вечером уволок подальше в другой двор. Тащил ее и чувствовал, что совершает подлость... А на следующий вечер, когда он вернулся с работы, Таня ему сказала:

— Я утром смотрю, а она куда-то ушла.

И опять Потапов не решился ей соврать какую-нибудь историю про волшебное-конфетное спасение погибшей елки, а только кивнул в ответ... Сейчас у живой, проснувшейся после зимы ели они вспоминали с Таней всю эту историю. Только, конечно, каждый по-своему. И Потапов подумал, что когда-нибудь, лет через десять, он снова напомнит Тане этот случай и расскажет, как все было на самом деле.

На самом деле... Они понимали эту историю совсем по-разному. И мысли у них получились разные. Таня вдруг спросила:

— Слон, а где наша слониха?

Они Элку никогда так не называли. Черта с два им бы Элка это позволила: еще чего — слониха! Да она небось и не знала о невидимом слоне. И Потапов со слабенькой, трусливой надеждой посмотрел на Таню: может, она что-нибудь не то имеет в виду?.. Нет, именно то! И он не знал, что сказать ей.

Он взял Таню за руку и медленно пошел вперед. Таня шла чуть сзади, как бы тянулась за ним.

Березняк скоро кончился. Это был не лес, а лишь маленькое озеро белых деревьев.

— А дальше там что? — спросил Потапов.

— Я не знаю, слон, мы сюда никогда не ходили...

«Слон» и Танин заинтересованный голос приободрили Потапова, он подумал, что опасность, может быть, миновала. Он снова посадил дочь к себе на плечи.

— Давай обследуем?

— Давай!

«Обследуем» тоже было словечко из их лексикона. Потапов широко зашагал по дороге, которая прямо, без всяких виляний шла через поле ярко-зеленой озими. Потапову хотелось рассказать Тане про озимь, про то, как она целую зиму силит под снегом и ждет солнышка. Но страшно было нарушать молчание... Он вынул из кармана второй банан. Это был чудо какой красавец — весь желтый, пахучий и тверденький. Стало быть, в самом-самом соку.

— О-е-ей! — тихо воскликнула Таня. Она наклонилась и сама взяла банан из рук отца.

Ну обошлось, подумал Потапов, обошлось!.. Солнце уже сильно повело на запад. Но по-прежнему в природе было хорошо и спокойно. Северное полушарие планеты Земля переживало сейчас ту чудесную пору, когда по утрам все распускается и зеленеет, а вечерние сумерки долги и светлы.

У конца поля дорога повернула и пошла вдоль обрыва, настоящего обрыва, почти отвесного. Это был старый песчаный карьер. На дне его, уже успевшее обрасти осокой и кустами, лежало озеро странной, неприродной формы — похожее на латинское «Z». Потапов и Таня сели на сухую траву, свесив ноги с обрыва. Упасть тут было бы совсем не страшно — промчатся на так называемой пятой точке по рыхлому песку.

Потапов приобнял Таню за плечи, притянул к себе. Она вся уместилась в его большой руке.

— Тебе не холодно, слоненок? А то давай-ка садись вот сюда. — Он посадил Таню к себе на колени, осторожно положил свой подбородок на ее макушку, на мягкие, как у Элки, волосы... Господи, сколько же мне еще предстоит пережить!.. Но не шевельнулся, чтобы не тронуть Таниной спокойной тишины.

— Слон...

— Что?

— У нас у одного мальчика тоже нету папы... А у меня кого нет, тебя или мамы?

Это ему и казалось Таниной тишиной!.. И снова он не шевельнулся, даже не позволил себе напрячься.

— У тебя есть и папа и мама. Только... ну знаешь, по отдельности... ага, по отдельности. Сегодня папа, а потом мама. В этом ничего страшного нет. Так у многих бывает.

— У многих?

— Да.

Еще повечерело. Озеро внизу неподвижно и серебряно светилось, словно возвращало природе дневное тепло.

Большой и маленький

Вечер. Сейчас телевизор смотреть да чай пить. А в Москву об эту пору ехать мало кому охота. Видимо, так рассуждали и сами электрички и потому ходили редко — Потапову предстояло ждать на платформе минут двадцать пять... Всяк, конечно, знает это томление духа, сгорбленное высидивание на лавке, тоскливые мечты о хоть какой-нибудь книжке или газетенке, сосредоточенное и пустое пересчитывание пронсящих мимо товарных вагонов.

Впервые в жизни Потапов воспринял предстоящее ожидание без сдавленных проклятий в адрес железнодорожников, без горьких сетований на забытое чтиво. Он ни к кому не опаздывал. Он улыбнулся сам себе и сел на лавку. Ему не было холодно, у него ничего не болело, сигареты — добрых полпачки — лежали в кармане... Вот съест он, пожалуй, чего-нибудь съел бы.

И тут Потапова, что называется, осенило. Он, словно фокусник, полез в карман и вытащил последний из тех трех бананов, которые должен был отдать Тане... Долго он рассматривал и поглаживал этот неожиданный подарок. Ощущал его чудесный запах...

Почему, кстати, говорят, и довольно часто: ощущал запах? Да потому что он бывает иногда просто удивительно осязаем... Теплые запахи и холодные — такое ведь тоже существует! Вот и еще одна связь, еще одна аналогия с еще одним органом чувств. А это значит... что же это все-таки значит?

Так, совершенно для себя неожиданно, он погрузился в мир своих размышлений о «Носе», вынул блокнот, как делал всегда, когда чувствовал приближение хороших мыслей. Стал было писать уже известное, как он тоже делал всегда — для разгона... и понял, что записывается абсолютно не тем, что ему нужно сейчас!

Бумага и карандаш, такие надежные его помощники, именно в данную минуту были почему-то едва ли не его врагами... Но почему же, черт возьми?! Сперва додумайся до этого, а потом додумаешься

и до остального... Он снова понюхал банан. Запах был чудесный, густой, сладкий... Танечкин банан... Ему припомнилась Таня, которая сидит у него на коленях, смотрит вниз, на странной формы серебряное остывающее озеро и, как всегда, наверное, видит совсем не то, что видит Потапов. И потому вопрос задает неожиданный: «А у меня кого нет, тебя или мамы?»

Здесь Потапов заставил себя остановиться. Потому что буквально видел, как его прежние рабочие мысли снимаются и улетают словно птицы.

Таня осталась где-то в стороне, а он снова углубился в свою работу, в ее темный тоннель. Так, наверное, уходят шахтеры или спелеологи. Хотя это все лишь фантазия: никогда в жизни Потапов не видел ни работы шахтеров, ни работы спелеологов... Он шел не оборачиваясь по этому тоннелю, а Таня глядела ему вслед.

Странно — хотя, может, и нет! — что Таня стояла в начале его самых важных мыслей. Да, самых важных. Возможно, он думал сейчас самое важное в своей жизни... Тяжело сотрясая землю чугунными ногами, пробежал товарняк. Потапов сидел, видя его и не видя. Потом прошла электричка, пошипела дверями, подобрала с платформы народишко и уехала.

Мой поезд ушел, подумал Потапов, не ощущая по этому поводу никаких эмоций. Он встал, прошелся взад-вперед, остановился перед чем-то... Перед расписанием... В нем жили сейчас как бы два человека. Один был огромный, умный, он занимал почти всего Потапова. С наслаждением и мукой склонялся он над чудесными, волнующими мыслями и аккуратно их поворачивал, обмахивал кисточкой, как археолог. Осматривал их, ища закономерность, которая соединила бы все в единое поле.

И еще в Потапове сидел другой человек. Он был жуткий практицист. Он понимал, что надо уезжать с этой станции, что не черта тут высиживать и неплохо бы в принципе покурить, да и банан, пожалуй, лучше съесть сейчас, а то завалается...

Словом, он все знал и все думал правильно. Но поскольку он был маленький и слабый, то предпринять ничего по-настоящему не мог. Например, подвел Потапова к расписанию и даже нацелился глазами куда-то там в нужный столбец. Но глаза эти ничего не увидели, потому что упорно смотрели внутрь, в себя.

Тогда маленький человек рассудил, что поезд когда придет, тогда и придет — быстрее никак не будет. Он отвел Потапова на самую крайнюю лавку, туда, где останавливается первый вагон. Маленький человек справедливо считал, что всегда лучше выходить так, чтобы не путаться в общей толкучке.

Да, он посадил Потапова на крайнюю лавку и здесь прекратил свое существование. Потому что большой человек разрастался все невероятнее в потаповской душе... Ну конечно же, элементарная вещь, сказал он себе, элементарная, детская вещь. Когда я хватаюсь за карандаш и бумагу, я начинаю общую идею разменивать на математическую мелочь. Скажем, есть идея «Носа» и необходимо решить, как он газ «эн» отличит в выхлопной трубе их «приборчика» от газа «эн плюс единица». Вот тут необходима математика и писанина.

А сейчас мне нужно нечто качественно иное. Надо родить идею. Вот такая у меня сейчас задача. А уж потом, бог даст, разменяем ее на физико-химические гривенники и пятиалтынные.

Он еще раз пробежал весь логический ряд. Теперь уже все казалось удивительно ясно. Ну конечно же! Сейчас разбираем только вопросы общей теории. Как же можно решать задачу, не зная ее условий? Пойди туда не знаю куда?

Впереди, сверкая мощным фонарем, показалась новая электричка. Вид у нее был грозный и могучий. На мгновение в Потапове очнулось все то древнее, копившееся тысячелетиями, что есть будто бы

в каждом человеке. И вот этими глазами он увидел мчащуюся на него страшную и чудную огненную змею. Он встал со своей лавки, подошел к самому краю платформы и смотрел на грохочущее и сверкающее детище человеческого ума.

Маленький человек плакал, визжал, старался оттащить его в безопасное место. А электричка все приближалась, приближалась, тормозя, останавливаясь и словно остывая. Перед Потаповым она и вовсе остановилась — первой дверью первого вагона. Потапов вошел внутрь, сразу сел к окну и снова стал думать.

Как он ехал, как брал портфель в камере хранения, как покупал билет до Севиной дачи, как выбрал поезд, как доехал до нужной станции и вылез на перрон — этого ничего Потапов не помнил. Но, видно, маленький человечек честно и не жалея живота своего сражался за адекватность потаповского поведения.

Он увидел себя лишь на асфальтовом шоссе — том самом, которое ведет к дачной улице Ломоносова. Он даже остановился, здоровенный человек, посреди этого шоссе в свете фонаря. Народ, который сошел с электрички вместе с ним, теперь обгонял его, несколько опасно обтекая слева и справа. Ничего себе я призадумался, покачал головой Потапов. Как уснул! Но никакой усталости в себе он не замечал. Скорее наоборот — была раскрепощенность и бодрость, словно он и правда послал... Нет, я должен что-то гениальное придумать. Это недаром, это просто так не бывает!

Он ничего пока не придумал. Но чувствовал, что в нем совершается какая-то неведомая работа. Его подкорка, душа уже что-то знали. Только Потапов еще не умел сказать этого словами. Однако оно существовало, было реальностью, а не сказкой и не сном. Это Потапов понимал по той радости, которая была внутри его.

Он пришел на дачу, полный самых грандиозных планов на сегодняшнюю ночь. Но будто по чьему-то приказу разделся и лег спать. Завтра, завтра, говорил он себе, пускай позреет. Потом повернулся на бок, подумал, что так и не поужинал, что расчудесный банан продолжает лежать в кармане плаща.

Ах, как ему захотелось этого успокоительного бананчика на сон грядущий. Но подняться сейчас не было никакой возможности. Голова уже оказалась примагниченной к подушке, а руки-ноги разбилась дрема, сон. Сейчас Потапов не чувствовал себя ни одиноким, ни несчастным. Пожалуй, для него в данный момент времени вообще не существовали такие категории. И не существовало ни Элки, ни Вали Гореловой, ни Севы — никого на свете. Только, может быть, мама да Танюля. А все остальное занимала работа.

Прошло два дня. Сева, оставшийся еще поработать в Текстильном, все не ехал. Потапов хозяйствовал один. Собственно, хозяйствование его сводилось к самому малому минимуму. Ранним утром он варил кастрюлю геркулесовой каши, съедал примерно одну треть, выпивал пол-литра молока и отправлялся в лес.

Возвращался к обеду, то есть часа в два, опять съедал каши — на этот раз с колбасой или сыром, опять выпивал вдоволь молока и ложился спать часа на два. Потом вставал, отправлялся к лесничихе за молоком и в магазин за продуктами. Потом он сидел на террасе и ждал Севу, потом ужинал и ложился спать.

Внешне это был до отвращения растительный образ жизни. По сути же Потапов вкалывал, как, может быть, никогда в жизни.

В то самое первое утро своего одиночества он вдруг счастливо понял, что раз ему для работы пока не надо сидеть за столом, писать — он должен ходить. История науки знает десятки примеров, когда открытия совершались на ходу... Да что там далеко ходить (опять же ходить!) за примерами. Платон и его академия вообще вся была построена на этих прогулках.

Тотчас же он, правда, подумал, что слова типа «открытие» как-то не очень ловко употреблять по отношению к себе. Надо же — «открытие»! Ай да гражданин Потапов, скромный ученый!

Так понасмехавшись над собой во время варки и поедания геркулесовой каши, он, однако, сразу после завтрака отправился в лес. Шел и размышлял — наверно, это не всякому подойдет, но Потапову подходило. Может быть, дело в том, что он был профессиональным спортсменом и в движении его организм чувствовал себя естественно?.. А как же тогда Платон? Всю жизнь проходил по дорожкам своей академии — тоже, что ли, спортсмен?.. Эх тебя, товарищ, на сравнения тянет! Платон — Потапов...

Так он начинал, втягивался в эту работу на ходу. Сперва напыляло все отвлеченное, все вокруг да около, но потом он погружался в свое главное, в поиски той идеи, которая сумела бы связать его разрозненные мысли.

Причем теперь он уже не бродил словно слепой, как было в тот вечер возвращения от Тани. Он замечал буйное воскресение леса. Вечером, уже легши на диван с говорящими пружинами, он вспоминал знакомые повороты дороги, крики птиц... Он сразу понял, что будет ходить одним и тем же маршрутом, чтобы не тратить сил на разыскивание пути.

Маршрут этот был хорош и длинен. Его показал Потапову однажды Сева. Все по просеке, по просеке, потом через болотце, потом по длинной вымирающей березовой аллее, неизвестно кем и когда посаженной среди елового леса. И дальше через поля, поля. Так просторно идти там было! Жаворонки появились. Бьются-бьются в небесах. От них летит вниз прозрачная сверкающая нить песни. А сколько-то еще пройдешь, и снова песня... Жаворонки — верстовые столбы весенней России.

А потом снова лес, молодой березняк и осинник. И уж до дому недалеко, не больше часу хорошего хода. Всего же часа четыре, а в переводе на расстояние — километров пятнадцать, что ли...

Сегодня он отправлялся в третье свое путешествие, уже предвкушая дальнюю знакомую дорогу и думы-думы... Мой маршрут — это мой кабинет. Так он сказал себе. И вдруг вспомнил: что-то подобное ему говорила Валя. Это ведь она любит одни и те же места. И может быть, от ее искорки и придумалось Потапову ходить. И ходить все по знакомому!

За последние лет двадцать пять род человеческий стал до того уж туристическим, просто никаких сил! Все куда-то едут: и там мы бывали и то мы посетили. И все вроде видели и все запечатлели на киноплёнку... Запечатлеть-то запечатлели, а полюбить не успели. Потому что к месту надо приглядываться. К каждой березе, к каждой поляне. Тогда много можно увидеть и до многого додуматься... Вот как Валечка моя, в душе своей сказал Потапов.

Тут он затормозился на полмгновенья, оставил воспоминание о Вале на опушке, а сам пошел в просеку своего кабинета. Сказал себе почти спокойно: вот сегодня и придумается, увидишь! Валю-то вспомнил недаром... Нет, он и прежде ее вспоминал, конечно. Но только вечером, не во время работы.

То, что он искал столько часов, придумалось ему в поле. Он стоял и слушал песню жаворонка. И тут заметил, что глазами ищет эту прозрачную сверкающую нить песни, которая будто бы связывает певца с землей и не дает ему улететь. И опять все показалось Потапову до того взаимосвязано: слух, зрение, обоняние, осязание... Вдруг — сразу после жаворонка — он подумал о больном, которому щупают пульс, и слушают хрипы в легких, и пробуют рукою жар, и... Ну и запах, и запах, конечно!

При лихорадке больной пахнет ошпаренным гусем! Вот оно, понял! Потапов чуть ли не бросился бежать по своему пятнадцатикометровому кабинету... Запахи, запахи, ошпаренный гусь, моча при какой-то там болезни пахнет антоновкой. Откуда мне это известно? А черт его знает!

Итак, диагностика по запахам. Абсолютно надежный способ, потому что «Нос» учует и одну-две молекулы. Ну пока, допустим, не учует. А в принципе... Одна-две молекулы. Ранняя диагностика... Чего? Да чего угодно! Даже шизофрения должна чем-то пахнуть и даже порок сердца!

Ранняя диагностика... Да пошел ты знаешь куда! Ты глубже бери. Болезнь — запах. Но и здоровье — запах. Так сказать, благоухание, цветение здоровья. А ведь, наверное, в самом деле существует этот запах... Комплекс запахов! Дальше все элементарно: берем будущий «Нос» и с помощью ЭВМ описываем все запахи всех цветков здоровья данного индивида.

Любое отклонение — сигнал! Сверяемся по перечню запахов болезней. И при одной только мысли о беспорядке имеем информацию. То есть при необходимости можно лечить чуть ли не на уровне первой тысячи микробов. Когда еще даже защитные реакции самого организма, что называется, и не думали почесаться...

Нет, наверно, зарываешься, парень! В организме всегда есть враждебные микробы, только им не дают развиваться те самые защитные реакции, про которые ты так небрежно отозвался... Ну хорошо! Я, собственно, и не собираюсь соваться в слишком медицинские вопросы. Я разрабатываю чисто теоретический уровень проблемы... Нет, все же немного надо медицинки бы зацепить... Надо в Ленинскую библиотеку ехать! И поискать кого-то в Академии наук, в институте каком-нибудь академическом. Там ребят сумасшедших пруд пруди...

Оказалось, что в это время он мчится по березняку, по осиннику, словно скорый поезд. Ветки шарахались от него в разные стороны... Сердчишко-то бьется, сердчишко-то бьется, милый... Не стыдно? Вот тебя бы первого и понюхать... Он представил себе свою карту патологозапахов, карту тех болезней, которые только подкрадываются к нему, много курящему и давно забывшему, что такое режим... А ведь я считаюсь практически здоровым. И сделалось страшновато: на кой аллах это мне узнавать — чем я заболел завтра или послезавтра? Да не тебе, дурачок, успокойся. Не тебе это надо знать, а врачу.

Как интересно-то, Сан Саныч! Совершенно меняется вся психология лечения. Вообще никаких лекарств, вообще никаких операций... ну кроме, конечно, вправления вывихов и тому подобного... Учужал, что доза запаха превышает допустимую норму, — активизируешь защитную реакцию организма, и все, и нет проблем... Да неужели это правда? Он сидел на молодой, готовой жить всю весну и лето траве, над ним весело орали птицы, над ним ныли комары. И некоторые из них, конечно же, исподлялись прокрасться и тяпнуть Потапова. Но он ничего этого не замечал. Маленький человек в нем кричал и визжал что было сил: «Кусают, чешется!» Потапов его не слышал, он общался с большим человеком. Они сидели обнявшись на молодой траве и — даже не мыслили, а скорее мечтали.

Ох, это очень тонкая вещь — план реальной мечты. В сущности, это самые сливки интеллектуальной работы. Но до чего ж они эфемерны, и как трудно их поймать и сформулировать.

Сейчас Потапов формулировал их как простые и грубые задачи. На него сошло вдохновение — так до комаров ли ему было!.. Вот вечером — это пожалуйста, это другое дело. Вечером, в постели, он весело очесывался, слюнявил по старинному маминему рецепту

наиболее горячие места и вспоминал, где же это, елки-палки, его так обглодали? И не мог вспомнить!

А его обглодали именно здесь и именно в эту вот минуту, когда он мечтал, сидя на молодой траве, на молодой земле, готовой рожать. Глядя на молодую листву осин, которая должна вздрагивать и трепетать по самому определению своему (дрожит, как осиновый лист), но сейчас была тиха, словно во сне... Присутствую при редчайшем событии в природе, с удовольствием подумал Потапов и улыбнулся.

Взгляд его между тем пронзил эту листву, ажурную преграду, прошел мимо легчайших весенних облаков... Дальше и выше началась область чистой синева, и там Потапову с его «Носом» было, пожалуй, делать нечего. Но взгляд упорно стремился куда-то еще дальше. Уже мысленно он пробил атмосферу, вырвался в черный и пылающий космос. Потапов увидел его бесконечную ночь и косматые дыры звезд, из которых било пламя... Странная и будто бы смешная пришла Потапову мысль: а чем звезды пахнут? Пахнут же они чем-нибудь? Когда-то эта мысль уже приходила ему.

Пахнут или нет? Он не знал.

Но его поразила сама невероятность этой идеи. «Достаточно ли она сумасшедшая, а, как вы считаете?» Она была достаточно сумасшедшая! Мама моя! Да что же это такое? Новое направление в астрономии? Астрономия запахов? Например, запах черной дыры!.. Совсем ты сбрендил, Потапов! Оттуда даже свет не вырывается. Какой еще запах?!

Он усмехнулся: ну пусть антизапах!.. А что такое антизапах?

Пока он не знал этого. Антизапах — странное слово, странная фантазия... Просто надо подумать над физическим смыслом антизапаха... понятия антизапах.

Он поднялся и шатаясь пошел в обратную сторону, не через березняк и осинник к дому, а снова в поля. Он был пьян своим успехом. Он мог бы сейчас, наверное, решить любую проблему. Все виделось и чувствовалось так остро, как никогда... Как, может быть, никогда уж и не будет.

Но именно в этот момент маленький человек, сидящий в душе Потапова, понял, что если он сейчас же не вмешается, будет конец — замыкание и потаповская ЭВМ просто перегорит от избытка вдохновения. Ужас придал маленькому человеку силы, он стал расти. Но все равно, конечно, несравнимо отставал от большого человека, который был в эти секунды бесконечен. И тогда маленький пошел на хитрость, он подкинул большому человеку хорошую, но совершенно неприменимую к делу идею...

Потапов вышел в поле и остановился, захваченный удивительной и чудесной картиной. Он увидел ярко-зеленый квадрат озими, уже вполне крепкой и кустистой, а дальше темную зелень клевера, а дальше крохотные, но боевые пики ярового хлеба, а дальше просто кусок луга, наверное, используемый под пастбище, с простою травой, которая начинала уже зацветать. Слева и справа квадраты эти клещами охватывал лес — тот ельник, из которого вышел, а вернее выбежал Потапов, лес темный и строгий.

И все это он сумел охватить единым взглядом, единой картиной. Все росло — вот что увидел Потапов. Медленно ползло вверх. Словно что-то выдавливало их — и траву, и клевер, и озимь, словно что-то тянуло клещами. Непрерывная могучая работа. Да, это была очень мирная картина, но в чем-то и грозная, слишком уж мощная и едиனுдушная.

Но Потапова не пугала ни увиденная им вдруг мощь, ни грозная сила происходящей работы. Он только радовался и мощи и грозности. Так в детстве он пробирался утром седьмого ноября на улицу Горького (благо жил рядом, благо знал дворы и перелазы, которые

не были известны даже охранению) и смотрел, как на Красную площадь движутся войска для парада. В такие секунды он, мальчишка, испытывал те же чувства, что и сейчас: это грозное, это страшное, но это за меня и для меня!

Здесь работала сама Земля! Потапов смотрел и не мог насмотреться на эту картину. И все более проникался спокойствием ее и силой. Оставив «Нос» до послеобеденного сидения на террасе, он спокойно и мирно отправился домой — как бы хозяин всего этого мира. И мысли у него были спокойные, хозяйские. Никакой тебе агрессии — а ведь научное исследование мира есть завоевание его, а значит, и агрессия. Но для Потапова, коли он стал хозяином, это было бы противестественно, немислимо!

Он шел, думая о простом. Вернее, он и не думал вовсе, а лишь подмечал все новые богатства и совершенства своего владения. При этом душа его и мозг получали отдых.

Маленький человек, сидя на отведенном ему стуле в душе Потапова, тоже отдыхал, блаженно и чуть бессмысленно улыбаясь. И можно было подумать: эх ты, от чего же ты спас своего хозяина? Ведь от... вдохновения! Да простится ли тебе это когда-нибудь?

Спаситель непрошенный!

Но представьте себе, все-таки он спас Потапова. Как и всех нас спасают маленькие человечки, если мы попадаем в такие ситуации (что, впрочем, случается довольно редко). Маленькие человечки, эти завхозы души, валят нас с ног усталостью, или — как Потапову — подкидывают какую-нибудь красивую, но вполне постороннюю идею, про которую мы не можем думать в полную силу просто из-за того, что недостаточно подготовлены, или организуют откуда ни возьмись интересную ассоциацию, дорогое воспоминание и... И человек спасен от слишком сильного вдохновения.

Банальная мудрость любит повторять нам, что от счастья еще никто не умирал. Верно! И заботятся о том маленькие человечки, средоточия охранительных устройств нашей души.

Письмо

После обеда и сна он решил еще немного поработать. Именно немного и не очень трудно... Потапов хорошо знал цену своей ЭВМ (а вернее, МВМ — мозговой вычислительной машине): если сегодня переработаться, завтра она будет хандрить, думать через пень-колоду. Вернее так: полутворческую работу (например, литературу читать, выписки делать) — это ее можно заставлять много и долго. Но настоящую творческую — только до определенного порога. Дальше баста. И завтра, если опять вовремя не остановишься, будешь расплачиваться уже весьма ощутимой бесталанностью.

Впрочем, можно избрать и такой метод: дикая работа — сумасшедшее расслабление. По принципу: «Он до смерти работает, до полусмерти пьет». Этим уравнением (а ведь это, в сущности говоря, именно уравнение) Потапов, к счастью, не мог воспользоваться. Таков уж был его организм: он никудашно переносил алкоголь. Опохмеляясь, только пьянел, а вовсе не приводил себя в нормальное состояние, о чем любят рассказывать застольные поверья.

По всему этому Потапов пил редко. Как и многие мужчины (или, по крайней мере, как некоторые), он любил выпить. Но куда больше любил он свою работу, любил вообще работать...

В реальном его бытии происходило следующее: он просто должен был следить за своей МВМ и вовремя смазывать ее отдыхом, то есть относиться к ней как к живому существу, а не как, действительно, к электронно-вычислительной машине.

Собственно, отношения между личностью Потапова и его МВМ (если только их можно было разделить) трудно было назвать экс-

плуатацией. Тут происходило скорее взаимное, хотя и довольно жесткое сотрудничество. Конечно, МВМ тратила свою творческую энергию. Но и личности Потапова было нелегко. Она должна была постоянно держать высокий потенциал волевого усилия. Без этого МВМ черта с два заработает!

Сейчас, отобедав и поспав, то есть отдохнув вроде бы хорошо, он по некоторым признакам понял, что МВМ на сегодня подустала и до завтра не восстановится. В частности, он не услышал в себе мощного волевого импульса, которым обычно запускал МВМ. Потапов не испугался, не расстроился — многое в его отношениях с МВМ делалось, естественно, на рефлекторном уровне. МВМ сама и моментально просчитала приемлемый для всех выход. Потапов постоял секунду на террасе, подумал: что-то я не писал давно. Он вернулся в дом, взял ручку и бумагу и часа за два с половиной набросал нечто вроде статьи, а может, докладной записки, где излагал новые принципы использования «Носа», собственно, еще не существующего «Нового Носа».

Это была как раз та самая полутворческая работа, возможная сейчас для МВМ. Все продумано, он идет по уже известному пути, лишь расчищая кое-какие закоулки точной мыслью, которая как раз и появляется во время размещения всего хозяйства на бумаге.

По ходу дела придумались еще две идейки служебного характера: «Нос» можно было бы использовать в криминалистике (скажем, для определения, присутствует запах подозреваемого в данном помещении или нет) и в геологии, поскольку известно, что над всяким месторождением висит некое диффузное облако, то есть облако испарившихся из месторождения атомов, конечно, невероятной разреженности. Однако для «Нового Носа» (соответствующим образом оборудованного) и этого запаха может оказаться достаточно. Все же Потапова куда больше привлекали две первые идеи — «Нос» медицинский и «Нос» космический. Это было здорово, это была настоящая теория... Ну а практических применений можно было бы насочинять хоть сто штук. Скажем, «Нос» мог бы определять с какой угодно точностью степень готовности борща, запросо дегустировать чай, вина и так далее. Но стоит ли палить из пушек по воробьям?

В своей «докладной статье» он лишь указал на некий практически бесконечный ряд применений. Затем Потапов отложил ручку и полчаса посидел, утопая в покое, глядя на вечеряющий день, на усталые после работы деревья и траву, на вовсе не усталых воробьев, разыгрывающих свои драмы непосредственно на ближайшей к террасе яблоне. Потом он еще раз перечитал статью, остался ею доволен и, сказав себе, что на сегодня хватит, стал просто сидеть, гоняя комаров и ожидая Севу.

Да, он был доволен собой — состояние для человеческой души не самое, конечно, достойное. Однако и без него нельзя — согласитесь! С этим вечным неудовлетворением долго не вытянешь: ну чего в самом деле стараться-то, когда без конца бьешься как рыба об лед, а успех на нуле!

Нет, законное довольство собой — вещь необходимая и положительная. Потапов же был доволен собой вполне законно. И счастливый рабочий день по-иному освещал в нем все... Мама. Он не виделся с нею почти месяц. Но звонит регулярно, знает, что она здорова. Знает, что днями они уезжают с отцом в Крым на целое лето. Есть на свете такое чудесное место — Рабочий Уголок. И там живет его бывшая нянька, тетя Феня. Пусть я редко их видел, а вот провожу обязательно, выберу время!

Он представил, как идет под руку с мамой вдоль железнодорожного состава... Отец же в это время будет шагать впереди, сердито и нервно оглядываясь. Такая уж у него натура: вечно он беспокоит-

ся, как бы не опоздать. Придет, сядет на место и еще долго будет отходить после своей сердитости.

И с Танечкой у меня все наладится... Да, наладится вот! Хотя и знал, что не наладится до конца, что быть ему приходящим отцом и долгие-долгие годы смотреть в Танины внимательные и обиженные глаза. А в чем та обида, она и сама не знает.

Ничего, придет срок, я ей все... Нет, ничего он ей и никогда не расскажет. Потому что мать — это мать. И надо стать хуже самого последнего подлеца, чтобы произнести против нее хотя бы одно слово. Ладно, Танька, проживем, проживем, вот увидишь... Верно, Танюль?

Не хотелось ему сегодня думать только об Олеге. И он стал думать о другом. О чистом. Он стал думать про Валю. Эти мысли прежде, два или три дня назад, вызвали бы у него, наверное, досаду и обиду... Но сегодня все так удачно было у него, в спокойной своей душе Потапов чувствовал только грусть. И даже более: в самой глубине ему не верилось, что все вдруг так прекратится между ними, что все уже прекратилось. Что-то еще должно произойти.

Неожиданно Потапов догадался: да ведь я должен написать ей письмо! Он взял листки со своей статьей. Там внизу, как он помнил, оставался один чистый. И это тоже было как бы удачей, как бы везением — раз он остался, этот листок.

Долго Потапов размышлял, как же ему написать самое первое слово: «дорогая», «милая»? И хотелось и как-то было боязно выводить их на бумаге... Каждый ведь так начал бы.

Ну и что — каждый? Вот и хорошо! И написал: «Здравствуй, милая Валя!». Ему понравилось, как она выглядит на бумаге, эта первая строчка. И особенно нравилось слово «Валя». Оказалось, ему доставляет острое удовольствие писать это имя. Потапов улыбнулся и вздохнул, не заметив ни того, ни другого. И дальше стал ровными и быстрыми строчками заполнять свой «счастливый» лист. Он никогда не был хорошим сочинителем писем, ни тем более стилистом. И не замечал, что у него по три раза на двух строках попадает слово «был», и однокоренные стоят рядом, и с запятыми не все в порядке. Но и Валя, наверное, тоже ничего такого не заметит. Не в том ведь дело-то!

Потапов сумел написать и о даче, и о Тане, и о работе своей... Эх, он подумал, а о Танюле-то она разве что-нибудь знает? И приписал сверху: «Это моя дочка».

Потом, когда на листе уже мало оставалось места, он понял, что не сказал самого главного — о своей любви. Но чувствуя свою какую-то излишнюю огромность и неуклюжесть перед такими хрупкими словами да и свою полную неумелость, он лишь приписал: «Целую. Жду от тебя письма».

Бегло просмотрел написанное, не решаясь сказать себе, доволен он или недоволен. Знал только: он сделал то, что хотел. Затем сложил листок тем же аккуратным манером, каким складывал особо важные бумаги для отправки в инстанции, и пошел на почту.

Идти было далеко, километра два. Потапов шел и радовался. В пиджаке, во внутреннем кармане тихо шебаршилось письмо. Народу ему попадалось совсем мало, а машин и того меньше. Кроны весенних берез в чуть загустевшем вечернем воздухе становились похожи на огромные воздушные шары.

Что, живем. Потапыч? Живем-живем! Чудик, а как же она тебе напишет? Она ж твоего адреса не знает. А мы ей на конверте. Все самым подробным образом: Московская область, такая-то железная дорога, станция такая-то, улица Ломоносова, 26, товарищу Сан Санычу Потапову. И сколько же, по-твоему, письмо будет идти? А сейчас посчитаем. Пять суток туда, день на ответ, пять суток обратно. Итого **одиннадцать... ну двенадцать дней.**

А мы за это время в общих, так сказать, закономерностях работаем математический аппарат... Ну конечно, придется посидеть... Три дня на Ленинку — как отдать!.. И маму проводить и с Таней повидаться... Ничего, ты мужик здоровый!

Не перечитывая, он сунул письмо в конверт, старательно его заклеил. Потом сунул письмо в большой деревянный ящик и тут же вышел из почты... И остановился. Прямо на него глядел пустой телефон-автомат. Надо же, нововведение! То был внутри, а теперь пожалуйста, на улице. Трезвонь круглосуточно! Опускаешь пятиалтынный — получаешь Москву... Институт... Он глянул на часы. Да нет, поздновато уже, разошлась контора по домам.

И снова он увидел в этом предзнаменование, что ли. Вот такое слово... И решил: звонить тебе, милый, в день получения Валиного письма, в день окончания «общих разработок», или как бы их половчее обозвать. Вот так и будет. Железно.

Теперь он мог спокойно, без злобы, без нервов подумать об Олеге, посмотреть ему в лицо: ну что ж, давай-ка посчитаемся. И остановился в мыслях своих. Вспомнил чьи-то хорошие слова про то, что выигранных войн не бывает... Чьи же это слова? Не помню, неважно. Но вот, значит, как. В этих сварах — все проигравшие. Олег затеял и победил, а на самом деле тоже проиграл. И теперь, если он, Потапов, затеет свою благородную месть, он тоже проиграет, погрозит в этом мушином клею...

Если даже ты нанесешь ответный удар, то удар, полученный тобою, от этого не исчезнет. Просто одним ударом на свете станет больше — вот и все. И еще: пока ты будешь готовить свою месть, сколько же сил у тебя уйдет! Действие равно противодействию — это только у Ньютона. По-настоящему на противодействие сил уходит чуть ли не на порядок больше: слишком велики накладные расходы мести. Сладость отмщения — вот что нам предлагается как эквивалент затраченных усилий. Сладость отмщения — похлебка из мухоморов, самая обманная сладость на свете и самая низкая: я удачно сконструировал зло и рад тому.

И еще посмотри-ка, Потапов: кто есть классические (да и неклассические тоже) злодеи? Прежде всего люди неспособные... Способен тот, кто творит, производит, делает неорганизованную материю организованной, то есть уменьшает энтропию Вселенной. А зло просто болезнь. А значит, временное явление... Ну пусть не в отрезке твоей жизни (что поделаться!), а все равно временное. Антизло — творчество!

Вот так, Олег! Вот это все и поимей в виду!.. Здесь Потапов обнаружил, что говорит свой монолог со злобой, со злорадством. Словно все-таки он отомстил!

Невольно он усмехнулся сам на себя: ну молоток, молодчина, нечего сказать. Все растолковал, а потом злорадно успокоился — мол, отомстил я Олежку!..

Как те мужики, которым долго рассказывали об устройстве трактора, они вроде разобрались до последнего винтика, а потом и спрашивают: «А куды ж лошадь-ту запрягать?»

Он проснулся — было раненько. Неустанное весеннее солнце, конечно, уже трудилось. Потапов порадовался этому обстоятельству, порадовался своей ясной голове и готовности сесть за работу... Да, милый, сегодня уже именно сесть! Довольно прогулок.

Любимая тетка его учила, покойная Варвара Павловна: «Спишь — спи, а проснулся — вставай!» И он встал. Голова была просто на редкость ясная. Буквально как сегодняшнее утро. Он вспомнил вдруг слова Севы: «Утром я всегда радуюсь тому, что не выкурил ту последнюю сигарету, которую хотел вчера выкурить». А ведь и я этому же радуюсь, подумал Потапов. Вчера он как-то забыл о сигаретах: возвращался с почты, размышлял, сидел на крыльце. Последнюю сигарету

выкурил часов в шесть... Месяц назад вещь для него совершенно невозможная!

Он позавтракал своей кашей, вышел на терраску, думая, где ему лучше сесть заниматься, достал из кармана пачку «Пегаса»... Сердце билось очень ровно и легко, словно старалось доказать: да вот же я как умею без твоих папирос!.. Потапов размял сигаретку, поднес ко рту... Нет, конечно, слабо мне бросить...

Он сунул пегасину обратно в пачку. Ну брошу я — сразу начну толстеть: проверено не одним поколением бросальщиков. А уж мне тем более опасно: мужик здоровый, аппетит — зверь!

А ты спортом себя, спортом, быстренько шепнул маленький человек. Ничего себе заявочки, подумал Потапов. Он сел на крыльцо, выкурил свою пегасину, сердце забилося грозно и тяжело. Глотнув на прощание весеннего утра, Потапов пошел наверх, где стоял Севин письменный стол, и пыхтел до обеда, через каждый час выходя покурить, как это он всегда делал в Ленинке... А зачем я хожу? Сиди за столом да кури сколько влезет. Он подумал секунду и сообразил: оказывается, ему хотелось, чтобы в рабочем помещении воздух оставался свежим... Вот новости-то!

После обеда и сна ему по расписанию полагалось сидение на террасе. Однако он и так сидел сиднем целых полдня, теперь не худо бы подвигаться. Он сам себе еще не хотел признаваться, что задумал. Только сказал неопределенно, что надо бы до магазина дойти — может каких консервов прихватить.

Но не за килькой в томате он отправился! Рядом с «Продуктами» был и другой магазин — «Культтовары», такое чисто сельское заведение, где вполне дружески соседствовали духи, пластинки, цветной телевизор, два мопеда, стиральный порошок, еще всякая всячина. И, между прочим, кое-какие спортивные принадлежности.

Итак, он вошел в «Культтовары» и спросил смехом, нету ли у них, к примеру, тапочек сорок четвертого размера.

Продавщица, женщина лет пятидесяти, милая, только, пожалуй, чуть перенакрашенная, выложила перед ним тапочки. И даже двух сортов.

— Прекрасно, — сказал Потапов, продолжая все еще как бы развлекаться. — А нет ли у вас тренировочного костюма, лучше хабз, вот на такого дядю?

— На какого дядю?

— Да вот на такого, что стоит перед вами!

Нашелся, представьте себе, и костюмчик хабз!

— А может, — поинтересовался Потапов, — у вас есть и шерстяные носки к этим тапочкам?

— Шерсть с вигонью, — ответила продавщица. И от этого слова на Потапова повеяло старым-старым чем-то, детским, родным, маминым. Вигоневых носков носил он не один десяток пар. Давно это было, давненько, в первом — четвертом классах... А теперь шерсть с вигонью! Взрослеете, товарищ, имеете возможность носить улучшенное качество... И сказал продавщице:

— Знаете что, заверните ка мне всю эту продукцию...

Маленький человек торжествовал победу!

Дома Потапов с недоверчивым удивлением осмотрел купленные вещи... Примерить. что ли?.. Но примерять не стал. сел за работу. И работал и работал допоздна, до изнеможения, почти до полусмерти. Никак не мог остановиться, хотя голодный был как собака. Но все продолжал продираться сквозь джунгли им же самим выращенных цифр и формул.

И уже давно плюнул на свежий воздух, курил, как паровоз, не сходя со стула... Стало сизо и дымно, словно на директорате. Распахнутое окно не справлялось с никотиновым озером. У потаповских

легких производительность была выше, чем у полукруглой двусторонней дыры площадью примерно в один квадратный метр.

Именно при слове «легкие» он и опомнился, отодвинул в сторону бумаги, машинально закурил новую папиросу, усталыми глазами окинул поле боя. Тягучий дым из глубины комнаты проплывал мимо зажженной лампы и пропадал в темном окне.

Потапов поднялся — застучало в висках. И тотчас сердце ответило тоже сильным и частым стуком... Совсем я с ума сошел! Он отправился вниз, заглянул в свои кастрюльки, странно, теперь есть уже ни черта не котелось... Кое-как он умылся, потушил свет, перед глазами горели химия и математика. Легкие были двумя вздутыми, обожженными изнутри мешками, как всегда бывает после перекурита.

Я работал, оправдывался большой человек, я продвинулся вперед!.. Продвинулся ты! На тот свет ты продвинулся. Ну спи, спи, теперь отдыхай хотя бы!

Он повернулся на правый бок, закрыл глаза. Но все казалось ему неудобно. Подушка лежала каким-то комом, чертова пружина нагло лезла в бок. Мама когда-то учила его засыпать, считая удары сердца. Сейчас он решил попробовать этот способ, подумал: никуда не денутся биоритмы, должно подействовать! Но сердечная мышца, оттого что он стал считать ее сокращения, начала сжиматься сильнее, чем нужно, и чаще — словно он шел в гору...

Встал, включил свет. Шлепая босыми ногами, пошел в Севкину комнату, где были полки с книгами. Ни одной из книг брать не хотелось. Перед Севиной кроватью на полу увидел несколько «Советских спортивных»... Время тянулось. Он читал и нервничал, словно боялся проспать в институт... Наконец он отложил «Спорт», прочитанный почти от корки до корки. В голове появилась некая тупая усталость, сердце стало биться потише. Теперь надо не упустить момент. Он повернулся на правый бок, закрыл глаза, осторожно попробовал считать свое сердце. Раз-та-та, два-та-та, три-та-та—билося оно. Потапов лежал тихо, боясь вспугнуть этот успокаивающийся стук. А сердце билось-билося, и наконец владелец его уснул.

Проснулся он рано, так как большой человек, давно уж посматривавший на часы, не вытерпел и стал его будить. Маленький висел у большого на руке. Но большой все-таки растолкал Потапова. И Потапов проснулся, понимая, что должен проснуться, но чувствовал себя таким невеселым, таким нерабочим!

Он сел на кровати, поеживаясь от холода... Ну что будем делать, спросил маленький большого, куда ты лез? Я ж тебе русским языком объяснял!.. Большой пожал плечами, молча и мрачно отошел в угол. Тогда стал распоряжаться маленький.

Как бы играя сам с собой в какую-то игру, Потапов взял с кресла купленные вчера спортивные штаны, надел их, а потом спортивную рубашку, носки (вигонь с шерстью — сердце радуется), полукедушки... Эхма! Дуванем сейчас будь здоровчик!

Он решил пробежаться немного. А зарядку — посмотрим на ваше поведение.

Вперед! Вперед, Потапыч! Уж чего-чего, а кроссов он за свою жизнь понабегался. И вот сейчас, как бы вспоминая прошлые ощущения, он побежал по дорожке к забору, потом по улице, к Севкиным соснам и мимо сосен, к речке, а потом по дороге, что тянулась вдоль высоковольтных мачт. Он бежал, совершенно не представляя, как это выглядит со стороны. Только чувствовал, что шаг его стал тяжелым, не пружинистым, не прыгучим. Так, должно быть, бегут по песку или по болоту...

Но сердце пока работало, легкие дышали... Минуты через три-четыре продыхался вчерашний перекурит. — кашель, чуть ли не истерический, охватил Потапова. Он продолжал бежать, шатаясь, чувствуя,

что его сейчас вырвет. И все же было огромное облегчение, очищение в этой пытке бегом. Он чувствовал, как у него из всех пор выходят накопившиеся грязь, шлаки. Организм его словно просыпался, вспомнил себя спортивного. Но первыми просыпались его спортивные травмы. Ведь едва ли не любой профессиональный спортсмен — это целый комплекс болячек, залеченных часто лишь наспех из-за желания скорее начать тренироваться, выступать... Теперь Потапов вспоминал их одну за другой.

Поясница. Когда-то в короткой борьбе под щитом он неудачно приземлился на одну ногу, слишком резко отклонился назад, и в пояснице хрустнуло. Сперва даже сказали: защемление нерва. Но потихонечку отпустило. Осталась боль, которую вполне можно было терпеть. Боль-напоминание.

И левое колено. Однажды, обыгрывая чужого защитника, он сделал слишком резкий финт и сразу почувствовал боль, но все же успел дать пас под кольцо и, уже не глядя, получили они два очка или нет, запрыгал к скамейке запасных. И снова думали, что плохи дела, что мениск или разрыв связок. Но коленка только припухла, скоро врач разрешил потихоньку нагружаться. Только, конечно, с наколенником. И уж с этим наколенником Потапов не расставался до конца баскетбольной карьеры. И на снимке, где они стоят — новоиспеченная команда мастеров, он тоже в наколеннике.

И, наконец, правый голеностоп — растяжение, растяжение, вывих. Когда прыгаешь в толкучке под щитом, не часто, но случается, что какой-нибудь олух царя небесного наступит тебе на ногу. Вот и готов твой голеностопчик.

И сейчас вся эта троица потихонечку заныла, словно здороваясь со своим хозяином. Потапов продолжал бежать, зная, что боль прекратится, как только он хорошенько разогреется. И он живо вспомнил тренировки, чувство мышечной радости от спортивной работы, запах зала и запах раздевалки, лица ребят...

Он бежал, и старые травмы его действительно разогрелись, боль прошла. Наступили самые счастливые секунды в его тренировке — секунды полной, спокойной и дружной работы. Только продолжалось это недолго. Потапов начал уставать, задыхаться. Такие будто бы неустанные в работе мышцы легких перестали быть эластичными. А воздуху требовалось все больше!

Восемь минут — вот сколько он пробежал. Это значит километра полтора или даже чуть меньше. Надо поворачивать, он подумал, иначе не долетусь. Воздух стал жестким, словно врвался в легкие перемешанный с песком. Он буквально вполз на горку к Севкиным соснам. И как хрустальный приз воспринял последние триста метров с горы от сосен до калитки.

Прошло минут десять, которые Потапов просто ходил вокруг дома и дышал. Усталость его почти совершенно прошла. Не пожалев себя еще раз, Потапов окатился двумя ведрами холодной воды. Ну вот — и опять живой!

С того дня и с того утра вдруг он начал бороться за свое здоровье. Собственно, ничего такого сверхъестественного он не делал. Не занимался сыроедением, не стоял на голове. Однако он бросил курить! Бросил именно в то утро своего первого кросса, когда сел за работу и рука привычно поползла к пачке, а Потапов остановил ее!

Говорят, легче бросает тот, кто прежде курил запоем. Нет, курить ему хотелось, конечно, это ясно. Однако и вытерпеть при желании можно было. У него имелось для этого по крайней мере два стимула. Во-первых, он тайно мечтал войти в форму. Зачем? Шут его знает! Все же мастер спорта, и даже имелся соответствующий значок. А во-вторых, у бросившего курить повышается работоспособность. Будто бы на двадцать процентов! И вот этого Потапов действительно жаждал.

Когда ему особенно хотелось зажечь проклято-сладостную сига-

ретку, он вставал из-за стола и начинал делать приседания — раз по пятнадцать, по двадцать, пока не задыхался. А когда сердце колотится, когда воздуху не хватает — черта с два закуришь!

С бегом у него дела шли не больно-то хорошо. Он продолжал умирать, тренированность все не приходила. Потапов старался об этом не думать. Но всякий раз за завтраком он вспоминал один и тот же древний разговор со своим тренером... Во время прохода под кольцо (а он был мастак на эти дела, резкий был и в финтах неожиданный — сам не знал, что сделает в следующую секунду, а уж противник и тем более!), так вот, в один из таких проходиков его очень неслабо приложили об пол. Он заработал ушибы локтевого сустава и бедра левой.

Неделю Потапов был в лубке, недели две хромал, потом опять начал тренироваться. И вот, наверно, занятия через три-четыре — то есть еще и недели не прошло — тренер ему сказал:

— Я тебя, Сань, на игру, конечно, не поставлю, но, ей-богу, ты в полном порядке!

Потапов улыбнулся и пожал плечами.

— Этим не шути! — сказал тренер тихо. — Это не многим дается: так вот взять и запросто войти в форму. Это, Саня, признак класса. Настоящий организм у тебя, понятно? Спортивный!

Но теперь потаповский организм, видно, все забыл. Он вел себя скучно, по-стариковски. Только воля у Потапова осталась молодой, вот на этом и шли его тренировки.

Да, нехороши твои дела, товарищ бывший спортсмен, сказал себе Потапов как-то утром, шнуруя тапочки перед забегом. Но отчего-то сказалося это негрустно. Он подпрыгнул и побежал. И услышал то, что уже знали его мышцы, но не знал еще он сам: организм его входил в форму...

Новый возраст

В один из этих дней Потапову пришла телеграмма: «Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин. Целую. Вася». Потапов снова прочитал загадочный текст, адрес: Ломоносова, 26, Потапову Александру Александровичу. Что за чертовщина?

Текст был странный, но какой-то знакомый. Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин... За поступок благородный все его благодарят. Пожелайте что угодно, дяде Степе говорят... А-а! Это же из «Дяди Степы». Танюля сразу бы догадалась.

Кто мог отправить? Сева — больше никому! А что она значит, сия загадочная депеша? Пришла из Москвы. Значит, он вернулся. «Жив, здоров». Ну тут как-то особо не истолкуешь. А почему сюда не едет?.. Позвонить бы! Но Маше звонить никак не хотелось. И тогда он решил: лучше подождем. Объяснится, куда ему деться!

Наверное, в других обстоятельствах Потапов придумал бы окольные пути, чтобы найти Севу, хотя бы попытался. Но сейчас это ему даже не пришло в голову. Потому что он жил только своей, сосредоточенной на работе жизнью. Бегал, работал, спал, сражался с желанием закурить, снова работал, спал, бегал, работал...

Он не развлекался, не читал книг, не имел лишних мыслей, не выпивал с устатку рюмочку-другую. Любое общение он бы счел для себя бедой — отвлекает! Поэтому, когда он уехал с дачи, чтоб повидаться с родителями и Танюлей, то не позвонил ни Севе, ни в институт. Если совершенно честно, он и самую эту поездку считал потерянным днем... Подумал так и ужаснулся себе. Что же я такое? Готов за свою работу душу прозакладывать? Но что мне в этой работе? Наслаждение, наркотик? Эгоизм? Сумасшедшая гордыня? Но ведь эти мои гордыня и наркомания, помноженные на эгоизм, они же для общей пользы, для всех!..

Нестерпимо его тянуло покурить. Он выбежал на улицу. Делал

свои приседания, но уже не двадцать, а тридцать раз. И успокаивался... Молодеешь, парнишка. Животик тает. А там, глядишь, будем вес держать, как в команде!

Однажды, возвращаясь со своего кросса, он прыгал в горку на одной ножке. И вдруг увидел, что навстречу ему идет девушка. Она, улыбаясь удивленно, смотрела на Потапова. А он тоже улыбался ей, и продолжал прыгать на одной ножке, и дышал во все легкие.

Дома Потапов с особым удовольствием обливался холодной водой, чувствуя, что фигура у него действительно молодеет. Какая-то, черт возьми, упругость появилась. Побриться надо, что ли, не брился уж дня два-три. Он включил бритву, посмотрел на себя в зеркало. И смешно ему стало и грустно. Он вспомнил удивленный улыбающийся взгляд той девушки... Эх ты, старая образина, товарищ Потапов! Ты радуешься отсутствию живота, а она-то юными своими глазами видит твою седину, и морщины, и слишком густую щетину, такой у молодых ребят не бывает.

«А народ-то над ним насмеялся: поделом тебе, старый невежа! Не садись, невежа, не в свои сани!» — это он Тане читал «Сказку о рыбаке и рыбке». И они оба жалели старика. И Потапов тоже его жалел, но так, как жалеют кого-то тебе постороннего... Теперь это все прямо стало относиться к нему: «Не садись ты, невежа, не в свои сани!» И тут же вспомнилась холодная Маша: «Зачем он так усиленно занимается спортом? Чтобы к шестидесяти пяти стать неестественно молодым стариком?»

И все-таки он чувствовал себя молодцом — хоть убей! Потому что за плечами у него надежно стояла несметная рать — его работа. И с каждым днем, с каждым часом она росла. Потапов все дальше продвигался вперед, уничтожал неорганизованную материю, уменьшал энтропию Вселенной.

А юность... ну что ж с ней поделаешь. Была — нету! Вот работа моя есть, существует, хоть я совсем умри. А умирать я не собираюсь!.. Так он рассуждал сам с собой и опять садился за письменный стол. У него клеилось, шло дело. И завершение было лишь вопросом времени и вопросом вдохновения.

С вдохновением у Потапова было в порядке, со временем — хуже. Сегодня его письмо уже, наверное, приехало в Текстильный. Завтра Валя прочтает его. То есть осталась неделя!

Не больше... Потому что и с конторой ему тянуть никак было нельзя. И так уж все это выглядит не слишком: руководитель и вдруг взял да исчез! Будь ты хоть десять раз вроде в ссылку сосланный, все равно так не годится. Вот и правильно выходит, что тебя не назначили вместо Лужка!

Но стойте. Все эти разговоры были бы правомочны, если б Потапов сидел без дела. На юге, скажем, разные части тела грел и пульку расписывал. А он-то что делает! И тогда получается совсем иной разговор, верно? Однако, чтоб разговор был действительно иным, нужно дело, результат. И в какие-то весьма и весьма обозримые сроки. Неделя даже многовато. Это уж просто потому, что Потапову раньше никак не успеть.

Он работал... Если б по-настоящему снимать фильм о труде ученого-теоретика, это получилось бы жутко скучное кино. Сидит человек за столом и сидит. Десять секунда пишет, десять минут думает — больше буквально ничего. И звуковое оформление тоже было бы не дай господи! Ну может, когда стул скрипнет, ну может, когда страничка шелестнет... Потапов этого не замечал, но уже несколько дней он жил в крошечной тишине.

Однако он не слышал даже тишины. Потому что в голове его звучал грохот сражения, то похожий действительно на грохот, то похожий на музыку — это он решал свою задачу, свою огромную задачу, состоящую из тысячи маленьких.

Каждый выведенный им знак гудел и звучал по-своему. Основные, основательные отвечали, на взгляд Потапова, густым баритоном. И это нравилось ему, как бы соответствовало его комплекции. А всякая вспомогательная чепуха звенела вроде осколков, мелких ледышек. Звук их проскакивал быстро, словно холодок по спине. Среди них бывал какой-нибудь один, который выпрыгивал, словно черт из табакерки. Он заставлял своим звучанием приглядываться к нему. И чаще всего это бывала ложь, ошибка.

Тогда Потапов шел назад до того места, где им был обретен плевел, и беспощадно выпалывал его. И когда он делал это, раздавался сухой, как бы траурный шорох. Потому что убитая Потаповым мысль была его собственной мыслью. Теперь если кто-то и захочет проследить ход потаповских рассуждений, то помчится по благоустроенному шоссе готовых выкладок. И просто невозможно себе представить, что этот кто-то остановится у обочины и станет заниматься розысками отринутого... Как сам Потапов брал какие-то формулы и понятия уже готовыми к употреблению, так и его теорию «Носа», такую новенькую, такую совершенную на сегодняшнюю секунду, когда-нибудь возьмут как готовый блок, как часть чего-то несравненно более совершенного. И скажут: недурно, мол, все сделано, математически весьма элегантно. Или наоборот: до чего ж коряво, скажут, ну да ладно, пока работает и шут с ним!

Итак, если Потапов зачеркивал что-либо в своих записях, он зачеркивал навсегда... Впрочем, на этой войне вообще выживали очень немногие, в братскую могилу шли даже вполне надежные солдаты. К сожалению, они почти все оказывались лишь математическим аппаратом. А уж когда потаповская теория уляжется в некую пятистраничную статью, то все эти верные солдаты будут сидеть и лежать страшно сжатые под несправедливым прессом слов типа «несложно привести» (формулу такую-то несложно привести к следующему виду...) или «легко показать» (а если величины «фи» и «альфа» равны, то, используя математический аппарат, легко показать, что...) и так далее.

Вовсе не «легко показать» и вовсе не «несложно привести». Первопроходец, в данном случае Потапов, изрядно поломал над этим голову. Но такова уж традиция в изложении материала.

Во время работы в математическом шуме и музыке ему слышались иногда какие-то слова. Это он сам произносил их каким-то незнающим на работе участком коры. А почему-отчего — неизвестно. От азарта, что ли... Так мальчишка на контрольной зачем-то сидит с высунутым кончиком языка, словно сам себя дразнит.

Вечером, после дня работы — грохота, музыки, неясных разговоров — ему хотелось тишины. В тишине хотелось ему тишины. Несколько раз, не веря себе, он включал приемник. И скоро выключал его. Сидел на террасе, смотрел на облака, проплывающие по небу, на звезды, целыми компаниями выглядывающие из облаков. Отдыхал. Говорят, после умственной работы неплохо бывает пройтись или покопаться в каком-нибудь там саду-огороде. Но это все чистая теория. Он уставал именно физически. И притом так естественно — натуральнее дровосек не устает! Не хотелось ни рукой шевельнуть, ни ногой.

Однако мысли не могут долго топтаться на одном месте. Вернее, они вообще этого не могут. Куда-то и зачем-то текут биотоки, возникают ассоциативные ряды... Как очень скоро убедилось человечество, выключенная ЭВМ — это слишком дорогое удовольствие. И выключенная МВМ тоже.

Мы сидим себе при свете звезд, при течении облаков, ни о чем не думаем. Вернее, так: мы думаем, что мы ни о чем не думаем. Но вдруг глядишь: из совершенно ровной глади, как бы из ничего вынырнуло понятие, причем вполне готовое, твое.

Сейчас, правда, это было не понятие, а образ. Потапову вспомнилась та девушка, что встретила его у Севкиных сосен. Идет навстречу

и улыбается: «Во странный дядечка-то». А лет ей не больше девятнадцати. То есть в сущности, Потапову дочка. Есть девчонки, которые как бы совсем не замечают потаповского возраста. А есть которые сильно замечают. Как и он сам... Да, как и он сам.

Он долго не мог уразуметь, например, что солдаты все до единого моложе его. Это, наверно, рудимент детства: все солдаты — здоровые дядьки, взрослые. И опомнился он лишь после института, уже отыграв свое в команде. Посмотрел как-то на солдата, грузина или азербайджанца, который удивительно беззаботно ел мороженое у станции «Курская-кольцевая», цепляя его дощечкой из картонного стакана. Потапов посмотрел и вдруг понял: пареньку этому лет девятнадцать, не больше... А мне двадцать седьмой! Потом это удивление подзабылось, постесалось. Он опять стал молодым-молодым инженером, молодым ученым. Но прошло еще сколько-то времени, и он неожиданно и бесповоротно установил, что все спортсмены моложе его. Если и попался какой-нибудь чудачок потаповского возраста, его именовали не иначе как «неувядаемый ветеран», а это уж значит: пора, милый, сходиться! Потом все чаще стали моложе его попадаться ученые, писатели, актеры и прочие: знаменитости — словом, те, кого показывают по телевизору. И Потапов наконец сказал себе, что он вступил в новый возраст. Да что за дурь, говорил он себе, никакого возраста я не чувствую. Но чувствовал его. Не по одышке, не по сердцу, но по особому, наверно, отношению людей, по тому, например, что уж давенько никто при нем не занудничал, что, мол, вы, молодежь, а вот мы-то в ваши годы...

Были, впрочем, и преимущества у этого нового — среднего, что ли, — возраста. Вступив в него, ты однажды вдруг понимаешь, насколько стал сильнее и в чем-то даже свободней.

Потапов опять обнаружил это на мелочи. Года два назад к ним пришел соседский мальчишка: дядя Саш, помогите решить задачку.

От школьной математики у Потапова осталось впечатление тихого кошмара. А теперь, когда любят объяснять, сколь много и трудно приходится учиться в современной школе, Потапов втайне считал, что проскочил десять классов нашармачка.

Но вот пришел этот шестиклассник. Немного волнуясь, Потапов принялся решать задачу. Она раскололась, как орех под паровым молотом. Потапов, доловальный, что может рассчитаться за все свои школьные страхи, сказал мальчишке:

— А ну-ка давай! Чего там у тебя еще задано?

С удивлением он увидел, как мало задают в этой современной школе. А может, не мало? Может, просто он сам стал огромный, а мир словно бы съежился перед ним...

Вечер уже перешел в настоящую ночь. Бледная весенняя луна медленно ползла, отпарывая тучи от небес, и они уплывали. По обычным временам Потапову, чтоб хорошо завтра поработать, следовало отправляться спать. Но у него была фора — два часа дневного мертвого часа. И он мог еще сидеть — не сонный, а какой-то весь успокоенный, словно родственник этой негустой лунной темноте, тишине... Да и представится ли когда-нибудь в его жизни возможность вот так же спокойно посидеть майской ночью?

Будто б совсем нестати ему припомнилось кладбище, где похоронена была его тетка, Варвара Павловна, самый дорогой из всех умерших при нем людей... Это было в годовщину ее смерти, шестого сентября. Небо синело, тихо светило солнце. И почти не верилось Потапову, что в такой день кто-то мог умереть. Кладбище, где лежала тетя Вава (так ее звали в семье), было молодое, так сказать, индустриальное, со множеством рыжих новых могил. Такие кладбища последние годы образовались в разных окраинных углах Москвы. Потапов отпустил машину и совершенно один пошел по узкой дорожке к знаковой могиле.

Несмотря на свою молодость, кладбище все было в деревьях, в кустах. Ветер осторожно обрывал с них желтые листья. А зеленые еще крепко висели на ветках и продолжали шелестеть.

Навстречу Потапову по дорожке шли старик и старуха — благообразные, но уже чуть заметно согнутые годами. Седой старик с желтоватым, как у всех стариков, лицом держал в руке мышинного цвета фетровую шляпу — такие модны были лет тридцать назад. Потапов притиснулся к ограде, уступая им дорогу. И они прошли под ним, оба такие невысокие рядом с баскетбольным Потаповым. Старушка обернулась к старику и сказала:

— Как все-таки хорошо здесь!

Потапов долго смотрел им вслед и долго видел их, две темные фигуры, пока они не затерялись среди памятников и крестов.

Тот мальчишка со своей задачей. И эти старики, которые говорят, придя на кладбище: «Как хорошо здесь!» И, наконец, Потапов — среднее поколение. Как определить: зачем он существует в мире?

Как определить? Записывай! Мы существуем затем, чтобы взвалить на плечи всю тяжесть ответственности за свою страну и нести ее очередные четверть века. А потом передать на плечи другим, тем, которые подрастут, которые сейчас скрипят зубами над задачами для шестого класса.

Четверть века — неужели так мало? Да, пожалуй, не больше, Потапыч. Нет, не больше. Значит, всего двадцать пять зим, примерно девяносто — сто серьезных испытаний, штук двадцать отпусков — вот и твоя рабочая жизнь. Это все не придуманные, это все точные, считанные вещи. Как же надо жить внимательно, чтобы не потерять ни одного из двадцати пяти отпущенных тебе по-настоящему рабочих годов. Да, внимательно. Вся страна у тебя на плечах! Особенно у тебя!

Так уж вышло в нашей земной науке, что от его работы слишком многое зависит. Пока трудятся твои «приборчики» и кое-какие иные аппараты, страна может спокойно стоять в своих пределах. Старики шагать по своим неспешным делам под синим сентябрьским небом, семиклассники балабонить про успехи хоккейной команды ЦСКА, а Танюля разговаривать с неслонком.

И вот все они и еще тысячи, миллионы других внимательно следят за Потаповым. Они-то думают, что будто бы не следят, а на самом деле они следят: как там у него дела, у Сан Саныча, как там у него дела?

Луна опустилась за горизонт, облака уплыли. Небо, готовясь к рассвету, было абсолютно чистым. Потапов спал в своем шезлонге. Пара комарих недоверчиво вилась над ним, проверяя, действительно ли он спит или только прикидывается, а потом грохнет огромной, как пшеничное поле, ладонью и убьет их, разнесчастных, голодных от рождения насекомых.

Сева явился именно в тот час, который Потапов отвел ему для появления, то есть после обеда и послеобеденного сна.

Он шумно вошел в дом, бухнул что-то на стол, двинул стулом, который на дороге у него вовсе не стоял. Это все Потапов соображал, слушая сквозь пол Севины стуки и громы. Какой-то островок мозга еще цеплялся за работу, но куда уж там!

— Севка!

И одновременно как выстрелы в ковбойском фильме:

— Сан Са-ныч!

Потапов побежал к лестнице и вниз. И тут они встретились, так сказать, на полпути:

— Здорово, дядя!

Потапов обнял его, крепко пахнущего табачищем. Но дачная кру-

тая лестница не слишком удачное место для объятий — чуть не загремели оба. Потапов ухватился железной рукой за перила.

— Господи, Сан, какой ты здоровый, просто ужас!

Сам Сева выглядел бледновато, а губы, наоборот, ярко-красные — словно у классического чахоточного из литературы XIX века. Глаза припухли. Но это у Севы было всегда: такие глаза, будто он недавно плакал. Элка придумала так говорить...

— Давай, Сан Саныч, выпьем по-быстрому. Я кой-какую бутылочку для тебя имею...

— Не пью, Сев. И... ты только не падай, я не курю.

— Во дает... Ты чего?.. Исхудал, смотрю. Спортивный...

Покачав головой, Сева пошел в дом (а они сидели на террасе), принес бутылку вина и два стакана... Надо ему рассказать, подумал Потапов, про конторские дела и про «Новый Нос».

— Ладно, Сев, давай, правда, махнем за встречу. Не пил уже лет двести пятьдесят!

Потом он вкратце изложил свои дела, и Сева кивал, пожалуй, все-таки с чуть большей амплитудой, чем требовалось для простого трезвого удивления. Ну да это сущая ерунда. И чтобы не чувствовать себя полицией нравов, Потапов треснул еще полстаканчика:

— Это, Сев, я тебя малость догоняю.

— Давай-давай.— Сева улыбнулся.— А между прочим, что там наши друзья из города Текстильного?

Потапов неопределенно пожал плечами.

— А ведь я ее видел! — Сева смотрел на Потапова испытующе.— Тебе она ничего передавать не просила.

Потапов спокойно кивнул... Вот когда он понял, что такое муки бросившего курить. Встал, отошел подальше от столика, на котором лежали Севины сигареты. Впрочем, у меня и свои есть. Полторы пачки, в ящике письменного стола. Ну и что же, что не передавала? Она и не должна была ничего передавать. Передала, не передала — детский разговор какой-то... Сева все продолжал внимательно смотреть на него.

— Ты давно из Текстильного? — спросил Потапов.

— Два дня после тебя пожил и уехал... Ты влюбился, что ли? То есть извини, конечно, за дурацкий вопрос.

— Сев... — он сделал паузу, не зная, что говорить дальше.— А ты сам-то зачем целую неделю в Москве сидел?

— О! — Сева излишне радостно кивнул.— Об этом можем толковать сколько твоей душе угодно. У меня секретов нет, слушайте, детишки! Существует, Сан Саныч, такая мудрая формула: «Помнишь ли ты, кого ты должен забыть?» Вот этим самым я и занимался. И продолжаю заниматься.— Сева взял бутылку, потом раздумал, поставил ее на место.— И вот я забывал!

— Ну и?.. Ты так говоришь витиевато... Вы помирились, что ли? — спросил Потапов, надеясь, что этого не случилось.

Сева покачал головой — то ли отвечал этим жестом на вопрос Потапова, то ли что-то вспоминал.

— Я говорю, пришел, Машенька, объявить тебе, что все женщины есть падлы включая Джульетту и Дездемону!

— Гениальное соображение, Сев. Ради этого, конечно, стоит жить! Пошлатина первый сорт.

— Иди ты к богу в рай, Сан Саныч! — обиженно сказал Сева.— Что уж, человеку нельзя хоть раз побыть дураком?

Потапов засмеялся и кивнул. Сева, улыбаясь, смотрел на него:

— И знаешь, что она мне ответила? Я говорит, тебя, Севочка, сплю и вижу. А хочу, чтобы проснулась и увидела!

Потапов представил себе, как это могла сказать прекрасная, с сияющими серыми глазами Маша... Нет, он совсем не знал Машу, произносящую: «Я тебя сплю и вижу, а хочу, чтобы...» И лишь дога-

дыбался, лишь отдаленно догадывался, какое это, должно быть, чудо, когда такие слова говорит тебе женщина ее красоты!

Чтобы хоть как-то спастись, он сказал себе, что все-таки слова эти представляются театральными и выученными заранее. И тут же ему безмерно жаль стало Севу и... и себя! Неужели действительно они были театральными? Неужели так на самом деле не может быть? Хоть раз в жизни!

— И что же ты ей ответил, Севка?

— Ничего,— глухо сказал Сева,— встал и ушел.

Ну и дурак, хотел крикнуть Потапов, но, естественно, ничего он не крикнул.

Ну и правильно ты поступил!.. Не сказал и этого.

Назавтра он получил Валино письмо.

Его поразила обыденность обстоятельств, при которых произошло это чудо. Он пошел после обеда проводить Севу «до уголка»: метров двести, триста — и улица Ломоносова делает поворот, сосен больше не видно. Как бы граница Севиного ареала обитания.

А когда он вернулся, то совершенно машинально заглянул в почтовый ящик. И там было письмо!

Потапов хотел тут же, у калитки вскрыть конверт. Но что-то его удержало. Он пошел на террасу, однако и здесь не открыл письма. Поставил, услышал тишину, почувствовал, как тихо стало после Севы. «Я на даче один, мне темно за мольбертом, и дует в окно...» Сева любит... любил говорить так — раз пять сказал за их житье. А Потапову неловко было спросить, откуда это. Вроде однажды обмолвился: из какого-то стихотворения Бунина... Письмо он держал в руке — белый, чуть обтрепанный за дорогу конверт без всякой картинки.

Он знал, конечно, что не дает ему открыть письмо — вчерашние Севины слова: «Тебе передавать ничего не просила». Потапов элементарно боялся, что в письме что-то плохое. И тогда он не сможет работать... А в таком состоянии, как сейчас, смогу?.. Он поднялся к себе, поставил письмо на подоконник, сел за работу. Письмо стояло перед ним — очень ровный, можно сказать, старательный Валин почерк. Буквы плечом к плечу, как торжественное построение в суворовском училище.

Примерно час он работал и чувствовал, как некие теплые лучи от письма падают ему на лицо и руки. За час он сделал почти столько же, сколько за утренние полдня. Письмо стало его союзником.

Даже если хорошее, все равно не открою: разволнуюсь, не смогу работать. Открою, когда все сделаю... Ты что, с ума сошел? Через неделю?! Да, дней через пять.

Я уверен, она бы не обиделась на это!.. А ты сам — не обижаешься за это на себя?.. Нет, не надо его открывать. Снова поставил письмо на подоконник, покачал головой.

Но работалось ему просто удивительно с этим письмом. Он решал, вгрызался, легко прорубая целые просеки. А в голове жило четырехугольное и такое летучее слово: письмо.

Так продолжалось до шести часов, и продвинулся он небывало.

Но вот, прорубая просеку в незначительном лесочке задач, он вдруг увидел огонек решения дальней, значительно более важной проблемы. Огонек этот подрагивал в нескольких километрах от места потаповской теперешней работы. Но Потапов его видел ясно, как в подзорную трубу. И тогда он вознесся над своей не очень трудной работой и устремился туда.

Однако дело в том, что примерно половину его души занимал некий аккуратист, который страшно не любил оставлять после себя всякие охвостья и недоделки... Да успокойся ты, сказал ему Потапов, в поезде поеду — дорешаю эту дребедень... Тут его словно кольнуло. В каком поезде, спросил он сам себя, куда поеду?

Он еще делал вид, что мчится над лесами задач к своему огоньку, а на самом деле стоял на месте, растерянно озираясь... Неужели так бывает? Неужели так может вылететь из головы? Ведь Сева сказал: звонила Элка — квартира — обмен — срочно...

Он отправился в сарай, взял Севин велосипед. Подумал: хоть на велике прокачусь! Звонить ему не хотелось до ужаса...

Теща была холодна и спокойна, словно за свою жизнь она невероятно намучилась с этим Потаповым и теперь наконец махнула рукой, поняв, что горбатого только могила исправит. Потапов не выдержал этого и язвительно попросил:

— Антонина Ивановна! Не говорите вы таким утомленным голосом.

— Утомленным, потому что я действительно утомилась!.. Элла бежит, ищет варианты. Я уж не знаю, сколько она там маклерам в ручку передавала. А ты хоть бы поинтересовался!

Потапов не хотелось объяснять, что он и знать ничего про это не знал. Он просто кашлянул в трубку, чтобы как-то обозначить свое присутствие.

— Хоть бы поинтересовался! — И сказала с трагическим торжеством: — Ты получаешь однокомнатную квартиру!

Потапов вздрогнул от невероятной реальности происходящего: ты... получаешь... однокомнатную... квартиру... Но тут же взял себя в руки. Действительно: стоит в телефонной будке этаким громила — едва поместился — и вздрагивает!.. Он разозлился. Это, собственно, и значило: взять себя в руки.

— Ты поедешь ее посмотреть?

— Адрес какой?

Теща сказала. И прибавила: новый район, блочный дом, второй этаж, но очень прилично, зелено, до конторы на троллейбусе двадцать минут... Она, естественно, не сказала: «До конторы», а сказала: «До службы». Но что удивило Потапова — теща неожиданно стала с ним ласкова. Не так, как прежде, конечно, а по-новому, как с чужим человеком: вкрадчиво-ласкова. И Потапов, тоже впервые подумав о ней как о чужой, догадался: что-то ей от меня надо... Не дай бог пережить это разочарование, когда родной человек становится чужим. Ощущение — страшной страшно!

И еще минуту назад готовый что-то там выяснять и за что-то там бороться, он вдруг махнул рукой: да ну их!..

— Не поеду я смотреть, — сказал он. — Времени у меня нету.

Теща сделала паузу, видно обдумывая его ответ со всех сторон. Да не наколю я вас, не бойтесь, хотел сказать Потапов. Но вместо этого опять кашлянул в трубку — глупая, в сущности, манера!

— Видишь ли, Саша, — сказала теща, — дело в том, что те люди, с которыми вы меняетесь, им нужно переезжать срочно... В общем, Элла заказала машины на завтра... Тебе удобно завтра? Машины на полчетвертого дня. Других просто, понимаешь, не было.

— Хорошо, я смогу, — тихо сказал Потапов. — Буду дома... — А, черт с ним, раз уж вырвалось, пусть «дома»! — Буду дома завтра утром. — И повесил трубку.

Он что есть сил давил на педали, мчался по каким-то неведомым ему улицам. И все подгонял Севиного коня. Велосипед подпрыгивал на колдобинах, брэнчал звонком. Вид у него был непрезентабельный. А зато ход легкий. Потапов это скоро оценил. И вспомнил само слово — «ход», которое применительно к велосипедам не употреблял, наверное, лет с пятнадцати.

Он забыл и какая это чудесная вещь. Одно из лучших занятий в мире. Чем чернее были мысли Потапова, тем яростнее гнал он. И тем прохладней и чище воздух летел ему навстречу. В ушах свистел ветер. На самом деле то был, конечно, не ветер. И этот неветер ока-

зался намного прекраснее настоящего, обычного ветра. Он был то неожиданно тепел, то холоден и туманен. Он пах то дымом, то молодым березовым листом...

Ну вспомните же это ощущение: как вы несетесь в двенадцать лет по какой-то сельской улице. И слоистый чудный воздух летит вам навстречу. А вернее сказать, это вы летите ему навстречу. А самый-то воздух необыкновенно тих и молчалив, каким он бывает, наверное, только неуверенной недружной весной. Он тих, он боится и первую звезду вспугнуть, и последнюю зорьку потерять.

Скоро Потапов разгорячился от своей гонки, но продолжал беспощадно жать на педали. Но дорога неожиданно сама дала ему передышку — горку. Теперь только держи покрепче руль и кати себе вниз... Мысли Потапова пришли в порядок. То есть вместо злых стали вполне человеческими... Ну если и есть в этом обмене что-то ему невыгодное — да шут с ним в конце концов. А потом действительно: и с маклером сложности и квартиру — простую двухкомнатную, без всяких выдающихся лоджий и сверхвысоких потолков — обычно меняют просто на две комнаты. Или на комнату и однокомнатную — при хорошем раскладе. А вот Потапову без спора, без крика достается отдельная квартира.

Да если б я занялся этим, так удачно в жизни бы не поменял. А я бы никогда этим к тому же и не занялся. Всегда делаю в таких ситуациях презрительную рожу, а на самом деле просто не умею. У меня этого, что называется, и в заводе нет! Стало быть, все хорошо. Все хорошо, Потапыч! Развяжешься до конца...

Он опять принажал на педали, но уже не в злом, а в самом спортивном расположении духа, и очень скоро оказался дома.

Тем временем немного смерклось. Потапов стоял на террасе, блаженно остывая после гонки, и соображал, чем ему заняться: сразу идти ужинать или еще посидеть наверху часика полтора... Если начнешь ужинать, то ясно, что потом работать тебя не загонишь, сказал он себе благодушно, иди-ка, парень, наверх. Наверх? Сегодня переработаешься, завтра ничего в голову не полезет, тут же всунулся маленький человек. Ничего, ничего, сказал ему Потапов, завтра мне голова не понадобится.

Он сел за работу. Но уже не смог взлететь над перелесками простых задач, чтобы увидеть тот дальний огонек. И потому взялся за расчистку рядовых просек. И так махал топориком часа два, пока не почувствовал, что голову как бы распирает изнутри — ощущение, хорошо Потапову знакомое. Если перешагнуть через него, можно запросто схлопотать бессонницу. Как говорится в том анекдоте: чтобы уснуть, надо считать до трех, только до трех, ну в самых редких случаях... до полчетвертого. Такие вот вариантыки... А ему хотелось взглянуть завтра хорошо.

Уже готовый залечь, он поднялся наверх, взял с окна Валино письмо — оно чуть заметно белело в слабом ночном свете. Сказал себе: знаешь что, только ты не строй из себя, пожалуйста! Однако положил письмо под подушку и с тем уснул.

Элла Николаевна Соловьева

Он вышел на перрон Ярославского вокзала. У всех, кто торопился рядом с ним, была постоянная и понятная дорога: на метро, а может, на трамвайчике (но больше, конечно, на метро) до места работы, где в подавляющем большинстве и проходит жизнь человеческая: случаются крупные и мелкие счастья, несчастья, любовь и все тому подобное. Потапов же ехал не жить. Он ехал трепать себе нервы и разминивать бывшую семейную квартиру, в которой было прожито восемь или девять лет...

Разминивать — собираться... Исполнок веку все сборы были Элки-

ной епархией... Ничего страшного, стал он себя убеждать, ничего страшного. Зато мы неплохо знаем, как собираются другие, по рассказам, понаслышке, по Джерому Джерому в конце концов: «Когда Джорджа повесят, самым дрянным упаковщиком в мире останется Гаррис».

И вот, успокаивая себя, он начал, неисправимый ученый, перебирать различные варианты и схемы. Чемоданы, корзинки, контейнеры... Наконец он воскликнул: эврика! И так обрадованно улыбнулся стоящему напротив парню, что тот даже попятился. Вернее, попятился бы, если б в переполненном вагоне метро было для этого место.

Идея, возможно, была и не столь нова. Но для Потапова она была вполне самостоятельной и в высокой степени остроумной.

Укладка — тара. Железная логическая связка. Но никакой тары, кроме походного портфеля и маминогo чемодана, у него в наличии нет. Зато есть молочный магазин напротив, там горы картонных коробок. Таким образом проблема решена и элегантно и с наименьшими затратами, то есть, иными словами, весьма эргономично!

Чуть ли не бегом он припустил к молочной. И тут сообразил: а какие, собственно, вещи ты думаешь собирать, милый? В твоей дурацкой научной голове сложилась ситуация: переезжает некая семья, надо упаковать вещи в лучшем виде.

Но семья не переезжает, а разъезжается. Разваливается... Он почувствовал себя брошенным, бессмысленным фантазером. Подошел к дому, поднялся по лестнице. Некурящее сердце его билось спокойно. Только ныло. Открыл дверь. Комнаты уже имели полуразоренный вид. Все будто бы стояло на своих местах и в то же время уже стронулось, уже сделало движение к выходу. Под окном, где у них обычно оставалось свободное пространство, чтоб Таня могла разложиться на теплом полу у батареи со своими кукольными делами, теперь горой навалены были узлы и свертки. Всю эту компанию охраняли три незнакомых Потапову чемодана. Один был новенький, магазинный. А два других — уже пожившие, поработавшие, но оба молодцеватые, хорошей кожи... Потапов не мог оторвать взгляда от них, от этого очевидного доказательства...

Ну-ка хватит! Большого труда стоило ему не пнуть их в бок. Однако прошел мимо... Только не в спальню. Отправился сперва на кухню. Здесь была та же замаскированная разруха. Приоткрытые дверцы, недовыдвинутые ящики разных там полок и шкафчиков.

Вдруг он услышал, как захлопнулась дверь. Ветер... Но тут же раздались Элкины шаги. Ну, поверни же голову, поверни, сказал себе Потапов, и спокойно посмотри на нее!

Она была в незнакомом плаще и в незнакомом платье. Она была бледна, но не той бледностью, про которую говорят: «Плохо выглядит», а лишь бледностью волнения. Она как раз была хороша. Губы чуть-чуть подмазаны и глаза чуть-чуть подведены — только чтобы выделялись на бледном ее лице... Да, она готовилась к этой встрече. А Потапов совсем не готовился. Быстро вспомнилось, как он брился наспех, как шагал в нечищенных ботинках по мокрой траве. На мгновение он почувствовал досаду: вот, мол, какой он стал запущенный. Но тут же: а чихать мне! Она готовилась — вот и отлично. А я совсем не готовился! Мне это неважно, понимаете?

Для верности он тихонько хлопнул себя по внутреннему карману, где лежало Валино письмо. Письмо приветливо хрустнуло в ответ. Элка слегка нахмурила брови, посмотрела на него с вопросом и несколько деланной тревогой:

— У... у тебя сердце?

Наверное, она не возражала бы, чтоб у Потапова от встречи слегка прихватило сердце. Он улыбнулся и покачал головой.

— Тебе сигарета нужна? — Это все она продолжала реагировать на его похлопывание по карману. Говорила она, кстати, своим обыч-

ным свежим контральто. И Потапов невольно, прежде чем ответить ей, прокашлялся. Получилось это несколько тяжеловесно — он раза два-три кхекнул в кулак и затем сказал:

— Не курю.

Элка теперь уже по-настоящему удивилась. Она села за их кухонный столик, достала сигареты.

— А может, все-таки закуришь?

Это был «Ротманс», отличные английские сигареты. В пачке не хватало штуки три или четыре — как раз столько, чтобы выглядело естественно... Все-таки Элка готовилась к этой встрече. А чего она мне, собственно, хотела доказать?

Потапов сел напротив своей бывшей жены... и невольно усмехнулся. Он ждал этой встречи. Но вот видишь как — перехотелось. Говорить было совершенно не о чем. И не из-за Вали, нет! Из-за себя самого. Больно болело, да хорошо зажило. Все!

Даже будто стало неловко от молчания, как неловко бывает с не очень знакомым человеком. На языке вертелся какой-то банально-обычный для таких ситуаций вопросец вроде: ну как дома? Элка медленно курила, все еще ожидая какого-нибудь значительного разговора. Наконец она решила его как бы подзадорить, сказала с неким намеком на бывшую теплоту:

— Ты даже квартиру свою не посмотрел...

Действительно, это было необычно для... для нормального человека. В сущности, это был рудимент переживаний по Элке. Так что она пустила шар правильно. Только опоздала. Вчера — да, еще попала бы, а сегодня, после этой вот встречи, уже мимо ворот!

Поэтому в ответ Потапов только пожал плечами:

— А где, кстати, ключи?

— У мамы! — сказала она чуть обиженно. — Если бы ты дослушал ее вчера... — Тут она открыла сумочку. — Вот твои ключи, я привезла тебе их!

Она подержала их секунду в руке — два ключа на веревочке. Потапов не двинулся с места, и Элка положила ключи на стол.

— Естественно! — Элка пожалала плечами, словно хотела сказать ему: вот видишь, я правильно от тебя ушла, если ты мне даже ничего не можешь сказать!

Он поднялся, и Элка спросила:

— Ты давно видел Таню?

Показалось Потапову, она хочет его задержать. Но это был разговор, которого не избежишь. Потапов снова сел.

— Таню я видел четыре дня назад. Собираюсь видеть ее впредь. Собираюсь участвовать в ее воспитании!

— А почему так агрессивно?

— Просто излагаю свою программу. Надеюсь, ты отнесешься к ней с пониманием.

— «С пониманием», — повторила Элка, — ни дать ни взять — дипломатический термин!

Потапов снова поднялся: тихо! Про Танечку в таком состоянии нельзя говорить. Это ж, в самом деле, не подмандатная территория. Вот когда посажу ее на невшлона, тогда и поговорим. Тогда и посмотрим, милая мама, что ты нам ответишь!

Зазвенело в прихожей. Потапов напряженно обернулся. Кто же там стоял сейчас, за запертой дверью?

— Подожди, — быстро сказала Элка. — Это ко мне.

Потапов остался на кухне. Путь ему теперь был отрезан. Может, она специально держала его здесь для каких-то своих планов? Элка между тем открыла входную дверь.

— Эллочка! Здравствуйте! — услышал Потапов. — Страшно рад вас видеть!

Далее в кухню прилетел звук сдержанного дружеского поцелуя.

Потапов почувствовал вдруг, что краснеет. Он снова сел, не зная, куда девать глаза. Довольно тупо уставился в окно...

— Здравствуйте, Вадим! Хорошо, что вы приехали.

Наконец они появились на кухне. Потапов снова встал... хотя сейчас он встал к месту.

— Это,— сказала Элка, указывая на Потапова,— это... ну, в общем, это Александр Александрович Потапов.

— Захаров Вадим Васильевич!

Несмотря на джинсы и нестрогую куртку, человек этот имел удивительно ухоженный, какой-то успевающий вид. Пожимая Потапову руку, он тряхнул ее хорошо поставленным движением, как это сделали бы... ну, где-нибудь на приеме.

— Мужчины, садитесь,— сказала Элка со светской дружелюбностью.

— Верно.— Вадим Васильевич с удовольствием сел.— Это дело надо перекурить.

Он тряхнул «молнией», извлек на свет божий «Мальборо». Элка опять положила на стол свой «Ротманс».

— Не курю,— сказал Потапов.

— Бросил,— пояснила с улыбкой Элка.

Вадим Васильевич очень мило улыбнулся.

— Считаете, это рационально? — Он покачал головой, он был просто невероятно расположен к Потапову.— Я знаю эти истории — завязал, потом развязал... Нет, это не для меня: развязал, потом завязал. Вся жизнь как в узлах! — И засмеялся, довольный своей шуткой.

В таком же духе они потрепались еще некоторое время. То есть трепался, собственно, Вадим, Элка поддерживала его смехом, а Потапов просто сидел. Теперь бытует такая якобы интеллигентная манера: при всех обстоятельствах делать вид, что ничего не произошло. Жена уходит к любовнику и при этом говорит: «Конечно, мы останемся друзьями?» Какими там, к чертовой матери, друзьями!

У Потапова горько и пусто было на душе, словно с похмелья. Он встал, произнес, как бы отвечая на их вопрос:

— Да, собираться пойду...

Элка крикнула ему вслед:

— Чемоданы на месте, я их оставила тебе.

Она продолжала держать курс на «останемся друзьями». Зачем ей это надо? Мода, наверно.

Он вошел в большую комнату, закрыл дверь. Но этого ему показалось мало. Все слышались их голоса и заграничный дым. Перешел в спальню и тоже закрыл дверь. На него всеми своими раскрытыми дверцами и выдвинутыми ящиками смотрел платяной шкаф. Потапов сидел на кровати и смотрел на этот шкаф, а шкаф смотрел на него. А между ними лежал раскрытый пустой чемодан.

Наконец он догадался: Элка уже собрала свои вещи — методично из-за каждой дверки. И где собрала, оставляла ящик полувыдвинутым... Условное обозначение. А я теперь буду собирать свое и ящики задвигать на место. Тоже условное обозначение... На секунду ему захотелось плюнуть на все, немедленно уехать.

Пестуя свою мысль о демонстративном отъезде, он стал снимать с вешалок рубашки. Хотел сперва класть хоть до какой-то степени аккуратно. Однако он этого не умел. Стал бросать как придется: носки, пиджаки, трусы, майки, свитер, домашняя ковбойка. Вдруг в одном из ящиков он наткнулся на постельное белье. И остановился пораженный. Она оставила белье... ну да, она ведь не может с этим... новым человеком спать на тех же самых простынях. Но и мне их в таком случае не надо!..

И вдруг прямо-таки ужас одолел его, мистический ужас перед всем тем громадным комплексом забот, которые теперь обрушивались на него: магазин «Галантерея», прачечные, химчистки, мытье посуды,

завтраки и ужины. Он еще не представлял, как это трудно на самом деле, он только обозначил комплекс задач.

И тут она вошла, бывшая супруга, молча остановилась в дверях. Потапов обернулся, все еще держа в руках стопку белья... О чем же они переглянулись сейчас?

О том, о чем словами так никогда и не скажут друг другу до конца жизни, которой и тому и другому осталось еще немало...

А зря мы все это затеяли, зря!

Но не было уже пути назад.

Тотальный сбор вещей — дело долгое. И муторное. И нервное. Все тебе кажется, что укладываешься ты не так, что места не хватит. Да еще едва ли не за каждую вещь ты цепляешься душой, вспоминаешь всю ее жизнь в этих стенах... Вот, скажем, жалкий графинчик. Олег специально стащил его в каком-то провинциальном ресторане и принес им: «Я человек холостой, бездомный. Так пусть это будет моя личная конюшня у вашего семейного очага...» Помнится, они тогда очень душевно выпили из этого самого графинчика!

Не возьму я тебя, подумал Потапов, к богу в рай... Словно вина Олега распространялась и на этот графин.

Так у Потапова по ходу сборов скопилось, кстати, довольно много «лишних» вещей. Он их складывал в большой картонный ящик (ящики он все же принес — пригодились изобретение!).

Элка ушла и не появлялась уже часа два. В одиночестве Потапов чувствовал себя много лучше, ходил по квартире. И даже заметил раз, что мурлыкает нечто алл-пугачевское... А потом опять замирал над какой-нибудь мыльницей, которая случайно осталась жива с той далекой поры, когда они впервые поехали вместе на юг. За Элкой это, кстати, водилось — покупать удивительно неломкие вещи. Хоть Потапов в свое время и взял ее белоручкой, однако в душе-то она всегда была прирожденная хозяйка.

Наконец, примерно в половине второго, когда Потапову показалось, что он собрал все, пришла Элка. На этот раз без своего стража. Молча постояла в дверях большой комнаты, посмотрела, как Потапов увязывает свои коробки. Между прочим, для нее вообще было очень характерно останавливаться именно в дверях... Об этом подумал сейчас Потапов впервые за двенадцать лет их знакомства. Элка значительная поза, усмехнулся он. Наверное, слизала у какой-нибудь киногероини.

— Ты что так смотришь? — спросила Элка. — А, Сан Саныч?

Не хотелось Потапову рассказывать, чего он смотрит и что думает об этой вот ее позе, интонации.

— Видишь коробку? — сказал он. — Тут вещи, которые я с собой не возьму. Погляди там... или я их просто выкину. .

Элка кивнула, подошла к коробке, присела перед нею на корточки. Она не похудела и не пополнила с тех пор. Потапов отвернулся, стал снова увязывать свое барахло. Слышал, как Элка перебирает вещи.

— А графин-то этот чем провинился? — она держала в руках Олев графин. Ну да: она же ничего не знала!

— Нужен тебе — забери.

— Все, что мне нужно, я уже забрала. Кстати, извини, что я это сделала первая.

Потапов усмехнулся:

— Извиняю.

Несколько минут прошли молча. Наконец Потапову уже решительно нечего было увязывать. Он поднялся. Элка снова стояла в дверях!

— Не пойму, — сказала она, — чего ты все время усмехаешься!

— Да ничего, просто так. Кончил дело, гуляю смело.

- Нам еще надо поговорить...
- Ни о чем нам больше не надо говорить!
- ...поговорить о мебели.

Наверное, взгляд его показался Элке довольно-таки обидным. Она улыбнулась:

- А-а... ты чего?
- Нормально, нормально. Ничего!

А ведь, честно говоря, он совсем забыл про это. Собирать мебель было для него так же дико, как собирать... стены или собирать здешний воздух.

Медленно Потапов обвел взглядом комнату... В правилах современного хорошего тона записано, что муж должен воскликнуть: «Да ничего мне не надо!»

- Я возьму стол, четыре стула, полки с книгами и диван.
- А ты не мог бы... взять кровать вместо дивана?
- Нет, не мог бы!
- Но... пойми, мне это...

Он сдержался и ничего не ответил.

— А я бы тебе могла отдать кухню. Там у тебя помещение кухни не очень большое, но все уставится... Только холодильник я думала поделить...

- Поделить?

— Тот, кто его возьмет, половину отдаст деньгами... Или, если хочешь, книгами. Нам надо еще книги... И перестань, пожалуйста, бледнеть. Просто я об этом подумала, а ты не думал. Как и всю жизнь! Понимаешь? Как и всю жизнь!.. И о размене я подумала. А ты, естественно, пребывал в гордом самолюбии.

— Иди ты к чертовой матери! — раздельно сказал Потапов. — Благодарительница моя. Бери что хочешь и катись.

Что-то ему необходимо было срочно сделать, подвигаться. Он схватил коробку с вещами, осужденными на выкидку. Ногой вышиб дверь... Чтоб вам всем пусто было!.. На лестничной площадке он остановился — перехватить треклятую картонку поудобнее. Внизу за окном он увидел мусорный закуток, отгороженный бетонной стенкой. Оба огромных бака были почти полны. И Потапов вдруг представил себе, как выкинутые им вещи будут лежать там вместе со всякой дрянью, в кислом и рвотном запахе помойки. Что-то в его предполагаемом поступке было от предательства... Он взял ящик, подошел к двери в квартиру, но не открыл ее, поставил ящик на пол и быстро пошел вниз по лестнице.

Элка ждала его, сидя на неподделанном диване и глядя на полки с книгами... Все разделит самым тщательным образом, думала она, только кричит много. Оскорбленный рыцарь, скажите! Тут она заметила, что занимается сейчас тем, чем частенько занималась за долгие годы замужества, — ссорится с ним в мыслях, а когда Потапов придет, она уже спокойна, логична — ему и крыть нечем. Да он был, в сущности, довольно сговорчивый мужик... Она достала сигарету, но почувствовала, что не хочет курить. Сунула ее обратно. Вспомнила слова Стаса: «Я просто не понимаю людей! Четыре рубля за пачку. Как они смеют драть такие деньги! Двадцать копеек сигарета!» «Ну так не бери, — сказала Элка. — Мы вообще с тобой почти не курим». «Да не могу я, — ответил Стас, — чтобы Вадим Захаров курил «Мальборо», Инга Соколова «Данхил», а моя жена какие-то «Столичные»! Просто нам с тобой надо... — он сделал паузу, улыбнулся, — чуть поэкономней их расходовать».

Он был не то чтобы мелочный, но... просто не такой широкий, как Потапов. Этот в чем-то оставался еще мальчишкой. Стас же был мужчиной — серьезным, заранее продумывающим свое поведение в любой

будущей ситуации... И я стану такой, подумала Элка, а иначе жизнь не получится.

Однако Потапов что-то долго не шел. Элка приоткрыла дверь, выглянула на площадку, увидела ящик с вещами, увидела в окне внизу полные почти доверху громадные помоечные баки. И поняла Потапова. Вернулась в большую комнату. Но куда же он убежал? А шут его знает. Он куда хочешь может убежать. На вешалке остался его плащ. Но это не было гарантией, что он вернется. Элка взяла потаповский плащ за полу, отвела в сторону, к свету. Она обнаружила то, что и предполагала,— общую такую холостяцкую его замызанность. И на поле какое-то странное, похоже смоляное, пятно, словно он сидел в этом плаще среди елового или соснового леса.

Среди какого еще леса? Как он живет теперь? Элка закрыла дверь на ключ и оставила его в двери, чтоб никто не мог открыть с той стороны. Сняла плащ с вешалки... Но что же она хотела сделать? Сама не знала. Так и стояла с огромным потаповским плащом в руках. Вспомнилось, как она ему говорила: «Какой ты здоровый, Сашка, прямо невозможно!»

Да, Стас, ее новый муж, был совсем другим.

И с Таней ей теперь...

Нет, не надо думать, что все ей очень легко обошлось! Ее осуждали! Хотя — по-человечески разобраться — у нее не было иного выхода. Что она, в самом деле, должна была жить в этом замужестве, как в средневековом застенке? Как в замке Иф?

Но отец тем не менее с ней не разговаривает. Не в смысле дуется, а просто избегает встреч... Ее даже мать осуждает!

И с Таней теперь... Дважды Элка была в этом загородном садике. И оба раза Таня как-то слишком внимательно смотрела на нее. Слово сдерживалась. Слово мать не мать ей, а переодетая марсианка (о чем Элка читала недавно в фантастическом романе).

Она всегда хотела, чтобы Таня была похожа на нее. Таня такой и вырастала — тайной красавицей. Но в последний раз на Элку смотрел маленький Потапов... Хотя она не знала никакого маленького Потапова! Даже фотографии его детские видела всего раз или два — в редчайшие свои визиты к свекрови.

Вспомнилась ей вдруг вот эта же квартира (но будто бы совсем не эта!), конец апреля, теплынь, она выходит на балкон: «Таня, Саша! Обедать!» И снизу — две счастливые рожи...

Элка еще раз проверила дверь — заперто. С плащом в обнимку пошла на диван, села. Слово сами собой из глаз ее выползали слезы. Она очень хорошо представляла себе, как это может выглядеть: слезы, тушь, припудренные щеки.

Слеза капнула на потаповский плащ. И появилось еще одно пятно. Но Потапов, конечно, его не заметит. Он и этих-то своих пятен не знает. Почти произвольно Элка залезла в его карман, достала платок — довольно-таки неопрятный, высморкалась в этот знакомый, купленный ею самой платок и заплакала еще сильнее. Но подняла глаза на книги и подумала: не могу я так сидеть, надо же разделиться.

Дележ книг был нетрудным делом. Во-первых, потому, что их собралось в потаповской семье не слишком много. А во-вторых, потому, что все они стояли систематизированно, в полках. В полках их можно было и перевозить.

Поэзия ему не нужна, думала Элка, он поэзию сроду не читал. Детективы тоже: без конца над ними острит. Пускай берет тогда Герцена. Это как раз его мать нас подписывала... Секунду она припоминала свою свекровь. Что-то не очень ласковое ей припомнилось. Наверное, это обычно: свекровь есть свекровь, а невестка есть невестка.

Потом ей попала книжка про Есенина: очерк о жизни и творчестве и плюс какие-то воспоминания. Ее Элка так и не прочитала,

но часто рассматривала фотографии: Есенин в армии, Есенин с сестрами, родители. Ее подарил Элке Потапов, привез как-то из командировки, о чем имелась соответствующая надпись. Сейчас она взяла эту книжку и сунула ее за томики Герцена, словно мину заложила. Пусть когда-нибудь найдет ее и...

Но все было разорвано окончательно. Стас хотел, чтобы у них был ребенок, и это... и это правильно!.. Она взяла потаповский плащ, отнесла его на вешалку, вернулась к полкам. Так она и провела этот час: плакала и возилась с книжками, плакала и возилась с книжками.

А потом... стоп! Времени без десяти три. Сейчас Вадим должен прийти, любезный и внимательный помощник. Друг их новой семьи... Она умылась перед неснятым еще зеркалом, попудрилась, подкрасилась. И стало ничего не заметно.

И потом уснул

И вот все осталось позади — переезд, финальное объяснение... Он проснулся на даче, в своей светелке. С окном, в которое неслышно стучались зеленые лапы сосны, а это хорошо, знаете, хорошо!

Он лежал в самой первой утренней рани, когда кругом неслышанная тишина, когда только птицам разрешается петь да еще старому Севину дому вздыхать и поскрипывать после чуткой ночной дремы. Как же хорошо, что я здесь, подумал Потапов, как же хорошо!

Он не хотел вспоминать вчерашний день и не мог его не вспомнить. Громадный, словно товарный состав, день грохотал мимо Потапова, грохотал, грохотал. И ему оставалось только одно: закрыть глаза и отвернуться, чтобы поменьше острого сору летело в лицо.

Он встал. И нарочно потянулся слишком сладко и подпрыгнул слишком пружинисто — делал вид, что он и думать забыл про тот грохочущий поезд... Ну что, слабо тебе побегать, Потапыч? Мне? Ничуть не слабо!.. Он облачился в беговой костюм, сделал для боевитости несколько наклонов влево-вправо, вперед-назад. Но не удержался, все-таки заскочил наверх, к столу, где лежали его бумажки. Буквально две минуты посмотрел — тоже, можно сказать, для забывания того грохота.

Что-то остановило его... Что-что? Не пойму никак... И, недодумав, побежал. Но какая-то штука в голове застряла. Причем непростая штука, не мелкая. Он как бы держал ее в руках, только не мог развернуть из шуршащего вороха, словно это был подарок из-под новогодней елки.

Кругом между тем все распускалось, расцветало. Весна, будто в пропасть, рушилась в бездонное лето. Но Потапов ничего не видел этого. Сейчас ему нужны были карандаш и бумага — вот что ему сейчас было нужно: вполне конкретная математика, и необходимо посмотреть варианты... Варианты чего, черт возьми?

Вдруг он услышал, что сердце его лупит в грудную клетку, словно боксер по кожаной груше, а воздух сделался шершавым и липким. Я же слишком быстро бегу, понял наконец Потапов. Чего это я несусь, как сумасшедший?

Ему стало смешно. Сам того не понимая, он бежал быстро, чтобы скорее закончить положенный ему маршрут, то есть добежать до сломанной березы и рвануть обратно. Между тем, если уж так нейдет, можно было бы просто повернуть к дому. Но ему, профессиональному спортсмену, это и в голову не приходило — сойти с дистанции даже и по уважительной причине.

Он добежал до своей березы, вымотанный, довольный, размышляя теперь о вещах отдаленных — о Новом годе, о елке, о Танюле в наряде снежинки. Потапову даже хватило терпения проделать водные процедуры. Но завтракать уже не было сил!

С мокрыми волосами, весь электрический от бодрости, с чудесным, легким, голодным желудком он сел к столу и принялся за дело. Это было как бы ответвление от основного пути. Хотя, может быть, такое ответвление, которое только сокращало дорогу. Но главное: там где-то впереди виднелся один странный пункт, в существование которого Потапов не очень пока верил, уж больно странным он казался. Полжизни бы, кажется, сейчас отдал за то, чтобы встретиться с кем-нибудь из той комиссии по расследованию его злополучных испытаний.

Он работал до двенадцати дня, а потом бросил. Он сказал себе, что иначе, без еды, башка будет болеть — не остановишь. Спустился, поставил на плиту чайник и сковородку для яичницы... Но на самом деле знал, что дело все-таки не в голоде. Просто он уже, можно сказать, докопался до того, что сегодня утром казалось ему завернутым в тайну новогодним подарком.

Это бывает иногда, бывает. Это как раз то самое, что называется: шел в комнату, попал в другую.

Он съел яичницу, ощущая, как она необыкновенно вкусна после голодовки... А обычно говорят: когда волнуешься, не замечаешь вкуса еды. Вранье! Просто надо несколько раз как следует поесть!

Он налил себе чая. Но тут же забыл про него, сходил наверх, взял свои странички, сел за кухонный стол, отодвинул развалины завтрака. Тут заметил, что забыл карандаш. Отправился за карандашом и сообразил, что мог бы здесь, наверху, и заниматься, раз завтрак окончен, раз чая больше не хочется. Э, да не все ли равно!

Еще раз все внимательно просмотрел. Сомнений не было. То есть у кого-то они, наверное, были бы, потому что здесь существовали пока не строгие доказательства, а лишь обрывки, наметки. Но для самого Потапова это не имело значения. То, чего не было на бумаге, было у него в голове.

Он шел к своему открытию, к формуле своего великого «Носа». По пути ему попался промежуточный финиш, частный случай чего-то не очень значительного, один из тех рядовых солдат, который никогда не будет стоять на параде потаповской будущей статьи. Но именно этот солдат, оказалось, решает судьбу своего генералиссимуса.

На тех прерванных испытаниях Потапов своею волей начальника разрешил произвести соединение их «приборчика» и не полностью кондиционной выхлопной трубы. Потапов счел, что это не страшно, что просто отстают ГОСТы и рекомендации министерства. А вышла неудача.

Причина?

Ее должна была копать (и копала сейчас) комиссия. Но причина-то для комиссии в принципе была ясна: некондиционность трубы. И сейчас, наверное, они на самом деле ничего там не копали, а только скорее хотели доказать свою правоту.

Но причина была совсем в другом. В неожиданном.

Вот как это примерно выглядело. Скачет вперед наука. За нею конем-тяжеловозом тащится практика, складывает на воз прибиток, открытия. Приспосабливает их к своему домашнему хозяйству. Скажем, наука сконструировала модель атома. Практика построила атомную электростанцию.

Все знают: модель атома неточна... Что там на самом деле творится — одному богу известно... пока. Однако практика игнорирует такое положение вещей. И сколько можно применяет открытие в своих целях. Появляются атомный реактор, атомная бомба. И практику, извините за тавтологию, практически не интересует, как там выглядит на самом деле эта модель. Не интересует до тех пор, пока не случается что-то непредвиденное. Пока практика (вольно или невольно) не вылезает за очерченные границы знания. И тогда может случиться... да в принципе что угодно: непредсказуемое, чудо. Имен-

но это и произошло в случае с Потаповым. Он сконструировал «Нос» — прибор для определения состава газа, выделяемого их «приборчиком» при известных, не будем говорить каких, условиях (примерно так было сказано в авторском свидетельстве). И «Нос» действительно определял и определяет. И все заинтересованные лица в принципе знали, как он работает, прибор Потапова. И этого было достаточно... до поры до времени.

Но вот однажды условия изменились: труба стала не та. И тогда «Нос» вдруг стал работать по-иному. Его чувствительность увеличилась на порядок. Он стал унюхивать то, чего вовсе унюхивать не должен был. И вот, пользуясь старым своим кодом, он выдал сигнал: «Опасно! Надвигается авария!»

К этому пришел Потапов, когда стал заниматься теорией «Нового Носа», куда простой «Нос» входил составной частью. Между прочим, высочили и еще кое-какие побочные явления, которые можно было ожидать от маленького «Носа» при соответствующем изменении условий.

Потапов отбросил карандаш, хлебнул остывшего чая... А прав был все-таки мудрый ПЗ. То есть он был совершенно не прав. Не в трубе и не в самоваре дело. Так что его техническое чутье — липа. Но вот чутье на аварийные ситуации — это извините! Гений! И говорил ведь: не надо. А Потапов все-таки уперся.

И погорели испытания. Теперь-то ясно, что их можно было бы продолжать. Но поди это знай!.. Приостановлены. Больше чем на месяц. А это же убытки, убытки, план вверх тормашками.

Стоп, елки-палки! Срочно звонить. Чтоб хоть сегодняшний день отыграть! Он вскочил и тут же сел... Что ты доложишь и кому? Вот эти разрозненные хвосты и кусочки? Нет, милый, ты должен сесть и все как следует описать. А после уж докладывать. Он собрал свои бумаги, отправился наверх. Сколько здесь работы? Часа на три? А мы еще и поднажмем!

Оказалось, однако, что не на три, а на все шесть. И когда Потапов отвалился, полуживой, но весьма собою довольный, времени было уже половина восьмого... Ну и чему ты, парень, радуешься, говорил он себе благодушно, «мы сами копали могилу себе» — вот что ты сейчас делал, понятно?

Однако эта вполне справедливая мысль прозвучала для него совершенно не страшно. Главное, что Потапов теперь знал этот вопрос вдоль и поперек, мог лекции читать желающим... Ладно. Пора ехать. Звонить.

Он погнал Севкиного коня, пришпоривая и пришпоривая его. Велик послушно бежал, сам собою брэнча на колдобинах звонком. Народ расступался перед ним беспрекословно. А еще бы, когда на тебя летит двухметровый детина — попробуй-ка не расступись!

Он затормозил у почты, выхватил из кармана свои листы. Почта просто оказалась на замке, а уличный автомат сломан.

Не раздумывая Потапов снова вскочил на велосипед: в Москву или куда-то, но позвонить!

Вдруг некое короткое замыкание произошло в нем. Он бросил крутить педали. Велосипед побежал медленнее, все замедляясь. Тут ему под ноги лег небольшой уклончик. Велосипед окончательно пошел своим ходом... Больно ты здоровый, говорил себе Потапов, и больно ты импульсивный. Так не бывает. Здоровые мужики, они должны быть спскойными. Слыхал ты об этом? А иначе угодишь в лечебницу.

Ну куда ты кинулся? На улице вечер, ночь. В институте одни сторожа. А испытания под твое честное слово все равно не начнутся — это уж ты мне поверь!

Домой он вернулся пристыженный, присмиривший. Сел на террасе, включил транзистор, из которого сейчас же высочили жутко

бодрые ребята с радиостанции «Юность». Не меньше часа они мотыжили потаповский интеллект. После этого Потапов лег спать и спал всю ночь как убитый.

А действительно — кому же звонить?

Теперь, утром, когда к его услугам были и автомат и телефон на почте, он вдруг замучился сомнениями.

А в самом деле, кому? В контору — значит, Порохову. Новый Генеральный, может быть, мужик неплохой. Но знакомы они не близко, совсем не так, чтобы по телефону можно было решать такие важные вопросы.

Значит, в министерство? Но там, в кругу административных ученых, еще более в цене был доклад, а лучше — докладная записка. Тут и за неделю не обернуться!

Неуверенно как-то, словно прося самого себя, Потапов подумал: Сереже бы Николаичу позвонить! А что, бывает ведь такое везение: может, Луговой именно сегодня на денек заехал из санатория домой — кардиологические, они все больше под Москвой. Потапов звонит, а Генеральный сам снимает трубку — ситуация в принципе реальная... Ну что ж, попытка не пытка, как говорил один инквизитор.

— Слушаю. (Голос женский... Это еще что такое?.. Из глубин памяти Потапов извлек некую сестру Лугового, которая живет, кажется, в Саратове... Стало быть, сестра. Что бы это значило?) Слушаю!..

— Нельзя ли поговорить с Сергеем Николаевичем?

— Он на службе.

Потом выжидательная пауза, потом короткие гудки. Потапов половил немножечко воздух, приходя в себя от радости...

Телефонистка, томная девушка с большими зелеными глазами, смотрела на него с некоторой надеждой на кокетство... Дает Лужок!.. Положил на блюдечко перед телефонисткой пятнадцать копеек и стал набирать институтский номер Лугового. Но почему-то не прямой.

— Ленуля! Привет. Потапов.

— Саша! — она была рада по-настоящему. И в то же время — вот же секретарская натура! — он уже не был ее начальником. Он был подчиненным ее начальника. Поэтому теперь и в помине не осталось никакого «вы» и никакого «Сан Саныч». — Куда же ты пропал на столько времени? Обещал звонить..

Этот поток надо было прервать. И Потапов вклинился довольно жестко:

— Луговой у себя?

— Да.

— Он давно на службе?

— Четвертый день.

— Соедини-ка меня с ним.

— Там у него вообще-то Порохов.

Потапов ничего не ответил.

— Ну хорошо. Сейчас постараюсь...

— Да, — сказал Луговой. — слушаю.

— Привет! — закричал Потапов, и телефонистка, которая с интересом слушала его разговор, вздрогнула. — Вы как себя чувствуете, Сергей Николаич? Дико рад вас слышать!

Так он продолжал некоторое время, пока не заметил наконец, что Луговой с ним довольно сдержан. Тогда и Потапов остановился. Как черная кошка по разговору их прошла пауза.

— Ну, чем занимаешься? — спросил Луговой весьма сухо.

— Чем занимаюсь?.. — Потапов не умел скрыть обиду. — Ковырялся — чем же еще!

Это было их студенческое слово. Хотя Луговой учился на несколько курсов старше Потапова, но слово существовало и при том и при другом. Оно значило то же, что в других человеческих компаниях значат слова: вкалывать, ломить, ишачить. Особенно его привечали в НСО, научном студенческом обществе. Теперь Потапов совершенно произвольно выпустил из дальней памяти это словцо.

— Ну и чего ж ты наковырял? — спросил Луговой уже несколько иным голосом.

— Все-то рассказывать будет долго, — ответил Потапов, прощаясь быть в обиде. — Ну а самое на данную минуту важное: я узнал причину... неувязочки моей. Насчет «приборчика» и этой трубы... — Он оглянулся налево-направо, все пусто, а телефонистка явно не была иностранной разведчицей...

— Ну я понял, о чем ты, — прервал его Луговой. — И что за причина?

Сразу стало не до обид! Хотелось побыстрее растолковать то, что он нашел. А там посмотрим, останется ли еще у Лужка скепсис или весь испарится.

Его открытие (открытие своей вины), на одну отделку которого Потапов истратил чуть ли не целые сутки, разместилось в этом телефонном разговоре всего-навсего в двух-трех минутах интенсивного монолога. И вот, неожиданно исчерпавшись, Потапов замолчал.

— Ты уверен в том, что ты сказал? — спросил Луговой, и в голосе его Потапову послышался какой-то подвох. — Уверен?

— Ну... Не пойму чего-то... Конечно, уверен!

— А я тоже в этом уверен!.. — Луговой улыбался. — Ты опоздал, Саша. Уже получено заключение комиссии. Вывод тот же. Со вчерашнего дня испытания возобновлены. В среду комиссия докладывает результаты. У нас в конторе! — Тут Луговой сделал паузу, и Потапов догадался о ее значении: Лужок гордился собой — вот, мол, вернулся, и опять контора — центр мироздания.

— Понимаю вас, — сказал Потапов.

— Твоей судьбине, однако, не позавидуешь... Заезжай-ка, по советуемся... Да и вообще пора тебе на работу, дружок.

Лишь секунду Потапов размышлял:

— Нет, Сергей Николаевич, не смогу, извини. Прямо на комиссию подскочу, ладно?

Луговой молчал. Было ясно, что совсем не одобрительно. Когда пауза слишком уж затянулась, он сказал глуховато:

— Не понял тебя.

— Ну... ковыряюсь тут... На час не могу отойти!

— Ты что там. эксперимент ставишь, что ли?

— Ну почти.

Генеральный опять замолчал. И Потапов понял, что Луговой испытывает те же чувства, которые он сам испытывал в первые дни знакомства с Севой, когда без конца ему казалось: ох погибает мальчик!

Неужели я так изменился за этот месяц? — подумал Потапов. Ничего себе, родной Лужок не узнает.

— Сколько у тебя отпуска осталось?

— Да вроде еще дней десять...

— Ну ладно, гляди сам. — И положил трубку.

Естественно было бы предположить, что Потапов отправится домой в глубокой задумчивости и долго будет взвешивать все за и против. Ничего этого, однако, не происходило. Он гнал свою велоконягу крупной рысью и размышлял только об одном: успеет он или не успеет. Комиссия в среду. Это значит в запасе пять дней. Считаю сегодняшний... Так успею я или не успею?

А почему он, собственно, должен успевать, что за спорт?

Ну... Валино письмо прочитаю. И комиссии буду спокойно смотреть в глаза... А при чем здесь комиссия? К испытаниям это отношения не имеет. Срыв испытаний — это твой voluntarизм, твои начальственные телодвижения, за которые и ответы! А «Нос» — научная работа. Так что совершенно разные плоскости. И никак они не совпадают.

Но тут он усмехнулся. Эх ты, химик-технолог! Совсем ты геометрию подзабыл. Две плоскости, если они не параллельны, уж обязательно где-нибудь да пересекутся...

Нет, он не хотел оправдаться перед комиссией, не хотел смягчить ее удар. Но в то же время и хотел оправдаться — перед собой, хотел смягчить удар, который наносил себе сам.

С такими не очень ясными мыслями, но зато готовый работать упорно и неустанно, как целая артель сизифов, Потапов вошел к себе наверх и так хищно сел за стол, что, казалось, все неразгаданные проблемы просто упадут перед ним на колени.

Однако этого вовсе не случилось. Когда перед вами два куба чурок, которые надо развалить, можно сколько угодно кричать, что, мол, берегись, зашибу, — работы от ваших боевых кличей не убавится и не увеличится. То же самое происходит и с теоретическими вопросами.

В этом Потапов убедился очень скоро. Во время обеда прикинул свою среднюю скорость продвигаемости к заветной цели. Конечно, это скорее было шуткой. Потому что он понятия не имел, как она выглядит в окончательном виде, его заветная цель, и что принять за единицу скорости. Все же он вычислил что-то и, поглощая перекипевший суп из пакетика, разделил примерное количество оставшихся трудностей на среднюю скорость. Получилось время, часы: пятьдесят пять с небольшим часов чистого рабочего времени. Расчет был простой. Больше одиннадцати — двенадцати часов в день все равно не прозямаешься. А дней как раз пять. С этим он завалился спать, потому что ему слишком хорошо было известно, что после обеда его голова не работница.

И он уснул — как бы в приказном порядке. А потом работал: без роздыху, забыв, что когда-то его тянуло к папиросе и он должен был делать приседания, чтобы выбить из себя эту дурь. Уже ничего для Потапова не осталось. Только эти листы и бесконечный разговор с самим собой.

Вдруг стало темно. Что за черт, гроза, что ли?

Он включил лампу, посмотрел на часы — без десяти десять. Ничего себе! И снова продолжал работать.

Через какое-то время он почувствовал, что больше не может. Наверное, то же самое чувство возникает у электромотора перед тем как перегореть.

Потапов встал... Вроде надо было что-нибудь поесть. Но вместо этого подошел к постели, разделся кое-как, лег и уснул.

Проснулся чуть раньше шести. Но встать в ту же секунду не было сил — сон еще висел над ним как туман. А чего это я, подумал Потапов, чего это я вчера бессонницей не мучался? Сам же себе объяснял, что от переработки у меня бессонница, и сам же за одну секунду уснул... Он размышлял некоторое время над этой столь серьезной спросонья проблемой. И решил: наверно, когда по-настоящему наковыряешься, тогда уж не до бессонниц!

Встал, оделся, пошел наверх. Подумал: до завтрака малость подзаймусь... Про бег и зарядку не возникло у него и полумысли. Это все осталось в позавчера, в курортном житье.

Так он занимался почти до обеда. И потом сон снова свалил его. Чтобы не ходить вниз, он лег на двух старых пальто, висевших в углу словно бы специально для Потапова...

Проснулся, доел остатки вчерашнего супа. Посидел на кухне, глядя в окно. Но не видел там ничего. Не видел, как спешат, наливаются гроздьа запоздалой сирени у лавочки. Как их много, как чудно они распустятся буквально через несколько дней. А то и завтра!

Потапов думал свое, только свое и ничего другого! Встал, сунул руки в карманы, пошел наверх, не замечая того, что разговаривает вслух...

И все же эти первые полтора дня были только началом испытания. Вечером он всерьез почувствовал, что надывается, что производительность труда быстро ползет к нулевой отметке. Но продолжал работать, продолжал заставлять себя.

На самом позднем закате он вышел немного пройтись — хотя бы вокруг дома, хотя б по дорожке... Ну что? С очевидностью надо признать, что это вот самое и есть работа на износ. Ты говоришь: всего пять дней, ни черта не случится. А я думаю, что эти пять дней могут тебе шарахнуть по мозгам очень неслабо! Ты делаешь сейчас, может быть, самое важное дело в своей жизни, а тебя тошнит от работы. Ты ею так объелся, что из ушей полезло. Куда же это годится, человек!..

Он открыл калитку и стал смотреть на Севины сосны, которые медленно-медленно уходили в темноту, словно куда-то вдаль. Надо было идти работать. Или можно было отправиться погулять... Погулять. И маленький человек уже почти праздновал победу. Но победы испытать было ему не суждено.

«Делать!» Приказ этот был так же силен, как приказ сжиматься сердечной мышце и работать легким. Он шел из глубины, из подкорки. А кора лишь пыталась его привести в божеский, логически удобоваримый вид.

Ненасытное вдохновение беспощадно жрало потаповский мозг: «Скорее! Еще! Еще! Хочу знать все, до конца!»

Он закрыл калитку, со звяком накинул щеколду, чего обычно никогда не делал, и отправился в дом.

С этого момента и на протяжении оставшихся до срока трех суток он только работал. Такого с ним никогда не бывало. Раньше он обязательно так или иначе щадил себя, останавливался. Но не сейчас. Будто у него сломались тормоза и он летел, летел с какой-то горы. И ясно, что летел в пропасть. Только гора была достаточно длинной, и поэтому он все еще жил, а не превратился в лепешку из мяса и тряпья.

Когда наступало ощущение перегретого электромотора, он ложился спать здесь же, на старых пальто. Потом вставал и снова садился за работу. Есть ему совсем не хотелось. Он и не помнил, ел он что-нибудь за эти семьдесят два часа. Наверное, ел.

Мысль его работала точно и без перерыва. Проснувшись, он уже знал свой следующий шаг по пути к «Носу».

Так, сегодня последний день, сказал он себе однажды... Время растянулось для него в огромный тоннель, где иногда мелькают полуосвещенные участки, а иногда несешься в крошечной тьме. И вот сейчас был участок с полусветом.

Чувствуя, что он отлежал себе до деревянного состояния правый бок и руку, Потапов приподнялся, сел. Подумал: ну буквально как в ночлежном доме! За окном в небе была какая-то неясная серятина, от которой сделалось вдруг тоскливо Потапову. Хотя какое ему дело до погоды? И все же было обидно. Он продолжал глядеть в пасмурное окно и чувствовать, как в правой руке его и в боку гнездится целая куча иголок. Да, вот и выдохся Потапов... Работать не хотелось совершенно.

Так прошло несколько тоскливых минут.

Серое небо за окном стало меняться. Светлеть, светлеть, а потом посинело. На нем, оказывается, не было ни облачка! Потапов проснул-

ся в тот момент, когда солнце еще не успело выйти из-за горизонта и пепельное небо кажется пасмурным.

Сразу вслед за солнцем пробежал ветерок — легчайший, тот, который в старину называли зефиром. Сил его хватало лишь на то, чтоб едва-едва шевельнуть березовые листья. Но зато он полон был необыкновенной свежести. Собственно, то вообще был не ветер, а одна только свежесть в чистом виде.

Потапов поднялся, оцепенение отпустило его. Нет, это неправдой было бы сказать, что он почувствовал некий прилив энергии, просто он понял, что снова может работать. Вот и все.

Я ведь где-то совсем недалеко, сказал он себе, совсем недалеко от места назначения. Надо идти и идти вперед. Все мне понятно, дорога прямая. Лишь бы не упасть. Но я не упаду. Сил у меня хватает.

Он еще несколько раз нырял в сон и выплывал на поверхность, где была его работа. Но вдруг около пяти часов вечера он остановился перед совершенно запертой проблемой. Потапов это сразу понял, отложил карандаш. Сердито и напряженно смотрел на бумагу. Вот она, стена. За нею сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце та самая игла, на конце которой кощеева смерть... Все ясно! Но стену было никак не преодолеть.

Я просто отупел малость, подумал Потапов, устал и отупел. Он положил голову на руки — словно перечеркнул всю свою работу. Закрыл глаза, прислушивался к себе. Но задача оставалась все такой же запертой... Вроде и спать ему не хотелось. Но делать-то больше было нечего. Он лег на свое ночлежное ложе, отвернулся носом к стенке, чтобы не мешало солнце. А солнце в тот день светило вовсю... Лежал. Сердце, прижатое к полу, стучало слишком заметно.

Сколько же я так собираюсь лежать?.. Он и сам этого не знал. Вообще не знал, что ему делать... Собраться, вот что! Столько всего придумал, такой огромный путь прошел, а перед последней задачей помириться, что ли? Ерунда какая!.. А тайно все прислушивался к себе, карауля, не появится ли в голове какая-нибудь идея.

Так он пролежал еще несколько минут в полной тишине. Только ветер шелестел березами. И наверное, он все-таки был усталый, потому что уснул, прижав свое сердце к жесткому полу.

Но и во сне продолжал работать. Ему увиделось, как он сидит и пишет на листе бумаги какие-то формулы. И в то же время стоит у себя за спиной и хочет посмотреть, что же такое он пишет. Но не видел этого... Нет, было не темно, а как-то расплывчато перед глазами... Но вдруг этот сон начал таять и сбиваться. Потапов понял, что это сон, потому что ему стало сниться, что над ним наклонился Сева.

— Сан Саныч! Миленький, ты чего спишь? Ты не заболел?

— Сева, не мешай мне, я решаю очень важную задачу. У меня завтра комиссия.

Тут он увидел Машу. Она почему-то сидела на диване в их старой квартире, перед закрытой дверью в спальню. Она сидела молча. Но Потапов слышал ее голос.

— Да не мешай, Сева, пусть он спит. Заботься о том, кто тебя просит!

Нет, это не сон, подумал Потапов, не могут быть во сне такие длинные фразы. Они наяву, а я сам во сне... Он увидел опять тот лист бумаги с формулами... с решением задачи. Но написано было как-то нечетко. Тогда Потапов стал протирать стекло. Или не стекло, но что-то невидимое, как в замороженном трамвае протирают окно, чтобы разглядеть, где ты едешь сейчас: уже у Комсомольской площади или еще только на Каланчевке... И так он протирал, протирал, но ничего не мог увидеть.

Тогда он вернулся к началу своего сна. Сказал, что надо посмотреть все с самого начала, и стал смотреть. Вот он сидит за столом и пишет на листе бумаги. И вот он же стоит у себя за спиной и заглядывает

вает через плечо себе — в формулы и знаки... Но опять не видит их! И тогда тот он, который сидел за столом, взял этот лист, обернулся к нему, который стоял за спиной. Так впервые Потапов взглянул себе в лицо. Он смотрел на себя очень серьезно, спокойно. Без всякой, даже дружеской, улыбки.

Потом он взял этот лист. Это были какие-то странные записи. Это была словно бы карта местности, по которой ему предстояло пройти. Таких обозначений по-настоящему в математике нет. Но Потапов смотрел на них и понимал. Это действительно было как карта: коричневый цвет — горы, зеленый — низменность.

И еще он понял, что задачу эту можно решить. И он ее решит, сегодня же. Вот сейчас проснется и решит.

Но тут снова ему стал мешать Сева. Он бродил где-то по крыше и разговаривал со своей Машей. Потом он хлопнул шампанской пробкой. Но получилось слишком гулко... Это дверь, он дверь хлопнул, сообразил Потапов. Стало быть, он все-таки приехал.

От этих стуков, голосов и шагов лист снова пропал. Но ведь я помню план, сказал Потапов. Он взял чистый лист, и постепенно под его взглядом на листе стала снова проявляться, словно на фотобумаге, та самая карта. Потапов аккуратно свернул ее, положил в карман пиджака. А теперь, он подумал, можно и поспать по-настоящему. Раз все решено!

Но поспать ему не удалось.

Именно в это мгновение он и проснулся.

Сразу встал и пошел к столу. Пусть у него был план математической местности. Но ведь эту местность еще предстояло пройти. Он сунул руку в карман пиджака... Вернее сказать, попытался сунуть, потому что был он не в пиджаке, а в свитере. Потапов усмехнулся, покачал головой... Что-то еще ему там снилось. Ах, да. Вспомнил... Он прислушался — нигде в даче ни звука. «Сева, — крикнул Потапов, — Севка! Ты здесь?» В ответ снова ни звука... Господи, надо же быть таким идиотом. Совсем я с ума сошел.

Но подумал об этом без раздражения, а скорее даже с удовольствием. Потому что в голове его сверкающими крупными, бриллиантовыми зернышками проявлялся план математической местности, по которой ему предстояло пройти. Опять наступило такое знакомое по этим четырем дням состояние оцепенелой сосредоточенности.

Мельком он взглянул на часы. Времени было начало девятого. Ну, вперед!

Да, у него был хороший план местности. Но одно дело план, а другое дело — сама местность. Если, скажем, ты даже знаешь, что сейчас должна попасться река, это отнюдь не избавляет тебя от необходимости ее переплыть. А там еще и горы, и надо заниматься скалолазанием, и джунгли, где приходилось работать мачете за милую душу.

И вот наконец наступило знакомое состояние перегретого мотора... А черт с ним, подумал Потапов, на износ так на износ! Ему уже не надо было беречься для завтра. Он знал, что сделает все сегодня. Должен! И пусть перегорает — больше не понадобится... А там починим!

Он продолжал идти вперед... Вся душа его была сведена как судорогой — от постоянного, беспощадного к себе усилия. Но задача решалась, и дорога с каждым шагом становилась короче.

И вот он сделал последний шаг.

Сначала как бы не понял этого. Метнулся мыслью вперед, в сторону. Он стоял на вершине. И дальше — это уже была совсем иная дорога, с другими средствами, и с другими ресурсами, и с другими идеями. А внизу была пропасть.

И тут как раз — на краю той пропасти, но на вершине! — Потапова обуяла невероятная радость и гордыня, что он сделал это. Он хотел

было вскочить и заплясать. Хотел устроить себе пир горой, вообще дать такую раскрутку, какую только в юности давали.

Но вместо этого он просто доплелся до своего ложа и упал — впервые имеющий право спать спокойно, спать долго. Спать.

Он лег на спину и подумал: да, все-таки я гений! Потянулся. Свет от непотушенной лампы лез в глаза. Но уже не было сил подняться. А ведь можно было бы пойти вниз, лечь на нормальную постель. Даже и пожевать что-нибудь...

Вместо этого всего он, как в прошлый раз, повернулся на левый бок, притиснув сердце к полу...

Да, гений ты, гений, товарищ Потапов.

И уснул.

Обед с начальством

Когда он проснулся, солнышко уже встало. Потапов лежал, закинув руки за голову, — такая типичнейшая поза никуда не спешащего человека. Он лежал и глядел, как у потолка, в дуновении не ощущаемого отсюда ветра, тяжело колышется одинокая и толстая от старости паутина.

А за окном опять было тихо и погоже, словно природа извинялась за ненастное начало весны... Тут его удивило кое-что... Лампа была погашена... А может, перегорела?.. И стул как-то странно был отодвинут в сторону.

Потапов поднялся. Бумажки его лежали совершенно в том же виде, что он оставил. Он придвинул стул как было — как удобно сидеть. А лампа перегорела, да и все. И подумав так, включил лампу. Она бледно засветила навстречу утреннему солнцу. И странно сделалось Потапову. Он представил себе, как кто-то поднимается сюда, а он, Потапов, спит в углу, словно пьяный, и лампа горит на столе.

Тихо ступая босыми ногами, он сошел по лестнице вниз. Что-то неуловимо здесь изменилось... И запах папиросного дыма... Он тихо открыл дверь в Севину комнату. И так остался стоять на пороге.

Они оба лежали на спине — Сева и Маша. Лежали, тесно прижавшись друг к другу и обнявшись. Было в их позе что-то почти истерическое, какой-то надрыв. В то же время лица их были спокойны, даже безмятежны, какие бывают у заснувших усталых любовников. Во всем Севкином облики чувствовалась легкость, сейчас никто бы не дал ему тридцати трех лет. Какое там — двадцать, ну, может быть, двадцать два или три... Маша была прекрасна. Это сразу становилось понятно, с единого взгляда. Она была красивей Элки и Вали, красивей всех женщин, каких Потапов когда-нибудь видел!

Он тихо и быстро прикрыл дверь, вышел на террасу. Увиденное стояло перед глазами... Наваждение! Он снова вспомнил, как они лежат, боясь хоть на секундочку отпустить друг друга.

И понял Потапов, что никто и никогда в жизни не станет его любить так, как вот эта прекрасная и неверная Маша любит Севу... А зато... зато у меня есть «Нос». И еще у меня есть письмо от Вали... Так он поспешно крикнул себе, словно спасаясь от чего-то.

Но письмо это... Чем дольше лежало оно в потаповском кармане, тем труднее было его открыть. Последние пять дней Потапов его и вовсе не доставал.

А зато я сегодня гений, понятно вам? Да, гений! Ну так радуйся же, чудак человек!.. Но не чувствовал радости. Облегчение — да, но это и все.

Нет уж, ни черта подобного, ты будешь радоваться, будешь, как миленький будешь! — сказал себе Потапов. Он вывел велосипед, прищипорил его как следует: а ну пошел, а ну быстрее, конь, к магазину!

И совершенно не учел, сколько сейчас времени.

— Надо же, как запыхался, — сказала продавщица. — Что, не можешь терпеть?

— Не могу! — ответил Потапов весело.

— Ничего-ничего, потерпишь, — сказала продавщица, — потерпишь до одиннадцати, будь уверен.

Ведь даст, подумал Потапов, душу вымотает, а потом даст. Чего бы ей сказать такое? И начал плести историю про друга с Кольского полуострова, у которого самолет и которого надо проводить... Оригинальное изобретение. А главное, очень новое...

— Что ж ты такой нескладный? — продавщица покачала головой. — Уж сказал бы честно, что дай, мол, Наташа, опохмелиться. И то бы лучше подействовало.

— Дай мне, Наташенька-спасительница. Дай ты мне, пожалуйста, опохмелиться.

Продавщица повернула к нему удивленное лицо:

— Я ж тебе сказала, с одиннадцати... Такой интеллигентный, думала. Всегда: здарсьте, спасибо. Думала: ну прямо научный работник. А он — пожалуйста: дай, Наташа, опохмелиться! — Продавщица и сердилась и смеялась одновременно. И оба эти занятия делала от чистого сердца.

— Вот же шут тебя знает, что за баба! — сказал Потапов. — Про товарища толкую — не верит. Опохмелиться — опять ей плохо... Ну товарищ, ты понимаешь, у-ез-жа-ет!

— Опохмелиться! Уж врал бы одно.

— Ну подумай сама, шампанским кто-нибудь опохмеляется?

Продавщица была, видно, озадачена.

— А вам... — она запнулась на секунду. — А вам чего ни дай, все хорошо. Лишь бы выпить.

Потапов протянул ей деньги.

— Только за рубль восемьдесят две нету, имей в виду!

— Да шампанского мне, пару бутылок! — засмеялся Потапов.

— Чего? Правда, что ль, друг? — изумилась продавщица.

— Ну, врать я тебе стану...

Он улыбнулся ей и ушел. И всю дорогу до дому улыбался, вспоминая их разговор. А слоистый утренний воздух летел ему навстречу.

С черного хода и по возможности тихо он пробрался на кухню. Достал стаканы. Заглянул в холодильник — столько еды он уже давненько не видел.

Он сжарил яичницу. Жуть, конечно: шампанское с яичницей! А что поделаешь, делать-то все равно нечего! Подрезал вареной колбасы. Снес все на террасу. Ну теперь уж пора будить. Опять представил, как они там спят. Да кто же посмеет их будить?! Яичница стыла катастрофически!

Но ему везло в тот день. Дверь открылась, и на террасу вышла Маша в синем, довольно легкомысленном халатике. Потапов невольно покраснел. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Причем Маша удивленно. Наконец она улыбнулась, давая понять, что пора бы ему произнести обычные утренние слова.

Однако язык Потапова сделался свинцовым.

Но ему везло в тот день! Почти тотчас вслед за Машей на террасу вышел Сева. Он тихонечко отодвинул Машу и пошел к Потапову. Сразу и безоговорочно было понятно, что Сева рад его видеть.

— Привет, Робинзон! Смотрю, совсем тут рехнулся. Ты что, вчера у нас... того?..

— Уже месяц в рот не брал!

— Ну понятно. — Севка кивнул на стол. — Шампанское на завтрак. В девять утра!

Маша засмеялась.

— Кончайте вы, борцы за нравственность. Я кой-какую работенку кончил. Я сегодня гений.

— О! — сказал Сева. — И выражаешься прямо как Блок.

— Почему Блок?

— А это же его крылатая фраза. Когда закончил «Двенадцать», то в дневнике написал: «Сегодня я гений».

Однако Потапову сейчас не хотелось ни на Блока походить, ни на кого другого. Он крикнул:

— Граждане, яичница стынет! Машенька! — и стал открывать бутылку.

— Неужели правда будем пить? — удивился Сева.

— Конечно, будем! — ответила Маша.

Потапов невольно засмеялся: она была все-таки восхитительная женщина. Но состоять при ней Севкой... Минуй меня чаша сия!

Уселись за низенький, в сущности говоря, журнальный столик. И так весело им было есть яичницу и вареную колбасу. И запивать это шампанским. Стрельнув, пробка отлетела на дорожку, в зеленую траву. Ах, как весело им было сидеть, как непринужденно...

— Ну что, Сан Саныч. За тебя. За твой осуществленный гений!

— Простите мою нескромность. — Потапов улыбнулся. — Машенька, простите вдвойне. Вынужден этот тост принять.

Они чокнулись.

— А чего все же ты придумал, Саш?

Потапов лишь безнадежно махнул рукой.

— Чего? Долго объяснять? — спросил Сева с оттенком агрессивности. — Ну понятно! Ты меня можешь читать, обсуждать, хвалить, ругать — по своему усмотрению. А я тебе должен верить на слово... Объясните мне, господа хорошие, почему все понимают в футболе и литературе — особенно в детской? Все решительно!

Маша на протяжении его тирады рассеянно смотрела в сад. Потапов же в это время ел. Нет, ел — это слишком слабо сказано! Мгновенно исчезла яичница, колбаса. Маша подложила ему еще со сковородки. А потом и Севину порцию, к которой тот не притронулся...

Вдруг Сева быстро вынул из кармана клочок бумаги и ручку. И остановился:

— Да нет, не стоит... Так не забудется. Роман я, Сан Саныч, собираюсь писать. Про тебя!

Потапов неловко проглотил последний, но все такой же вкусный кусок яичницы.

— Про тебя, про тебя! — сказал Сева с шутливой мстительностью. — И про Марью-искусницу и про Текстильный.

— Про что? — Маша подняла бровь.

— Да неважно...

— А ты разве это все знаешь? — спросил Потапов.

— А я все напишу про себя. А вам скажу, что про вас. — Здесь надо бы улыбнуться, но Сева почему-то не улыбнулся.

Маша, как бы вспомнив, тронула его за рукав:

— Слушай, мы совсем с ума сошли, да?... Мы же должны Саше сказать, что...

Валя, сразу подумал Потапов.

— Вам звонила...

Валя!

— ...секретарь вашего... ну, в общем, начальника. Она нигде вас не могла доискаться. И потом, видимо, через Эллу, — Маша сделала выразительную паузу, — узнала наш телефон...

Итак, Ленуля его отыскивала по Севиним координатам. Что там опять стряслось?

— А она не говорила, что за срочность такая?

— Вам, кажется, сегодня надо в город? — Они встретились взглядами, и Потапов кивнул. — За вами сюда пришлют машину!

Она снова посмотрела на него. И Потапов рассмеялся. Теперь ему стали понятны ее взгляды. Ну да: это же всяма и всяма престижно, когда за тобой на дачу присылают машину. И Маша хотела

понять, рассмотреть, что такого особенного в Потапове, почему за ним пришлют машину. А он сидит на чужой старенькой даче и питается геркулесом. Что все-таки ошибка — машина или геркулес? Или между этими двумя вещами есть какая-то естественная связь? Теперь ведь все такие оригинальные...

— А почему вы засмеялись? — Она смотрела на него уже с напряжением.

— Машенька, простите сумасшедшего! Это я совершенно не про то... А она не говорила, во сколько эта машина придет?

— В половине первого.

Потапов машинально выпил несколько глотков и потом с запоздалой поспешностью отставил стакан: явится на комиссию, а от него несет как из винной бочки — хорош!

Вообще он вдруг застопорился в своем веселье: комиссия ждала его, и надо было хотя бы отчасти подготовиться, хотя бы подумать, как оно там будет все происходить. И зачем Луговой заставил Ленулю обзвонить пол-Москвы, разыскать адрес берлоги, в которой скрывается Потапов... Заседание в два. Так у них заведено издавна: до обеда работаем, а уж после обеда — ладно, позаседаем.

Лужок посылает за ним машину, чтобы... Чтобы что?.. Потапов приезжает к часу, то есть к обеду, то есть на виду у всего института. Затем, по всей вероятности, они вместе идут обедать. А там, в их директорской столовой, явно будут и члены комиссии. Официально Сереже Николаевичу за Потапова заступаться неловко, поскольку он как бы и за себя тогда заступает. Но показать, что, мол, танки мои стоят у Потапова за спиной — это он сделает.

До чего сразу жить-то легче! Потапов резко встал. Сева и Маша остались где-то внизу — его семьей, его уютными домашними заботами, которые могут подождать. Сейчас ему надо было думать о предстоящем сражении. Радостная тревога охватила Потапова. Хотелось наверх, сесть одному и все обдумать.

И неудобно. Сам же зазвал людей на торжественный завтрак.

— Ну так что? Двинул? — сказал Сева. И это было удивительно, как он почувствовал состояние Потапова и тотчас постарался вырвать его.

— Правда, пойду. Надо малость расставить в голове шахматные фигуры...

— Важная научная тайна? — спросил Сева с улыбкой. — Нам не понять?

Потапову очень хотелось пожать ему руку. Но, конечно, это было нельзя, этого и сам Сева не одобрил бы, что еще за телячьи нежности! И не глянув даже, он быстро ушел.

А Сережа действовал по полной программе!

Без десяти двенадцать у линияго Севкиного забора остановилась «Волга». И это была не просто одна из институтских «Волг», это была персональная машина Генерального конструктора.

Иван Григорьевич Баринов, персональный шофер этой персональной машины, сделав на старомодный лад прогазовочку, заглушил мотор, вылез, пошел по дорожке к даче — сам на вид никак не менее замминистра. Он ничуть не сомневался, что идет правильно и через минуту увидит Потапова.

— Здравствуйте, здравствуйте, Александр Александрович! Давненько вас не видел. Как поживаете?

Старая лиса! Все-то ты знаешь: и как я поживаю и как мне по шеям давали.

— Поживаю слава богу... Чайку на дорожку не желаете?

— Спасибо, нет, — ответил он твердо и тут же пояснил: — Сергей Николаевич просили быть несколько ранее часу. Поедьте, если вас ничего не задерживает.

Он так всю жизнь говорил — будто по печатному тексту. С оксфордскими обертонами, как шутил Олег. Имена и отчества выговаривал всегда полностью, будто на панихиде. Никаких Михалычей, Санычей для него не существовало. Только — Михайлович, Николаевич, Александрович и так далее. Удаться можно было от тоски. Особенно при частом общении. Луговой, однако, этого почему-то не замечал и принимал своего Баринова в любых дозах.

Сева и Маша пошли проводить Потапова до калитки. Иван Григорьевич не замечал их. Он не признавал никакого другого деления на свете, кроме деления на простых и начальников. Причем его начальники (Лужок, Потапов, Стаханов, Олег... но главное, конечно, Сережа!) были ответственней и солидней других начальников — так он самоутверждался. Был он одинок и ни жены, ни семьи, кажется, никогда не имел.

Он открыл калитку, чтобы пропустить Потапова, а затем пройти самому. Но Потапов взглядом пригласил Машу, за нею и Сева прошел, за Севою Потапов. А уж потом Иван Григорьевич. На лице его, однако, не отразилось и блика: раз «оне» так считают, значит, пусть так и будет, — начальство... Впрочем, Потапову было сейчас не до этого.

— Ну... покедова, Сев...

Он ведь так Севе ничего и не рассказал.

— Тот случай, когда надо говорить ни пуха ни пера?

Потапов кивнул.

— Когда приедешь? В принципе-то ключ где обычно...

— Если я не приеду, то дам телеграмму.

— А я... — Он, видно, хотел сказать что-то хорошее Потапову на прощанье. — А мне за очерки про Текстильный премию дали!

И тут Потапов не выдержал, быстро обнял Севу и быстро сел в машину. Опомился, уже плюхнувшись на заднее сиденье:

— Машенька! До свидания и большое вам спасибо!

Григорьич, который понимал толк в таких вещах, сейчас же газанул, и «Волга» покатила прочь...

Когда сидишь рядом с шофером, то почти обязательно начинается разговор. У Григорьича же всегда садились сзади. Так было заведено Луговым, который в машине любил молчать. Он вообще до разговоров был не большой охотник.

Словом, теперь Потапов на заднем сиденье остался как бы сам с собой... Промелькнул магазин, станция с прицеленным в небо шлагбаумом, пустынная железная дорога.

Вот и кончилось, подумал Потапов. А что именно, он точно и сам не знал, не мог сказать словами. Он сидел, засунув руки в карманы, глубоко задумавшись. Машина между тем вырвалась на трассу и полетела навстречу Москве.

Ну вот, а теперь пора... Он вынул из кармана Валино письмо. За те десять дней, что оно прошуршало в его пиджачном кармане, письмо заметно истерлось по углам и сделалось еще тоньше того, что было, примялось. Почему-то Потапов не испытывал сейчас радости. Он лишь знал, что должен это сделать, и сделал — очень осторожно надорвал конверт по краю, вынул сложенный вдвое листок, показавшийся отчето-го-то на редкость белым. Он был вполовину того, каким обычно пользуются машинистки. И все Валины слова легко уместились на одной его стороне.

«Здравствуйте, Александр Александрович! Я получила Ваше письмо, за которое спасибо. Я все читаю его и думаю, что же Вам ответить. Но самое главное — я очень и очень рада, что Вы сделали открытие. Хочу пожелать Вам самого большого успеха. Крепко Вас целую на прощанье. Валя». И внизу, отдельно от всего письма, стояла приписка: «Скоро выхожу замуж».

Знал ли ты, Потапов, что будет именно так? Не отвечай, молчи. Но слишком уж долго ты не открывал этого конверта. Тогда чего же теперь спохватился расстраиваться?

Он вставил листок обратно в конверт, а конверт отправил на место, в боковой карман пиджака. За окном бежали разномастные дома какого-то подмосковного городишка. А потом опять начались поля, зеленые от весны. Огромными прыжками улетали назад одноногие столбы.

На все это и на другое, что несло им навстречу, Потапов смотрел с невероятным равнодушием. Он не испытывал сейчас ни горечи, ни досады, ни ревности. Одно только сильнейшее разочарование. Машина затормозила у светофора, где в широкую реку их шоссе втекала другая речка, помельче. Потапову с необыкновенной остротой захотелось вылезти из машины и пойти куда-нибудь прочь. Он приоткрыл дверцу и сразу захлопнул ее. Иван Григорьевич обернулся.

— Зеленый дали,— сказал Потапов.

Шофер кивнул, и машина снова поехала. Никуда выйти он не мог. Была работа, был Луговой, который доверял, надеялся. Было еще много всего и в том числе совесть, партийный билет, дисциплина. А то, что там у него творилось в душе, было лишь фоном его работы. Явлением природы, которое происходило за плотно закрытыми окнами. Приходилось быть деловитым и хладнокровным. Только вот сделаться веселым он себе приказать не мог. Он сидел не шевелясь, все так же засунув руки в карманы. И голова его (когда-то залихватски черная в контраст с синими глазами, а теперь почти сплошь седая) была низко опущена.

Машина между тем уже пробежала последние прединститутские улицы. Давненько тут не был Потапов. В другое время он бы глядел по сторонам и волновался, но теперь сидел, ничего не замечая. Пропустил он и тот важный момент, когда машина остановилась перед тяжелыми воротами и коротко, требовательно гуднула. Стальные ворота сейчас же разъехались.

Машина стала посреди двора, на самом виду. На самом народе, который уже тянулся в столовую. Потапов все сидел.

— Приехали! Александр Александрович!

И Потапов очнулся. Отставить настроения! Вышел из машины, улыбнулся — в общем, никому и в то же время всем — своему институту. Затем он наклонился в раскрытое окошко к Ивану Григорьевичу, словно давал какие-то распоряжения. На самом деле он всего лишь сказал:

— Спасибо большое, Григорьич. Отлично доехали.

А Григорьич, возможно включенный в игру самим Лужком, эдак значительно наклонил голову: мол, вас понял, будет исполнено!

Он пошел совершенно уверенной походкой. С ним здоровались, ему уступали дорогу. Ему, наверное, оборачивались вслед... Нет. Без всяких «наверное» — ему оборачивались вслед! Все знали, что он заporол испытания. Да, он их заporол. И отправлен был в отпуск, в ссылку. И кое-что (большой привет от Ленули!) просочилось об Олеге. И даже, видимо, кое-что об Элке...

«Как человек грохнулся, с какого пьедестала!» Это доброхоты говорили злорадные, которые всегда существовали на белом свете, во все времена и во всех учреждениях.

Но теперь, выходит, что-то странное произошло! Вот он явился такой загадочно-уверенный... Ну допустим, половина — это наигранное, допустим. А вторая половина? И потом эта всему институту известная «Волга»...

Но больше, конечно, было тех, кто здоровался с ним от чистого сердца. Потому что его любили, Потапова: мужик толковый, честный. Хотя он и не был так называемым добряком. Но тот, кто поумнее, наверное, понимал, что на его должности добрым быть невозможно.

Когда раз за разом решаешь судьбы миллионов рублей и тысяч людей, в такой ситуации точность — вот твоя высшая доброта.

Ленуля встретила его лучезарной улыбкой, Ленуля одна из тех, кто действительно был ему рад. Они расцеловались.

— У себя? — спросил Потапов.

— Прежде чем войти в кабинет директора, постучите плиткой шоколада по столу секретарши!

Это была чистой воды шестнадцатая полоса «Литературки». Но Потапов рассмеялся со всей возможной чистосердечностью. Вот и его моральная шоколадка. Лена осталась довольна.

И потом наконец произошла главная встреча! Потапов остановился у длинного стола, за которым в положенные часы рассаживались члены директората. А Луговой сидел за своим столом, в своем тронном кресле. Прошла секунда, две, три. Они как бы рассматривали друг друга. Затем Луговой поднялся. И стало заметно, что он еще малость погрузнел и седины поприбавилось. И даже сквозь санаторский загар было видно, что выглядит он не сказать, что блестяще.

Неожиданно эту самую фразу вслух произнес именно Луговой. Он пошел к Потапову, как обычно несколько по-утиному переваливаясь, сказал:

— Что-то выглядишь ты не блестяще...

— Так ведь... — Потапов развел руками, — ковырялся.

— Ладно, сойдешь и так. Здорово! — Они обнялись. — Ну давай рассказывай. — Они сидели за директорским столом не друг против друга, а рядом, как любил Луговой. — Да ты чего это? Кури! Я пока еще на инвалидность не собираюсь.

— Бросил я...

— Вот как! — Луговой удивленно мотнул головой. — А' я смотрю, чего-то от тебя табаком не пахнет... — Он нахмурил лоб. — Ну а я тоже, естественно, бросил... Естественно... И надолго ты решил бросить?

Потапов пожал плечами.

— А я, наверно, навсегда... Поработать еще хочу, понимаешь?

Потапов не знал, что тут ответить, лишь махнул рукой, мол, будет тебе...

— Да нет, я... все в норме... Тут я с одним человеком лежал. Так он говорит, что инфаркт не болезнь, а факт биографии. А у меня это уже второй... факт... Ну все, все! Сейчас пойдем обедать. Надеюсь, ты голодный?

Потапов в ответ неопределенно дернул плечом.

— Надо, понял? Это надо! Надо, чтобы ты был голодный. Надо, чтоб пришли, порубали, пошутили. — И добавил уже мягче: — Ну ты все сам понимаешь.

Потапов кивнул.

— Теперь так, — продолжал Генеральный, — на комиссии помалкивай. Только заключительное слово. Придумал, что говорить?

— Ну, в общем...

— Надо, чтоб знал!

— Да я знаю! — И в эту секунду он окончательно решил, о чем будет говорить. И в эту же секунду ни с того ни с сего Валию письмо встало перед глазами. И до того грустно сделалось Потапову! Не замечая себя, он опустил голову, закусил губу.

— Ну хватит, ладно. — Луговой положил ему руку на плечо. — Знаю, что знаешь, и знаю, что скажешь как надо. Пощады от них, конечно, за просто так не жди. Но и они пусть на наш летальный исход не надеются. Согласен?

Потапов кивнул.

— Тогда пошли обедать. — Луговой встал. — Так... погоди-ка. Больше нам поговорить один на один не придется. Так что говори сейчас... Нечего? Так-так-так! И поговорить тебе с начальством не о чем! — Он улыбнулся.

Неожиданный поворот

В два часа началось. Ровно в два, без единой минуты опоздания, как это было заведено в системе их министерства. Коротко поторговались, кому где сесть, и Краев, председатель, сел в Сережино кресло. А Луговой на стуле у окна, там он сидел как раз в тот день, когда у него случился инфаркт. Потапов встретился с ним глазами, и Луговой громко сказал:

— Иди сюда, Сан Саныч. Местечко есть.

На самом-то деле «местечек» было полным-полно.

— Ну что ж, начнем, товарищи,— сказал Краев и посмотрел на Лугового. Тот кивнул. Это все было, конечно, из ряда вон — и то, что заседали у них в институте, и то, что при слове «начнем» председатель посмотрел на Лугового. Это все говорило об одном — об огромном Сережином авторитете.

Кроме членов комиссии здесь присутствовали наиболее влиятельные люди из их директората: Коняев, главный инженер, секретарь парткома Стаханов, еще кое-кто. И конечно, Олег. Он сидел в самом конце директорского стола, прямо напротив Краева. Этим как бы подчеркивалась некая значительность его положения. Быстро, в несколько ходов он изучил собрание. Увидел Потапова рядом с Луговым. Но никак не отреагировал, лишь задержался взглядом на полсекунды дольше. Еле заметно кивнул Потапову. На лице его было скорее всего равнодушие и чуть-чуть сожаления. Ему теперь было все равно, утопят Потапова или нет. Выгоды здесь Олег не имел ни в ту, ни в другую сторону. Он проиграл свою игру в тот момент, когда не стал и. о. Генерального. Ну а все остальное уже не имело для него значения.

Кто тут еще присутствовал из знаменитых личностей? Порохов, который теперь, конечно, выдвинулся, побыв на месте Лугового, Панов Николай Николаевич, Генеральный конторы по выхлопным трубам, ПЗ, уверенный и спокойный... как танк. Кстати, единственный среди всех, кто поздоровался с Потаповым за руку. Остальные считали это для себя неудобным, что ли. Впрочем, Панов весьма дружески подмигнул ему... когда увидел, что Потапов сидит рядом с Луговым. Был тут и сам Петр Григорьевич Сомов. Даже председатель комиссии Краев был у него в подчинении — не шутка! Краев — молодой, подающий надежды... службист. Говорят, вроде талантливый был. А теперь — черт его разберет! На министерских хлебах, на этих бумажках и циркулярах, когда к науке ты имеешь отношение только руководящее...

С ним рядом сидел Илюша Белов, зам. И еще Потапов заметил молодого инженера, совсем парнишку. Подумал: раз сюда взяли, значит, толковый. Или говорить умеет что положено.

— Позвольте мне зачитать заключение нашей комиссии. А затем прошу высказывать свое мнение,— сказал Краев суховато.

Далее он зачитал бумагу, составленную хорошим инженерно-литературным слогом. Собственно, не бумагу, а семь страниц машинописи, с которыми все присутствующие здесь были знакомы. Но таков уж существующий порядок: заключение должно быть обнародовано, что называется, официально. Это был в самом деле толковый документ и абсолютно объективный. Лишь в начале названным порядком фигурировали фамилии Потапова, ПЗ и Лохова Евгения Ильича, и. о. директора Озерновского завода. Того самого Лохова, который представил все дело в невыгодном для Потапова и в выгодном для Олега свете. Теперь и ему досталось на орехи в золотых бумажках!

Дотошная комиссия выяснила, что соединение «прибора» и выхлопной трубы произведено было с недостаточной тщательностью. Утечка получалась в общем-то чисто теоретическая. Но все ж была, и

Лохова за это грели — Потапов мог праздновать хоть и пиррову, а все-таки победу!

Однако он ничего не праздновал. Теперь, когда всеобщее внимание уползло с его физиономии, он опять остро ощутил свою печаль. И усталость. Он был словно старый овин, который вроде все крепко-крепко, но вот шел мимо пьяный мужик, выбил плечом подпорку, и стал овин кособочиться, съезжать. Будто еще стоит, а сам все валится да валится.

Вот и он так, Потапов... То есть, конечно, совсем не так! Однако ж подпорки не хватало. И вот он кособочился, скрипел. И что ни порыв ветра, то все больше и больше валился на бок.

В некоторые моменты он заставлял себя собраться и тогда отчетливо слышал, что говорили на этом очень важном для его судьбы собрании. Они говорили все об одном — о мере ответственности Потапова за случившееся. «Нос» — это был его прибор. И вторая подпись под документом о начале испытаний тоже была его подписью. Неприятности же, которые последуют (и уже следовали) за столь непоправимо прерванные испытания, исчислялись целыми армадами грозowych туч. И сколько там было молний, в тех тучах, — это просто уму непостижимо. Все их обрушить на Потапова не было никакой возможности. Многие, очень многие огненные стрелы должны были грянуть на голову Панова, и ПЗ, и Сомова, и других, кто здесь сидел.

Но существовал некий психологический нюанс. Если бы сейчас они решили осудить Потапова на всю катушку, то большая часть молний, предназначавшаяся им, вышестоящим и рядомстоящим товарищам, вообще бы не грянула. Потому что уже создавался бы эффект сурового, принципиального наказания. И возникала бы та известная ситуация, про которую поется: «Это стрелочник, это стрелочник, милый стрелочник виноват...»

К тому и шло их собрание, с некоторыми полемическими отклонениями, но шло. И Потапов понимал, что в этом было даже не столько чувство самосохранения, сколько объективный подход к делу. Такие испытания — это вам не пяток бракованных деталей, их не спишешь, сказав, что, мол, бывает, дело житейское, в данном случае никто не виноват, даже и бедный интриган Лохов, который недоприказал сохранять при соединении трубы и «прибора» особую тщательность.

Здесь невозможно сослаться на непредвиденность происшедшего, невозможно сказать, что, мол, срыв произошел в связи с обнаружением нового явления природы, потому что сейчас же ответят: «Да вы что, да кто же вам такую бумагу подпишет?! Новое явление? Значит, надо было его учесть — сперва открыть, а потом уж заниматься испытаниями. На то вы и научные работники».

Исторически известно — наука невозможна без ошибок. Так оно и называется даже: метод проб и ошибок. Но в интересах дела необходимо было сказать, что ошиблась не наука, а отдельный научный работник, не метод, а его частная методика...

И вот все высказались наконец.

— Какие будут предложения, товарищи?

И наступила пауза. Сейчас им надо было решать человеческую судьбу. Все они здесь, люди, так или иначе облеченные властью, не раз уже испытывали это чувство, когда необходимо расставить знаки препинания в предложении: «Казнить нельзя помиловать». Они понимали отлично, что от их слов многое может измениться в жизни Потапова. И они молчали. Вернее, даже лучше сказать: было слышно, как они молчали... Но не потому, что боялись ответственности, а потому, что осознавали ее в полной мере.

— Тогда позвольте мне, — поднялся Сомов Петр Григорьевич. Он был здесь самый старший и по возрасту и по занимаемой должности. Потапов его недолюбливал. За излишнюю, может быть, осторожность,

за неумение красиво рискнуть и выиграть. За то, если говорить честно, что Сомов недостаточно был умен для занимаемой им должности. А Сомов как человек действительно осторожный и очень... конкретный, видимо, исповедовал апробированный столетиями взгляд на человечество: как ты ко мне относишься, так и я к тебе. Потапов его недолюбливал, и он недолюбливал Потапова...

Итак, Сомов встал. Но заговорил не сразу — выждал секунду, как делает человек, чувствующий себя начальником, а точнее, как человек, испытывающий к себе уважение.

— Товарищи! Поскольку здесь находятся уважаемый Борис Парфенович и еще несколько товарищей из партбюро данного НИИ, то, я думаю, мы можем говорить об этом прямо. Я полагаю, что выговор с занесением в учетную карточку Потапов Александр Александрович получит заслуженно и обязательно... Это что касается партийной линии, хотя это и не наша компетенция. Теперь что касается административной...

Так он и продолжал в том же духе — основательно, весомо, словно дубовую мебель расставляя: дело непростое и дело физически тяжелое. Но при сноровке справиться можно.

Он выдвинул на обсуждение следующую альтернативу: либо гнать Потапова из института к чертовой матери, либо отстранить его от занимаемой должности и перевести на должность...

Завлабораторией, подумал Потапов.

— Старшего инженера,— сказал Сомов. И в этом был, наверное, определенный элемент застарелого недоброжелательства. Хотя, может быть, Петр Григорьевич просто реально оценивал обстановку.

Сомов сел, и тогда молодой и способный Краев спросил, будут ли у товарищей другие предложения. Товарищи молчали. И председатель сказал, что так он и думал, потому что Петр Григорьевич нарисовал исчерпывающую картину возможных...

Экзекуций, подумал Потапов.

— Вариантов,— сказал председатель.— Что касается партийного взыскания, то наше собрание, естественно, не вправе принимать какие-то определенные решения. Партком института сам решит...— Тут он посмотрел на Стаханова, и тот кивнул.— Теперь ставлю на голосование два предложения. Одно из них, принятое нами, будет передано на рассмотрение коллегии министерства и...

Утверждено, подумал Потапов.

— И... ну, словом, вы сами знаете эту процедуру... Голосуем один раз за то или иное предложение. Воздержавшихся у нас тут быть не может. Итак...

— Позвольте мне сказать... По ходу ведения нашего собрания! — Это встал Стаханов. И создалась такая странная ситуация, совсем не подходящая для столь важного заседания, когда два человека одновременно стояли.

Председатель смотрел на Стаханова, ожидая, когда тот скажет: «Извините» — и сядет. Но ничего подобного не происходило. Они стояли и смотрели друг на друга.

— По ходу ведения собрания,— повторил Стаханов веско. Это были, конечно, абсолютно самоочевидные слова. Ну ясно, по ходу ведения собрания — как же иначе? Как же еще выступают люди? По ходу вращения планеты Земля, что ли? И он бы никогда не позволил себе эдакой лабуды, если б, опытный боец, не знал он, что именно эти слова и подействуют — позволят ему взять слово в самый неподходящий и потому в самый решающий момент сражения.

— Ну...— Краев развел руками,— если по ходу ведения...— и сел. А Стаханов остался стоять.

— Товарищи,— сказал он,— прежде чем мы начнем голосование, я должен довести до вашего сведения следующее.— Он сказал это таким голосом, словно собирался сообщить некое высшее мнение.

Все невольно насторожились.— Товарищи! Потапов виноват. И в этом все мы с вами совершенно правы. Но только, товарищи, давайте, как говорится, осушать болота таким образом, чтобы потом не пришлось обводнять пустыни!— Созданное им же самим напряжение вдруг лопнуло. Все засмеялись. И кажется, даже Потапов. А Стаханов выждал лишь одну секунду, лишь первые «ха-ха-ха».— Потапов отличный работник: он и руководитель отменный и научный работник самого высокого класса. Я не прошу за него, это было бы нелепейшим занятием. Я только говорю, что лишать его работы — это в высшей степени нерентабельно, негосударственно.— Он помолчал.— Я думаю, что строгий выговор по партийной линии Потапов получит. Но вот по административной я предлагаю...— и тут он, пожалуй, допустил ошибку: слишком многого захотел,— предлагаю поставить вопрос о материальном возмещении им части убытков, однако считаю возможным оставить его на занимаемой должности в данном институте.

По-видимому, всех особенно задело это «возмещение части убытков». Какое «части», когда речь шла о невосполнимом — потерянном времени, об истраченных понапрасну усилиях людей и так далее.

— Какой Потапов руководитель, можно судить, кстати, и по разбираемому случаю! — послышался не очень одобрительный голос.

— Он способный — верно. Но одних способностей мало! — Это уже Панов высказался... И тотчас замолчал. И спрятался бы куда-нибудь, да некуда. Потому что способностей, за которые он укорял Потапова, сам Панов имел в весьма ограниченном количестве. И всем стало неловко.

Стаханов сел, чувствуя: сделал он далеко не все, что мог, — самым банальным образом переволновался, не собрал нервишки в кулак.

Потапов наблюдал за происходящим как бы со стороны. Да будь что будет, в конце-то концов! А уж что произошло, того, Валечка, не вернуть! Он улыбнулся и кивнул Стаханову, чего, по-видимому, не надо было делать. А впрочем...

— Тебе надо говорить сейчас! — шепнул Луговой.— У тебя есть что сказать? Потяжелее!

Потапов пожал плечами и увидел, что Генеральный побледнел и чуть прищурил глаза. Он негодовал сейчас на Потапова, не ожидал, что Потапов окажется такой небоец. Сам Лужок говорить просто не имел права. С одной стороны, к испытаниям он не прикасался и вообще не вел эту тему — ее полностью вели Потапов и группа. С другой, Потапов был подчиненным Лугового, и, защищая его, он как бы защищал и свой институт — себя. Что было, конечно, невозможно.

Единственно кто мог сражаться, это Стаханов. Но он свой патрон уже выстрелил.

Стали голосовать. И Олег, который все время следил за выражением лица Генерального, ошибся, неправильно сориентировался в этом сложном лавировании. Когда Краев сказал: «Кто за увольнение?», он чуть заметно дернул плечом и поднял руку. Он и Панов. И в следующее мгновение до смерти хотел бы ее опустить, да было уж поздно!

Таким образом, первое предложение не прошло, а прошло второе, и Потапов сликировал в старшие инженеры, в подчинение к его же ребятам, к Женьке Устальскому, к Валере Булгарину, чего, конечно, практически быть не могло... Вот и открылась возможность махнуть в Текстильный... А где инженерить, не все ли равно! Можно взять какой-нибудь спецкурс в тамошнем пединституте...

Так он говорил себе, пока шло голосование. И понимал, что этого не может быть, что это просто дурной сон. Но это все было на самом деле! Черт с ними, с олегами, пусть благоденствуют... А тебе, Стаханых дорогой, счастливо оставаться. И тебе, Сереженька, спасибо за все и прощай! И все прощайте!

И тут вдруг он подумал: да как же я — сгину и не расскажу им того, что я делал? Пусть хотя бы узнают.

Между тем народ уже зашевелился, намереваясь поскорее отсюда уйти. Хоть и правое дело они совершили, да все равно: радоваться тут было нечему, палачом быть — сильно за себя не порадуешься. Только Луговой никуда не торопился, сидел, опустив голову: то ли что-то вспоминал, то ли думал, где найти толкового зама, и как его вводить, и сколько на это уйдет времени.

— Позвольте мне сказать несколько слов, — произнес Потапов. Такой зачин отдавал театральностью. Но никто, наверное, этого не заметил, кроме самого Потапова. Все были... неприятно удивлены — да, это, пожалуй, правильно: неприятно удивлены. Ну что за странное поведение? К чему эти заключительные речи? Словно что-то можно изменить! Тот самый случай, когда собралась барыня в ладоши хлопать, а музыканты уж проехали!

— Вы хотите что-то сказать? — Краев, как и все, был неприятно удивлен. — Я вас правильно понял?

— Да.

Потапов встал и, обойдя длинный директоратский стол, подошел к противоположной стене, где за раздвижными шторками висела доска и в желобке должны были лежать разноцветные мелки. Доской пользовались редко, и мелков могло не быть... Да, если их нет, значит, я пропал... Нелепо было бы посылать Ленулу за мелом и ждать на глазах у всех. «А в чем, собственно, дело-то, Александр Александрович? Может, вы нам своими словами расскажете?» Но, по счастью, мел оказался на месте. Он раздвинул шторы.. С чего же начать? Пока вы исследовали мою вину, я занимался наукой — так ведь не начнешь.

Тут взгляд его упал на притулившегося в углу Лохова. Бедный интриган, заваривший эту кашу, он и знать не знал, что все так обернется, что его самого ждет выволочка с административными последствиями.

— Я хотел бы сказать по поводу соединения, которое вменяется в вину персоналу Озерновского завода, и в частности товарищу Лохову. Соединение было произведено, как я понимаю, грамотно, утечки самые мизерные. Мы бы и не знали об их существовании, если б в изменившихся условиях не заработал на порядок чище прибор «Нос»-один.

— Что значит «Нос»-один? — хриловато от долгого молчания спросил ПЗ. — Разве существует какой-то «Нос»-два?

— Такого прибора пока нет, но принципиальная возможность его создания практически разработана. И я хочу рассказать вам о такой возможности.

— Это имеет отношение к нашему собранию? — спросил Сомов.

— Да, — ответил Потапов, — имеет.

Конечно, имеет. Коли он уйдет, должно же это на кого-то остаться. А тут сейчас собрались все решающие головы их отрасли... Ну если не все, то кворум по крайней мере есть!

Он знал, как нужно им рассказывать: кратко, потому что они все профессионалы высокой марки. Но в то же время и достаточно подробно: тема-то новая, на лету схватывать трудно. Сперва он коснулся принципов работы «Носа»-один, то есть простого «Носа». Потом пошел вперед, к своему открытию, как бы заново совершая его. Это было увлекательнейшим делом — читать им лекцию и видеть их лица — нет, не злые, не скептические, только удивленные, а потом все более внимательные... Лужок ушел со своего дальнего места, пересел к столу, стал что-то записывать, слушая Потапова.

Пожалуй, только Панов продолжал сидеть с выражением официальной скуки на лице. На самом деле он, наверное, просто не схватывал... Ну да шут с ним!

Жаль, что не видел он лица сердечного дружка Олега, который сидел почти за спиной у Потапова. Что же ты сейчас испытываешь? Как ты вообще живешь? Думаю, не очень тебе хорошо...

Потапов продолжал разворачивать карту своей математической местности. И его сопровождали все более внимательные взгляды... Пожалуй, лишь секретарь парткома Стаханов следил не столько за мелком и словами Потапова, сколько за лицами присутствующих. С наукой мы разберемся чуть позже, думал он, сейчас главное в другом. Ему хотелось понять происходящее чисто по-человечески.

В самой-самой глубине души он считал Потапова малость чудаковатым мужиком. Но всегда был на страже интересов Потапова, таких, как Потапов. Конечно, он бы хотел, чтоб Потапов был чуть... по-нормальней, что ли. Держался бы малость посolidней. Но где другого взять такого же классного «приборщика»? Они делали «приборы» лучше всех. И он, секретарь парткома Стаханов, был готов мириться с ними с такими, какие они есть. Отстаивать их интересы, смотреть сквозь пальцы на их причуды. Когда-то, лет шесть или семь назад, он был направлен сюда. И смысл его работы здесь состоял в том, чтобы растить и лелеять самое лучшее «приборостроение». И он действовал.

Сейчас, когда ему не удалось отвоевать Потапова, он немедленно стал думать, с кем и как он может связаться, чтобы все-таки повлиять на министерское начальство, и на кого из этого начальства персонально выгоднее будет выйти. Он знал, что Потапов лучший «приборщик» из первой пятерки живущих ныне «приборщиков», как, скажем, Луговой лучший Генеральный в данной области.

Итак, он уже начал строить свои планы защиты. Но здесь вдруг совершенно нелогично Потапов взял слово. И на секунду Стаханов засомневался в своем чутье. Ведь Потапов не должен был делать глупость. А он ее делал! Потапов должен был вынести все, получить по заслугам, а потом... а потом давай, брат, думать, как выходить из положения.

Но Потапов всегда делал не так — не так, как можно было предположить. И сейчас он сделал не так, а по-своему... Он талант, думал Стаханов, глядя то на Потапова, то на лица слушающих его людей, талант — вот и все дела! И совсем не аппаратчик! Но уж это я за вас, ребятушки, подработаю вопрос.

Луговой слушал Потапова с чувством и восхищения и некоторой досады. Да, что ж тут поделаешь, именно — досады. Он завидовал Потапову. И поскольку белая зависть существует только в эстрадных песнях, надо признать, что Луговой завидовал Потапову самой нормальной человеческой завистью. Он делал пометки, когда ему казалось, что потаповские доказательства не совсем крепко стоят на ногах. Но потом раз за разом зачеркивал свои вопросы и галочки, слушая следующие шаги объяснения.

Можно сказать, он уже знал, к чему это все придет. Но продолжал следить за красотой и неожиданностью потаповских ходов. И думал: а ведь до этого и я мог бы дойти. И даже говорил Сашке, говорил же: ищи, ройся, здесь что-то должно быть... Но сделал Потапов! Он прошел этот путь, кажущийся теперь таким блестящим и само собой разумеющимся — словно взятым прямо из учебника. Да, словно из учебника... Однако такое ощущение, знал Луговой, всегда возникает, когда ты воспринимаешь что-то очень естественное. А по-настоящему естественным бывает только большое открытие.

Так думал Генеральный, слушая Потапова, и снова делал свои пометки, и снова их зачеркивал: все, что говорил Потапов, была правда, красивая математическая правда. И Луговой сердился на себя. Он думал, что сердится на Потапова, а на самом деле сердился на себя.

А потом он перестал и сердиться и спорить сам с собой, он только слушал Потапова и говорил: ух ты черт, ух ты зараза, Сашка...

А вернее, он и этого себе не говорил, это уж потом, когда он дома вспоминал, то ему казалось, что он что-то там говорил. На самом деле он сейчас только слушал. И впервые за последние два месяца не чувствовал, как бьется его сердце.

Наверное, и все присутствующие испытывали то же — испытывали, что они присутствуют при произнесении истины.

Прежде чем кончить, Потапов по стародавней привычке докладчика посмотрел на часы. Он говорил тридцать минут.

— У меня все, товарищи,— и сел на первый увиденный свободный стул. Так он нечаянно оказался рядом с Олегом. Была тишина. Все смотрели сейчас на Потапова... сквозь Олега. Никогда в жизни Олег Астапов так мало не существовал для аудитории, как в эти секунды... «Нарочно он сюда сел, что ли?» — подумал Олег. И с тоскою понял: не нарочно. Затянулся как можно глубже, хотя уже более двух лет запретил себе делать такие штуки. Он просто гений, Сашка, вот и все. А я не гений. Так что ж мне, убить его за это?

— Будут вопросы, товарищи? — спросил Потапов, словно это действительно был доклад на научной конференции.

— Скажите, Александр Александрович...— Это поднялся тот слишком молодой для таких совещаний парень, вначале не понравившийся Потапову.

А вопрос-то оказался интересный! Немножечко мальчишеский. И сформулировано так, чтобы в первую очередь самому покрасоваться. Потапов снова поднялся и с удовольствием, с хрустом разгрыз эту задачку. И слегка подкинул тому вопрошающему на орехи. И подумал: надо парня к себе тянуть, пригодится.

Снова сел. Наступила тишина. Больше вопросов не задавали. Тут Потапов увидел, что сидит рядом с Астаповым. Олег повернулся к нему. И надо было или улыбнуться в ответ на его улыбку, или послать его к черту.

К счастью, он не успел ни того, ни другого.

— Можно мне? — встал Луговой.

«Пожалуйста», — чуть не ответил Потапов.

— Товарищи! — очень торжественно сказал Луговой. — Мы присутствуем с вами при рождении совершенно нового направления в нашей науке. Об этом говорит многое. И необычность поставленных Александром Александровичем задач и необычность их решения... Нам с вами хорошо известно, наука наша имеет... ну, скажем так: большое прикладное значение. Мы этим даже гордимся... И вдруг в работе Александра Александровича она вырвалась на свободу, наша наука, вырвалась из пут прикладничества и технологий. Я уверен, она, конечно, пригодится и нам, в нашем деле, но она будет существовать и отдельно от наших специальных задач. Это, конечно, редкостная удача и... подвиг. Извините за столь странное слово, но так уж и давайте иметь в виду. Мы искали его вину. А он вместо того чтобы как-то защищаться, чтобы... интриговать, — тут Луговой качнул головой, — да нет, он бы и не сумел!.. Вместо всего этого Потапов работал! Мы его с вами выставили из замов. И так единодушно... потому что, в сущности, у нас не было иного выбора. Но теперь я даже согласен с этим решением! Из замов? Гнать его! Ему необходим свой абсолютно самостоятельный участок работы! И полагаю, присутствующие понимают это не хуже меня.

Сам не зная зачем, Потапов встал. Он не мог говорить от напряжения. Но ему и не надо было ничего говорить.

— Заседание нашей комиссии окончено, — неуверенно сказал Краев.

Стали медленно подыматься, словно чего-то еще ожидая.

Потапов все не мог стронуться с места.

— Сашка! — позвал Луговой. — Са-ша!.. Ну что ты здесь стоишь? Иди домой. Пиши про все это докладную.

Осенние дни

Лето миновало и половина осени. И за это время много чего изменилось в жизни Александра Александровича Потапова.

Вместе с выговором, вместе с приказом об отстранении от должности Потапову было предложено представить докладную о новой своей работе по «Носу». Это Потапов сделал за несколько дней.

Но потом дело пошло не так скоро. Один за другим надвигались на потаповскую идею то ученый совет, то коллегия министерства, то обсуждение в Академии наук. И каждый другому не доверял и себе-то не доверял: потому что слава вилась за Потаповым лихого человека. И вот родилась на свет рецензия одна, рецензия вторая, рецензия Техэнергохимпрома, рецензия из Новосибирского отделения, рецензия из НИИ ОПИК. К тому же и в институте он был на положении каком-то неопределенном: инженер Потапов и ни грамма больше! Группу передали Женьке Устальскому — это было законно.

Луговой имел с ним разговор сразу, в то первое утро, когда Потапов явился со своею докладной.

— Значит, вот что, Сан Саныч,— сказал Луговой, глядя не совсем на Потапова и не совсем мимо него.— Назначаю тебя на должность инженера при Генеральном конструкторе. Задача: вводить Порохова в курс дела. Задача вторая: работать над статьей, над диссертацией, над чем хочешь. Расположиться приказываю в комнате восемнадцать. Короче, пока министр без портфеля. Не обижайся и не расстраивайся.

Потапов постоял еще секунду, подождал, не скажет ли чего Сережа Николаич, и вышел. Даже обедать они стали порознь, в директорскую столовую Потапову ходить стало неловко: разные теперь у них стали компании...

Теперь поговорить с Пороховым, которого оставили замом Генерального. Надо честно сказать, это была неплохая замена. А может быть, и лучшая из возможных.

Потапов позвонил Порохову. Надо бы зайти, но он позвонил.

— Славик, привет, Потапов. Велено вести тебя в курс дела.

— Знаешь, Сан Саныч... это...— отвечал Порохов с обычной своей медлительностью,— я тут за месяц пристрелялся в принципе-то. Ну а если чего понадобится... У тебя какой телефон?..

Он сидел в восемнадцатой комнате, крохотной комнатухе — стол, стул и окно. И еще стул при входе. Здесь обычно устраивались разного рода командированные, если надо было исследовать какую-то документацию, или свои просто забежали перекурить с глазу на глаз. Теперь эта комнатка стала его кабинетом.

Порохов не звал. Вернее, вызвал однажды за двумя не очень ловко придуманными справками — наверное, Луговой попросил. А Слава — мужик без задних мыслей, без хитростей.

Сижу тут как сыч, думал Потапов, и черта ли лысого я высижу? Раза два или три он писал сам себе заявление об уходе. Но не уходил. Наверное, в глубине души все-таки верил, что резина эта должна прекратиться.

Лето входило в самую свою пыльную московскую силу, но Потапов не мог ехать к Севе, потому что не хотел показываться такой вот тенью отца Гамлета. Надоело быть несчастеньким. И он был просто несчастным: одиноким, бессмысленно глядящим телевизор в новой полупустой, не желающей обживать квартире или вдруг замечал себя бредущим по улице с засунутыми в карманы руками. Мама писала из Крыма руководящие письма, Таня уехала с дедом в военный дом отдыха куда-то под Сочи.

И наконец раздался этот звонок.

— Слушай, Сашка! — Голос у Лугового был и радостный и какой-то еще, с примесью досады, что ли, не поймешь.— Слушай, из Совмина тебя Гусев ищет. Запиши телефон.

Не раздумывая и секунды, Потапов набрал этот номер, словно кто-то за ним гнался...

— Александр Александрович? Здравствуйте. Я ваш телефон взял по справочнику, а оказалось, вы теперь сидите на другом номере... Не могли бы к нам заехать?.. Да, если можно, то сегодня... Да, я буду на месте, буду вас ждать...

Такие визиты не откладывают, и через полчаса институтская «Волга» причаливала к подъезду известного всем здания напротив гостиницы «Москва».

Из коротких слов Гусева Потапов узнал, что сейчас ему предстоит визит к... Предупреждать же надо, елки-палки! Идя по широкому, абсолютно пустому коридору, он пытался собраться, подготовиться. Но оказалось, он готов! Как готов был бы, наверное, беседовать о своем «Носе» с самим господом богом.

Потапов и раньше встречался с этим человеком. И всякий раз у Потапова оставалось ощущение некоей приподнятости. Сразу становилось ясно, что к разговору с ним готовы досконально, что его хотят выслушать самым внимательным образом и хотят высказать свое мнение, а затем выработать общую точку зрения.

Беседы эти обычно не бывали длинными. Чувствовалось, что собеседник твой дорожит своим временем и понимает, что твое время тоже стоит недешево.

Они сели за так называемый разговорный стол, который стоял в углу огромного кабинета, в стороне от рабочего стола. Сесть за разговорный стол — это всегда считалось хорошим признаком... Когда-то Потапов, вырабатывая свой, так сказать, индивидуальный начальнический почерк, многое взял, вспоминая вот этого человека, совершенно сегодого, несколько астеничного, с коричневатым лицом заядлого курильщика.

Например, если он, Потапов, приходил в контору и поднимался к себе не на лифте, а пешком, значит, был не в духе. А если же сразу вызывал к себе Женьку Усталского для беседы, то все, значит, в порядке... ну и так далее. Кодовая система. Тот, кто такими штуками никогда не пользовался, просто представить себе не может, как это удобно, причем не только для тебя, для всех! Сколько она сил экономит и времени. Однако уж надо неукоснительно придерживаться раз навсегда принятой системы!

Как-то, года три-четыре назад, Потапов пришел в этот кабинет на довольно-таки опасную беседу. Хозяин кабинета, пребывавший в худом настроении, принимал Потапова за рабочим столом. Потапов решил рискнуть и улыбнулся, что называется, напропалую. Естественно, ответный взгляд был удивленным.

— Сейчас домой вернусь, — невинно сказал Потапов, — меня Луговой Сергей Николаевич обязательно спросит: ну, за каким столом говорили?

Хозяин кабинета засмеялся:

— Ишь вы какие вострые! Стало быть, раскусили старика? — Он поднялся, пошел за разговорный. — А вы не допускаете мысли, что я это все специально, а?

— Допускаю, — ляпнул Потапов не задумываясь. А уж потом только сообразил: ух ты, как здорово-то в самом деле!

Кстати, с тех пор явился между ними как бы некий тайный сговор взаимной симпатии...

Они поздоровались.

— Прошу садиться... Вот окончательное заключение промышленности, а вот заключение науки... Академик Баландин подпускает здесь определенные шпильки... Нет, дайте другой экземпляр!

Гусев, который по мере необходимости вытаскивал нужные бумаги, снова раскрыл папку и протянул Потапову лист, на котором несколько строчек было подчеркнуто красным карандашом (тоже

стиль: не фломастером, не шариком, а только карандашом, как было заведено искони).

— С документацией подробно вы ознакомитесь позже, ладно? А сейчас только подчеркнутое!

Потапов кивнул. Академик Баландин довольно желчно писал о том, что проблемой надо заниматься срочно и серьезно, «а не кустарными методами, когда один ученый (будь он даже и семи пядей во лбу) карандашиком пишет что-то на листе бумаги».

Никак не изменившись в лице, Потапов отодвинул листок с письмом...

— Вы понимаете, Александр Александрович, что такое в середине пятилетки, в середине года найти ассигнования... И однако же мы их найдем... Я это говорю вам только затем, чтоб показать, как мы доверяем вам и как на вас надеемся...

«Доверяем вам и на вас надеемся» — иными словами: смотри же, не опростоволься опять. Свой шанс на прощаемую ошибку ты в этой жизни уже использовал.

— Я все понимаю,— сказал Потапов.— А как должно, по-вашему, выглядеть то, на что отпущены деньги?

— Это должно выглядеть,— спокойно сказал хозяин кабинета,— вот примерно так,— и назвал сумму ассигнований.

Очень бы хотел Потапов сейчас суметь остаться спокойным. Но левая рука непроизвольно и тяжело проползла по лбу, по щекам — словно паутину, сгоняя лишний жар.

На заседании комиссии Лужок кинул фразу, что Потапову необходим самостоятельный участок. Но мало ли что Лужок скажет? К тому же он, конечно, еще хотел и в пику всему честному собранию сказануть... Однако теперь, по деньгам, сколько мог судить Потапов, оно вышло... никак не менее института!

— Мы заинтересованы в том,— услышал Потапов,— чтобы все делалось быстро. Прошу вас через три-четыре дня представить нам свои соображения по структуре и характеру нового института...

Да, все-таки института, елка с палкой!

— Мы в свою очередь через ваше министерство подготовим технические и административные выкладки. Кстати, вы можете осмотреть и свое здание... Впрочем, вы его, наверное, знаете...

— Знаю? — удивленно переспросил Потапов.

— Да.— И затем вопросительный взгляд на Гусева.

Тот быстро назвал адрес... такой знакомый Потапову! Здание их собственного филиала, которое они с Луговым, Олегом и Стахановым и со всеми, со всеми столько времени вышибали, а потом лелейно строили. Переспрашивать не имело смысла. «Нос» необходим был срочно, а иного здания и иных незанятых денег для него в природе не существовало!

— Временно вам придется разделить помещение с Луговым...

И в эту секунду что-то изменилось в Потапове, он сказал голосом, которым Лужок, один только Лужок, умел разговаривать с начальством.

— Нет,— он сказал.— Это все бессмысленно будет тогда! Два хозяина значит ни одного!

— Уживетесь...

— Тесно! Уж прошу от меня или работу требовать, или уживчивость!

Страшно хотел добавить: «Извините», но удержался, сжигая последние корабли...

И это значило, что с первых же секунд своего начальничанья он обходил по кривой родную контору... бывшую родную. Но по-иному нельзя! Если и Луговой как бы расширится, и Потапову помещение как бы дадут, то уж еще одно здание прошибить — это только на

морковкино заговенье. Проще на тот свет отправиться! Что тебе изначально дали, то у тебя и будет во веки веков! Аминь...

— Не знаю, Александр Александрович, не обещаю...— Он посмотрел Потапову в глаза.— В принципе я вас понимаю. Постараемся решить этот вопрос.

О чем он думал сейчас, закуривая новую папиросу? О том, что Луговой остается Луговым и их особое «приборостроение» в цене не потеряло. Но Потапов сейчас важнее, сейчас главное — его выпихнуть на орбиту. Значит, придется прищемить Лугового!

Но Потапов на том не остановился!

— Раз все это срочно и раз подробно вникать будет некогда, я бы просил перевести мою группу...

— Всю группу?

— Я представлю список вместе с остальными материалами.

Список — это значит возьмешь себе лучших...

Ну а что же, мне худших брать?!

Конечно, вслух это произнесено не было. Они только обменялись взглядами.

— Ну что ж, в пятницу жду вас у себя.

Таким образом, он давал Потапову не четыре дня, а три.

Уже в машине он окончательно сообразил, что произошло с ним и как неожиданно быстро он вошел в свою роль. И какой сейчас тяжелый предстоит ему разговор с Луговым.

Сперва он подумал зайти к себе в келью номер восемнадцать и оттуда позвонить. А потом — да к чему это? И пошел сразу.

Лена его тотчас пропустила, улыбнувшись со значением. Луговой, видимо, ждал. Время самое приемное, а он был в кабинете один. И в предбанничке никого. Стало быть, Ленуля заблаговременно всех разогнала.

Луговой поднялся, пошел к нему навстречу.

— Ну? Поздравлять?

— Поздравлять.

— У самого был?

Потапов кивнул.

— За каким столом?

— За хорошим!

Потапов открыл портфель, протянул папку, подготовленную для него Гусевым. Они уселись рядом за директоратский стол, читали, перекидывая друг другу бумаги.

— Слушай, ну класс! — Лужок положил Потапову руку на плечо. И ему пришлось тянуться, невысокому Луговому, к гигантскому потаповскому плечу.— Значит, в Генеральные прешь?

— Не знаю... Вообще похоже... Не знаю, как оно будет называться. Может, директор...

Хотелось, конечно, иметь ему титул Генерального. И Луговой это понимал, они улыбнулись, глядя друг на друга.

— Дам тебе, Сашка, один совет. Для себя берег, да так и не воспользовался. Может, хоть тебе пригодится... Некий древнегреческий воин умел две недели не есть, две недели не спать и один сдерживал целую кучу врагов. Но никогда не стал военачальником, потому что от других требовал того же, что мог сам.

— Спасибо, постараюсь...

— Знаешь, с этим легко согласиться. Но помнишь каждый момент очень трудно!.. Кстати, когда это все будет конкретно?

— К пятнице надо иметь прикидку.

— Да-а...— Луговой покачал головой. Тут словно тень подозрения его коснулась. — А... это самое... где, куда? На какие бабки?... — он посмотрел на Потапова, тот молчал. Глаза Лугового как бы сами собой

прищурились жестко: — Там?! — Луговой мотнул головой куда-то. Но оба отлично поняли, что речь идет о филиале.

— И ты согласился на это?!

Потапов пожал плечами.

— Ясно! — усмехнувшись Потапову в лицо, он быстро спросил: — А народ?

— Пока только Устальский и компания. О других еще не думал.

— А я как?

Потапов пожал плечами.

— Грабить не дам, имей в виду!

Потапов пожал плечами.

Некоторое время они смотрели друг на друга спокойно, по-новому, изучающе.

И было совсем неизвестно, как дальше сложатся их отношения, потому что они уже не принадлежали себе, они были теперь из разных кланов.

Потапов пришел в свою восемнадцатую... И что же будем делать?.. Сейчас Лужок, естественно, звонит в министерство, а там уже подготовлены звонок сверху. Но по секрету, наверное, сообщат Луговому, что мы-то, мол, хотели вам, Сергей Николаевич, хоть половину оставить, а он требует все! И требует народ по списку.

Им ведь тоже надо как-то перед Лужком выглядеть... Хотя идея передачи Потапову филиала явно исходит из кругов министерства.

Боже ты мой! Ну а если бы филиал строился не для Лугового, а, скажем, для трубачей, для преподобного товарища Панова Николая Николаевича? Что бы ты, Сереженька, тогда сказал? Небось бы сказал: нормально, Сашка, действуй, дуй в гору, а с горы найдем! Значит, у тебя такие же частнособственнические инстинкты, как у меня... То же и с группой Устальского!

Так он еще спорил с воображаемым Луговым минут десять. Потом опомнился: что же ты делаешь-то, милостивец! Тебе за три дня надо горы своротить!

Он стал этаж за этажом представлять себе филиал, стараясь что-то распланировать и расставить, расселить народ... Надо того инженера молодого взять, из комиссии. Который толковый вопрос задал... А как хорошо все-таки начинать с нуля, с нулевого цикла, с вселения в новый дом, со штатного расписания!

Какое это прекрасное, хоть и рискованное чувство — думать сразу за сотни человек. Давай, руководитель, руководи! Отвык там, на своем «научно-севинском» чердаке! Вспоминай, администрируй! Да я особенно и не умел никогда. Эх, зама бы толкового. Эх, сколько еще нужно всего... План, план давай-ка набросаем хоть какой-никакой. В этой стороне пишем общие проблемы, а в этой мелочи. Нет, лучше сначала все валить в кучу, а потом рассортировывать.

Зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказал Потапов. Он был весь в своих проблемах.

— Луговой говорит.

Пауза.

— Зайдешь ко мне?

Пауза.

— Могу, — ответил Потапов.

Снова пауза. И Луговой сказал:

— Пожалуй, ты прав, не стоит... Хочу произнести следующее: твои решения в принципе понимаю. Нужен совет — дам... вот таким путем... Предупреждаю, что, наверное, все же один этаж будет мой. — И положил трубку.

Однако не получил Луговой этажа. И Потапов не ходил к нему за советом. Через полтора месяца началось вселение в новое здание, шуровали завхозы, гремел Жеженька Устальский, который был пока и. о. заместителя, и дел было до ужаса много, и сам он дневал и ночевал.

вал в своем институте, в своей «организации», так они стали называть ее с Женькой, потому что сначала попробовали говорить «контора», но контора — это было то, что у Лужка... Да, он дневал тут и ночевал, ночевал в буквальном смысле — а не все ли равно, где ему было переспать ночь: в неуютном своем однокомнатном с голой девушкой на туалетной стене (так и не отклеил после старых жильцов) или здесь, среди радостного, законного неуютного, на кожаном диване, в этом большом помещении, которое постепенно принимало очертания его рабочего кабинета.

Так отгремело лето и ровно половина осени. Сегодня было как раз пятнадцатое октября, пятница, вечер. Хорошо было сидеть Потапову в своем большом, погруженном в темноту кабинете. Лишь на столе у него горела лампа, и стол этот был словно остров, словно одинокая скала в океане.

А воздух был чист. Открытая форточка дышала немосковской свежестью: за окном, которое в полном соответствии со школьной гигиеной было расположено слева, пролетали бледные тени — крупные хлопья снега. Первого снега в нынешнем году. Потому и такой свежестью поддувало из открытой форточки.

Пятнадцатое октября. Потапов хотел перелистнуть на календаре прожитый день и остановился — он вспомнил... Свою приемную бабушку Аграфену Ивановну Глебовскую на том бесконечно далеком отсюда Трехпрудном переулке его детства... И как будто был такой же вечер, и полутемно... Телевизор, подумал Потапов. И ответил себе: да нет. Телевизоров тогда еще не было... Крупный снег пролетал за окном. Бабушка вздохнула:

— Ну вот — покров день.

— А почему покров? — спросил тогда совсем еще маленький Потапов.

— Землю покрывает, — ответила бабушка так легко, словно это разумелось само собой.

Вот и теперь покров день... Надо же, какая примета. Он повернулся от своего ярко освещенного стола к темному окну. Там, внизу, лежал институтский двор, охраняемый несколькими фонарями вдоль забора. Снег, прилетевший в ночи, не таял, как это, наверное, случилось бы днем. Двор казался таким нехоженым, как на картине, что висит в чьей-то столовой уже больше пятидесяти лет.

Вдруг сквозь двойные рамы он услышал слабый стук институтской входной двери. И увидел, что по этому белому двору идет человек. Его ботинки сразу продавили снег до асфальтовой черноты. Последний уходящий из потаповского института работник.

Посредине двора он остановился, оглянулся на многие десятки темных покинутых окон. И увидел единственное светлое — где еще работал Потапов.

Но видеть самого Потапова он не мог в полутьме обширного кабинета. Как и Потапов не мог различить, кто же этот последний. Самая, быть может, родственная душа во всем институте...

Тут он подумал, что несправедлив. Никто не обязан сидеть до половины десятого. А на самом деле гвардейцы у него хоть куда... И сразу вспомнил, что не узнал, провернули они там с Ростовом или нет: «Ростсельмаш» обещал поставить кое-какое железо... Надо Устальскому позвонить или Максиму Ленке.

Максимов был тем самым инженером из молодых да ранних, который задал Потапову толковый вопрос на комиссии. Был он технарь до мозга костей, но при этом из какой-то сильно искусствоведческой семьи.

— Сан Саныч, — сказал он как-то, — возможно, вам будет звонить моя мама, так вы, пожалуйста, не обращайтесь внимания. Вообще я ей

запретил, но это дело совершенно не экстраполируемое. В таких случаях она всегда говорит: «Я мать!» Вы ее сразу узнаете.

Звали этого Максимова совершенно как для скороговорок — Леонард Всеволодович, говорил он высоким модулированным голосом и внешность имел как для конкурса имени Чайковского... Потапов сперва взял его с испытательным сроком, а потом и окончательно. Жаль, что на второго зама он не тянул по младости лет. Ну что ж, буду растить, думал Потапов.

И все-таки интересно, что там с железом-то?.. Он хотел что-то сделать, кого-то позвать, немедленно закрыть этот вопрос. И наконец окончательно осознал, что он абсолютно один сейчас в своем институте...

В кого же это я превращаюсь?

Что же это будет со мной?..

Он прошел по темному кабинету, по еще более темной приемной и оказался в коридоре. Стоял, держась за ручку двери.

В полутьме коридор казался шире и длиннее, чем был на самом деле. И если б в душе Потапова жило побольше поэзии, он, наверное, заметил бы, что коридор этот похож сейчас на канал, освещенный луной: паркетины отсвечивали тускло и расплывчато.

Не мог Потапов подумать про тот осенний и тусклый канал. Но почувствовал вдруг безотчетную грусть. Свое одиночество.

И понял он: слишком длинен коридор и слишком длинна дорога по белому двору и дальше, дальше... Служебная машина давно уже спит в теплом стойле, а веселый шофер Володя смотрит по телевизору художественный фильм...

Нет, не дойти ему до дому. Да и нечего там делать.

Он вернулся в кабинет, открыл стенной шкаф, где в специально для этой цели сделанном рундучке лежали простыня, подушка и одеяло. Даже успел достать простынку, стал растилать ее по гладкой и холодной поверхности кожаного дивана — музейная вещь, но завхозы-друзья где-то сумели, раздобыли.

И здесь зазвонил телефон — мягко эдак, ненавязчиво — именно так, как Потапов попросил телефонистов его настроить.

Но сейчас этот звонок пропел для Потапова оглушительно громко... Вернее, оглушительно радостно... То-то же! А то, понимаешь, распустил тут нюни: одинокий, покинутый.

Телефон позвонил второй раз. И Потапов испугался, что третьего звонка может и не быть: решат, нету Генерального! Огромным прыжком он оказался у стола:

— Алло!.. Да говорите же!

В ответ проползла долгая тишина. Потом:

— Извините, молодой человек... Мне нужна Наташа.

— За молодого человека, конечно, спасибо, — сказал Потапов. —

Вы не туда попали.

Он снял пиджак, распустил галстук... Была пятница, вечер, и, значит, Потапов никому сейчас понадобится не мог.

До начала рабочей недели оставалось пятьдесят девять часов.



ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ



МАКСИМ ТАНК

Встреча

Помню крики газетчиков в темном предместье
В Белоруссии Западной давних времен:
— От жандармов
отстреливавшийся при аресте,
Коммунист
к смертной казни
приговорен!

Что могла сообщить о герое газета?
Ранен был, на огонь отвечая огнем.
Кроме браунинга,
только книга поэта
Маяковского
оказалась при нем...

Маяковский?.. Еще не читал ни строки я,
О поэте самом не слышал ничего.
Только знал: если смелые люди такие
В бой идут как с оружием с книжкой его —

Значит, это оружие могучих калибров,
Заменишь его нечем в смертельной борьбе,
Значит, ту же дорогу и цель себе выбрав,
Надо это оружие иметь при себе.

Продираясь сквозь проволоку ржавые чащи,
Ускользая от слежки, искал я везде
Этот пламенный стих.
И все чаще и чаще
С ним встречался в рабочей, в народной среде.

Эти строки я видел на красных знаменах,
Я читал их на серой тюремной стене,
Повторял, в первомайских шагая колоннах,
Оттого они в сердце впечатались мне.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН**Венок Маяковскому**

Нелепость — Маяковскому венок,
 Какой-нибудь кладбищенский вьюнок.
 Над горечью внезапного конца
 Ему — венок Садового кольца.

Ему венок — шаги тюменских вышек,
 Ему венок — страны читальный зал,—
 на д б а н д о й

п о э т и ч е с к и х

р в а ч е й и в ы ж и г,

Которую он тоже предсказал.

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

* * *

Фамилия звучна, как псевдоним,
 А он ее носил со дня рожденья.
 Заглавия и сути совпаденье
 Сродни таким творениям земным.

И ростом был он маяку под стать,
 Когда в гудящий зал метнул впервые
 Своих созвучий вспышки огневые
 И повелел метафорам блистать.

Той световой энергии дивясь,
 Мы постигаем все верней, что гений —
 Времен безостановочная связь
 И череда счастливых совпадений.

Он совпадает с каждым днем страны.
 Его шаги, неутомимо гулки,
 На всех проспектах нынешних слышны
 И в позабытом тихом переулке.

Когда в Политехническом стихи
 Читал он, дальним правнукам сигнала,
 Ему из будущего Лужники
 Без микрофонной техники внимали.

Что бронза? Покидает он опять
 Свой пьедестал на людном перекрестке,
 Чтоб сотрясать парижские подмостки,
 В Крыму или в Сибири гроыхать.

Раскрой его тома. За ним шагни,
 Куда бы он ни шел. Доверься чуду.
 И ты увидишь — вспыхивают всюду
 Знакомых строк дозорные огни.

Он, как и прежде, маяку под стать,
 Так, словно путь его лишь только начат.
 Чтоб от событий века не отстать,
 Сверяйся с ним. Он впереди м а я к и т.

ИРИНА ВОЛОБУЕВА

Маяковскому

Маяковский,
 учитель наш Вас не любил...
 В пиджаке старомодном, в крахмальной сорочке,
 «Левый марш» по программе он, морщась, цедил,
 Спотыкаясь о лесенку рубленых строчек.

И таким был бесцветно-тягучим урок!..
 А весной, средь цветущей сиреновой дрожи,
 Сидя в парке со мной, Вас читал паренек,
 Так читал горячо, что мурашки по коже!

Поначалу в стихи я вникала с трудом,
 Но во мне что-то пело отрадно и грустно
 И звало,
 чтоб потом
 мне открылся Ваш том,
 Как тропе альпиниста — вершина Эльбруса.

И чем дальше, тем ближе была Ваша суть,
 И кипенье страстей, и ветра непокоя,
 И бои, и лирически-нежный Млечпуть,
 Что серебряной Вам представлялся Окою.

И всегда в этом мире событий и гроз,
 С паспортною красной, что жгла и боролась,
 Рядом с сердцем моим
 Вы, с эпохой в рост,
 Говорите с трибуны страны во весь голос.

АРВИ СИЙГ

Три минуты молчания

1

Как вежи на пути, торжественные даты.
 Здесь человечество прошло до нас.
 Как памятники,
 здесь на нас сейчас
 они глядят —
 истории солдаты.
 А время — цепь, живая,
 звенящая у жизни на ветру
 то скрытно, то открыто,
 и памятники — ей опора:
 секунды мраморные,
 миги из гранита.

2

Когда великий Сын Земли уходит навсегда,
 Земля не скажет,
 будет ли нетленным
 его завет,

Земля не скажет, даст ли, и когда,
опять расцвествь его могучим генам.

Но где тот памятник, чтоб как итог
я высечь мог на глыбе из гранита:

Алхимик здесь лежит, он золото извлек
всего лишь навсего
из знаков алфавита...

3

Должно быть, много в человеке
от героя,
чтоб выстоять в кровавую годину
и, радужных надежд в себе не строя
и вопреки всему —
учить любви
и дочь и сына.

Я говорю о ней.
Лишь ей дано
грядущее поднять.
На всей Земле одно ей имя —
Мать.

Перевел с эстонского ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ.

ГРЭМ ГРИН

★

ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ *

Роман

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

День для сэра Генри Белфрейджа начался скверно с самого завтрака. Вот уже третий день кряду повар зажаривал яичницу с обеих сторон.

— Ты забыла сказать Педро, голубчик? — спросил он жену.

— Нет, — ответила леди Белфрейдж. — Честное слово, не забыла. Я хорошо это помню...

— Видно, он перенял эту привычку у янки. Это их обычай. Помнишь, чего нам стоило уломать их в отеле «Глаза» в Нью-Йорке? У них даже есть специальное название: поджаренная с одной стороны яичница. Вспомни, как это по-испански, может, Педро тогда поймет.

— Нет, дорогой... Я о таком названии никогда не слыхала.

— Иногда я даже сочувствую тем, кто обличает империализм янки. Почему мы должны есть их яичницу? Скоро Педро будет подавать нам сосиски с кленовым сиропом. А какое ужасное вино было вчера в американском посольстве, правда, детка? Наверное, калифорнийское.

— Нет, дорогой. Аргентинское.

— Ага, значит, он подлизывается к министру внутренних дел. Но министр и сам бы предпочел хорошее французское вино, такое, как подается у нас.

— У нас вино тоже не очень хорошее.

— На наши жалкие представительские лучшего позволить себе мы не можем. Ты заметила, что там подали аргентинское виски?

— Беда в том, голубчик, что сам он вообще не пьет. Знаешь, он был просто скандализован тем, что мистер... бедный мистер... ну как его, нашего консула, Мейсон, да?

— Нет, нет, то другой, этот — Фортнум.

— Ну вот, когда они поехали смотреть развалины и бедный мистер Фортнум прихватил с собой две бутылки виски.

— А я его не порицаю. Знаешь, ведь посол повсюду возит с собой холодильник, набитый кока-колой. Я бы не выпил так много их мерзейшего вина, если бы он не уставился на меня своими пуританскими глазами. Я почувствовал себя как та девица из книжки, которой нацепили на платье алую букву «П»¹. П — от слова пьяница.

— По-моему, там было «П» от слова прелюбодейка.

— Очень может быть, я ведь видел это только в кино. Много лет назад. Там это было не очень ясно.

День, который начался достаточно скверно из-за плохо зажаренной яичницы, час от часу становился все хуже. Пресс-атташе Кричтон явился с жалобой, что его совсем замучили телефонными звонками газеты.

* © Graham Greene, 1973, 1980. О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

¹ Героиня романа американского писателя Н. Готорна (1804—1864) «Алая буква».

— Я же им объясняю, что Фортнум — всего лишь почетный консул, — говорил он. — А репортеру из «Ла пренса» никак не втолкуешь разницу между «почетным» и «достопочтенным». Ничуть не удивлюсь, если они объявят его сыном пэра Англии.

Сэр Генри в утешение ему заметил:

— Сомневаюсь, чтобы они так хорошо разбирались в английских титулах.

— Они, как видно, придают этому делу большое значение.

— Просто потому, что сейчас мертвый сезон. У них ведь нет чудовища из Лох-Несса, а летающие тарелки появляются круглый год.

— Я бы хотел, чтобы мы могли сообщить им что-нибудь успокоительное.

— Да и я бы этого хотел, Кричтон, еще как! Вы, конечно, можете им сказать, что вчера я несколько часов провел с американским послом, только не говорите, что у меня от этого голова раскалывается.

— В «Насьон» снова звонил какой-то неизвестный тип, на этот раз из Кордовы. Осталось всего четыре дня.

— Слава богу, что не больше, — сказал посол. — На той неделе все будет кончено. Его либо убьют, либо освободят.

— Полиция думает, что из Кордовы звонили для отвода глаз и что он находится в Росарио, а теперь, может, и здесь.

— Надо было еще полгода назад отправить его на пенсию, тогда ничего бы не произошло.

— Полиция думает, сэр, что его похитили по ошибке. Хотели захватить американского посла. Если это правда, то американцы обязаны что-то предпринять, хотя бы из благодарности.

— Уилбур, — сказал сэр Генри Белфрейдж, — посол настаивает, чтобы я звал его Уилбуром, — отрицает, что намеченной жертвой был он. Уверяет, что США очень популярны в Парагвае, поездка Нельсона Рокфеллера по стране это доказала. В Парагвае никто не забрасывал их присутственные места камнями и не поджигал. Все было так же мирно, как в Гаити. Он зовет Рокфеллера Нельсоном, я сперва не понял, о каком Нельсоне идет речь. Даже подумал, что он и мне предлагает называть Рокфеллера Нельсоном!

— Мне все же очень жаль беднягу.

— Не думаю, Кричтон, чтобы Уилбур нуждался в нашей жалости.

— Да я не о нем говорю...

— Ах, о Мейсоне! Черт возьми, жена вдруг стала звать его Мейсоном, а я за ней повторяю. Если фамилия Мейсон как-нибудь попадет в официальное сообщение, бог знает что они там, в Лондоне, подумают. Еще решат, что речь идет о границе Мейсон-Диксон между рабовладельческими штатами и Севером. Мне надо все время повторять в уме: Фортнум, Фортнум, Фортнум, как тому ворону, который каркал «никогда».

— Вы не думаете, сэр, что они и в самом деле его убьют?

— Да конечно же нет, Кричтон. Они не убили даже того парагвайского консула, которого захватили несколько лет назад. Генерал тогда сказал, что этот субъект его не интересует, и они консула выпустили. Тут ведь не Уругвай, и не Колумбия, и, пожалуй, даже не Бразилия. Не Боливия. И не Венесуэла. И даже не Перу, — добавил он несколько неуверенно, поскольку безопасных мест становилось все меньше и меньше.

— И тем не менее мы в Южной Америке, — с неумолимой логикой уточнил Кричтон.

В это же утро поступило несколько неприятных телеграмм: кто-то снова поднял панику насчет Фолклендских островов. Стоило в мире наступить затишье, и спор о них тут же возникал, как и проблема Гибралтара. Министр иностранных дел желал узнать, как намерена голосовать Аргентина в Организации Объединенных Наций по африканскому вопросу. Канцелярия разработала новую директиву о расходах на представительство, и Генри Белфрейдж почувствовал, что и ему скоро придется угощать гостей аргентинским вином. Запрашивали и о том, примет ли Британия участие в кинофестивале Мар-дель-Платы. Член парламента от консерваторов обозвал английский фильм какого-то Рассела, представленный на фестивале, порнографическим. Со вчерашнего дня, когда Белфрейджу было рекомендовано посетить министра иностранных дел, а после этого действовать в контакте с американским послом, новых директив в отношении Фортнума не поступало; британский посол в Асунсьоне получил

такие же указания, и сэр Генри надеялся, что американский посол в Парагвае окажется несколько более расторопным, чем Уилбур.

После ленча секретарь сообщил послу, что некий доктор Пларр просит его принять.

— А кто он, этот Пларр?

— Приехал с севера. По-моему, хочет вас видеть по делу Фортнума.

— Что ж, ведите его, ведите,— сказал сэр Генри Белфрейдж,— пускайте всех подряд.

Он был раздосадован, что его лишили отдыха после ленча: это было единственное время, когда он чувствовал себя частным лицом. На столике возле кровати его ждал новый роман Агаты Кристи, только что присланный книжной лавкой из Лондона.

— Мы уже где-то встречались,— сказал он доктору Пларру и недоверчиво на него посмотрел: в Буэнос-Айресе почему-то все кроме военных именовали себя докторами.

Худое лицо типичного юриста, подумал он; ему всегда было не по себе с этими адвокатами. его шокировали их циничные шуточки — приговоренный к казни убийца их трогал не больше, чем хирурга неизлечимо больной раком.

— Да, у вас, в посольстве — напомнил ему доктор Пларр.— На приеме. Я еще вызволил вашу жену. спас ее от поэта.

— Ну конечно, теперь вспоминаю, как же! Вы ведь живете где-то там, на севере. Мы еще тогда говорили о Фортнуме. верно?

— Верно. Я врач его жены. Она, видите ли, ждет ребенка.

— Ах, так вы такой доктор!

— Да.

— Слава богу! Тут ведь не поймешь, правда? И к тому же вы действительно, англичанин. Не то что все эти О'Брайены и Хиггинсы. Ну и ну. до чего же наверно, тяжело этой бедной миссис Фортнум. Скажите ей, что мы делаем все, что в наших силах...

— Да, — сказал доктор Пларр,— она это понимает, но мне все же хотелось бы знать, что тут предпринимают на самом деле. Я утром прилетел в Буэнос-Айрес специально, чтобы вас повидать и что-нибудь выяснить, и сегодня же ночью улетаю обратно. Если бы я мог сообщить миссис Фортнум более или менее определенные сведения и ее успокоить...

— Положение в высшей степени сложное, Пларр. Понимаете, если все за что-то несут ответственность, то, как правило, ее не несет никто. Генерал сейчас где-то здесь на юге ловит рыбу и, пока он на отдыхе, отказывается обсуждать этот вопрос. Министр иностранных дел заявляет, что это чисто парагвайское дело и что президент не может оказывать давление на Генерала пока тот находится здесь как гость правительства. Полиция, конечно, делает все, что может, но ей, как видно, было предложено действовать с максимальной осторожностью. В интересах самого Фортнума.

— Но американцы... Они-то могут оказать давление на Генерала. Он бы не продержался в Парагвае и суток без их поддержки.

— Знаю, знаю, Пларр, но это только осложняет положение. Видите ли, американцы правильно считают, что не следует поощрять похищения, даже если это грозит — как бы лучше выразиться? — опасностью для чьей-то жизни. Ну, как в случае с германским послом, которого убили. Где же это было? В Гватемале? А в данном случае, говоря откровенно... что ж, почетный консул все же не посол. Они считают, что вмешательство было бы дурным прецедентом. Генерал не слишком расположен к англичанам. Конечно, если бы Фортнум был американцем, он отнесся бы к делу иначе.

— Похитители думали, что он американец. Так говорит полиция. Она считает, что похитители охотились за дипломатической машиной и в темноте приняли «К» за «Д».

— Ну да, сколько раз мы говорили этому идиоту, чтобы он не вешал флажка и убрал с машины дипломатический номер. Почетный консул не имеет на это права.

— И все же казнить за это слишком сурово.

— Что же еще я могу сделать, Пларр? Я дважды ездил в министерство иностранных дел. Вчера вечером имел частную беседу с министром внутренних дел. Без указаний из Лондона я ничего больше сделать не могу, а в Лондоне не чув-

ствуют... ну как бы это сказать?... неотложности этого дела. Да, кстати, как пожирает ваша матушка? Я наконец-то все вспомнил. Вы тот самый Пларр. Ваша мать часто пьет у моей жены чай. Обе любят пирожные и такие штуки с dulce de leche.

— Alfajores.

— Вот-вот. Сам-то я их не выношу.

Доктор Пларр сказал:

— Я понимаю, сэр Генри, что кажусь вам крайне назойливым, но мой отец, если он еще жив, сидит у Генерала в одной из его тюрем. Это похищение, быть может, последняя возможность его спасти. Правда, это обстоятельство дает основания полиции меня подозревать, поэтому я чувствую себя как бы причастным к этому делу. Кроме того, не надо забывать о Фортнуме. Я несу за него некоторую ответственность. Он хоть и не мой больной, но я лечу миссис Фортнум.

— Брак, кажется, какой-то странный. Я получил оттуда, из ваших мест, об этом письмо от одного старого сплетника по фамилии Джефрис.

— Хэмфрис.

— Да-да. Кажется, так. Он пишет, что Фортнум женился на недостойной женщине. Счастливцев! Я уже в том возрасте, когда таких женщин и в глаза не видишь.

— Мне пришло в голову,— сказал доктор Пларр,— что я мог бы попробовать связаться с похитителями. Если они позвонят миссис Фортнум, когда увидят, что с властями у них ничего не выходит.

— Маловероятно, мой друг.

— Однако возможно, сэр. Если бы нечто подобное произошло и я мог бы внушить им хоть маленькую надежду... А вдруг мне удалось бы уговорить их продлить срок, ну, скажем, на неделю. В этом случае было бы легче вести переговоры.

— Хотите знать мое откровенное мнение? Вы только продлите агонию — и Фортнума и миссис Фортнум. На месте Фортнума я бы предпочел быструю смерть.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Лично я уверен, что нет, Пларр. Я дважды разговаривал с Уилбуrom — американцы и пальцем не пошевелят. Если им удастся показать, что подобные похищения бессмысленны, пожертвовав всего-навсего британским почетным консулом в мало кому известной провинции, они будут только рады. Уилбур говорит, что Фортнум пьяница, он привез две бутылки виски на их пикник в развалинах, а посол пьет только кока-колу. Я посмотрел наше досье на Фортнума, но ничего определенного в смысле алкоголизма там не значит, хотя парочка его отчетов... надо сказать, показала мне маловразумительной. И к тому же письмо от этого, как его — Хэмфриса? — где он пишет, что Фортнум вывесил наш национальный флаг вверх ногами. Но для этого, правда, не надо быть пьяницей.

— И все же, сэр Генри, если бы похитителей можно было уговорить хоть немного продлить срок...

Сэр Генри Белфрейдж понимал, что послеобеденный отдых пропал бесповоротно: новый роман Агаты Кристи придется отложить. Он был человек добрый, совестливый, а к тому же еще и скромный. В душе он понимал, что на месте доктора Пларра вряд ли полетел бы в ноябрьскую жару в Буэнос-Айрес, чтобы помочь мужу своей пациентки.

— Вы можете попытаться сделать следующее,— сказал он.— Сильно сомневаюсь, чтобы у вас что-нибудь вышло, но все-таки...

Тут он занулся. С пером в руке он был сама краткость: его доклады всегда были на редкость лаконичны и точны, составить депешу для него не представляло труда. В посольстве он чувствовал себя как дома, так же как когда-то в детской. Люстры сверкали, как стеклянные фрукты на елке. В детской, помнится, он ловко и аккуратно строил дома из кубиков. «Наш молодой мистер Генри умный мальчик», — приговаривала нянька, но стоило выпустить его на зеленый простор Кенсингтонского парка, как он тут же совершенно терялся. Бывало, что с чужими — как это порой случалось и теперь на приемах — он просто впадал в панику.

— Да, сэр Генри?

— Простите, я отвлекся. С утра голова болит. Это вино из Мендосы... Кооперативы! Ну что кооперативы понимают в вине?

— Вы говорили...

— Да, да.— Он сунул руку в нагрудный кармашек и нащупал шариковую ручку. Она у него была вроде талисмана.

— Отсрочка будет иметь смысл,— сказал он,— если мы сумеем заинтересовать людей... Я сделал все что мог, но там у нас Фортнума никто не знает. Никому нет дела до какого-то почетного консула. Он не на государственной службе. Сказать вам по правде, я и сам полгода назад советовал от него избавиться. А то самое письмо, будьте уверены, лежит в его досье. Поэтому там у нас только обрадуются, когда срок истечет,— ничего писать не придется, а его, надо надеяться, выпустят на свободу.

— А если его убьют?

— Боюсь, что министерство иностранных дел и это поставит себе в заслугу. Сочтет результатом своей твердой политики: вот, они показали, что не желают договариваться с шантажистами. Вы же знаете, как они обыграют это там, в палате общин. Закон и порядок. Никаких потачек. Будут цитировать Киплинга. А оппозиция просто придет в восторг.

— Дело не только в Чарли Фортнуме. Там ведь еще и его жена... она ждет ребенка. Если бы газеты это расписали...

— Да. Понимаю. Женщина, которая ждет, и прочее. Но судя по тому, что писал о ней этот Хэмфрис, английская пресса вряд ли воспылает должными чувствами к даме, на которой женился Фортнум. Это не сюжет для семейного чтения. «Сан» может, конечно, описать все как есть, или «Ньюс оф зе уорлд», но не думаю, чтобы это произвело нужный эффект.

— А что же вы предлагаете, сэр Генри?

— Только никогда и ни в коем случае на меня не ссылайтесь, слышите, Пларр? Министерство тут же спровадит меня на пенсию, если там узнают, что я дал подобный совет. Впрочем, я и сам ни на йоту не верю, что это нам поможет: Мейсон не тот человек.

— Какой Мейсон?

— Извините, я хотел сказать Фортнум.

— Да вы пока ничего и не посоветовали, сэр Генри.

— Я же вот к чему веду... Государственные учреждения больше всего ненавидят, когда лай поднимают приличные газеты. Единственный способ добиться какого бы то ни было вмешательства — это придать делу гласность, но такую, к которой прислушаются. Если бы вы смогли организовать какой-то протест у себя в городе... Хотя бы обратиться по телеграфу в «Таймс» от имени Английского клуба. Отдавая дань... — он снова пощупал ручку, словно надеясь почерпнуть у нее нужную казенную фразу, — его неуспешным заботам об интересах Великобритании...

— Но у нас нет Английского клуба, сэр. И, по-моему, в городе, кроме Хэмфриса и меня, больше нет англичан.

Сэр Генри Белфрейдж кинул быстрый взгляд на пальцы (он куда-то задевал щеточку для ногтей) и что-то пробормотал так быстро, что доктор Пларр не сумел разобрать ни слова.

— Простите. Я не расслышал...

— Дорогой мой, неужели я должен вам это разжевывать? Немедленно образуйте Английский клуб и протелеграфируйте ваше ходатайство в «Таймс» и «Телеграф».

— Вы думаете, из этого что-нибудь выйдет?

— Не думаю, но попытка не пытка. Всегда найдется какой-нибудь член парламента от оппозиции, который на это клюнет, что бы там ни говорили лидеры его партии. И во всяком случае это может доставить министру un mauvais quart d'heure². К тому же есть еще и американская пресса. Может статься, что они это перепечатают. А «Нью-Йорк таймс» умеет выражаться весьма ядовито. «Будем бороться за латиноамериканскую независимость до последнего англичанина!» Знаете, на какую позицию могут стать эти пацифисты? Надежда, конечно, мизерная. Если бы он был крупный делец, в нем были бы куда больше заинтересованы. Беда в том, Пларр, что Фортнум — такая мелкая сошка.

Самолета, на котором он мог вернуться на север, не было до вечера, а совесть не позволяла доктору Пларру придумать какой-нибудь предлог, чтобы избежать встречи с матерью. Он знал, как ей доставить удовольствие, и назначил по телефону свидание за чаем в «Ричмонде» на калье Флорида, — ей были неприятны неизбежные разговоры на семейные темы дома, где она жила почти в такой же духоте, как и воско-

² Неприятные четверть часа (франц.).

вые цветы под стеклянным колпаком, купленные у антиквара рядом с «Хэрродсом»³. Ему всегда казалось, что у нее в квартире повсюду припрятаны маленькие секреты — на полках, на столах, даже под кушеткой, секреты, о которых она не хотела, чтобы он знал, скорее всего, просто свидетельства мелкого мотовства, на которое ушли полученные от него деньги. Пирожные с кремом — это хотя бы пища, а вот фарфоровый попугай — мотовство.

Он пробирался черепашьим шагом сквозь толпу, которая во вторую половину дня всегда заполняла узкую улицу, когда ее закрывали для проезда машин. Его это ничуть не огорчало — ведь каждая лишняя минута, потерянная для свидания с матерью, была его чистой прибылью.

Он увидел ее в дальнем углу набитого людьми кафе; она была во всем черном, и перед ней стояло блюдо с пирожными.

— Ты опоздал на десять минут, Эдуардо,— сказала она.

Скормо он себя помнил, он всегда разговаривал с матерью по-испански. Только с отцом он говорил по-английски, но отец был человек немногословный.

— Прости, мама. Ты могла начать без меня.

Когда он нагнулся, чтобы ее поцеловать, из ее чашки в нос ему ударил запах горячего шоколада, похожий на приторное дыхание могилы.

— Если тут нет пирожного, которое тебе нравится, позови официанта.

— Есть я ничего не хочу. Выпью кофе.

У нее были большие мешки под глазами, но доктор Пларр знал, что мешки эти не от горя, а от запоров. Ему казалось, что если их нажать, оттуда брызнет крем, как из эклера. Ужас что делает время с красивыми женщинами. Мужчины иногда хорошеют с годами, женщины — почти никогда. Он подумал: нельзя любить женщину, которая меньше чем на двадцать лет моложе тебя. Тогда можно умереть раньше, чем слиняет ее образ. Фортнум, женившись на Кларе, вероятно, страховался от утраты иллюзий, она ведь на сорок лет моложе его. Доктор Пларр подумал, что он не так предусмотрителен, потому что на много лет переживет утрату ее очарования.

— Почему ты в трауре, мама? — спросил он. — Я никогда не видел тебя в черном.

— Я в трауре по твоему отцу,— сказала сеньора Пларр и стерла с пальцев шоколад бумажной салфеткой.

— Ты что-нибудь узнала?

— Нет, но отец Гальвао имел со мной серьезный разговор. Он сказал, что ради моего здоровья надо проститься с пустыми надеждами. А ты знаешь, Эдуардо, какой сегодня день?

Он тщетно рылся в памяти, потому что даже не помнил, какое сегодня число.

— Четырнадцатое? — спросил он.

— В этот день мы простились с твоим отцом в порту Асунсьона.

Интересно, узнал бы отец, войди он сейчас в кафе, эту толстую женщину с мешками под глазами и вымазанным кремом ртом? В нашей памяти люди, которых мы не видим, стареют достойно. Сеньора Пларр сказала:

— Отец Гальвао утром отслужил мессу за упокой его души.

Она оглядела блюдо с пирожными и выбрала один из эклеров, по виду ничем не отличавшийся от других. Однако, когда Пларр напряг память, он все еще смог припомнить красивую женщину, которая плакала, лежа в каюте. В том возрасте слезы придавали блеск ее глазам. Под ними не было уродливых мешков.

— А я еще не потерял надежду, мама,— сказал он. — Ты же слышала, похитители назвали и его в списке узников, которых они требуют освободить.

— Какие похитители?

Он забыл, что она не читает газет.

— Ну, сейчас это чересчур долго рассказывать.— И добавил из вежливости:— Какое на тебе красивое платье.

— Я рада, что тебе нравится. Специально заказала для сегодняшней мессы. Материя совсем недорогая, а шила домашняя портниха... Ты не думай, что я транжира.

— Что ты, мама!

— Если бы твой отец не был таким упрямым... Ну зачем ему надо было там оставаться, чтобы его убили? Мог продать поместье за хорошие деньги, и мы бы прекрасно жили здесь все вместе.

— Он был идеалистом,— сказал доктор Пларр.

³ Самый дорогой универмаг в Лондоне.

— Идеалы — вещь достойная, но с его стороны было некрасиво в первую очередь не подумать о семье, это же такой эгоизм!

Он представил себе злые, полные упреков молитвы, которые она шептала утром, когда отец Гальвао служил заукокойную мессу. Отец Гальвао был иезуитом, португальцем, которого почему-то перевели сюда из Рио-де-Жанейро. Он пользовался большой популярностью у дам, может быть, они так охотно исповедовались ему потому, что он нездешний.

Отовсюду доносился женский щебет. Но отдельные фразы нельзя было разобрать. Казалось, Пларр сидит в вольере и прислушивается к разногласиям птиц из чужеземных стран. Одни чирикали по-английски, другие по-немецки, он слышал даже французскую фразу, которая, наверное, пришлась бы по сердцу его матери: «Georges est très coupable»⁴. Он посмотрел на нее, когда она тянулась губами к шоколаду. Любила ли она когда-нибудь отца и его самого или же просто изображала любовь, как это делает Клара? За годы, пока он вырос, живя рядом с матерью, Пларр научился презирать лицедейство. В его комнате теперь не хранилось никаких сентиментальных памяток, даже фотографий. Она была почти такой же голой и лишеной всякой лжи, как полицейская камера. И в любовных связях с женщинами он избегал театральных возгласов: «Я вас люблю». Его часто обвиняли в жестокости, хотя сам он считал себя просто старательным и точным диагностом. Если бы он хоть раз обнаружил у себя болезнь, которая не поддавалась другому определению, он не колеблясь признался бы: «Я люблю», однако же всегда мог приписать чувство, которое испытывает, совсем другому недугу — одиночеству, гордыне, физической потребности или даже простому любопытству.

Сеньора Пларр сказала:

— Он никогда не любил ни тебя, ни меня. Это был человек, который не знал, что такое любовь.

Ему хотелось задать ей вопрос всерьез: «А мы знаем?», но он понимал, что она воспримет его, как упрек, а у него не было желания ее упрекать. С куда большим основанием он мог бы в подобном незнании упрекнуть самого себя. А может быть, ду- мал он, она права, и я пошел в отца.

— Я не очень отчетливо его помню, — сказал он, — разве, пожалуй, то, как он с нами прощался; я тогда заметил, что он поседел. И еще помню, как по вечерам он обходил дом и запирали все авери. От этих звуков я всегда просыпался. Я даже не знаю, сколько ему теперь было бы лет, если бы он был жив.

— Сегодня ему исполнился бы семьдесят один.

— Сегодня? Значит, это в день его рождения.

— Он мне сказал, что лучший подарок, который он от меня может получить, — это увидеть, как мы оба уплываем по реке. С его стороны было жестоко так говорить.

— Ну, мама, он вряд ли хотел быть к тебе жестоким.

— Он даже заранее меня не предупредил. Я и вещи как следует сложить не успела. Забыла кое-какие драгоценности. У меня были часики с бриллиантами, я их надевала к черному платью. Помнишь мое черное платье? Да нет, куда же тебе помнить? Ты и ребенком всегда был такой ненаблюдательный. Он уверял, будто боится, что я расскажу друзьям, а они станут болтать, и полиция нас задержит. А я приготовила такой хороший именинный обед, острую закуску с сыром, он ведь больше любил острое, чем сладкое. Вот что значит выйти замуж за иностранца. Вкусы всегда такие разные. Утром я истово молилась, чтобы он не слишком мучился.

— А я думал, что ты считаешь его уже мертвым.

— Да я и говорю ведь о муках в чистилище. Отец Гальвао сказал, что больше всего в чистилище, когда видишь, к чему привели твои поступки и какие страдания ты причинял тем, кого любил.

Она положила на тарелку еще один эклер.

— Но ты же говоришь, что он ни тебя, ни меня не любил.

— Ну, какую-то привязанность он к нам питал. И у него было чувство долга. Он ведь такой типичный англичанин. Предпочитал мужское общество. Не сомневаюсь, что, когда пароход отошел, он отправился в клуб.

— В какой клуб?

Они уже много лет так долго не разговаривали об отце.

⁴ Жорж очень виноват (франц.).

— В этом клубе ему было совсем небезопасно состоять. Он назывался Конституционным, но полиция его прикрыла. Потом члены стали собираться тайком, как-то раз даже у нас, в имении. А когда я возражала, он меня не слушал. Я ему говорила: «Помни, у тебя жена и ребенок». А он мне: «У каждого члена клуба есть жена и дети». Я сказала: «Ну тогда у них должны быть темы для разговора поважнее, чем политика»... Ладно.— добавила она со вздохом,— чего вспоминать старые споры. Я, конечно, его простила. Расскажи-ка, дорогой, лучше о себе.

Но глаза ее стали стеклянными от полнейшего отсутствия интереса.

— Да в общем и рассказывать-то нечего,— сказал он.

Лететь вечерним самолетом на север для такого человека, как доктор Пларр, который предпочитал одиночество, было рискованно. На этом самолете редко летали незнакомые люди или туристы. Пассажирами, как правило, бывали местные политические деятели, возвращавшиеся из столицы, или жены богачей, которых он иногда лечил (они ездили в Буэнос-Айрес за покупками, в гости и даже причесываться, не доверяя местному парикмахеру). В небольшом двухмоторном самолете они составляли шумную компанию.

Кое-какая надежда на спокойный перелет еще была, но настроение сразу испортилось, когда через проход его радостно приветствовала сеньора Эскобар,— он ее сперва не заметил.

— Эдуардо!

— Маргарита!

Он стал уныло стягивать ремни, чтобы пересесть на пустое место с ней рядом.

— Не надо,— торопливо шепнула она. — Со мной Густаво. Он там сзади, разговаривает с полковником Пересом.

— И полковник Перес здесь?

— Да, они обсуждают это похищение. Знаете, что я думаю?

— Что?

— Я думаю, что этот Фортнум сбежал от жены.

— Зачем бы он стал это делать?

— Вы же знаете, Эдуардо, эту историю. Она — putain⁵. Из того кошмарного дома на калье... ну, да вы же мужчина и прекрасно знаете, о каком доме я говорю.

Он помнил, что когда Маргарита хотела произнести что-нибудь не очень приличное, то всегда выражалась по-французски. Он так и слышал, как она вскрикивает в своей комнате, с тонким умыслом притемненной на две трети опущенными persinas⁶: «Baise-moi, baise-moi»⁷. Она никогда не позволила бы себе произнести подобную фразу по-испански. И теперь со вздохом, так же тонко рассчитанным, как и опущенные жалюзи, она сказала:

— Я так давно вас не видела, Эдуардо.

Он подумал, куда же девался ее новый любовник — Гаспар Вальехо из министерства финансов? Надо надеяться, что они не поссорились.

Рев моторов избавил его от необходимости отвечать, но когда предостережения из рупора были произнесены и они поднялись высоко над защитного цвета Платой, которая почернела с наступлением вечера, он приготовил ничего не значившую фразу:

— Вы же знаете, что за жизнь у нас, у врачей, Маргарита.

— Да,— сказала она.— Знаю как никто. Вы еще пользуете сеньору Вегу?

— Нет. По-моему, она сменила врача.

— Я бы, Эдуардо, этого никогда не сделала, на свете не так уж много хороших врачей. Если я вас не вызывала, то только потому, что я до неприличия здорова. А, вот наконец и мой муж Погляди, кто тут с нами, Густаво! И не делай вид, будто не помнишь доктора Пларра!

— Как я могу его не помнить? Где вы пропадали, Эдуардо?— Густаво Эскобар тяжело опустил руку на плечо доктору Пларру и стал ласково его мять — он, как и все латиноамериканцы шупал каждого, с кем разговаривал. Даже удар ножом в одной из повестей Хорхе Хулио Сааведры можно было считать своего рода прощупыванием.—

⁵ Шлюха (франц.).

⁶ Жалюзи (исп.).

⁷ Целуй меня, целуй меня (франц.).

Мы по вас скучали,— продолжал он громко, как говорят глухие.— Сколько раз жена говорила: не пойму, почему нас больше не посещает Эдуардо?

У Густаво Эскобара были пышные черные усы и густые бакенбарды; его кирпично-красное, как латерит, лицо было похоже на просеку в лесу, а нос вздымался, будто вставший на дыбы конь конкистадора. Он говорил:

— Но я по вас скучал не меньше, чем жена. Наши скромные дружеские ужины...

Все время, пока Маргарита была его любовницей, Пларр гадал: чего в тоне ее мужа больше — грубоватой шутовщины или насмешки. Маргарита утверждала, будто муж ее бешено ревнив: ее гордость была бы уязвлена, если бы на самом деле он был к ней равнодушен. Может, он и не был к ней равнодушен, ведь она все же была одной из его женщин, хотя их у него было немало. Доктор Пларр как-то раз встретил его в заведении матушки Санчес, где он угощал сразу четырех девушек. Девушки, в нарушение местных правил, пили шампанское, хорошее французское шампанское, которое он, как видно, принес с собой. Но на Густаво Эскобара не распространялись никакие правила. Доктор Пларр иногда задавал себе вопрос: не был ли Эскобар одним из клиентов Клары? Какую комедию разыгрывала она перед ним? Уж не смирение ли?

— А чем вы развлекались в Буэнос-Айресе, дорогой Эдуардо?

— Был в посольстве.— крикнул ему в ответ доктор Пларр,— и навещал мать. А вы?

— Жена ходила по магазинам. А я пообедал в отеле «Харлингэм».

Он продолжал шупать плечо доктора Пларра, словно размышляя, не купить ли его для улучшения породы (у него было большое поместье на берегу Параны со стороны Чако).

— Густаво снова покидает меня на целую неделю,— сказала Маргарита,— а перед тем как покинуть, всегда разрешает делать покупки.

Доктору Пларру хотелось перевести разговор на своего преемника Гаспара Вальехо, которого должны были больше интересовать сообщенные ею сведения. Доктору было бы спокойнее на душе, если бы он узнал, что Вальехо все еще друг дома.

— А почему бы вам, Эдуардо, не приехать ко мне в поместье? Я бы вам там устроил неплохую охоту.

— Врач привязан к своим больным,— отговорился доктор Пларр.

Самолет нырнул в воздушную яму, и Эскобару пришлось ухватиться за кресло Пларра.

— Осторожнее, милый. Смотри еще что-нибудь себе повредишь. Лучше сядь.

Может быть, Эскобара рассердил безразличный тон, каким жена выразила свою озабоченность. А может быть, он принял ее предостережение как попытку бросить тень на его machismo. Он произнес с уже откровенной насмешкой:

— Насколько я знаю, сейчас вы привязаны к очень дорогой вам пациентке?

— Мне одинаково дороги все мои пациентки.

— Я слышал, что сеньора Фортнум ожидает ребенка?

— Да. И как вы, наверное, знаете, сеньора Вега тоже, но она не доверяет мне как акушеру. Она пользуется услугами доктора Беневенто.

— Скрытный же вы человек, Эдуардо,— сказал Эскобар.

Он неловко пробрался мимо жены на место у окна и сел. Стоило ему закрыть глаза, и он, казалось, заснул, выпрямившись в кресле. Так, вероятно, выглядел один из его предков, когда спал верхом, пересекая Анды; он мягко покачивался вместе с самолетом, пролетавшим сквозь снежные скопления облаков.

— Что он этим хотел сказать, Эдуардо? — шепотом спросила его жена.

— Почем я знаю?

Насколько он помнил, у Эскобара был крепкий сон. Как-то раз, в самом начале их связи, Маргарита сказала:

— Его ничто не разбудит, разве что мы замолчим. Поэтому продолжай говорить.

— О чем?— спросил он.

— О чем хочешь. Почему бы тебе не рассказать, как ты меня любишь?

Они сидели вдвоем на кушетке, а муж спал в кресле, повернувшись к ним спиной, в другом конце комнаты. Доктору Пларру не было видно, закрыты у него глаза или нет. Он осторожно сказал:

— Я тебя хочу.

— Да?

— Я тебя хочу.

— Не говори так отрывисто,— сказала она и потянулась к Пларру.— Ему надо слышать размеренные звуки тихой речи.

Трудно произносить монолог, когда тебя ласкает женщина. Доктор Пларр в растерянности стал рассказывать сказку о трех медведях, начав ее с середины, и с тревогой наблюдал за могучей, скульптурной головой над спинкой кресла.

— И тогда третий медведь сказал грубым голосом: «А кто съел мою кашу?»

Сеньора Эскобар сидела верхом у него на коленях, как ребенок на деревянной лошадке.

— Тогда все три медведя пошли наверх, и медвежонок спросил: «А кто спал в моей кровати?» — Он стиснул плечи сеньоры Эскобар, потерял нить рассказа и продолжал первой пришедшей ему в голову фразой: — По кочкам, по кочкам, бух...

Когда они снова сели рядом на кушетку, сеньора Эскобар — он еще не привык тогда звать ее Маргаритой — сказала:

— Вы что-то сказали по-английски. Что?

— Я сказал, что страстно вас хочу,— благоразумно схитрил доктор Пларр. Это отец качал его на коленях, мать не знала никаких игр. Может, испанские дети вообще не играют, во всяком случае в детские игры?

— На что Густаво намекал, говоря о сеньоре Фортнуме? — снова спросила Маргарита, вернув его в сегодняшний день и в самолет, который ветер мотал над Параной.

— Понятия не имею.

— Я была бы ужасно разочарована, Эдуардо, если бы у вас оказалось что-то общее с этой маленькой putain. Я ведь до сих пор к вам очень привязана.

— Извините, Маргарита. мне надо поговорить с полковником Пересом.

Внизу под ними мигали огни Ла-Паса, фонари вдоль реки словно прочертили белую полосу; при полной темноте на другом берегу казалось, что эти фонари обозначают край плоской земли. Перес сидел в дальнем конце самолета, возле уборной и место рядом с ним не было занято.

— Есть какие-нибудь новости, полковник? — спросил доктор Пларр.

— Новости о чем?

— О Фортнуме.

— Нет. Откуда? А вы ждете новостей?

— Я-то думал, что полиция что-нибудь знает... Разве по радио не говорили, что вы ищите его в Росарио?

— Если он действительно был в Росарио, они успели бы привезти его в Буэнос-Айрес.

— А что это был за звонок из Корловы?

— Наверное, глупая попытка сбить нас с толку. О Кордове не может быть и речи. Когда они звонили, они вряд ли успели даже до Росарио добраться. Езды пятнадцать часов на самой ходкой машине.

— Тогда где же он, по-вашему находится?

— Вероятно, убит и скинут в реку или же спрятан где-то поблизости. Что вы делали в Буэнос-Айресе?

Вопрос был задан из вежливости, а не в порядке допроса. Переса это интересовало не больше, чем Эскобара.

— Хотел поговорить с послем по поводу Фортнума.

— Да? И что он вам сказал?

— Я нарушил его послеобеденный сон. Он сказал, что беда в том, что никому, в сущности, до Фортнума нет дела.

— Уверю вас,— сказал полковник,— что я так не думаю. Вчера я намеревался как следует прочесть bagüo rorüag, но губернатор счел это чересчур опасным. Если удастся, он хочет избежать стрельбы. В нашей провинции до сих пор было мирно, если не считать небольших беспорядков по поводу священников из развивающихся стран. Губернатор послал меня в Буэнос-Айрес к министру внутренних дел. Мне кажется, он хочет оттянуть развязку. Если он сумеет отсрочить решение этого дела и нам повезет, труп Фортнума обнаружат за пределами нашей провинции. Тогда нас никто не сможет обвинить, что мы действовали неосмотрительно. Шантаж не удастся. Все будут довольны. Кроме меня. Даже ваше правительство — и оно будет довольно. Надеюсь, вдове дадут пенсию?

— Сомневаюсь. Он ведь был всего лишь почетным консулом. А что говорит министр?

— Этот стрельбы не боится. Побольше бы нам таких людей. Советует губернатору действовать вовсю, а если понадобится, то пустить в ход и войска. Президент хочет, чтобы дело было урегулировано до того, как Генерал кончит ловить рыбу. А что еще сказал ваш посол?

— Он сказал, что если бы газеты подняли шум...

— А с чего они его поднимают? Вы слышали дневную передачу по радио? Разбился английский самолет. На этот раз захватчик взорвал гранату. Погибло сто шестьдесят семь человек, сто шестьдесят семь Фортнумов и один из них — знаменитый киноактер. Нет, доктор Пларр, надо признать, что на их взгляд наше дело — просто ерунда.

— Значит, вы хотите умыть руки?

— Ну нет, я всю жизнь занимался ерундой и предпочитал ее улаживать. Папки с нераскрытыми делами занимают слишком много места. Вчера на реке застрелили контрабандиста, теперь мы можем закрыть его дело. Кто-то украл сто тысяч песо из спальни в «Национале», но вор у нас на примете. А рано утром в церкви Ла-Крус обнаружена небольшая бомба. Бомба совсем маленькая — у нас ведь провинция — и должна была взорваться в полночь, когда церковь пуста. Однако если бы бомба взорвалась, она могла бы повредить чудотворное распятие, а вот это уже — сенсация для «Эль литораль» и, может, даже для «Насьон». Не исключено, что и так это уже сенсация. Ходят слухи, будто богородица сошла с алтаря и своими руками вытащила из бомбы запал и что архиепископ посетил место действия. Вы же знаете, что это распятие было впервые спасено задолго до того, как возник Буэнос-Айрес, это когда молния поразила индейцев, хотевших его сжечь. — Дверь из уборной отворилась. — Доктор, вы знакомы с моим коллегой, капитаном Велардо? Я рассказывал доктору о нашем новом чуде, Рубен.

— Смейтесь, смейтесь, полковник, но бомба ведь не взорвалась!

— Видите, доктор, и Рубен уже готов уверовать.

— Пока что я воздержусь высказывать свое мнение. Как и архиепископ. А он — человек образованный.

— Я-то думал, что взрыватель был плохо пригнан.

— А почему он был плохо пригнан? Надо всегда смотреть в корень. Чудо похоже на преступление. Вы говорите, что взрыватель был небрежно пригнан, но почему мы знаем, что это не богородица водила рукой, вставлявшей взрыватель?

— И все же я предпочитаю верить, что нас держат в воздухе моторы, хоть их производил и Роллс-Ройс, а не божественное вмешательство.

Самолет снова нырнул в воздушную яму, и в салоне зажглась надпись, предлагавшая застегнуть ремни. Доктору Пларру показалось, что полковника слегка мутит. Он вернулся на свое место.

Глава II

Доктор Пларр передал приглашения по телефону из аэропорта и стал ждать своих гостей на террасе «Националя». Он набросал письмо на бланке гостиницы в самых сдержанных выражениях — посол, как ему казалось, счел бы их трезвыми и убедительными. Город просыпался к вечеру после долгого послеобеденного отдыха. Вдоль набережной проехала вереница автомашин. Белая обнаженная статуя в бельведере сияла в электрическом свете, а реклама кока-колы горела алым светом, как лампадки у гробницы святого. С берега Чако паром выкрикивал в темноту какое-то предостережение. Шел десятый час — ужинать большинству жителей было еще рано, — и доктор Пларр сидел на террасе один, если не считать доктора Беневенто и его жены. Доктор Беневенто маленькими глоточками потягивал аперитив, словно недоверчиво пробовал лекарство, прописанное конкурентом, а его жена, суровая женщина средних лет, которая носила на груди большой золотой крест как некий знак отличия, не пила ничего и наблюдала, как исчезает аперитив супруга, с притворным долготерпением. Доктор Пларр вспомнил, что сегодня четверг и доктор Беневенто, вероятно, пришел в отель прямо после осмотра девушек матушки Санчес. Оба доктора делали вид, что не знают друг друга: несмотря на долгие годы со времени его приезда из Буэнос-Айреса, доктор Пларр все еще был в глазах доктора Беневенто пришлым пролазой.

Первым из его гостей пришел Хэмфрис. Он был в темном костюме, застегнутом на все пуговицы, и в этот сырой вечер лоб его блестел от испарины. Настроение его

отнодь не улучшилось, когда дерзкий москит впился ему в лодыжку сквозь толстый серый шерстяной носок. Преподаватель английского языка сердито шлепнул себя по ноге.

— Когда вы позвонили, я как раз собирался в Итальянский клуб,— пожаловался он, явно возмущенный тем, что его лишили привычного гуляша.

Заметив на столе третий прибор, он спросил:

— Кто еще придет?

— Доктор Сааведра.

— Господи, зачем? Не понимаю, что вы находите в этом типе. Надутый осел.

— Я подумал, что его совет может нам пригодиться. Хочу написать письмо в газеты насчет Фортнума от имени Англо-аргентинского клуба.

— Вы смеетесь. Какого клуба? Его же нет в природе.

— А мы сегодня учредим этот клуб. Надеюсь, Сааведра согласится стать почетным президентом, я буду председателем. Вы ведь не откажетесь взять на себя обязанности почетного секретаря? Дел будет не слишком много.

— Это чистое безумие,— сказал Хэмфрис.— Насколько я знаю, в городе живет еще только один англичанин. Вернее, жил. Я убежден, что Фортнум скрылся. Эта женщина, наверное, стоила ему кучу денег. Рано или поздно мы услышим о неоплаченных счетах в консульстве. А скорее всего вообще ничего не услышим. Посольские в Буэнос-Айресе, конечно, постараются замять это дело. Блюдут честь своей так называемой дипломатической службы. Правды ведь все равно никогда не узнаешь.

На это он постоянно и совершенно искренне сетовал. Правда была для него сложным предложением, которое его ученики никак не могли разобрать грамматически правильно.

— Да нет же, никто не сомневается, что его похитили,— сказал доктор Плarr.— Вот это действительно правда. Я говорил с Пересом.

— Вы верите тому, что говорит полицейский?

— Этому полицейскому верю. Послушайте, Хэмфрис, не упрямитесь. Мы должны как-то помочь Фортнуму. Даже если он и повесил наш флаг вверх ногами. Бедняге осталось жить всего три дня. Строго между нами, это посол сегодня посоветовал мне составить обращение в газеты. Любое, лишь бы привлечь какое-то внимание к Фортнуму. От имени местного Английского клуба. Ну да, да, вы это уже говорили. Конечно, такого клуба нет. Когда я летел назад, я подумал, что лучше назвать клуб Англо-аргентинским. Тогда мы сможем воспользоваться именем Сааведры и у нас будет больше шансов пробиться в газеты Буэнос-Айреса. Мы сможем сказать, как много Фортнум сделал, чтобы укрепить наши отношения с Аргентиной. О его культурной деятельности.

— Культурной деятельности! Отец его был отъявленным пьянчужой, и Чарли Фортнум пошел в него. Помните тот вечер, когда нам пришлось тащить его на себе в «Боливар»? Он ведь на ногах не держался. Все, что он сделал для наших отношений с Аргентиной,— это женился на местной проститутке.

— Все равно мы не можем обречь его на смерть.

— Я бы и мизинцем не пошевелил ради этого человека,— заявил Хэмфрис.

Что-то происходило в зале «Националя». Метрдотель, который вышел на террасу подышать воздухом перед началом вечернего столпотворения, поспешил назад. Официант, направлявшийся к столику доктора Бенеvento, с полпути бросился на чей-то зов. За высокой стеклянной дверью ресторана доктор Плarr заметил голубовато-серый переливчатый костюм Хорхе Хулио Сааведры,— писатель остановился, чтобы перекинуться словами со служащими. Гардеробщица приняла у него шляпу, официант взял трость, директор ресторана устремился из конторы к метрдотелю. Доктор Сааведра что-то объяснял, указывая то на одно, то на другое; когда он вышел на террасу к столику доктора Плarr, за ним тянулась целая свита. Даже доктор Бенеvento приподнялся со стула, когда доктор Сааведра косолапо проследовал мимо него в своих сверкающих остроносых ботинках.

— Вот и великий писатель,— усмехнулся Хэмфрис.— Держу пари, никто из них не читал ни слова из того, что им написано.

— Вероятно, вы правы, но его прадед был здешним губернатором,— отозвался доктор Плarr.— У них в Аргентине сильно развита историческая память.

Управляющий пожелал узнать, доволен ли доктор Сааведра тем, как стоит столик; метрдотель шепнул доктору Пларру, что будет подано специальное блюдо, которого нет в меню,— сегодня они получили из Игуазу свежую лососину; найдется и dorado⁸, если эту рыбу предпочитают гости доктора Пларра.

Когда служащие постепенно удалились, доктор Сааведра произнес:

— Какая глупость! Чего это они так суетятся?.. Я ведь только сказал, что намерен описать «Националь» в одном из эпизодов моего нового романа. И хотел объяснить, куда я хочу посадить своего героя. Мне нужно точно установить, что находится в поле его зрения, когда его враг, Фуэраббиа, ворвется с террасы с оружием в руках.

— Это будет детектив?— коварно спросил Хэмфрис.— Люблю хорошие детективы.

— Надеюсь, я никогда не стану писать детективов, доктор Хэмфрис, если под детективом вы подразумеваете эти абсурдные головоломки, нечто вроде литературных ребусов. В моей новой книге я исследую психологию насилия.

— Снова у гаучо?

— Нет, не у гаучо. Это современный роман — мой второй экскурс в политику. Действие происходит во времена диктатора Росаса⁹.

— Вы же, по-моему, сказали, что роман современный.

— Идеи современные. Если бы вы, доктор Хэмфрис, были не преподавателем литературы, а писателем, вы бы знали, что романист должен несколько отдалиться от своей темы. Ничто не устаревает быстрее, чем сегодняшний день. Вы же не ожидаете от меня, чтобы я написал о похищении сеньора Фортнума.— Он повернулся к доктору Пларру.— Мне нелегко было освободиться вечером, произошла небольшая неприятность, но когда вызывает мой врач, я должен повиноваться. Так в чем же дело?

— Мы с доктором Хэмфрисом решили учредить Англо-аргентинский клуб.

— Отличная идея. А какова будет сфера его деятельности?

— Разумеется, область культуры. Литература, археология... Мы бы просили вас стать его президентом.

— Вы оказываете мне честь,— произнес доктор Сааведра

— Мне бы хотелось, чтобы одним из первых шагов нашего клуба стало обращение к прессе по поводу похищения Фортнума. Если бы он был здесь, он, конечно, тоже стал бы членом нашего клуба.

— Чем я могу вам помочь?— спросил доктор Сааведра.— С сеньором Фортнумом я был едва знаком. Встретился раз у сеньоры Санчес...

— Я кое-что тут набросал... наспех. Я ведь не писатель, выписываю только рецепты.

— Он сбежал. Только и всего,— вставил Хэмфрис.— Вероятно, сам все и подстроил. Лично я отказываюсь подписывать.

— Тогда нам придется обойтись без вас, Хэмфрис. Но после опубликования письма ваши друзья— если они у вас есть — могут задуматься, почему вы не являетесь членом Англо-аргентинского клуба. Еще решат, что вас забаллотировали.

— Вы же знаете, что никакого клуба нет.

— Нет, простите, такой клуб уже есть, и доктор Сааведра согласился быть его президентом. Это наш первый клубный обед. И нам подадут прекрасную лососину из Игуазу. Если не желаете стать членом клуба, ступайте есть гуляш в своем итальянском притоне.

— Вы что, меня шантажируете?

— Для благих целей.

— В моральном отношении вы ничуть не лучше этих похитителей

— Может, и не лучше, а все же я бы не хотел, чтобы они убили Чарли Фортнума.

— Чарли Фортнум позорит свою родину.

— Не будет подписи — не будет и лососины.

— Вы не оставляете мне выбора,— сказал доктор Хэмфрис, развертывая салфетку.

⁸ Дорада (исп.)

⁹ Росас Хуан Мануэль Ортас де (1793—1877) — фактический диктатор Аргентины с 1835 по 1852 год.

Доктор Сааведра, внимательно прочитав письмо, положил его рядом с тарелкой.

— Нельзя мне взять его домой и отредактировать? Здесь не хватает — не обижайтесь на критику, она продиктована чувством профессионального долга, — не хватает ощущения крайней насущности этого шага. Письмо оставляет читателя холодным, словно отчет какой-нибудь фирмы. Если вы поручите дело мне, я напишу письмо более яркое, полное драматизма. Такое, что его придется напечатать уже в силу его литературных достоинств.

— Я хотел бы сегодня же вечером передать письмо по телеграфу в лондонскую «Таймс» и поместить в завтрашние газеты Буэнос-Айреса.

— Такое письмо нельзя составлять наспех, доктор Плarr, к тому же я пишу медленно. Дайте мне время до завтра, обещаю, что это себя оправдает.

— Бедняге, может быть, осталось всего три дня жизни. Я бы предпочел телеграфировать свой черновик сегодня, а не ждать до завтра. Там, в Англии, завтра уже наступило.

— Тогда вам придется обойтись без моей подписи. Очень сожалею, но для меня было бы ошибкой поставить свою подпись под письмом в его нынешнем виде. Никто в Буэнос-Айресе не поверит, что я к нему причастен. Оно содержит — простите меня — такие избитые фразы. Вы только послушайте...

— Поэтому я и хотел, чтобы вы его переписали. И уверен, что вы это можете сделать сейчас. Тут же, за столом.

— Неужели вы думаете, что писать так легко? А вы бы проделали сложную операцию с места в карьер, здесь, на столе? Если нужно, я просижу всю ночь. Литературные достоинства письма, которое я напишу, даже в переводе с лихвой купят любую задержку. Кстати, кто его переведет — вы или доктор Хэмфрис? Я хотел бы просмотреть перевод, прежде чем вы отошлете его за границу. Я, конечно, доверяю вашей точности, но это вопрос стиля. Наше письмо должно дойти до сердца читателя, донести до него образ этого несчастного...

— Чем меньше вы донесете его образ, тем лучше, — заметил Хэмфрис.

— Насколько я понимаю, сеньор Фортнум человек простой — не очень мудрый или думающий, и вот он стоит перед угрозой насильственной смерти. Быть может, он прежде о смерти даже и не помышлял. В таком положении человек либо поддается страху, либо мужает как личность. Возьмите случай с сеньором Фортнумом. Он женат на молодой женщине, ожидает ребенка...

— У нас нет времени писать на этот сюжет роман, — сказал доктор Плarr.

— Когда я с ним познакомился, он был слегка пьян. Мне было не по себе в его обществе, пока я не обнаружил у него под маской веселья глубокую тоску.

— А вы недалеко от истины, — удивился доктор Плarr.

— Я думаю, он пил по той же причине, по какой я пишу, — чтобы не так страдать от душевного уныния. Он сразу мне признался, что влюблен.

— Влюблен в шестьдесят лет! — воскликнул Хэмфрис. — Пора бы ему быть выше подобных глупостей.

— Я вот их еще не преодолел, — сказал доктор Сааведра. — А если бы преодолел, то не смог бы больше писать. Половой инстинкт и инстинкт творческий живут и умирают вместе. Некоторые люди, доктор Хэмфрис, сохраняют молодость дольше, чем вы можете судить по своему опыту.

— Ему просто хотелось всегда иметь под рукой проститутку. Вы это называете любовью?

— Давайте вернемся к письму... — предложил доктор Плarr.

— А что вы называете любовью, доктор Хэмфрис? Свадьбу по расчету в испанском духе? Многодетное семейство? Позвольте вам сказать, что я и сам когда-то любил проститутку. Такая женщина может обладать большим великодушием, чем почтенная матрона из Буэнос-Айреса. Как поэту мне больше помогла одна проститутка, чем все критики вместе взятые... или преподаватели литературы.

— Я думал, вы не поэт, а прозаик.

— По-испански «поэт» не только тот, кто пишет рифмами.

— Письмо! — прервал доктор Плarr. — Попробуем закончить письмо прежде, чем мы покончим с лососиной.

— Дайте спокойно подумать... вступительная фраза — ключ ко всему остальному. Надо найти верный тон, даже верный ритм. Верный ритм так же важен в про-

зе, как верный размер в стихотворении. Лососина отличная. Можно попросить еще бокал вина?

— Если напишете письмо, пейте хоть целую бутылку.

— Сколько шума из-за Чарли Фортнума,— сказал доктор Хэмфрис. Он доел свою лососину, допил вино, теперь ему больше нечего было бояться.— Знаете, возможна и другая причина его исчезновения: он не хочет стать отцом чужого ребенка.

— Я предпочел бы начать письмо с описания личности жертвы,— объявил доктор Сааведра, помахивая шариковой ручкой; кусочек лососины прилип к его верхней губе.— Но почему-то образ сеньора Фортнума от меня ускользает. Приходится вычеркивать чуть не каждое слово. В романе я бы мог создать его образ несколькими штрихами. Мне мешает то, что речь идет о живом человеке. Это подрезает мне крылья. Стоит написать фразу, как я чувствую, будто сам Фортнум хватается за руку и говорит: «Но я ведь совсем не такой».

— Позвольте мне налить вам еще вина.

— Он мне говорит и другое, что меня тоже смущает: «Почему вы пытаетесь вернуть меня к той жизни, которую я вел, к жизни унылой и лишенной достоинства?»

— Чарли Фортнума больше заботило, хватит ли ему виски, достоинство мало его заботило,— бросил доктор Хэмфрис.

— Вникните поглубже в чей-нибудь характер, пусть даже в свой собственный, и вы обнаружите там machismo.

Шел одиннадцатый час, и на террасу стали стекаться посетители ужинать. Они шли с разных сторон, оглябая столик доктора Пларра, словно кочевники, обходившие скалу в пустыне; некоторые из них несли детей. Ребенок, похожий на воскового божка, прямо сидел в коляске; бледная трехлетняя девочка в голубом нарядном платье ступала по мраморной пустыне, пошатываясь от усталости, в ее крошечных ушках были продеты золотые серьги; шестилетний мальчик топал вдоль стены террасы, зевая на каждом шагу. Можно было подумать, что все они пересекли целый континент, прежде чем сюда попасть. На рассвете, опустошив это пастбище, кочевники соберут свой скарб и двинутся к новому привалу.

Доктор Пларр с нетерпением сказал:

— Верните мне письмо. Я хочу послать его таким, как есть.

— Тогда я не смогу поставить свою подпись.

— А вы, Хэмфрис?

— Я не подпишу. Теперь вы меня не запугаете. С лососиной я покончил.

Пларр взял письмо и разорвал его пополам. Он положил на стол деньги и поднялся.

— Доктор Пларр, я жалею, что вас рассердил. Стиль у вас неплохой, но он слабо деловой, и никто не поверит, что письмо писал я.

Пларр пошел в уборную. Умывая руки, он подумал: я похож на Пилата; но это была та тривиальность, которую доктор Сааведра не одобрил бы. Мыл руки он тщательно, словно собираясь обследовать больного. Вынув руки из воды, он посмотрел в зеркало и спросил свое озабоченное отражение: женюсь я на Кларе, если они убьют Фортнума? Это не обязательно: Клара вовсе не рассчитывает, что он на ней женится. Если она получит в наследство поместье, она сможет его продать и уехать домой в Тукуман. А может быть, снимет квартиру в Буэнос-Айресе и будет есть пирожные, как его мать. Для всех будет лучше, если Фортнум останется жив. Фортнум будет лучшим отцом ребенку, чем он: ребенку нужна любовь.

Вытирая руки, он услышал за спиной голос доктора Сааведры:

— Вы считаете, доктор, что я вас подвел, но вы не знаете всех обстоятельств.

Романист мочился, завернув правый рукав своего голубовато-серого пиджака,— он был человек брезгливый.

Доктор Пларр ответил:

— Мне казалось, что, давая вам на подпись письмо, пускай даже плохо написанное, я не прошу слишком многого. Ведь речь идет о человеческой жизни!

— Пожалуй, мне лучше объяснить вам подлинную причину моего отказа. Сегодня мне одной пилюли будет мало. Мне нанесли большой удар.— Доктор Сааведра застегнул брюки и повернулся.— Я говорил вам о Монтесе?

— О Монтесе? Нет, такого имени не помню.

— Это молодой прозаик из Буэнос-Айреса — теперь уже не такой молодой, кажется, старше вас, годы бегут. Я помог ему опубликовать первый роман. Очень необычный роман. Сюрреалистический, но превосходно написанный. Издательство «Эмесе» его забраковало, «Сур» отклонил, и мне удалось уговорить моего издателя принять рукопись, пообещав, что я напишу о ней положительную рецензию. В те дни я вел в газете «Насьон» еженедельную колонку, весьма и весьма влиятельную. Монтес мне нравился. У меня было к нему что-то вроде отеческого чувства. Несмотря на то, что последние годы в Буэнос-Айресе я встречался с ним очень редко. Пришел успех — и у него появились новые друзья. И все же при всякой возможности я хвалил его. А теперь взгляните, что он написал обо мне. — Он вынул из кармана сложенную газету.

Это была длинная, бойко написанная статья. Темой ее было отрицательное влияние эпической поэмы «Мартин Фьерро»¹⁰ на аргентинский роман. Автор делал похвалу для Борхеса, нашел несколько хвалебных слов для Мальеа и Сабато, но жестоко насмеялся над романами Хорхе Хулио Сааведры. В тексте так и мелькал эпитет «посредственность», а слово *machismo* издевательски повторялось чуть не в каждом абзаце. Была ли это месть за покровительство, когда-то оказанное ему Сааведрой, за все назойливые советы, которые, вероятно, ему приходилось выслушивать?

— Да, это предательство, — сказал доктор Пларр.

— Он предал не только меня. Он предал родину. «Мартин Фьерро» — это и есть Аргентина. Мой дед был убит на дуэли. Он дрался голыми руками с пьяным гаучо, который нанес ему оскорбление. Что было бы с нами сегодня, — доктор Сааведра взмахнул руками, словно обнимая всю комнату от умывальника до писсуара, — если бы наши отцы не почитали *machismo*? Смотрите, что он пишет о девушке из Сальты. Он даже не понял символики того, что у нее одна нога. Представьте себе, как бы он издевался над стилем вашего письма, если бы я его подписал! «Бедный Хорхе Хулио! Вот что происходит с писателем, который бежит от своей среды и скрывается где-то в провинции. Он пишет, как конторщик». Как бы я хотел, чтобы Монтес был здесь, я бы показал ему, что значит *machismo*. Прямо здесь, на этом кафельном полу.

— У вас есть при себе нож? — спросил доктор Пларр, тщетно надеясь вызвать у него улыбку.

— Я дрался бы с ним, как мой дед, голыми руками.

— Ваш дед был убит, — сказал доктор Пларр.

— Я не боюсь смерти, — возразил доктор Сааведра.

— А Чарли Фортнум ее боится. Это такая мелочь — подписать письмо.

— Мелочь? Подписать такую прозу? Мне было бы легче отдать свою жизнь.

О, я знаю, это невозможно понять, если человек не писатель.

— Я стараюсь понять, — сказал доктор Пларр.

— Вы хотите привлечь внимание к делу сеньора Фортнума? Правильно?

— Да.

— Тогда вот что я вам посоветую. Сообщите газетам и вашему правительству, что я предлагаю себя в заложники вместо него.

— Вы говорите серьезно?

— Совершенно серьезно.

А ведь это может подействовать, подумал доктор Пларр, есть маленькая возможность, что в такой сумасшедшей стране это подействует. Он был тронут.

— Вы храбрый человек, Сааведра, — сказал он.

— По крайней мере я покажу этому щенку Монтесу, что *machismo* не выдумка автора «Маргина Фьерро».

— Вы отдаете себе отчет, что они могут принять ваше предложение? — спросил Пларр. — И тогда больше не будет романов Хорхе Хулио Сааведры, разве что вас читает генерал и в Парагвае у вас много почитателей.

— Вы протелеграфируете в Буэнос-Айрес и в лондонскую «Таймс»? Про «Таймс» не забудете? Два моих романа были изданы в Англии. Да, еще и в «Эль литораль». Надо им позвонить. Похитители наверняка читают «Эль литораль».

Они вдвоем зашли в пустую комнату директора ресторана, и доктор Пларр на-

¹⁰ Поэма Хосе Рафаэля Эрнандеса (1834—1886) о тяжелой доле гаучо.

бросал телеграммы. Повернувшись, он заметил, что глаза доктора Сааведры покраснели от непролитых слез.

— Монтес был мне все равно что сын,— сказал Сааведра.— Я восхищался его книгами. Они были так не похожи на мои собственные, но в них были свои достоинства... Я отдавал дань этим достоинствам. А он, как видно, всегда меня презирал. Я старый человек, доктор Пларр, так что смерть все равно от меня не так уж далека. История человека, рассказанная мной директору,— человека, который сюда врывается, должна была лечь в основу моего нового романа, я собирался назвать его «Незванный гость», но, вероятно, он так и не будет дописан. Даже когда я задумал роман, я знал, что это скорее его тема, а не моя. Когда-то я давал ему советы, а теперь, как видите, собрался ему подражать. Подражать — право молодости. Я предпочту смерть, но такую, какую даже Монтес должен будет уважать.

— Он скажет, что и вас в конце концов погубил «Мартин Фьерро».

— Большинство из нас в Аргентине губит «Мартин Фьерро». Но человек вправе сам выбрать день своей смерти.

— Чарли Фортнуму не дают этого выбора.

— Сеньор Фортнум стал жертвой непредвиденного стечения обстоятельств. Согласен — это не похоже на достойную смерть. Скорее на уличную катастрофу или на тяжелый грипп.

Доктор Пларр предложил отвезти Сааведру домой на машине. Писатель еще ни разу не приглашал его к себе, и он воображал, что тот живет в каком-нибудь старинном доме в колониальном стиле с зарешеченными окнами, выходящими на тенистую улицу, с апельсиновыми деревьями и *larachos*¹¹ в саду, в доме, таком же парадном и старомодном, как его одежда. Быть может, на стене висят портреты прадеда — губернатора провинции и деда, убитого гаучо.

— Это недалеко. Мне нетрудно дойти пешком,— сказал Сааведра.

— Пожалуй, нам стоит еще немного обсудить ваше предложение, договориться, как лучше его осуществить.

— Это уже от меня не зависит.

— Не совсем так.

В машине доктор Пларр объяснил писателю, что с того момента, как его предложение будет опубликовано в «Эль литораль», за ним станет следить полиция.

— Похитителям ведь надо с вами связаться и предложить какой-то способ обмена. Проще, если вы сегодня уедете, прежде чем полиция обо всем этом узнает. Вы можете скрыться у кого-нибудь из ваших приятелей за городом.

— А как похитители меня найдут?

— Ну, хотя бы через меня. Они, вероятно, знают, что мы с сеньором Фортнумом друзья.

— Не могу же я бежать и скрываться как преступник.

— Иначе им будет трудно принять ваше предложение.

— Кроме того,— сказал доктор Сааведра,— я не могу бросить работу.

— Но вы же можете взять ее с собой.

— Вам легко так говорить. Вы можете лечить пациента где угодно, ваш опыт всегда при вас. А моя работа связана с моим кабинетом. Когда я приехал из Буэнос-Айреса, я почти год не мог взяться за перо. Моя комната казалась мне гостиничным номером. Чтобы писать, нужен домашний очаг.

Домашний очаг... Доктор Пларр был поражен, обнаружив, что писатель живет недалеко от тюремной стены, в доме даже более современном и убогом, чем тот, в котором жил он сам. Серые многоквартирные дома стояли квадратами и словно являлись продолжением тюрьмы. Так и казалось, что корпуса обозначены буквами А, Б и В для различных категорий преступников. Квартира доктора Сааведры находилась на третьем этаже, а лифта не было. У подъезда дети играли в нечто вроде кеглей консервными банками, и по всей лестнице Пларра преследовал запах кухни. Доктор Сааведра, видно, почувствовал, что тут нужны объяснения. Постояв на втором этаже, чтобы перевести дух, он сказал:

— Вы же знаете, что писатель не наносит визитов, как врач. Он постоянно живет со своей темой. Я пишу о народе, и мне было бы не по себе в буржуазной обстановке. Добрая женщина, которая у меня убирает,— жена тюремного надзирателя.

¹¹ Разновидность бегонии (*исп.*).

Здесь я чувствую себя в подходящем milieu¹². Я вывел ее в последней книге. Помните? Там ее зовут Катерина, она вдова сержанта. Кажется, мне удалось ухватить ее образ мыслей.— Он открыл дверь и сказал с вызовом:— Вот вы и попали в самую сердцевину того, что мои критики называют миром Сааведры.

Как выяснилось, это был очень маленький мир. У доктора Пларра создалось впечатление, что долгие занятия литературой не принесли писателю заметных материальных благ, если не считать приличного костюма, до блеска начищенных туфель и уважения директора ресторана. Столовая была узкой и длинной, как железнодорожное купе. Единственная полка с книгами (большинство из них самого Сааведры), ломберный стол, который, если его раздвинуть, занял бы почти всю комнату, картина XIX века, изображавшая гаучо на коне, кресло и два жестких стула — вот и вся обстановка, не считая громадного старинного шкафа красного дерева, который когда-то украшал более просторные покои, поскольку верхние завитушки в стиле барокко пришлось спилить из-за низкого потолка. Две двери, которые доктор Сааведра поспешно захлопнул, на минуту приоткрыли Пларру монашескую кровать и кухонную плиту с выщербленной эмалью. В окно, затянутое ржавой противомоскитной сеткой, доносился ляг жестянок, которыми внизу играли дети.

— Могу я предложить вам виски?

— Совсем немножко, пожалуйста.

Доктор Сааведра открыл шкаф — он был похож на огромный сундук, где в чайники отъезда сложили имущество, накопленное за целую жизнь. Там висели два костюма. На полках вперемешку лежали рубашки, белье и книги; в глубине среди каких-то вещей прислонился зонтик; с перекладки свисали четыре галстука; на дне лежала пачка фотографий в старомодных рамках вместе с двумя парами туфель и какими-то книгами, для которых не нашлось другого места. На полочке над костюмами стояли бутылка виски, наполовину пустая бутылка вина, несколько бокалов — один из них с отбитыми краями, хлебница и лежали ножи и вилки.

Доктор Сааведра сказал с вызовом:

— Тут тесновато, но когда я пишу, я не люблю, чтобы было слишком просторно. Пространство отвлекает.— Он смущенно посмотрел на доктора Пларра и натянуто улыбнулся.— Это колыбель моих персонажей, доктор, поэтому для всего остального мало места. Вам придется меня извинить — я не могу предложить вам льда: утром испортился холодильник, а монтер еще не явился.

— После ужина я предпочитаю виски неразбавленным,— сказал доктор Пларр.

— Тогда я достану вам бокал поменьше.

Чтобы дотянуться до верхней полки, ему пришлось встать на носки своих маленьких сверкающих ботинок. Дешевый пластмассовый абажур, раскрашенный розовыми цветами, которые слегка побурели от жары, едва скрадывал резкость верхнего света. Глядя, как доктор Сааведра с его седой, голубовато-серым костюмом и ослепительно начищенными ботинками достает бокал, доктор Пларр был так же удивлен, как когда-то, увидев девушку в ослепительно белом платье, выходящую из глинобитной лачуги в квартале бедноты где не было водопровода. Он почувствовал к доктору Сааведре уважение. Каковы бы ни были его книги, его одержимость литературой не казалась бессмысленной. Ради нее он готов был терпеть бедность, а скрытую бедность куда тяжелее вынести, чем откровенную. Чего ему стоило навести лоск на ботинки, выгладить костюм... Он не мог позволить себе разгильдяйства, как молодые. Даже стричься полагалось регулярно. Оторванная пуговица обнаружила бы слишком многое. В истории аргентинской литературы он, вероятно, будет помянут только в подстрочном примечании, но это примечание он заслужил. Бедность комнаты была подтверждением неутомимой преданности литературе.

Доктор Сааведра засеменил к нему с двумя бокалами.

— Сколько, по-вашему, нам придется ждать ответа?— спросил он.

— Ответа может и не быть.

— Кажется, ваш отец числится в списке тех, кого они требуют освободить?

— Да.

— Представляю себе, как странно вам было бы увидеть отца после стольких лет. Какое счастье для вашей матери, если...

¹² Окружении (франц.).

— По-моему, она предпочла бы знать, что он мертв. Ему нет места в той жизни, которую она ведет.

— А может быть, если сеньор Фортнум вернется, его жена тоже не будет ему рада?

— Почему я могу это знать?

— Бросьте, доктор Плarr, у меня же есть друзья в доме сеньоры Санчес.

— Значит, она была там опять? — спросил доктор Плarr.

— Я ходил туда сегодня под вечер, и она была там. Все с ней носились — даже сеньора Санчес. Может быть, она надеется ее вернуть. Когда доктор Беневенто пришел осматривать девушек, я проводил ее в консульство.

— И она вам рассказала обо мне?

Его раздосадовала ее несдержанность, но вместе с тем он почувствовал облегчение. Он избавлялся от необходимости соблюдать тайну. В городе не было никого, с кем бы он мог поговорить о Кларе, а где же найдешь лучшего наперсника, чем его пациент? Ведь и у доктора Сааведры есть тайны, которые он не захочет сделать общим достоянием.

— Она рассказала мне, как вы были к ней добры.

— И это все?

— Старые друзья понимают друг друга с полуслова.

— Она — одна из тех, с кем вы там бывали? — спросил доктор Плarr.

— По-моему, с ней я был только раз.

Доктор Плarr не почувствовал ревности. Представить себе, как обнаженная Клара при свете свечи ждет, пока доктор Сааведра вешает свой голубовато-серый костюм, было все равно что смотреть с верхнего ряда галерки грустную и в то же время комическую сцену. Расстояние так отдаляло от него действующих лиц, что он мог ощущать лишь легкое сочувствие.

— Значит, она вам не очень понравилась, раз вам не захотелось побыть с ней еще раз?

— Дело не в том, понравилась мне она или нет, — сказал доктор Сааведра. — Она славная девушка и к тому же довольно привлекательная, но в ней нет того *особенно*, что мне требуется. Она никогда не производила на меня впечатление как личность — извините, если я выражаюсь языком критики, — личность из мира Хорхе Хулио Сааведры. Монтес утверждает, что этот мир не существует. Что он знает, сидя там, в Буэнос-Айресе? Разве Тереса не существует — помните тот вечер, когда вы с ней познакомились? Я не пробыл с нею и пяти минут, как она стала для меня девушкой из Сальты. Она что-то сказала — даже не помню, что именно. Я был с ней четыре раза, а потом мне пришлось от нее отказаться — слишком многое из того, что она говорила, не ложилось в мой образ. Мешало моему замыслу.

— Клара родом из Тукумана. Вы ничего от нее не почерпнули?

— Тукуман мне не подходит. Мое место действия — это районы контрастов. Монтес этого не понимает. Трелью... Сальта. Тукуман нарядный город, окруженный полумиллионом гектаров сахарного тростника. Сплошная еппи¹³. Ее отец работал на уборке сахарного тростника, не так ли? А брат пропал.

— Мне казалось, что это подходящий для вас сюжет, Сааведра.

— Нет, он не для меня. И она не стала для меня живым существом. Там — уныние, бедность и никакого machismo на полмиллиона гектаров. — Он храбро добавил, словно их не оглушал лязг жестянок, катавшихся взад-вперед по цементу: — Вы себе не представляете, какой тихой и унылой может быть неприкрытая бедность. Дайте я налью вам еще немного виски. Это настоящий «Джонни Уокер».

— Нет, нет, спасибо. Мне пора домой. — Однако он медлил. Считается, что писатели обладают какой-то мудростью... Он спросил: — Как вы думаете, что будет с Кларой, если Фортнум умрет?

— Может быть, вы на ней женитесь?

— Разве я могу? Мне пришлось бы отсюда уехать.

— Вы легко сможете устроиться где-нибудь лучше. В Росарио?..

— Здесь ведь и мой дом, — сказал доктор Плarr. — Во всяком случае это больше похоже на дом, чем все, что было с тех пор, как я уехал из Парагвая.

— И тут вы чувствуете, что отец к вам ближе?

¹³ Тоска (франц.).

— А вы и в самом деле человек проникательный, Сааведра. Да, возможно, я переехал сюда потому, что здесь я ближе к отцу. Когда я лечу в квартале бедноты, я знаю, что он бы меня одобрил, но когда я хожу к своим богатым пациентам, у меня такое чувство, будто я бросил его друзей, чтобы помогать его врагам. Бывает, что с кем-нибудь из них я даже пересплю, но когда проснусь и погляжу его глазами на лицо рядом на подушке... Возможно, это одна из причин, почему мои связи никогда не длятся долго; а когда я пью чай с матерью на калье Флорида в обществе других дам Буэнос-Айреса... он тоже там сидит и осуждающе смотрит на меня своими голубыми английскими глазами. Мне кажется, Клара бы понравилась отцу. Она из его бедняков.

— Вы любите эту девушку?

— Любовь, любовь... Хотел бы я знать, что вы и все остальные понимаете под этим словом. Да, я ее хочу. Время от времени. Как известно, физическое влечение имеет свой ритм.— Он добавил: — Это длится дольше, чем с другими. Тереса стала для вас одноногой девушкой из Сальты. Пожалуй, Клара — просто одна из моих бедняков. Но я ни за что не хотел бы, чтобы она стала моей жертвой. Не это ли чувствовал Чарли Фортнум, когда на ней женился?

Доктор Сааведра сказал:

— Может, я больше вас не увижу. Я приходил к вам за пилюлями против меланхолии, но у меня есть по крайней мере моя работа. Кажется, эти пилюли нужнее вам.

Доктор Плаэр рассеянно на него посмотрел. Мысли его были заняты другим.

Войдя дома в лифт, доктор Плаэр вспомнил, с каким волнением поднималась в нем впервые Клара. А что, если позвонить в консульство и позвать ее сюда? Кровать в консульстве слишком узка для двоих, и если он пойдет туда, ему придется рано уйти, прежде чем появится женщина, похожая на ястреба.

Он закрыл за собой дверь и раньше всего зашел в кабинет, чтобы взглянуть, не оставила ли секретарша Ана на столе какую-нибудь записку, но там ничего не было. Раздвинув шторы, он поглядел вниз на порт: у киоска с кока-колой стояли трое полицейских — может быть, потому, что к причалу подошел пароход, совершавший еженедельный рейс в Асунсьон. Сцена эта напоминала ему детство, но теперь он глядел на нее из окна пятого этажа с противоположной стороны реки.

Он произнес вслух: «Да поможет тебе бог, отец, где бы ты ни был». Легче было верить в бога с обычным человеческим слухом, чем во всемогущую силу, которая умеет читать в твоих мыслях. Как ни странно, когда он произносил эти слова, перед ним возникло лицо не его отца, а Чарли Фортнума. Почетный консул лежал вытянувшись на крышке гроба и шептал: «Тед». Отец доктора Плаэра звал его Эдуардо в угоду жене. Он попытался подменить лицо Чарли Фортнума лицом Генри Плаэра, но годы стерли отцовские черты. Как на древней монете, которая долго пролежала в земле, он мог различить только легкую неровность там, где когда-то были очертания щек или губ. И это был голос Чарли Фортнума, который снова звал его: «Тед!»

Он отвернулся — разве он не сделал все, что в его силах, чтобы помочь? — и открыл дверь спальни. При свете, падавшем из кабинета, он увидел под простыней тело жены Фортнума.

— Клара! — сказал он.

Она сразу проснулась и села. Он заметил, что она аккуратно сложила одежду на стуле, — ее приучила к этому былая профессия. Женщина, которой приходится раздеваться несколько раз за ночь, должна тщательно складывать свои вещи, не то после двух или трех клиентов платье будет безнадежно измято. Как-то раз она ему рассказала, что сеньора Санчес заставляет девушек платить за стирку — это приучает к чистоплотности.

— Как ты вошла?

— Попросила швейцара.

— Он тебе открыл?

— Он меня знает.

— Он тебя здесь видел?

— Да. И там тоже.

Значит, я делил ее и со швейцаром, подумал Плаэр. Сколько же еще неизвестных солдат на этом поле боя рано или поздно оживут и обретут плоть? Ничего более чуждого жизни на калье Флорида, со звяканьем чайных ложечек в чашках и пирож-

ным с белым как снег dulce de leche, и представить себе невозможно. Какое-то время он влил Маргариту с сеньором Вальехо — большинство любовных историй набегают одна на другую в начале или в конце, — но он предпочитал швейцара сеньору Вальехо; запахом его бритвенного лосьона в течение последних затянувшихся месяцев иногда пахла кожа Маргариты.

— Я сказала, что ты дашь ему денег. Дашь?

— Конечно, сколько? Пятьсот песо?

— Лучше тысячу.

Он сел на край кровати и откинул простыню. Ему еще не надоела ее худоба и маленькая грудь, которая, как и живот, не показывала признаков беременности.

— Я очень рад, что ты пришла, — сказал он. — Сам хотел тебе позвонить, хотя это было бы не слишком разумно. Полиция считает, что я имею какое-то отношение к похищению. Подозревают, что я мог пойти на него из ревности, — добавил он, улыбнувшись при одной мысли об этом.

— Они не посмеют тебя тронуть. Ты лечишь жену министра финансов.

— И все-таки они могут за мной следить.

— Ну и что? За мной же они следят

— Они шли за тобой сюда?

— Ну, я знаю, как от них отделаться. Меня беспокоит не полиция, а этот подонек — журналист. Он вернулся в усадьбу, как только стемнело. Предлагал мне деньги.

— За что? За сведения для газеты?

— Хотел со мной переспать.

— А что ты ему сказала?

— Сказала, что мне больше не нужны его деньги, и тогда он разозлился. Он поверил, что когда я была у сеньоры Санчес, он и в самом деле мне нравился. Считает, что он потрясающий любовник. Ну и сбита же я с него спесь, — добавила она с явным удовольствием, — сказала, что как мужчина Чарли в тысячу раз лучше, чем он.

— Как ты от него избавилась?

— Позвала полицейского, они оставили одного в усадьбе, сказали, что он будет меня охранять, но он все время за мной следит, и, пока они спорили, села в машину и уехала.

— Но ты же не умеешь водить машину.

— Я часто смотрела, как это делает Чарли. Это нетрудно. Знаю, какие штучки надо толкать, а какие тянуть. Вначале я их перепутала, но потом все наладилось. До самой дороги машина шла рывками, но там я освоилась и поехала даже быстрее, чем Чарли.

— Бедная «Гордость Фортнума», — сказал Плэрт.

— По-моему, я ехала чуть-чуть слишком быстро, раз не заметила грузовика.

— Что случилось?

— Авария.

— Тебя ранило?

— Меня — нет, а вот машина пострадала.

Глаза ее блстели, она была возбуждена непривычными событиями. Он еще никогда не слышал, чтобы она так много разговаривала. Клара все еще обладала для него привлекательностью незнакомки — словно девушка, которую он случайно встретил на вечеринке.

— Ты мне нравишься, — сказал он беспечно, не задумываясь, как сказал бы за коктейлем, причем оба понимали, что слова эти значат не больше, чем «давай пойдём со мной».

— Водитель грузовика меня подбросил, — сообщила она. — Конечно, он тоже стал приставать, я сказала, что согласна и, когда мы приедем в город, пойду с ним в один дом на улице Сан-Хосе, где он бывает, но у первого же светофора выскочила, прежде чем он успел опомниться, и пошла к сеньоре Санчес. Знаешь, как она мне обрадовалась, правда, обрадовалась, совсем не сердилась и сама сделала перевязку.

— Значит, тебя все-таки ушибло?

— Я ей сказала, что знаю хорошего врача, — ответила она с улыбкой и сдернула простыню, чтобы показать повязку на левом колене.

— Клара, я должен ее снять и посмотреть...

— Ну, это подождет,— сказала она.— Ты меня немножко любишь? — Она быстро поправилась: — Ты меня хочешь?

— Успеется. Лежи спокойно, дай мне снять повязку.

Он старался дотрагиваться до раны как можно осторожнее, но видел, что причиняет ей боль. Она лежала тихо, не жалуясь, и он вспомнил некоторых своих богатых пациенток, которые убедили бы себя, что терпят невыносимую боль; они могли бы даже упасть в обморок со страха или чтобы обратить на себя внимание.

— Хорошая крестьянская порода,— с восхищением произнес он.

— Что ты сказал?

— Ты храбрая девушка.

— Но это же ерунда. Знал бы ты, как калечат себя мужчины в поле, когда рубят тростник. Я видела парня, у которого было отрезано полступни.— Тут же она спросила, словно из вежливости осведомляясь об общем родственнике: — Есть ли какие-нибудь новости о Чарли?

— Нет.

— Ты все еще думаешь, что он жив?

— Я в этом почти уверен.

— Значит, у тебя есть новости?

— Я снова говорил с полковником Пересом. А сегодня летал в Буэнос-Айрес, чтобы повидать посла.

— Но что мы будем делать, если он вернется?

— Что будем делать? Наверно, то же самое, что и сейчас. А что же еще? — Он кончил накладывать повязку.— Все пойдет по-прежнему. Я буду навещать тебя в поместье, а Чарли будет хозяйничать на плантации.

Он словно описывал жизнь, которая когда-то была довольно приятной, но в которую теперь мало верил.

— Я была рада повидать девушек у сеньоры Санчес. Сказала им, что у меня есть любовник. Конечно, я не сказала кто.

— Неужели они не знали? Кажется, это знает весь город, за исключением бедного Чарли.

— Почему ты называешь Чарли бедным? Ему было хорошо. Я всегда делала все, что он хотел.

— А чего он хотел?

— Не слишком много. Не слишком часто. Это было так скучно, Эдуардо. Не поверишь, как это было скучно. Он был добрый и заботился обо мне. Никогда не делал мне больно, как ты. Иногда я благодарю господу бога и нашу пресвятую деву, что ребенок твой, а не его. Что бы это был за ребенок, будь он ребенком Чарли? Ребенок старика. Лучше бы я его задушила при рождении.

— Чарли был бы ему лучшим отцом, чем я.

— Он ни в чем не может быть лучше тебя.

Ну нет, подумал доктор Плarr, кое в чем может — например, лучше умереть, а это уже не так мало.

Она протянула руку и погладила его по щеке — через кончики пальцев он почувствовал, как она взволнована. Никогда еще она его так не ласкала. Лицо было местом запретным для нежности, и чистота этого жеста поразила его не меньше, чем если бы какая-нибудь невинная девушка позволила себе что-нибудь чересчур интимное. Он сразу отодвинулся.

— Помнишь, тогда в поместье я говорила, что представляюсь,— сказала она.— Но, саго¹⁴, я не представлялась. Это теперь я представляюсь, когда ты меня любишь. Представляюсь, будто ничего не чувствую. Кусаю губы, чтобы как следует представляться. Это потому, что я тебя люблю, Эдуардо? Как ты думаешь, я тебя люблю? — Она добавила со смирением, которое насторожило его не меньше, чем прямое требование: — Прости. Я не то хотела сказать... Какая разница, правда?

Какая разница? Как объяснить ей, что это огромная разница? Любовь была притязанием, которое он не мог удовлетворить, ответственностью, которую он не мог принять, требованием... Как часто его мать произносила это слово, когда он был маленьким; оно звучало как угроза вооруженного разбойника: «Руки вверх, не то...» В ответ всегда что-нибудь требовали: послушания, извинения, поцелуя, который не хотелось дарить. Быть может, он еще больше любил отца за то, что тот никогда не произносил слова

¹⁴ Милый (исп.).

«любовь» и ничего не требовал. Он помнил только один-единственный поцелуй на набережной в Асунсьоне, и тот поцелуй был такой, каким могут обменяться мужчины. Так лбызают друг друга французские генералы на фотографиях, когда их награждают орденом. Поцелуй, который ни на что не притязает. Отец иногда трепал его по волосам или похлопывал по щеке. Самым ласковым его выражением было английское «старик». Он вспомнил, как мать говорила ему сквозь слезы, когда пароход входил в фарватер: «Теперь ты один будешь меня любить». Она протягивала к нему со своей койки руки, повторяя «милый, милый мой мальчик», совсем как много лет спустя к нему тянулась с постели Маргарита, прежде чем появился сеньор Вальехо и занял его место; он припомнил, что Маргарита называла его «жизнь моя», совсем как мать иногда звала его «сын мой, единственный». Он совсем не верил в плотскую любовь, но лежа без сна в перенаселенной квартире в Буэнос-Айресе и прислушиваясь к скрипу половиц под ногами матери, направлявшейся в уборную, порой вспоминал потаенные ночные звуки, которые слышал в поместье: приглушенный стук, незнакомые шаги на цыпочках этажом ниже, шепот в подвале, выстрел, прозвучавший неотложным предупреждением, посланным через поля,— все это были знаки подлинной нежности, сострадания достаточно глубокого, ибо отец был готов за него умереть. Было ли это любовью? Способен ли любить Леон? Или даже Акуино?

— Эдуардо! — Он вернулся издали, услышав ее мольбу.— Я буду говорить все, как ты хочешь. Я не думала тебя рассердить. Чего ты хочешь, Эдуардо? Скажи. Пожалуйста. Чего ты хочешь? Мне надо знать, чего ты хочешь, но как же я могу это знать, если я тебя не понимаю?

— С Чарли проще, правда?

— Эдуардо, ты всегда будешь сердиться на то, что я тебя люблю? Клянусь, ты не заметишь никакой разницы. Я останусь с Чарли. Буду приходить, только когда ты меня захочешь, совсем как в доме сеньоры Санчес.

Звонок в дверь заставил его вздрогнуть — он прозвенел, смолк и прозвенел снова. Пларр не сразу решился открыть. Почему? Редкая неделя проходила без телефонного вызова или ночного звонка в дверь.

— Лежи спокойно,— сказал он,— это пациент.

Он пошел в переднюю и посмотрел в дверной глазок, но на темной площадке ничего не было видно. Ему показалось, что он вернулся в Парагвай своего детства. Сколько раз отцу приходилось спрашивать у запертой двери, как он спросил сейчас: «Кто там?» — стараясь, чтобы голос звучал уверенно.

— Полиция.

Он отпер дверь и очутился лицом к лицу с полковником Пересом.

— Можно войти?

— Как я могу ответить отказом, раз вы сказали «полиция»? — спросил доктор Пларр. — Если бы вы сказали «Перес», я бы вам мог предложить на правах друга зайти завтра утром, в более удобное время.

— Именно потому, что мы старые друзья, я и сказал «полиция», предупреждая вас, что визит официальный.

— Такой официальный, что и выпить рюмку нельзя?

— Нет, до этого еще не дошло.

Доктор Пларр провел полковника Переса в кабинет и принес два стакана виски аргентинской марки.

— У меня есть немного настоящего шотландского,— сказал он,— но я берегу его для неофициальных визитов.

— Понимаю. А ваша встреча с доктором Сааведрой сегодня вечером была, полагаю, сугубо неофициальной?

— Вы установили за мной наблюдение?

— Пока что нет. Пожалуй, мне следовало это сделать пораньше. Из «Эль лито-раль» мне сообщили о вашем телефонном звонке, ну а когда мне показали телеграммы, которые вы оставили в гостинице, они меня, конечно, заинтересовали. Ведь у нас в городе нет такой штуки, как Англс-аргентинский клуб?

— Нет. Телеграммы отправлены?

— Почему бы нет? Сами по себе они безобидны. Но вот вчера вы мне солгали... Доктор, вы, кажется, серьезно замешаны в этом деле.

— Вы, конечно, правы, если говорите о том, что я не жалею сил ради освобождения Фортнума, но ведь мы добиваемся этого оба.

— Тут есть разница, доктор. По существу, меня интересует не Фортнум, а только его похитители. Я бы предпочел, чтобы шантаж не удался, это стало бы уроком для других. Вы же хотите, чтобы шантаж увенчался успехом. Разумеется, и это естественно, я предпочел бы остаться в выигрыше вдвойне: и сеньора Фортнума спасти, и его похитителей поймать или убить, но второе для меня куда важнее жизни сеньора Фортнума. Вы здесь один?

— Да. А что?

— Я выглянул в окно, и мне показалось, что в соседней комнате погас свет.

— Это отсвет фар машины, проехавшей по набережной.

— Да. Может быть.— Он медленно потягивал виски. Как ни странно, доктору Пларру показалось, что он не находит нужных слов.— Доктор, вы в самом деле верите, что эти люди могут освободить вашего отца?

— Что ж, заключенных освобождали таким способом.

— Только не в обмен на какого-то почетного консула.

— Даже какой-то почетный консул — человек. Он имеет право на жизнь. Британское правительство не захочет, чтобы его убили.

— Это зависит не от британского правительства, а от Генерала, а я сильно сомневаюсь, чтобы Генерал так уж беспокоился о человеческой жизни. Разве что о своей собственной.

— Он зависит от американской помощи. Если американцы будут настаивать...

— Да, но он уже расплачивается с этими янки кое-чем, что для них много дороже жизни английского почетного консула. У Генерала есть одно великое достоинство, которым обладал и Папа Док в Гаити. Он антикоммунист... Вы совершенно уверены, доктор, что вы здесь один?

— Конечно.

— А мне... вроде бы послышалось... ладно, не имеет значения. А вы сами не коммунист, доктор?

— Нет. Я никогда не мог одолеть Маркса. Как и большинство литературы по экономике. Но вы в самом деле думаете, что похитители — коммунисты? Не одни только коммунисты против тирании и пыток.

— Кое-кто из тех, кого они хотят освободить,— коммунисты... Так по крайней мере утверждает Генерал.

— Мой отец не коммунист.

— Значит, вы действительно верите, что он еще жив?

Возле доктора Пларра зазвонил телефон. Он нехотя снял трубку. Голос Леона — он его узнал — произнес:

— У нас кое-что стряслось... Ты нам срочно нужен. Целый день дозванивались...

— Неужели это так срочно? Мы тут пьем с приятелем.

— Тебя арестовали? — донесся по проводу шепот.

— Пока еще нет.

Полковник Перес наклонился вперед, напряженно вслушиваясь и не сводя с него глаз.

— Вы звоните слишком поздно. Да, да, понимаю. Естественно, что вы при этом напуганы, но у детей температура всегда бывает высокая. Дайте ей еще две таблетки аспирина.

— Я снова позвоню через пятнадцать минут.

— Надеюсь, в этом не будет необходимости. Позвоните завтра утром, только не слишком рано. У меня был трудный день, я ездил в Буэнос-Айрес.— Он добавил, косясь на полковника Переса: — Я хочу спать.

— Через пятнадцать минут,— повторил голос Леона.

Доктор Пларр положил трубку.

— Кто это звонил? — спросил Перес.— Ах, простите, у меня привычка задавать вопросы. Такой уж у полицейских порок.

— Всего только встревоженные родители,— сказал доктор Пларр.

— Мне послышался мужской голос.

— Да. Звонил отец. Мужчины всегда впадают в панику, когда болеют дети. Мать отправилась в Буэнос-Айрес за покупками. О чем бишь мы говорили, полковник?

— О вашем отце. Странно, что эти люди включили в свой список его имя. Ведь так много других, от кого им было бы куда больше пользы. Людей помоложе. Ваш отец

теперь, наверно, уже совсем старик. Можно подумать, что они платят вам за какую-то помощь... — он закончил фразу неопределенным жестом.

— Чем бы я мог им помочь?

— Огласка, которую вы пытаетесь организовать, она им полезна. Это то, чего они не могут сделать сами. Они же не хотят убить этого человека. Его смерть стала бы для них чем-то вроде поражения. Но кроме того — мне это пришло в голову только сегодня, я тугодум — они знали кое-что, чего не было в газетах: программу, составленную губернатором для визита посла. Забавно, как от меня ускользнула такая очевидная деталь. Наверно, они получили сведения, не подлежащие оглашению.

— Возможно. Но не от меня. Я не принадлежу к числу доверенных лиц губернатора.

— Нет, но сеньор Фортнум программу знал и мог рассказать о ней вам. Или сеньоре Фортнум. Женщина нередко сообщает своему любовнику, когда будет отсутствовать муж.

— Вы изображаете меня каким-то донжуаном, полковник. В Англии я мог бы опасаться доноса супруга, но здесь английский медицинский кодекс не действует. Надеюсь, вы не вздумали допытывать сеньору Фортнум?

— Я хотел с ней поговорить, но в поместье ее не оказалось. Вечером она наведалась к сеньоре Санчес. Потом отправилась в консульство, но сейчас ее там нет. Сперва я даже встревожился, потому что «джип» сеньора Фортнума стоит покореженный у обочины дороги — бедняга, за два дня две его машины разбились. Я обрадовался, когда узнал, что она была у сеньоры Санчес и отделалась легкими ушибами. Кажется, вы только недавно оказывали помощь пациенту, доктор? У вас закатан правый рукав?

Доктор Пларр отодвинул подальше телефон. Он боялся, что тот слишком скоро снова зазвонит.

— Вы очень наблюдательны, полковник, — сказал он. — Я не доверяю медицинским познаниям сеньоры Санчес. Клара здесь, у меня.

— А я, оказывается, прав насчет того, что вы и вчера мне солгали.

— В любовной связи без лжи не обойтись.

— Жаль, что я помешал вам, доктор, но как раз ложь меня и смущала. В конце концов мы же старые друзья. В свое время у нас и кое-какие приключения были общие. Ну хотя бы с сеньорой Эскобар.

— Да, помню. Я вам сказал, что с ней расстанусь и что путь почти свободен. Но так и не понял, почему она все же предпочла вам Вальехо.

— Не доверяла моим побуждениям. Такова уж участь полицейского. Видите ли, в имении сеньора Эскобара в Чако есть посадочная площадка. Вероятно, этим путем доставляются сигареты и виски из Парагвая.

— Спасибо этому благодетелю.

— Да, конечно, я никогда не стал бы ему мешать.. Надеюсь, таблетки аспирина помогли. Вам ведь не хочется, чтобы нас снова прервали. — Полковник допил виски и поднялся. — Вы меня всерьез успокоили. Разумеется, я теперь понимаю, почему вы хотите, чтобы освободили сеньора Фортнума. В любовной связи муж играет очень важную роль. Он обеспечивает дорогу к свободе, когда связь начинает надоедать. Никому не хочется оставлять женщину совсем одну. Что ж, ради вас постараемся спасти сеньора Фортнума... а заодно поймать его похитителей. По ту сторону реки будут знать, как с ними поступить.

Доктор Пларр проводил его до двери.

— Рад, что вы теперь спокойны на мой счет.

— Для полицейского всякий секрет дурно пахнет, даже секрет вполне невинный. Мы натасканы их вынюхивать, как собака наркотики. Послушайтесь моего совета, доктор, вы сделали все что могли и, пожалуйста, больше не вмешивайтесь. Мы с вами были друзьями, но если вы станете и дальше лезть в эту историю, пеняйте на себя. Я ведь сначала выстрелю, а потом пришлю венки.

— Речь достойная Аль Капоне.

— А что? Капоне тоже по-своему поддерживал порядок — Он открыл дверь и слегка помедлил на темной площадке, словно вспоминая что-то важное. — Кое-что мне, пожалуй, следовало сказать вам раньше. Я получил сведения о вашем отце. От начальника полиции в Асунсьоне. Мы, конечно, проверили с ним все имена, которые похитители включили в свой список. Ваш отец убит больше года назад. Он пытался бежать вместе с другим заключенным — неким Акуино Рибейрой, но был слишком стар

и нерасторопен. Ему это оказалось не под силу, и его бросили. Видите, не надо думать, что вы можете ему чем-то помочь. Спокойной ночи, доктор. Жаль, что сообщил вам плохие вести, но я ведь оставляю вас с женщиной. Женщина — лучший утешитель для мужчины.

Не успела дверь за ним закрыться, как снова зазвонил телефон.

Доктор Пларр подумал: Леон меня обманул. Он мне лгал, чтобы заручиться моей помощью. Не подниму трубку. Пусть сами расхлебывают свою кашу. Ему ни на миг не пришло в голову, что солгать мог и полковник Перес. Полиция была достаточно сильна, чтобы говорить правду.

Звонок звонил и звонил, а он упрямо стоял в передней, пока тот, кто до него дозванивался, не сдался. На сей раз это мог быть кто-то из больных, и в наступившей, словно укор, тишине он устыдился своего эгоизма: казалось, эта тишина наступила в ответ на призыв самоубийцы о помощи. В спальне тоже было тихо. Раньше о какой-то помощи просила его Клара. Но он не захотел слушать и ее.

Мраморный пол, на котором он стоял, казался краем пропасти; он не мог сделать шагу ни вперед, ни назад, не увязнув еще глубже в пучине соучастия или вины. Так он и стоял, прислушиваясь к тишине дома, где лежала Клара, полуночной улицы за окном, где теперь возвращалась к себе полицейская машина, и квартала бедноты, где в пуганице хижин из глины и жести, как видно, что-то произошло. Тишина, словно мелкий дождик, уносилась через большую реку в забытую миром страну, где в тишине, тише которой не бывает, лежал его мертвый отец... «Он был слишком стар и нерасторопен. Ему это оказалось не под силу, и его бросили». Стоя на краю мраморного обрыва, он почувствовал головокружение. Но не может же он тут стоять вечно! Снова зазвонил телефон, и он двинулся назад, в кабинет.

Голос Леона спросил:

— Что случилось?

— У меня был посетитель.

— Полиция?

— Да.

— Сейчас ты один?

— Да. Один.

— Где ты был целый день?

— В Буэнос-Айресе.

— Но мы пытались связаться с тобой вчера вечером.

— Меня вызвали.

— И сегодня в шесть утра.

— У меня бессонница. Гулял по набережной. Ты сказал, что я вам больше не понадобится.

— Ты нужен твоему пациенту. Спустись к реке и встань у киоска кока-колы. Мы увидим, наблюдают за тобой или нет. Если нет, мы тебя подберем.

— Я только что получил известие об отце. От полковника Переса. Это правда?

— Что именно?

— Что он участвовал в побеге, но был нерасторопен и вы его бросили.

Он подумал: если он сейчас мне солжет или хотя бы запнется — я повешу трубку и больше не стану им отвечать.

Леон сказал:

— Да. Прости. Это правда. Я не мог сказать тебе раньше. Нам нужна была твоя помощь.

— Отец убит?

— Да. Они его застрелили. Когда он лежал на земле.

— Ты должен был мне это сказать.

— Наверно, но мы не могли рисковать.— Голос Леона донесся к нему словно из невысказанного далека: — Ты придешь?

— Ладно.— сказал доктор Пларр,— приду.

Он положил трубку и пошел в спальню. Зажег свет и увидел Клару, смотревшую на него широко раскрытыми глазами.

— Кто к тебе приходил?

— Полковник Перес.

— У тебя будут неприятности?

— Не с его стороны.

— А кто звонил?

— Пациент. Клара, мне придется ненадолго уйти.

Он вспомнил, что их разговор прервали и какой-то вопрос так и повис в воздухе, но забыл, какой именно.

— Мой отец убит,— сказал он.

— Какая жалость! Ты его любил, Эдуардо?

Она, как и он, не считала любовь, даже любовь между отцом и сыном, чем-то само собой разумеющимся.

— Может, и любил.

Когда-то в Буэнос-Айресе он знал человека, который был незаконнорожденным. Его мать умерла, так и не сказав ему имени отца. Он рылся в ее письмах, расспрашивал ее друзей. Даже изучал банковские счета: мать от кого-то получала деньги. Он не сердился, не возмущался, но желание узнать, кто его отец, изводило его, как зуд. Он объяснял доктору Пларру: «Это как та головоломка со ртутью... Никак не забросишь в глазницы портрета ртуть, а отставить головоломку нет сил». Однажды он все-таки узнал, кто его отец: это был международный банкир, который давно умер. Он сказал Пларру: «Вы и представить себе не можете, какую я почувствовал пустоту. Что еще может меня теперь интересовать?» Вот такую же пустоту, подумал доктор Пларр, ощущаю сейчас и я.

— Пойди сюда, Эдуардо, ляг.

— Нет. Я должен идти.

— Куда?

— Сам еще не знаю. Это касается Чарли.

— Нашли его труп? — спросила она.

— Нет, нет, ничего подобного.— Она скинула простыню, и он накрыл ее снова.—

Ты простудишься от кондиционера.

— Я пойду в консульство.

— Нет, оставайся здесь. Я ненадолго.

Когда ты одинок, радуешься всякому живому существу — мышонку, птице на подоконнике, хотя бы пауку, как Роберт Брюс¹⁵. Одиночество может породить даже нежность. Он сказал:

— Ты прости меня, Клара. Когда я вернусь...— но он не смог придумать ничего, что стоило бы ей обещать. Он положил ей руку на живот и произнес: — Береги его. Спи спокойно.

Он потушил свет, чтобы больше не видеть ее глаз, наблюдавших за ним с удивлением, словно его поступки были слишком сложными для понимания девушки из заведения сеньоры Санчес. На лестнице (лифт могли услышать соседи) он пытался вспомнить, на какой же ее вопрос он так и не ответил. Вопрос не мог быть таким уж важным. Важны только те вопросы, которые человек задает себе сам.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава I

Доктор Пларр вернулся из второй комнаты и сказал отцу Ривасу:

— Он поправится. Ваш человек словно нарочно целился в самое подходящее место. Он попал в ахиллесово сухожилие. Конечно, на поправку нужно время. Если вы дадите ему время. Как это произошло?

— Он пытался бежать. Акуино сперва выстрелил в землю, а потом ему в ноги.

— Лучше было бы отправить его в больницу.

— Ты же знаешь, что это невозможно.

— Все, что я могу, это наложить шину. Следовало бы наложить на лодыжку гипс. Почему бы вам не отказаться от всей этой затеи, Леон? Я могу продержат его три-четыре часа в машине, чтобы вы успели уйти, а полиции скажу, что нашел его у дороги.— Отец Ривас даже не потрудился ответить. Доктор Пларр продолжал: — Когда что-нибудь поначалу не удастся, всегда происходит одно и то же, это как ошибка

¹⁵ Король Шотландии. В 1307 году прятался от врагов на острове, но, увидев, как упорно плетет свою паутину паук, устыдился, поднял войско и победил англичан.

в уравнении... Ваша первая ошибка была в том, что вы приняли его за посла, а теперь вышло вот что. Уравнения вам никогда не решить.

— Может, ты и прав, но пока мы не получим приказа от Эль Тигре...

— Так получите его.

— Невозможно. После того как мы объявили о похищении, мы прервали всякую связь. Мы предоставлены сами себе. Таким образом, если нас схватят, мы ничего не сможем рассказать.

— Я должен идти. Мне надо поспать.

— Ты останешься здесь с нами,— сказал отец Ривас.

— Нельзя. Если я уйду от вас днем, меня могут заметить...

— Твой телефон подслушивают, и они уже знают, что ты наш сообщник. Если ты уйдешь, тебя могут арестовать, и твой друг Фортнум останется без врача.

— Мне надо думать и о других больных, Леон.

— Ну, они-то могут найти и других докторов.

— Если вы добьетесь своего... или его убьете... что будет со мной?

Отец Ривас показал рукой на негра по имени Пабло у двери.

— Тебя похитили и держали здесь силой. И это чистая правда. Мы теперь не можем позволить тебе уйти.

— А что, если я просто выйду в эту дверь?

— Я прикажу ему стрелять. Будь благоразумен, Эдуардо. Разве мы можем быть уверены, что ты не отправишь сюда полицию?

— Я не гожусь в полицейские осведомители, Леон, хоть вы меня и обманули.

— Не знаю. Человеческая совесть не такая простая вещь. Я верю в твою дружбу. Но почему я знаю, что ты не уговоришь себя вернуться ради твоего пациента? Полиция тебя выследит, и твоя верность клятве Гиппократа обречет нас всех на смерть. А к тому же тут сыграет свою роль и чувство вины, которое, я думаю, ты испытываешь. По слухам ты спишь с женой Фортнума. Если это правда, твое стремление искупить свою вину перед ним может стоить нам жизни.

— Я больше не христианин, Леон. Не думаю об искуплении. И у меня нет совести. Я человек простой.

— Никогда не встречал простых людей. Даже в исповедалине, хотя просиживал там целыми часами. Человек не создан простым. Когда я был молодым священником, я пытался разгадать побуждения мужчин или женщин, их искушения и самообман. Но скоро от этого отказался, потому что ответ никогда не бывал однозначным. Никто не был настолько прост, чтобы его понять. В конце концов я ограничился тем, что говорил: «Прочти три раза «Отче наш», три раза «Богородице дево, радуйся» и ступай с миром».

Доктор Плarr с досадой от него отошел. Он снова поглядел на своего пациента. Чарли Фортнум спал спокойно — мирным наркотическим сном. Откуда-то они раздобыли еще одеяла, чтобы ему спалось поудобнее. Доктор Плarr вернулся в проходную комнату и растянулся на полу. Ему казалось, что он провел очень длинный день. Трудно было поверить, что еще вчера днем он пил чай в кафе «Ричмонд» на калле Флорида и смотрел, как его мать ест эклеры.

Образ матери преследовал его, когда он заснул. Она привычно жаловалась, что отец не желает покоиться в гробу как порядочный помещик. Его приходится все время заталкивать обратно, а разве приличному кабальеро пристало таким манером вкушать вечный покой? Отец Гальвао приехал из самого Рио-де-Жанейро, чтобы уговорить его лежать спокойно.

Доктор Плarr открыл глаза. Рядом с ним на полу спал индеец Мигель, а отец Ривас сидел вместо Пабло у двери с автоматом на коленях. Свеча, прилепленная к блюду, отбрасывала на стену тени от его ушей. Доктору Плarrу вспомнились зайчики, которых изображал для него отец на стенах детской. Некоторое время он лежал, разглядывая школьного товарища, Леон, Леон Ушастый, Отец Ушастый. Он вспомнил, как в одной из долгих серьезных бесед, которые они вели, когда им было лет по пятнадцать, Леон говорил, что есть только полдюжины профессий, достойных мужчины: профессия врача, священника, юриста (разумеется, всегда защищающего правое дело), поэта (если он пишет хорошие стихи) или земледельца. Он не смог вспомнить, какой была шестая профессия, но безусловно не похищение людей и не убийство.

Он спросил шепотом:

— Где Акуино и остальные?

— Это военная операция,— ответил Леон.— Нас обучал Эль Тигре. Мы расставляем посты, и часовые дежурят всю ночь.

— А твоя жена?

— Она в городе вместе с Пабло. Эта лачуга принадлежит ему, и его в городе знают. Как безопаснее Тебе незачем шептать. Индейцы засыпают мгновенно, как только выпадает свободная минута. Единственное, что может его разбудить,— это если произнести его имя.. или шум, предвещающий опасность. Посмотри, как он спокойно спит, хоть мы и разговариваем. Я ему завидую. Вот кто знает настоящий покой. Таким и должен быть сон у всех, но мы утратили звериные повадки.

— Расскажи мне об отце, Леон. Я хочу знать правду.

Сказав это, он тут же вспомнил, как доктор Хэмфрис постоянно требовал, чтобы ему сказали правду, даже от неаполитанского официанта, и получал туманные ответы.

— Твой отец и Акуино находились в одном и том же полицейском участке в ста километрах к юго-востоку от Асунсьона. Возле Вильяррики. Он просидел там пятнадцать лет, а Акуино всего десять месяцев. Мы сделали все что могли, но он был старый и больной. Эль Тигре был против того, чтобы мы пытались спасти твоего отца, но он оказался в меньшинстве. И мы были не правы. Послушайся мы Эль Тигре, твой отец, пожалуй, был бы еще жив.

— Да Возможно. В тюрьме Умирая медленной смертью.

— Дело решали секунды Рывок Он бы легко его сделал тогда, когда ты его знал, но пятнадцать лет в полицейском участке... там гниешь быстрее, чем в настоящей тюрьме. Генерал знает — в тюрьме есть товарищество. Поэтому сажает своих жертв в тесные горшки со скудной землей, и они чахнут от отчаяния.

— Ты видел моего отца?

— Нет, я ждал беглецов в машине с гранатой на коленях и молился.

— Ты все еще веришь в молитвы?

Отец Ривас не ответил, и доктор Пларр заснул...

Был уже день, когда он проснулся и сразу пошел в соседнюю комнату посмотреть на больного. Увидев его, Чарли Фортнум сказал:

— Значит, вы действительно один из них.

— Да.

— Не пойму вас, Тед Какое все это имеет к вам отношение?

— Я ведь не раз вам рассказывал о моем отце. Думал, что эти люди могут ему помочь.

— Вы же были другом мне... и Кларе.

— За их ошибку я не отвечаю Как ваша лодыжка?

— Зубная боль донимала меня куда сильнее. Вы должны выволить меня отсюда. Тед. Ради Клары.

Доктор Пларр рассказал ему о своем посещении посла. Он, конечно, сознавал, что эта история отнюдь не внушает надежд. Чарли Фортнум медленно обдумывал подробности.

— Вы действительно попали к самому старику?

— Да. Он делает все что может.

— Ну, когда меня убьют, они там в Буэнос-Айресе только вздохнут с облегчением. Это уж я знаю. Им ведь тогда не придется меня увольнять. А это было бы не по-джентльменски. Они там все такие дерьмовые джентльмены

— Полковник Перес тоже делает все что может. Скоро они нас найдут.

— Тогда конец для меня будет все тот же. Разве эти парни отпустят меня живым? Вы говорили с Кларой?

— Да. Она здорова.

— А ребенок?

— Можете не беспокоиться.

— Вчера я пробовал написать ей письмо. Хотел оставить ей что-то на память, хоть и сомневаюсь, чтобы она там все поняла. Она еще читает с трудом. Думал, кто-нибудь прочтет ей письмо вслух, может, вы, Тед. Конечно, в письме я не мог выразить все, что чувствую, но надеюсь, что если произойдет самое худшее, вы ей расскажете.

— О чем?

— О моих чувствах к ней. Знаю, вы человек с рыбьей кровью, Тед. Я вам это не раз говорил. По-вашему, я чересчур сентиментален, но лежа здесь, я многое передумал,— времени на это у меня хватало. Мне кажется, что все эти годы — пока я не встретил Клару, пока я был, как выражаются идиоты, во цвете лет, — это были пустые годы, и прожил я их бесцельно, просто выращивал проклятое матэ, чтобы заработать какие-то деньги. Деньги для чего, для кого? Мне нужен был кто-то, для кого я бы мог что-нибудь сделать, а не только зарабатывать на жизнь себе самому. Люди заводят кошек и собак, но я их никогда особенно не любил. И лошадой тоже. Лошади! Глаза бы мои на них не глядели! У меня была только «Гордость Фортнума». Я иногда воображал, что это живое существо. Кормил ее бензином и маслом, прислушивался, как стучит ее сердце, и все же знал, что она даже не такая настоящая, как кукла, которая говорит «папа, мама». Конечно, какое-то время у меня была жена, но она так задирала нос,— я никогда не мог сделать для нее то, чего сама она не сделала бы лучше... Извините меня. Я слишком разболтался, но вы мне ближе всех, потому что знакомы с Klarой.

— Да говорите, пожалуйста, сколько хотите. Что нам еще делать в нашем положении? Я здесь такой же пленник, как вы.

— Они вас не отпускают?

— Да.

— А как же Клара — она теперь совсем одна?

— Денек-другой может позаботиться о себе сама,— рассердился доктор Плarr.— Ей куда легче, чем мне или вам.

— Вас-то они не убьют.

— Да, не убьют, если смогут.

— Знаете, еще до того, как я встретил Клару, мне показалось, что я нашел женщину, которую могу полюбить. Она тоже была девушкой матушки Санчес. Ее звали Мария, но это была нехорошая девушка.

— Кто-то ее даже зарезал.

— Да. Подумать, что вы и это знаете. Так вот, вскоре после этого я познакомился с Klarой. Не знаю, почему я не замечал ее раньше. Наверно, не так уж хорошо разбираюсь в женщинах, а Мария... понимаете, она меня вроде околдовала. Клара не такая красивая, как она, но зато честная. Ей можно верить. Сделать счастливой кого-нибудь вроде Klarы — разве это не удача?

— Довольно скромная удача.

— Да, вам легко говорить, но я привык к неудачам и высоко не замахваюсь. Если бы дела пошли лучше, кто знает... Когда меня сделали почетным консулом, я не пил почти целую неделю, но, конечно, надолго меня не хватило. У меня еще до сих пор хранится письмо, которое прислали мне из посольства. Я бы хотел, чтобы вы передали его Klаре, если я отсюда не выберусь. Оно в левом верхнем ящике стола в консульстве. Вы легко его найдете по гербу на конверте. Пусть она его сохранит, когда-нибудь покажет ребенку.

Он попробовал повернуться и сморщился от боли.

— Больно?

— Резануло.— Он негромко засмеялся.— Когда я думаю о моей жене и о Klаре — боже мой, до чего же разными могут быть две женщины! Жена как-то мне сказала, что вышла за меня из жалости. Чего было меня жалеть? В нашей семье она была мужчиной — знала все, даже насчет электричества. И прокладку в кране могла сменить. А уж если я чуточку переберу, и не надейся на снисхождение. Конечно, глупо было и ждать от нее многого. Она ведь верила в эту самую христианскую науку и не признавала даже раковой опухоли, хоть отец ее умер от рака, так что разве дождешься, чтобы она посочувствовала человеку в похмелье? Все равно, ей не следовало так вопить, когда я перепью. Голос ее так и сверлил мне мозги. А вот Клара — Клара настоящая женщина, она знает, когда надо помолчать, дай бог ей здоровья. Мне бы хотелось, чтобы она всю жизнь была счастлива.

— Это не так уж трудно. Кажется, характер у нее легкий.

— Да. Но я думаю, рано или поздно обязательно наступает проверка. Вроде тех проклятых экзаменов, которыми донимали нас в школе. Я не застрахован от провала.

Можно было подумать, размышлял доктор Плarr, что они говорят о двух разных женщинах — одна была той, кого любил Чарли Фортнум, другая проституткой из заведения матушки Санчес, которая накануне дожидалась его в постели. Она что-то у не-

го спросила, но тут позвонил полковник Перес. Теперь уже не имело смысла вспоминать, о чем она спрашивала.

К полудню вернулась из города Марта с «Эль литораль»: газеты из Буэнос-Айреса еще не пришли. Редактор дал предложение доктора Сааведры под крупными заголовками — более крупными, решил Плarr, чем вся эта история заслуживает. Плarr ждал, как отнесется к этому Леон, но тот, ничего не говоря, молча протянул газету Акуино.

Акуино спросил:

— Кто он, этот Сааведра?

— Писатель.

— Почему он думает, что мы обменяем консула на писателя? Кому нужен писатель? К тому же он аргентинец. Кого интересует, если умрет какой-то аргентинец? Уж во всяком случае не Генерала. И даже не нашего собственного президента. Да и весь мир тоже не интересуется. Одним из этих недоразвитых, на кого тратят деньги, будет меньше, и только

В час дня отец Ривас включил радио и поймал последние известия из Буэнос-Айреса. О предложении доктора Сааведры даже не упоминалось. Прислушивается ли он, размышлял доктор Плarr, в своей комнатке возле тюрьмы к этому молчанию, которое должно казаться ему более униженным, чем отказ? Похищение уже перестало интересовать аргентинскую публику. Внимания требовали другие, более волнующие события. Какой-то тип убил любовника своей жены (конечно, в драке на ножах) — подобный сюжет всегда вызывал живой отклик у латиноамериканцев; с Юга шли обычные сообщения о летающих тарелках; в Боливии произошел военный переворот; передавался и подробный отчет о выступлениях аргентинской футбольной команды в Европе (кто-то зарезал судью). В конце передачи ведущий сказал: «Все еще нет известий о похищенном британском консуле. Время, назначенное похитителями для выполнения их условий, истекает в воскресенье в полночь».

Кто-то постучал в дверь лачуги. Индеец, который снова стоял на посту, прижался к стене, спрятав автомат. В это время в комнате находились все шестеро — отец Ривас, Диего, водитель машины, негр Пабло с изрытым оспой лицом, Марта и Акуино. Двоим из них следовало стоять на часах снаружи, но теперь, при дневном свете, когда вокруг было спокойно, Леон разрешил им зайти, послушать известия по радио — ошибка, о которой он, наверно, уже сожалел. Стук повторился, и Акуино выключил радио.

— Пабло,— сказал отец Ривас.

Пабло нехотя подошел к двери. Он вытащил из кармана револьвер, но священник приказал ему:

— Спрячь.

С покорностью судьбе и даже с облегчением доктор Плarr подумал, не наступила ли развязка всей этой бессмысленной истории? Не раздается ли ружейный залп, как только откроется дверь?

Может быть, отцу Ривасу пришла та же мысль, и он вышел на середину комнаты: если действительно наступит конец, он хотел умереть первым. Пабло распахнул дверь.

На пороге стоял старик. Покачиваясь в рассеянном солнечном свете, он молча уставился на них с каким-то неестественным любопытством,— доктор Плarr потом понял, что он слепой, у него катаракта. Старик ощупал дверной косяк тонкой, как бумага, рукой, покрытой узором жил, словно сухой лист.

— Ты зачем сюда пришел, Хосе? — воскликнул негр.

— Я ищу отца.

— Отца здесь нет, Хосе.

— Нет, он здесь, Пабло. Я вчера сидел у колонки и слышал, как кто-то сказал: «Отец, который живет у Пабло, хороший отец».

— Зачем тебе отец? Хотя он все равно уже ушел.

Старик покачал головой из стороны в сторону, словно прислушиваясь каждым ухом по очереди, кто как дышит в комнате — кто тяжело, кто приглушенно; кто-то из них дышал учащенно, другой — это был Диего — с астматическим присвистом.

— Жена моя умерла,— сообщил старик.— Проснулся утром, протянул руку, чтобы ее разбудить, а она холодная, как мокрый камень. А ведь вчера вечером еще бы

ла живая. Сварила мне суп, такой хороший суп. И ни слова не сказала, что собирается умирать.

— Ты должен позвать приходского священника, Хосе.

— Он нехороший священник,— сказал старик.— Он священник архиепископа. Ты сам это знаешь, Пабло.

— Отец, который здесь был, приходил только в гости. Он родственник моего двоюродного брата из Росарио. И уже уехал.

— А кто все эти люди в комнате, Пабло?

— Мои друзья. А ты что подумал? Когда ты пришел, мы слушали радио.

— Бог ты мой, у тебя есть радио, Пабло? С чего это ты так сразу разбогател?

— Оно не мое. Оно одного моего друга.

— Богатый у тебя друг. Мне нужен гроб для жены, Пабло, а денег у меня нет.

— Ты же знаешь, что все будет в порядке, Хосе. Мы в квартале об этом позаботимся.

— Хуан говорил, что ты купил у него гроб. А у тебя нет жены, Пабло. Отдай мне свой гроб.

— Гроб нужен мне самому, Хосе. Доктор сказал, что я очень болен. Хуан сделает тебе гроб, а мы все в квартале сложимся и ему заплатим.

— Но нужно еще отслужить мессу. Я хочу, чтобы отец отслужил мессу. Я не хочу священника архиепископа.

Старик, шагнув в комнату, пошел на них, вытянув руки, отыскивая людей ощупью.

— Здесь нет священника. Я же тебе сказал. Он вернулся в Росарио.

Пабло встал между стариком и отцом Ривасом, словно боясь, что даже слепота не помешает старику найти священника.

— Как ты отыскал сюда дорогу, Хосе? — спросил Диего.— Жена была твоими глазами.

— Это ты, Диего? Руки мне хорошо заменяют глаза.

Он вытянул руки, показывая пальцами сперва на Диего, потом туда, где стоял доктор, и, наконец, направил их на отца Риваса. Пальцы были как глаза на щупальцах каких-то неведомых насекомых. На Пабло старик даже не смотрел. Присутствие Пабло он считал само собой разумеющимся. Его руки и уши искали тех, других, чужаков. Можно было подумать, что он пересчитывает их, как тюремный надзиратель, а они молча выстроились на поверку.

— Здесь четверо чужих, Пабло.

Он сделал шаг в сторону Акуино, и Акуино, шаркая, попятился.

— Все это мои друзья, Хосе.

— Вот не знал, Пабло, что у тебя так много друзей. Они не из нашего квартала?

— Нет.

— Все равно я их приглашаю прийти посмотреть на мою жену.

— Они зайдут к тебе попозже, Хосе, а сейчас я провожу тебя домой.

— Дай мне послушать, как говорит радио, Пабло. Я никогда не слышал, как говорит радио.

— Тед! — послышался голос Чарли Фортнума из соседней комнаты.— Тед!

— Кто это зовет, Пабло?

— Больной.

— Тед! Где ты, Тед?

— Это гринго! — Старик с благоговением добавил:— Никогда еще не видел у нас в квартале гринго. Да и радио тоже. Ты стал большим человеком, Пабло.

Акуино повернул рычажок приемника на полную громкость, чтобы заглушить Чарли Фортнума, и женский голос принялся громко восхвалять хрустящие рисовые хлебцы Келлога. «Так и брызжут жизнью и энергией,— провозгласил голос,— золотистые, сладкие, как мед».

Доктор Плarr проскользнул в соседнюю комнату. Он прошептал:

— В чем дело, Чарли?

— Мне приснилось, будто в комнате кто-то есть. Он хочет перерезать мне горло. Я так испугался. И решил убедиться, что вы еще здесь.

— Больше не подавайте голоса. Здесь посторонний. Если вы заговорите, нам всем грозит опасность. Я приду к вам, как только он уйдет.

Когда Пларр вернулся в другую комнату, металлический женский голос произносил: «Ее будет пленять душистая нежность вашей щеки».

— Просто чудо,— сказал старик.— Подумать только, что ящик может так красиво говорить.

Тут кто-то запел романтическую балладу о любви и смерти.

— На, потрогай радио, Хосе. Возьми его в руки.

Им всем стало спокойнее: старик был чем-то занят и уже не тянул к ним свои всевидящие руки. Старик прижал радиоприемник к уху, словно боялся упустить хоть одно из тех красивых слов, которые он произносил.

Отец Ривас, отведя Пабло в сторону, прошептал:

— Я пойду с ним, если ты думаешь, что так будет лучше.

— Нет,— сказал Пабло,— весь квартал соберется у его лачуги проститься с его женой. Они будут знать, что старик пошел за священником. А если придет священник архиепископа, он непременно спросит, кто ты такой. Захочет проверить твои документы. Того и гляди вызовет полицию.

Акуино сказал:

— Когда старик будет возвращаться к себе, с ним по дороге может что-нибудь случиться...

— Нет,— сказал Пабло,— на это я не согласен. Я еще ребенком его знал.

— К тому же сейчас поздно затыкать ему рот,— угрюмо высказал свое мнение шофер Диего.— Откуда та женщина у колонки узнала, что здесь священник?

— Я никому ничего не говорил,— сказал Пабло.

— В квартале секреты долго не держатся,— заметил отец Ривас.

— Он теперь знает и про радио и про гринго,— сказал Диего.— Это хуже всего. Нам надо поскорее убираться отсюда.

— Вам придется нести Фортнума на носилках,— напомнил доктор Пларр.

Старик потряс приемник и пожаловался:

— Он не трещит.

— А почему он должен трещать? — спросил Пабло.

— Там же внутри голос.

— Пойдем, Хосе,— сказал Пабло,— пора тебе вернуться к твоей бедной жене.

— А как же отец? — сказал Хосе.— Я хочу, чтобы отец отслужил панихиду.

— Говорю тебе, здесь нет никакого отца. Панихиду отслужит священник архиепископа.

— Когда мы за ним посылаем, он не приходит. Всегда на каком-то собрании. Через сколько часов он еще явится, а где в это время будет блуждать душа моей бедной жены?

— Ничего с ней не случится, старик,— сказал отец Ривас.— Господь не станет дожидаться священника архиепископа.

Руки старика сразу же потянулись к нему.

— Ты... ты там, тот, кто говорил... у тебя голос священника.

— Нет, нет, я не священник. Если бы ты не был слеп, ты бы видел мою жену рядом со мной. Поговори с ним, Марта.

Она тихо сказала:

— Да, старик. Это мой муж.

— Пойдем,— сказал Пабло.— Я отведу тебя домой.

Старик упорно не выпускал приемник. Музыка редела вовсю, но для него это было недостаточно громко. Он прижал приемник к уху.

— Он говорит, что пришел сюда один,— прошептал Диего.— Как же он смог? А что, если кто-то нарочно привел его сюда и оставил у двери...

— Он уже был здесь два раза со своей женой. Слепые хорошо запоминают дорогу. Если я поведу его домой, то уж во всяком случае узнаю, не ждет ли его кто-нибудь и не следит ли за нами.

— Если через два часа ты не вернешься,— сказал Акуино,— если тебя задержат.. мы убьем консула. Можешь им так и сказать.— Он добавил:— Если бы я целился ему вчера в спину, мы бы сейчас были уже далеко.

— Я слышал радио,— с изумлением сказал старик. Он осторожно положил приемник, как что-то очень хрупкое.— Если бы я мог рассказать жене...

— Она знает,— сказала Марта,— она все знает.

— Пойдем, Хосе.— Негр взял старика за правую руку и потянул к двери, но тот заупрямился. Он вывернулся и снова стал как бы пересчитывать их свободной рукой.

— Как много у тебя гостей, Пабло,— сказал он.— Дай мне выпить. Дай мне глоточек саба¹⁶.

— У нас тут нечего выпить, Хосе.

Негр вытащил слепого из хижины, а индеец быстро закрыл за ними дверь. На миг они почувствовали облегчение, как от свежего порыва ветра перед грозой.

— Как считаешь, Леон?— спросил доктор Пларр.— Это был шпион?

— Почему я знаю?

— Думаю, тебе надо было пойти с этим беднягой, отец мой,— заметила Марта.— Жена его умерла, и тут нет священника, чтобы ему помочь.

— Если бы я пошел, всем нам грозила бы опасность.

— Ты же слышал, что он сказал. Священнику архиепископа нет дела до бедняков.

— Ты что же, думаешь, что и мне до них нет дела? Ведь я рискую жизнью ради них.

— Знаю. Я не обвиняю тебя. Ты человек хороший.

— Вот уже несколько часов как она умерла. Что могут дать несколько капель елея? Спроси у доктора.

— Ну, я имею дело только с живыми,— сказал доктор Пларр.

Марта дотронулась до руки мужа.

— Я не хотела тебя обидеть, отец мой. Я твоя женщина.

— Ты не моя женщина. Ты моя жена,— сердито поправил ее отец Ривас.

— Как скажешь.

— Сколько раз я тебе это объяснял.

— Я глупая женщина, отец мой. Не всегда понимаю. Разве это так важно? Женщина, жена...

— Важно. Человеческое достоинство — вот что важно. Мужчина, который чувствует похоть, берет женщину на время, пока ее желает. Я взял тебя на всю жизнь. Это брак.

— Как скажешь, отец мой.

Отец Ривас устало произнес — видно, ему надоело бесконечно втолковывать одно и то же:

— Дело не в том, как я скажу, Марта. Это так и есть.

— Да, отец мой. Мне было бы лучше, если бы я хоть иногда слышала, что ты молишься...

— Может, я молюсь чаще, чем ты думаешь.

— Пожалуйста, не сердись на меня, отец мой. Я очень горжусь тем, что ты выбрал меня.— Она обернулась к остальным.— В нашем квартале в Асунсьоне он мог спать с любой женщиной, стоило только ему захотеть. Он человек хороший. Если он не пошел со стариком, значит, у него были на то причины. Только, пожалуйста, отец мой...

— Я не хочу, чтобы ты постоянно называла меня отцом. Я твой муж, Марта. Твой муж.

— Да, но я бы так гордилась, если бы могла хоть раз увидеть тебя таким, **каким** ты был раньше... в облачении у алтаря... готовым благословить нас, отец мой...

У нее снова вырвалось это слово; она прикрыла рот рукой, но было уже поздно.

— Ты же знаешь, что я не могу этого сделать.

— Если бы я могла увидеть тебя таким, каким ты был в Асунсьоне... на пасху... в белом облачении...

— Таким ты меня больше никогда не увидишь.

Леон Ривас отвернулся.

— Акуино, Диего,— сказал он,— ступайте на свой пост. Через два часа мы вас сменим. Ты, Марта, снова иди в город и узнай, не пришли ли газеты из Буэнос-Айреса.

— Купите-ка лучше для Фортнума еще виски,— вставил доктор Пларр.— При его норме он быстро прикалывает бутылку.

¹⁶ Здесь: самогона из сахарного тростника (исп.).

- На этот раз никто ее с ним не разделит,— сказал отец Ривас.
- На что ты намекаешь? — спросил Акуино.
- Я ни на что не намекаю. Думаешь, я не заметил, как от тебя вчера несло?

В четыре часа Акуино снова включил радио, но на этот раз о заложнике даже не упомянули. Как видно, мир о них забыл.

— Они ни слова не сказали, что исчез ты,— заметил Акуино доктору Пларру.

— Они могут пока об этом и не знать,— ответил доктор Пларр.— Я потерял счет дням. Сегодня четверг? Помню, я отпустил секретаршу на весь конец недели. Она наверняка собирает индульгенции для душ, попавших в чистилище. Надеюсь, нам они не понадобятся.

Через час вернулся Пабло. Похоже, что никто ничего не заподозрил, но он отсутствовал дольше, чем собирался, ему пришлось постоять в очереди, чтобы почтить умершую,— собралось много народа. Когда он уходил, священник архиепископа все еще не появился. Единственное, что его тревожило это болтовня Хосе насчет радио. Старик был безмерно горд, ведь кроме него никто никогда не слышал здесь радио, а он даже держал его в руках. Пока что он, кажется, забыл о гринго.

— Скоро он о нем вспомнит,— сказал Диего.— Нам следовало бы отсюда уйти.

Пабло возразил:

— Как мы можем уйти? С раненым?

— Эль Тигре сказал бы: «Убейте его сейчас»,— возразил Акуино.

— Ты ведь уже мог это сделать,— вставил Диего.

— Где отец Ривас? — спросил Пабло.

— На посту.

— Там должны быть двое.

— Человеку надо выпить. Мое матэ кончилось. Марта должна была принести еще, но отец Ривас послал ее в город кушить виски для гринго. Он-то не должен испытывать жажды.

— Акуино, ступай на пост.

— Не тебе мне приказывать, Пабло.

Если такое бездействие будет продолжаться, подумал доктор Пларр, они перегрызутся.

Марта вернулась под вечер. Газеты из Буэнос-Айреса пришли; в «Насьон» несколько строк были посвящены доктору Сааведре, хотя автору и пришлось напомнить читателям, кто он такой. «Писатель,— сообщал он,— главным образом известен своей первой книгой „Молчаливое сердце“»,— название при этом он перепутал.

Казалось, вечер тянется бесконечно. Словно сидя тут часами в молчании, они стали частью окружающего их молчания радио молчания властей даже молчания природы. Собаки не лаяли. Птицы перестали петь, а когда пошел дождь, он падал тяжелыми редкими каплями, такими же нечастыми как их слова, в промежутках между каплями тишина казалась еще глуше. Где-то вдали бушевала буря, но она разразилась по ту сторону реки, в другой стране.

Стоило кому-нибудь из них заговорить, как ссора назревала из-за самого невинного замечания. Один гольке индеец оставался безучастным. Старательно смазывая автомат, он сидел, кротко улыбаясь. Затвор он прочищал нежно, с чувственным удовольствием, словно женщина, ухаживающая за своим первенцем. Когда Марта разлила суп, Акуино пожаловался, что он недосоленный, и доктору Пларру показалось, что она вот-вот швырнет ему в лицо гарелку с обруганным супом. Он ушел от них и отправился в смежную комнату.

— Было бы у меня хоть что-нибудь почитать...— сказал Чарли Фортнум.

— Для чтения тут мало света,— сказал доктор Пларр.

Комнату освещала всего одна свеча.

— Конечно, они могли бы дать мне еще свечей.

— Они не хотят, чтобы свет был виден снаружи. Когда наступает темнота, люди в квартале спят... или занимаются любовью.

— Слава богу, у меня все еще много виски. Налейте себе. Странные отношения, правда? Подстрелили как собаку, а потом дают виски. На этот раз я за него

даже не заплатил. Что нового? Когда они заводят радио, они приглушают звук, и я ни черта не слышу

— Ничего нового. Как вы себя чувствуете?

— Довольно скверно. Как вы думаете, успею я прикончить эту бутылку?

— Конечно, успеете.

— Тогда будьте оптимистом и налейте себе побольше.

Они выпили в тишине. Нарушили они ее лишь ненадолго. Доктор Пларр спрашивал себя, где сейчас Клара. В поместье? В консульстве? Наконец он спросил:

— Чарли, что заставило вас жениться на Кларе?

— Я же вам говорил — мне хотелось ей помочь.

— Для этого не обязательно жениться.

— Если бы я не женился, то после моей смерти она бы много потеряла из-за налога на наследство. Кроме того, я хотел ребенка. Я люблю ее, Тед. Хочу, чтобы она не боялась за будущее. Жаль, что вы ее мало знаете. Врач ведь видит пациента только снаружи. Ну и, конечно, изнутри тоже, но вы же понимаете, что я хочу сказать. Для меня она как... как...

Он не находил нужного слова, и у доктора Пларра было искушение его подсказать. Она как зеркало, подумал он, зеркало, сфабрикованное матушкой Санчес, чтобы отражать каждого мужчину, который в него смотрит, — отражать неуклюжую нежность Чарли, подражая ей, и мою... мою... Но нужное слово ускользало и от него. Конечно, это была не страсть. Какой все-таки вопрос она ему задала перед тем, как он с ней расстался? В ней как в зеркале отражались даже его подозрения на ее счет. Он сердился на нее, будто она неведомо как причинила ему обиду. Ею можно пользоваться как зеркалом при бритье, подумал он, вспомнив солнечные очки от Грубера.

— Вы будете надо мной смеяться, — несвязно говорил Чарли Фортнум, — но она немножко напоминает мне Мэри Пикфорд в тех старых немых фильмах... Я имею в виду, конечно, не лицо, но, знаете, что-то вроде... это можно назвать невинностью.

— В таком случае надеюсь, что ребенок будет девочкой. Мальчик, похожий на Мэри Пикфорд, вряд ли преуспеет в нашем мире.

— Мне все равно, кто родится, но Клара, кажется, хочет мальчика. — Он добавил с насмешкой над собой: — Может, она хочет, чтобы он был похож на меня.

Доктор Пларр почувствовал дикое желание сказать ему правду. Его остановил только вид раненого, беспомощно распростертого на крышке гроба. Волновать пациента было бы непрофессионально. Чарли Фортнум поднял стакан с виски и пояснил:

— Конечно, не на такого, каким я стал. Ваше здоровье.

Доктор Пларр услышал в соседней комнате громкие голоса.

— Что там происходит? — спросил Чарли Фортнум

— Ссорятся.

— Из-за чего?

— Наверно, из-за вас

Глава II

В пятницу утром в начале десятого над кварталом появился низко летевший вертолет. Неутомимый и пытливым, он сновал то туда, то сюда, как карандаш вдоль линейки, чуть не над самыми деревьями, исследуя каждый проселок. Доктору Пларру это напомнило, как он сам прощупывает пальцами тело пациента в поисках болевой точки.

Отец Ривас велел Пабло присоединиться к Диего и Марте, которые стояли снаружи на часах

— Весь квартал выйдет наружу, — сказал он. — Им бросится в глаза, если люди из этой лачуги не проявят интереса.

Он приказал Акуино караулить Фортнума в соседней комнате. Хотя Фортнум никак не мог сообщить о своем присутствии, отец Ривас не хотел рисковать.

Доктор Пларр и священник молча сидели, глядя в потолок, как будто в любой момент вертолет мог с грохотом свалиться им на голову. Когда машина пролетела, они услышали шорох листьев, падавших на землю подобно дождю. А когда замер и этот звук, они продолжали безмолвно сидеть, ожидая возвращения вертолета.

Пабло и Диего вошли в комнату. Пабло доложил:

— Они фотографировали.

— Эту хижину?

— Весь квартал.

— Тогда они наверняка заметили вашу машину,— сказал доктор Пларр.— Их должно заинтересовать, что она здесь делает.

— Мы хорошо ее спрятали,— отозвался отец Ривас.— Мы можем только надеяться...

— Они искали очень упорно,— сообщил Пабло.

— Лучше сейчас же пристрелить Фортнума,— заметил Диего.

— Срок нашего ультиматума истекает только в воскресенье в полночь.

— Они его уже отклонили. Это доказывает вертолет.

— Продлите на несколько дней срок вашего ультиматума,— сказал доктор Пларр.— Дайте сработать моему обращению к общественности. Пока опасность вам не грозит Полиция не посмеет на вас напасть.

— Срок назначил Эль Тигре,— сказал отец Ривас.

— Что бы вы ни говорили, должен же у вас быть какой-то способ с ним связаться.

— Такого способа нет.

— Вы же сообщили ему о Фортнуме.

— Та линия связи сразу же прервалась.

— Тогда действуйте сами. Пусть кто-нибудь позвонит в «Эль литораль». Дайте им еще неделю.

— Еще неделю, чтобы полиция за это время могла нас найти,— сказал Диего.

— Перес не решится искать слишком настойчиво. Он не хочет найти труп.

Снова послышался шум вертолета. Они уловили его приближение издали, звук был не громче бормотания под нос. В первый раз вертолет шел с востока на запад. Теперь он летел над верхушками деревьев с севера на юг и обратно. Пабло и Диего вновь вышли во двор, их долгое бдение снова возобновилось под шелест падающих листьев. Наконец опять наступила тишина.

Часовые вошли обратно в хижину.

— Опять фотографировали,— сказал Диего.— Наверно, засняли каждую тропинку и каждую хижину в квартале.

— А вот муниципалитет никогда этого не делал,— сказал негр.— Может, теперь-то они поймут, как нам не хватает водопроводных колонок.

Отец Ривас вызвал со двора Марту и стал шепотом давать ей какие-то указания. Доктор Пларр пытался расслышать, что он говорит, но ничего не разобрал, пока оба не повысили голос.

— Нет,— говорила Марта,— нет, отец мой, я тебя не оставляю.

— Это приказ.

— Что ты мне говорил — я твоя жена или твоя женщина?

— Конечно жена.

— Ну да, ты так говоришь, говорить тебе легко, но обращаешься со мной, будто я твоя женщина. Ты сказал «уходи», потому что бросаешь меня. Теперь я знаю, что я только твоя женщина. Ни один священник не захотел нас повенчать. Все тебе отказали. Даже твой друг отец Антонио.

— Я объяснял тебе десятки раз, что для брака священник не обязателен. Священник — только свидетель. Вступают в брак человек с человеком. Наш обет — только он имеет значение. Наши намерения.

— Откуда мне знать твои намерения? Может, тебе просто нужна была женщина, чтобы с ней спать. Может, тебе тебя я просто шлюха. Ты обращаешься со мной как со шлюхой, когда велишь мне уйти и оставить тебя.

Отец Ривас занес было руку, словно хотел ее ударить, потом отвернулся.

— Если ты не совершил из-за меня смертного греха, отец, почему ты не хочешь отслужить для нас мессу? Всем нам грозит смерть. Нам нужна месса. И той бедной женщине, которая умерла... Даже этому гринго здесь... Ему тоже нужна твоя молитва.

К доктору Пларру вернулась школьная привычка подшучивать над Леоном.

— Обидно, что ты покинул церковь,— сказал он.— Видишь, люди теряют к тебе доверие.

Отец Ривас посмотрел на него злыми глазами собаки, у которой хотят отнять кость.

— Я никогда тебе не говорил, что покинул церковь. Как я могу покинуть церковь? Церковь — это весь мир. Церковь — этот квартал, даже эта комната. У каждого из нас есть только одна возможность покинуть церковь — это умереть. — Он устало махнул рукой, его утомил этот бесполезный спор. — Да и той возможности нет, если правда то, во что мы порой верим.

— Она ведь только просила тебя помолиться. Ты забыл, как молятся? Я-то забыл. Все, что помню, «Богородице дево, радуйся», да и то путаю слова с английским детским стишком.

— Я никогда не умел молиться, — сказал отец Ривас.

— Что ты говоришь, отец мой? Он сам не знает, что говорит! — воскликнула Марта, словно защищая ребенка, который повторил похабное слово, подхваченное на улице.

— Молитва об исцелении болящих. Молитва о ниспослании дождя. Ты хочешь таких молитв? Что ж, их я знаю наизусть, только это не молитвы. Назови их прошениями, если уж хочешь как-то назвать эти шаманские причитания. С тем же успехом можешь подать их в письменном виде, да еще попросить соседа поставить подпись и бросить в почтовый ящик, адресовав господу богу. Но письма никто не доставит. Никто никогда его не прочтет. Ну конечно, время от времени бывают совпадения. Врач в виде исключения правильно прописал лекарство, и ребенок выздоровел. Или разразилась гроза, когда она тебе нужна. Или ветер переменялся.

— А я все равно молился в полицейском участке, — заметил Акуино с порога соседней комнаты. — Молился о том, чтобы снова лечь в постель с женщиной. И не говори, что это была не настоящая молитва. Она была услышана. В первый же день на свободе я спал с женщиной. В поле, пока ты ходил в деревню покупать еду. Моя молитва исполнилась, отец мой. Хоть это было в поле, а не в постели.

Он пикадор, как и я, подумал доктор Плarr. Покалывает быка, чтобы придать ему резвости перед смертью. Это бесконечное повторение слова «отец» пронзало кожу как стрелы. Почему мы так хотим его казнить — или мы казним самих себя?.. Какой жестокий спорт!

— Что ты здесь делаешь, Акуино? Я же сказал, чтобы ты пошел туда и караулил пленного.

— Вертолет ушел. Что он может сделать, этот гринго? Он только пишет письмо своей женщине.

— Ты дал ему ручку? Я забрал у него ручку, как только его сюда привели.

— А какой вред может быть от письма?

— Но я тебе приказал. Если все вы начнете нарушать приказы, никому из нас несдобровать. Диего, Пабло, ступайте на пост. Будь здесь Эль Тигре...

— Но его здесь нет, отец мой, — сказал Акуино. — Он где-то в безопасности, ест и пьет вволю. Не было его и у полицейского участка, когда ты меня спасал. Что же, он так никогда и не рискнет своей жизнью, как рискует нашей?

Отец Ривас оттолкнул его и пошел в соседнюю комнату. Доктору Плarrу трудно было узнать в нем мальчика, который когда-то объяснял ему таинство троицы. Преждевременные морщины, избородившие его лицо, выдавали запутанный клубок мучительных сомнений, похожий на клубок змей.

Чарли Фортнум лежал, опираясь на левый локоть. Забинтованная нога торчала над краем гроба; он писал медленно, с трудом и не поднял головы, когда отец Ривас спросил:

— Кому вы пишете?

— Жене.

— Вам, должно быть, трудно писать в таком положении.

— За четверть часа написал две фразы. Я просил вашего Акуино написать под мою диктовку. Он отказался. Сердится с тех пор, как меня подстрелил. Не желает со мной разговаривать. За что? Можно подумать, это я его ранил.

— Может быть, и ранили.

— Как?

— Вероятно, он считает, что вы его подвели. Он не думал, что у вас хватит храбрости его обмануть.

— Храбрости? У меня? Да у меня не больше храбрости, чем у зайца. Просто хотелось повидать жену, вот и все.

— А кто передаст ей это письмо?

— Может быть, доктор Пларр. Если после моей смерти вы его отпустите. Прочтет его жене вслух. Она не очень-то хорошо умеет читать, а почерк у меня хромал даже в лучшие дни.

— Если хотите, я напишу письмо под вашу диктовку.

— Большое спасибо. Я был бы вам очень благодарен. Я бы даже предпочел, чтобы это сделали вы, а не кто-нибудь другой. Такое письмо ведь все-таки секрет. Вроде исповеди. А вы все же священник.

Отец Ривас взял письмо и сел на пол возле гроба.

— Забыл, на чем я остановился.

Отец Ривас прочел:

— «Не беспокойся, детка, что ты останешься одна с ребенком. Ему лучше быть с матерью, чем с отцом. Я хорошо это знаю. Сам остался один с отцом, и это было совсем невесело. Одни только лошади, лошади...» Вот и все. Вы остановились на лошадях.

— «Наверно, ты подумаешь,— продолжал Чарли Фортнум,— что в том положении, в каком я нахожусь, надо уметь прощать. Даже отца. Пожалуй, он был не такой уж плохой. Дети чересчур легко ненавидят...» Лучше вычеркните там, где насчет лошадей, отец.

Отец Ривас зачеркнул указанные слова.

— Напишите вместо этого... но что? Я отвык откровенничать в письмах, вот в чем беда. Налейте мне капельку виски, отец. Может, мозги заработают или то, что от них осталось... я, конечно, говорю о своих мозгах.

Отец Ривас налил ему виски.

— Я предпочитаю «Лонг Джон»,— сказал Чарли Фортнум,— но пойло, которое вы принесли, не такая уж дрянь. Если долго здесь пробуду, может, войду во вкус этого вашего аргентинского виски, однако с ним мне блюсти норму куда сложнее, чем с шотландским. Вам этого не понять, отец мой, но у всякого питья своя норма, кроме воды, разумеется. Вода вообще не для питья. От воды ржавеют внутренности, а то еще и брюшной тиф подхватишь. Нет от нее пользы ни человеку, ни животным, только этим чертовым лошадям. А что, если я вас попрошу выпить со мной по маленькой?

— Нет. Я, можно сказать, при исполнении служебных обязанностей. Будете продолжать письмо?

— Да, конечно. Я просто переждал, чтобы виски подействовало. Вы вычеркнули тот кусок насчет лошадей? Что же мне сказать еще? Понимаете, я хочу поговорить с ней просто, как если бы мы сидели вдвоем на веранде у нас в поместье, но слова никогда не давались мне легко — на бумаге. Надеюсь, вы меня понимаете. В конце концов вы тоже вроде как женаты, отец мой.

— Да, я тоже женат,— сказал отец Ривас.

— Но там, куда я отправляюсь, никаких браков не бывает, так по крайней мере вы, священники, нам всегда голкуете. Это немножко обидно теперь, когда я так поздно нашел наконец подходящую девушку. Следовало бы завести на небесах посетительские дни, чтобы можно было чего-то ожидать, хотя бы время от времени. Как это делают в тюрьме. Какой же это рай, если не ждешь ничего хорошего? Видите, выпив свою норму виски, я даже ударился в богословие... На чем же я остановился? Ах да, на лошадях. Вы уверены, что мы вычеркнули лошадей этого старого ублюдка?

Из другой комнаты появился доктор Пларр; он ступал бесшумно по земляному полу, и ни тот, ни другой не подняли головы. Оба были заняты письмом. Он молча простоял у двери. На вид это была парочка старых друзей.

— «Пусть ребенок поступит в местную школу,— диктовал Чарли Фортнум,— а если это будет мальчик, только не посылай его в ту шикарную английскую школу в Буэнос-Айресе, где я учился. Мне там было нехорошо. Пусть он станет настоящим аргентинцем, как ты сама, а не серединкой наполовинку вроде меня». Написали, отец мой?

— Да. Не написать ли ей что-нибудь о том, почему письмо написано разными почерками? Она может удивиться...

— Вряд ли она это заметит. Да и Пларр сумеет ей объяснить, как было дело. Бог ты мой, сочинять письмо все равно что запускать в ход «Гордость Фортнума»

в дождливое утро. Рывок за рывком. Только покажется, что мотор заработал, а он тут же глохнет. Ну ладно... Пишите, отец: «Лежа здесь, я больше всего думаю о тебе, и о ребенке тоже. Дома ты всегда лежишь справа от меня, и я могу положить правую руку тебе на живот и почувствовать, как брыкается оголец, но здесь справа ничего нет. Кровать слишком узкая. Впрочем, довольно удобная. Мне не на что жаловаться. Я счастливее многих других». — Он сделал паузу. — Счастливее... — И тут он закусил удила: — «До того как я встретил тебя, детка, я был человек конченный. Каждый должен хоть к чему-то стремиться. Даже миллионер хочет нажать еще миллион. Но до того как ты у меня появилась, к чему мне было стремиться — разве что выпить свою норму. Моим матэ я, в сущности, никогда особенно похвастать не мог. Потом я нашел тебя, и у меня появилась какая-то цель. Мне захотелось сделать так, чтобы ты была довольна, обеспечить тебе будущее, а тут вдруг появился еще и этот наш ребенок. Теперь у нас с тобой одна и та же забота. Я не собирался жить долго. Все, чего мне хотелось, это сделать так, чтобы первые годы были у него хорошие — первые годы так важны для ребенка, они вроде бы закладывают основу. Ты не думай, что я оставил всякую надежду, я еще отсюда выберусь, несмотря на них всех». — Он снова сделал паузу. — Конечно, это только шутка, отец мой. Как я могу выбраться? Но я не хочу, чтобы она думала, будто я отчаялся... Ах ты господи, «Гордость Фортнума» на какое-то время заработала, мы чуть не выбрались из кювета, но больше я не могу. Просто напишите: «Дорогая моя девочка, люблю тебя».

— Вы что, кончили письмо?

— Да. Пожалуй да. Чертовски трудное дело писать письма. Подумать только, бывает, увидишь на библиотечной полке чьи-то «Избранные письма». Вот бедняга! А то и два тома писем!.. Кое-что я все-таки позабыл сказать. Впишите в самом конце. Как постскрипtum. Понимаете, отец мой, это же у нее первый ребенок. У нее нет никакого опыта. Люди говорят, что у женщины действует инстинкт. Но лично я в этом сомневаюсь. Напишите так: «Пожалуйста, не давай ребенку сладостей. Это вредно для зубов, они совсем мне зубы испортили, а если что-нибудь тебе будет неясно, спроси у доктора Пларра. Он хороший врач и верный друг»... Вот и все, что я могу придумать. — Он закрыл глаза. — Может, попозже добавлю что-нибудь еще. Хотелось бы дописать два-три слова, прежде чем вы меня убьете, те самые знаменитые предсмертные слова, но сейчас я слишком устал, чтобы еще что-нибудь сочинять.

— Не теряйте надежды, сеньор Фортнум.

— Надежды на что? С тех пор как я женился на Кларе, я стал бояться смерти. Есть только одна счастливая смерть — это смерть вдвоем, но даже если бы вы не вмешались, я слишком стар, чтобы так умереть. Подумать страшно, что она останется одна и будет бояться, когда наступит ее очередь умирать. Я хотел бы находиться рядом, держать ее за руку, утешать: ничего, Клара, я ведь тоже умираю, не бойся, и не так уж плохо умереть. Вот я и заплакал, теперь вы сами видите, какой я храбрец. Только мне не себя жалко, отец. Просто мне не хочется, чтобы она была одинока, когда станет умирать.

Отец Ривас неопределенно взмахнул рукой. Может быть, хотел его благословить, но забыл, как это делается.

— Господь да пребудет с вами, — сказал он без особой уверенности.

— Оставьте его себе, вашего господя. Простите, отец, но я что-то не вижу даже и признаков его присутствия, а вы?

Доктор Пларр ушел в другую комнату, бешено злясь неизвестно на что. Каждое слово письма, предиктованного Фортнумом, он почему-то воспринимал как упрек, несправедливо направленный в его адрес. Он был так разъярен, что зашагал прямо к выходу, но почувствовав, что автомат индейца упирается ему в живот, остановился. Ребенок думал он, что ни слово — ребенок, верный друг, не давай ребенку сладостей, чувствую, как он брыкается. Он постоял на месте, хотя автомат все так же упирался ему в живот и желчно сплюнул на пол.

— В чем дело. Эдуардо? — спросил Акуино.

— До смерти надоело сидеть здесь как в клетке. Какого черта, неужели вы не можете мне поверить и меня отпустить?

— Нам нужен врач для Фортнума. Если ты уйдешь, ты не сможешь вернуться.

— Я ничем больше не могу помочь Фортнуму, а здесь я как в тюрьме.

— Ты не говорил бы так, если побывал бы в настоящей тюрьме. Для меня это свобода.

— Сто квадратных метров земляного пола...

— Я привык к девяти. Так что мир для меня намного расширился.

— Ты, наверно, можешь сочинять стихи в любой дыре, а мне здесь нечего, абсолютно нечего делать. Я врач. Одного пациента мне мало.

— Теперь я больше не сочиняю стихов. Они были частью тюремной жизни. Я сочинял стихи, потому что их легче запомнить. Это был способ общения, и все. А теперь, когда у меня есть сколько угодно бумаги и ручка, я не могу написать ни строки. Ну и плевать. Зато я живу.

— Ты зовешь это жизнью? Вам даже нельзя прогуляться в город.

— Я никогда не любил гулять. Всегда был лентяем.

Вошел отец Ривас.

— Где Пабло и Диего? — спросил он.

— На посту, — сказал Акуино. — Ты их сам послал.

— Марта, захвати одного из них и ступай в город. Может, это наша последняя возможность. Купи как можно больше продуктов. Чтобы хватило на три дня. И чтобы их нетрудно было нести.

— Отчего ты встревожился? — спросил Акуино. — Ты узнал плохие новости?

— Меня беспокоит вертолет... и слепой старик тоже. Ультиматум истекает в воскресенье вечером, а полиция может быть здесь задолго до этого.

— И что тогда? — спросил доктор Пларр.

— Мы его уьем и попытаемся скрыться. Надо запастись провизией. Придется обходить города стороной.

— Ты играешь в шахматы, Эдуардо? — спросил Акуино.

— Да. А что?

— У меня есть карманные шахматы.

— Давай их скорей сюда, сыграем.

Они уселись на земляном полу по обе стороны крохотной доски; расставляя фигурки, доктор Пларр сказал:

— Я играл почти каждую неделю в «Боливаре» с одним стариком по фамилии Хэмфрис. Мы играли с ним и в тот вечер, когда вы дали такую промашку.

— Хороший шахматист?

— В тот вечер он меня обыграл.

Акуино играл небрежно, торопился делать ходы, а когда доктор Пларр задумывался, напевал себе под нос.

— Помолчи, — попросил его доктор Пларр.

— Ха-ха. Прижал я тебя, а?

— Напротив. Шах.

— С этим мы живо справимся.

— Опять шах. И мат.

Доктор Пларр выиграл подряд две партии.

— Ты для меня слишком сильный игрок, — сказал Акуино. — Лучше бы мне сразиться с сеньором Фортнумом.

— Никогда не видел, чтобы он играл в шахматы.

— Вы с ним большие друзья?

— В некотором роде.

— И с его женой тоже?

— Да.

Акуино понизил голос:

— Этот младенец, о котором он все время говорит, — он твой?

— Мне до смерти надоели разговоры об этом младенце. Хочешь еще партию?

Когда они расставляли фигуры, они услышали ружейный выстрел, он донесся издали. Акуино схватил автомат, но больше выстрелов не последовало. Доктор Пларр сидел на полу с черной ладьей в руке. Она взмокла от пота. Все молчали. Наконец отец Ривас сказал:

— Кто-то просто стрелял в дикую утку. Нам начинает чудиться, что все имеет к нам отношение.

— Да, — сказал Акуино, — и даже вертолет мог принадлежать городскому муниципалитету, если бы не военные опознавательные знаки.

— Сколько времени до следующей передачи известий по радио?

— Еще два часа. Хотя могут передать и экстренное сообщение.

— Нельзя, чтобы радио было все время включено. Это единственный приемник во всем квартале. И так уже о нем слишком много знают.

— Тогда мы с Акуино можем сыграть еще партию,— сказал доктор Плarr.— Я даю ему ладью фору.

— Не нужна мне ваша ладья. Я побью вас на равных. У меня просто не было практики.

За спиной Акуино доктор Плarr видел отца Риваса. Маленький, пропыленный, он был похож на усохшую мумию, выкопанную из земли с дорогими реликвиями, захороненными вместе с нею,—револьвером и потрепанным томиком в бумажном переплете. Что это — тревник? — спросил себя доктор Плarr. Или молитвенник? С чувством безысходной скуки он опять повторил:

— Шах и мат.

— Ты играешь слишком хорошо для меня,— сказал Акуино.

— Что ты читаешь, Леон? — спросил доктор Плarr.— Все еще заглядываешь в тревник?

— Уже много лет как бросил.

— А что у тебя в руках?

— Детектив. Английский детектив.

— Интересный?

— Тут я не судья. Перевод не очень хороший, да и в книгах такого рода всегда угадываешь конец.

— Тогда что же там интересного?

— Ну, все же приятно читать повесть, когда заранее знаешь, чем она кончится. Повесть о вымышленном царстве, где всегда торжествует справедливость. Во времена, когда господствовала вера, детективов не было,— вот что любопытно само по себе. Господь бог был единственным сыщиком, когда люди в него верили. Он был законом. Порядком. Добром. Как ваш Шерлок Холмс. Бог преследовал злодея, чтобы его наказать и раскрыть преступление. А теперь закон и порядок устанавливают люди вроде Генерала. Электрические удары по половым органам Пальцы Акуино. Держат бедняков впроголодь, чтобы у них не было энергии бунтовать. Я предпочитаю сыщика. Я предпочитаю бога.

— Ты все еще в него веришь?

— Относительно. Иногда. Не так-то просто ответить — да или нет. Конечно, уже не в того бога, о котором нам говорили в школе или в семинарии.

— В своего личного бога,— сказал доктор Плarr, снова его поддразнивая.— Я-то думал, что это протестантская ересь.

— А почему бы и нет? Разве та вера хуже? Разве она менее истинная? Мы больше не убиваем еретиков — голько политических узников.

— Чарли Фортнум — твой политический узник?

— Да.

— Значит, ты и сам немножко похож на Генерала.

— Я его не пытаю.

— Ты в этом уверен?

Марта вернулась из города одна. Она спросила:

— Диего здесь?

— Нет,— ответил отец Ривас,— он ведь пошел с тобой... или ты взяла с собой Пабло?

— Диего остался в городе. Сказал, что меня догонит. Ему нужно забрать бензин. Бензина в машине, говорит он, почти не осталось и запаса нет.

Акуино сказал:

— Это неправда.

— Его очень напугал вертолет,— сказала Марта.— И старик тоже.

— Вы думаете, он пошел в полицию? — спросил доктор Плarr.

— Нет,— сказал отец Ривас,— в это я никогда не поверю.

— Тогда где же он? — спросил Акуино.

— Его вид мог показаться подозрительным, вот его и задержали. Мог пойти к женщине. Кто знает? Мы, во всяком случае, ничего не можем поделать. Только ждать. Сколько времени до последних известий?

— Двадцать две минуты,— сказал Акуино.

— Скажи Пабло, чтобы он вернулся в дом. Если нас засекали, ему нет смысла находиться снаружи, где его схватят в одиночку. Лучше всем держаться вместе до конца.

Отец Ривас взялся за свой детектив.

— Все, что нам остается, это надеяться,— сказал он. И добавил: — До чего же удивительно спокоен там мир. Все так разумно устроено. Никаких сложностей. На каждый вопрос есть ответ.

— О чем ты говоришь? — спросил доктор Плarr.

— О том, каким выглядит мир в этом детективе. Можешь объяснить, что такое Бредшоу?

— Бредшоу?

Доктору Плarrу казалось, что впервые с тех пор, как они еще ребятами вели долгие споры, Леон так спокоен. Не теряет ли он по мере того, как положение все больше осложняется, чувство ответственности, подобно игроку в рулетку, который, отбросив свою систему игры, даже не старается следить за шариком. Ему не следовало заниматься такими делами — он больше на своем месте в роли священника у одра больного, покорно ожидающего его конца.

— Бредшоу — английская фамилия,— сказал доктор Плarr.— У моего отца был приятель Бредшоу, он писал ему письма из города под названием Честер.

— А этот Бредшоу знает наизусть расписание поездов по всей Англии. Поезда там идут всего по несколько часов в любую сторону. И всегда прибывают вовремя. Сыщику только надо справиться у Бредшоу, когда именно... До чего же странный мир, откуда вышел твой отец! Здесь мы всего в каких-нибудь восьмистах километрах от Буэнос-Айреса, а поезд по расписанию идет сюда полтора дня, но чаще всего опаздывает на двое, а то и на трое суток. Этот английский сыщик — человек очень нетерпеливый. Ожидая поезда из Эдинбурга — а это ведь примерно такое же расстояние, как отсюда до Буэнос-Айреса? — он шагает взад-вперед по перрону лондонского вокзала; если верить тому Бредшоу, поезд опаздывает всего на полчаса, а сыщик почему-то решает, что там наверняка что-то случилось. Всего на полчаса! — воскликнул отец Ривас.— Помню, когда я в детстве опаздывал из школы домой, мать волновалась, а отец говорил: «Ну что может случиться с ребенком по дороге из школы?»

Акуино прервал его с раздражением:

— А как насчет Диего? Он тоже опаздывает, и надо прямо сказать, меня это беспокоит.

Вошел Пабло. Акуино сразу же ему сообщил:

— Диего ушел.

— Куда?

— Может быть, в полицию.

Марта сказала:

— Всю дорогу до города он только и говорил что о вертолете. А когда мы пошли к реке, нет, он тогда ничего не сказал, но какое у него было лицо! У пристани, где останавливается паром, он мне говорит: «Странно. Не видно полицейских, которые проверяют пассажиров». А я ему говорю: «Разве ты не видишь, что на той стороне делается? И разве можно узнать полицейского, если он не в форме?»

— Как ты думаешь, отец мой? — спросил Пабло.— Это же я познакомил его с тобой. И мне стыдно. Я сказал тебе, что он хорошо водит машину. И что он храбрый.

— Пока нет оснований тревожиться,— ответил отец Ривас.

— Как я могу не тревожиться? Он мой земляк. Вы, остальные, пришли с той стороны границы. Вы можете доверять друг другу. У меня такое чувство, будто Диего мой брат, и мой брат вас предал. Не надо было вам обращаться ко мне за помощью.

— Что бы мы без тебя делали, Пабло? Где бы мы спрятали посла в Парагвае? Даже переправить его через реку было бы слишком опасно. Вероятно, мы зря включили в нашу группу одного из твоих соотечественников, но Эль Тигре никогда не считал, что мы здесь, в Аргентине, иностранцы. Он не делит людей на парагвайцев, перуанцев, боливийцев, аргентинцев. Мне кажется, что он предпочел бы всех нас звать американцами, если бы не та страна там, к северу.

— Как-то раз Диего меня спросил,— сказал Пабло,— почему в вашем списке узников, которых надо освободить, одни парагвайцы? Я ему объяснил, что они больше все-

го в этом нуждаются, потому что сидят в тюрьме больше десяти лет. В следующий раз, когда мы нанесем удар, мы потребуем освободить наших, как тогда в Сальте. Тогда нам помогали парагвайцы... Я не верю, что он пойдет в полицию, отец мой.

— Да и я не верю. Пабло.

— Нам недолго осталось ждать,— сказал Акуино.— Они должны уступить... или мы бросим в реку мертвого консула.

— Сколько еще до последних известий?

— Десять минут,— сказал доктор Плarr.

Отец Ривас взялся за детектив, но, следя за ним, доктор Плarr видел, что читает он как-то медленно. Он долго не сводит глаз с какой-нибудь фразы, прежде чем перевернуть страницу. Губы его чуть-чуть шевелились. Словно он молился тайком, ведь молитва священника у постели умирающего — это последняя просьба о помощи, и больной не должен ее слышать. Все мы его больные, подумал доктор Плarr, всем нам скоро суждено умереть.

Доктор не верил в благополучный исход. Сделав ошибку в уравнении, вы получаете цепь ошибок. Его собственная смерть может стать одной из этих ошибок; люди скажут, будто он пошел по стопам отца, но они будут не правы — это не входило в его намерения.

С тягостным ощущением тревоги и любопытства он подумал о своем ребенке. Ребенок тоже был следствием ошибки, неосторожности с его стороны, но раньше он никогда не чувствовал за это ответственности. Он считал ребенка бесполезной частью Клары, подобно ее аппендиксу,— скорее больному аппендиксу, который следует удалить. Он предложил сделать аборт, но эта мысль ее напугала — вероятно, потому, что в доме у матушки Санчес делали слишком много абортaв без помощи врача. Теперь, ожидая последних известий по радио, он говорил себе: бедный маленький ублюдок, жаль, что я никак о нем не позаботился. Какая же Клара мать? Небось вернется к матушке Санчес, и ребенок вырастет баловнем публичного дома. А может, это и лучше, чем жить с его матерью в Буэнос-Айресе и уплывать пирожные на калые Флорида, прислушиваясь к многоязычному гомону богатеньких дамочек. Он задумался о путаной родословной ребенка, и впервые, на фоне этой путаницы, ребенок стал для него реальностью, а не просто мокрым кусочком мяса, вырванным из тела вместе с пуповиной, которую надо перерезать. Эту пуповину перерезать невозможно. Она соединяет ребенка с двумя такими разными дедами — рубчиком сахарного тростника в Тукумане и старым английским либералом, пристреленным во дворе полицейского участка в Парагвае. Пуповина соединяла ребенка с отцом — врачом из провинции, матерью из публичного дома, с дядей, сбежавшим когда-то с плантации сахарного тростника, чтобы пропасть в просторах континента, с двумя бабками... Нет, этим нитям, опутывающим крохотное существо как свивальники, которыми в старину пеленали ручки и ножки новорожденного, не было конца. «Холодный, как рыба»,— отозвался о нем Чарли Фортнум. Что передаст ребенку холодный, как рыба, отец? Хорошо, если бы можно было менять отцов. Холодный, как рыба отец был бы и для него самого куда более подходящим родителем, чем тот, который из одного сострадания умер за других. Ему хотелось бы, чтобы маленький ублюдок во что-то верил, но не тот он отец, который может передать в наследство веру в бога или в идею. Он крикнул в другой конец комнаты:

— Ты и правда веришь во всемогущего бога, Леон?

— Что? Прости, я не расслышал. Этот сыщик такой хитрец,— видно, поезд из Эдинбурга не зря опаздывает на полчаса.

— Я спросил, веришь ли ты иногда в бога-отца?

— Ты меня уже об этом спрашивал. И тебе это вовсе не интересно. Ты только смеешься надо мной, Эдуардо. И все-таки я тебе отвечу, когда исчезнет последняя надежда. Тогда тебе не захочется смеяться. Извини меня на минутку — детектив становится все интереснее,— эдинбургский экспресс подходит к станции под названием Кингс-Кросс. Королевский Крест. Это что, какой-нибудь символ?

— Нет. Просто название одного из вокзалов в Лондоне.

— Тише вы оба.

Акуино включил приемник, и они стали слушать зарубежные новости, которые в этот час передавались из Буэнос-Айреса. Диктор сообщил о визите Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Западную Африку; полсотни хиппи были насильно высланы с Майорки; снова поднялись пошлины на автомобили, импор-

тируемые в Аргентину; в Кордове в возрасте восьмидесяти лет умер какой-то генерал в отставке; в Боготе взорвалось несколько бомб; и, конечно, аргентинская футбольная команда продолжала свое триумфальное шествие по Европе.

— О нас позабыли,— сказал Акуино.

— Если бы можно было в это поверить,— отозвался отец Ривас.— Остаться здесь... и чтобы о нас позабыли... навсегда. Не такая уж плохая участь, а?

Глава III

В субботу в полдень передали сообщение, которое они так долго ждали, но им пришлось терпеливо выслушать последние известия до самого конца. Задачей всех заинтересованных правительств было всячески умалить значение дела Фортнума. Буэнос-Айрес приводил весьма сдержанные высказывания британской прессы. Лондонская «Таймс», например, сухо сообщила, что один аргентинский писатель (имя не называлось) предложил себя в обмен на консула, а передача Би-би-си, по выражению аргентинского комментатора, дала всему этому делу должную оценку. Некий заместитель министра кратко коснулся этого вопроса в телевизионной дискуссии, посвященной политическому насилию, в связи с трагической гибелью свыше ста шестидесяти пассажиров одного из самолетов Британской авиационной корпорации: «Я знаю об этом происшествии в Аргентине не больше любого нашего телезрителя. Мне некогда читать романы, но сегодня, прежде чем выйти из дома, я позвонил в книжный магазин, которым пользуется жена, и навел справки о господине Савиндре, но, к сожалению, они знают о нем не больше моего» Заместитель министра добавил: «Как бы я ни сочувствовал мистеру Фортнуму, я хочу подчеркнуть, что мы не можем рассматривать похищение такого рода как удар по британской дипломатической службе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мистер Фортнум никогда не был членом дипломатического корпуса. Он родился в Аргентине и, насколько мне известно, даже никогда не посещал нашу страну. Когда произошло это печальное событие, мы как раз собирались освободить его от должности почетного консула, поскольку он давно достиг пенсионного возраста, к тому же у нас не было необходимости его заменить, так как число британских подданных в этой провинции за последние десять лет сильно упало. Вы несомненно знаете, что наше правительство не щадит усилий по сокращению расходов на содержание нашей дипломатической службы за рубежом».

Отвечая на вопрос, заняло бы правительство другую позицию, если бы жертвой оказался сотрудник дипломатического корпуса, заместитель министра заявил: «Конечно, мы заняли бы точно такую же позицию. Мы не намерены уступать шантажу где бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах. В данном конкретном случае мы имеем все основания полагать, что мистер Фортнум будет освобожден, когда эти безрассудные люди убедятся в тщетности своей попытки. В этом случае президент Аргентины будет решать, намерен ли он проявить к преступникам милосердие. А теперь, если председатель позволит, мне бы хотелось вернуться к основной теме сегодняшней передачи. Могу вас заверить, что на борту самолета не было охраны, и, следовательно, вопрос о вооруженном столкновении...»

Пабло выключил радио.

— Что все это значит? — спросил отец Ривас.

Доктор Плаарр объяснил:

— Они предоставили вам самим решать участь Фортнума.

— Если они отклонили ультиматум,— сказал Акуино,— чем скорее мы его уьем, тем лучше.

— Наш ультиматум был адресован не британскому правительству,— заметил отец Ривас.

— Ну конечно,— поспешил поправиться доктор Плаарр,— им приходится говорить все это на публику. Мы не знаем, какое давление они негласно оказывают в Буэнос-Айресе и Асунсьоне.— Даже ему самому эти слова показались недостаточно убедительными.

Не считая тех, кто стоял на посту, все после обеда пили матэ, кроме доктора Плаарра,— он унаследовал от отца вкус к обычному чаю. Сыграв еще одну партию с Акуино, Плаарр притворился, что допустил ошибку, потерял королеву и дал Акуино одержать победу, но когда тот произнес «шах и мат», в его угрюмом голосе звучало недоверие.

Доктор Пларр дважды навесит своего пациента и оба раза застал его спящим. Его раздражало спокойное выражение лица приговоренного к смерти. Консул даже слегка улыбался, — может, ему снилась Клара или ребенок, а может, он просто видел во сне, как принимает свою «норму». Доктор Пларр задумался о будущем — на тот маловероятный случай, если им суждено будущее. О Кларе он не беспокоился: эта связь — если ее можно назвать связью — все равно скоро кончилась бы. Его тревожил ребенок, который будет расти под надзором Чарли Фортнума. Непонятно почему, но он представлял себе его мальчиком — мальчиком, похожим на две ранние фотографии его самого; на одной он был снят в возрасте четырех, на другой — восьми лет. Мать все еще хранила их в своей захлавленной квартире среди фарфоровых попугаев и старья из антикварных лавок, но серебряные рамки почернели — их, видно, давно не чистили.

Он был уверен, что Чарли воспитает ребенка католиком — и с тем большей строгостью, что сам однажды нарушил церковный закон; он представлял себе, как Чарли сидит у кровати мальчика и с умилением внимаем усилиям ребенка пролепетать «Отче наш». Потом он выйдет на веранду к Кларе и к бару. Чарли будет очень добрым отцом. Он не станет заставлять мальчика ездить верхом. Он даже бросит пить или по крайней мере решительно сократит свою «норму». Чарли будет называть мальчика «старина», трепать по щеке и перед сном перелистывать с ним «Панораму Лондона». Доктор Пларр вдруг увидел, как мальчик сидит в постели, будто это был он сам, прислушиваясь к отдаленным звукам запираемых дверей, к тихим голосам этажом ниже, к осторожным шагам. Он вспомнил ночь, когда со страха прокрался в комнату отца, — и теперь всматривался в бородатое лицо этого отца, растянувшегося на крышке гроба, — четырехдневная щетина стала похожа на бороду.

Тут доктор Пларр поспешил вернуться в компанию будущих убийц Чарли Фортнума.

Карательная служба возобновилась. На посту стоял Акуино, а Пабло заменил индейца у двери. Гуарани тихо спал на полу, а Марта гремела тарелками на заднем дворе. Отец Ривас сидел, прислонившись спиной к стене. Он забавлялся сухими горошинами, перебрасывая их из одной руки в другую, как бусы разорванных четок.

— Ты дочитал свою книгу? — спросил доктор Пларр.

— Ну да, — ответил отец Ривас. — Конеч был именно такой, как я ожидал. Всегда можно предсказать, чем все кончится. Убийца взял и покончил с собой в эдинбургском экспрессе. Вот почему экспресс опоздал на полчаса и этот Бредшоу ошибся. Как консул?

— Спит.

— А его рана?

— В порядке. Но доживет ли он до того, чтобы она зажила?

— Мне казалось, что ты веришь в закулисное давление.

— Мне казалось, будто и ты во что-то веришь, Леон. В такие вещи, как милосердие и сострадание. Священник всегда остается священником — так ведь утверждают, верно? Не говори мне об отце Торресе¹⁷ или об епископах, которые шли на войну в средние века. Сейчас не средневековье, и тут не воюют. Вы готовы убить человека, который не причинил вам никакого зла, человека, который по годам годится мне в отцы — да и тебе тоже. Где твой отец, Леон?

— В Асунсьоне под мраморным памятником величиной с эту лачугу.

— Кажется, все мы не можем расстаться со своими мертвыми отцами. Фортнум ненавидел своего. Пожалуй, моего я любил. Возможно. Откуда мне знать? Само слово «любовь» звучит так фальшиво. Мы ставим любовь себе в заслугу, словно выдержали экзамен с хорошими отметками. Каким был твой отец? Я его ведь даже не видел.

— Он был таким, каким и полагалось быть одному из богатейших людей в Парагвае. Ты, наверное, помнишь наш дом в Асунсьоне с большой галереей, белыми колоннами, мраморными ваннами и сад со множеством апельсиновых и лимонных деревьев. И тарасхов, осыпавшими дорожки своими розовыми лепестками. Вероятно, ты никогда не бывал в самом доме, но я твердо помню, что ты как-то раз приходил на мой день рождения, который устраивали в саду. Моих друзей в дом не пускали — там было столько вещей, которые они могли сломать или запачкать. У нас было шестеро

¹⁷ Торрес Рестрепо Камило (1929—1966) — национальный герой Колумбии, священник, автор «Революционной платформы единого народного фронта», убит в стычке с правительственными войсками.

слуг. Они мне нравились куда больше моих родителей. Там был садовник Педро — он все время подметал лепестки, — мать говорила, что они замусоривают сад. Я очень любил Педро, но отец его выгнал, потому что он украл несколько песо, забытых на садовой скамейке. Отец ежегодно давал кучу денег партии колорадо, поэтому у него не было неприятностей, когда после гражданской войны к власти пришел Генерал. Он был хорошим адвокатом, но никогда не защищал бедных. Он до самой смерти верно служил богачам, и все говорили, какой он хороший отец, потому что он оставил много денег. Ну ладно, может, он и был хорошим отцом в этом смысле. Одна из обязанностей отца — обеспечивать семью.

— А бога-отца, Леон? Я что-то не вижу, чтобы он так уж щедро нас обеспечивал. Вчера вечером я спросил, веришь ли ты еще в него. Мне всегда казалось, что в нем есть что-то крайне неприятное. Скорее я поверил бы в Аполлона. Тот по крайней мере был красив

— Беда в том, что мы потеряли способность верить в Аполлона, — сказал отец Ривас. — Иегова вошел в нашу плоть и кровь. Тут уж ничего не поделаешь. Прошли века, и Иегова живет во тьме нашей души, как глист в кишечнике.

— Тебе нельзя было идти в священники, Леон.

— Может, ты и прав, но теперь уже поздно об этом думать. Который час? Мне до смерти надоело это радио, но надо послушать известия — а вдруг они еще уступят.

— Мои часы остановились. Забыл завести.

— Тогда лучше не выключать радио, хоть это и опасно, пока все-таки еще не отпала возможность...

Он совсем приглушил звук, и все равно они уже не были в одиночестве. Кто-то едва слышно играл на арфе, кто-то шепотом пел, будто они сидели в огромном зале, где артистов не видно и не слышно.

Оставалось только разговаривать, разговаривать о чем попало, кроме ночи с субботы на воскресенье.

— Я часто замечал, — сказал доктор Пларр, — когда мужчина бросает женщину, он начинает ее ненавидеть. Может, он ненавидит собственную неудачу? Или же мы просто хотим уничтожить свидетеля, который точно знает, что мы собой представляем, когда перестаем разыгрывать комедию. Наверно, я возненавижу Клару, когда с ней расстанусь.

— Клару?

— Жену Фортнума.

— Значит, правда, что про тебя говорят?

— В нашем положении, Леон, вряд ли есть смысл лгать. Близкая смерть — отличное лекарство от лжи, лучше пентотала. Вы, священники, всегда это знали. Когда приходит священник, я всегда оставляю умирающего с ним наедине, чтобы он мог говорить свободно. Большинство хочет говорить, если только еще в силах

— Ты собираешься бросить эту женщину?

— Ничего я не собираюсь. Но это неизбежно. Если останусь жив. В этом я уверен. Ничто на свете не вечно, Леон. Разве когда тебя рукополагали в священники, ты в душе не был уверен, что в один прекрасный день перестанешь им быть?

— Нет. Никогда я так не думал. Ни на минуту. Я думал, что церковь и я хотим одного и того же. Понимаешь, в семинарии я был просто счастлив. Можно сказать, это был мой медовый месяц... Хотя и там случалось... Наверно, так бывает и в медовый месяц... вдруг по какой-то мелочи почувствуешь — что-то обстоит не так... Помню одного старого священника... он преподавал богословскую этику. Никогда не видел человека, настолько знавшего истину в конечной инстанции... и уверенного в своей правоте. Конечно, богословская этика — это кошмар каждой семинарии. Учишь правила и находишь, что в жизни они неприменимы... Ну ничего, думал я, маленькая разница во взглядах. какое это имеет значение? В конце концов муж и жена приноравливаются друг к другу. Церковь будет мне ближе по мере того, как я буду ближе к ней.

— Но когда ты оставил церковь, ты стал ее ненавидеть, верно?

— Я же сказал тебе — церкви я никогда не оставлял. У меня это не развод, Эдуардо, а только разлука, разлука по взаимному соглашению. Я никогда не буду всецело принадлежать никому другому. Даже Марте.

— Но и разлука часто приносит ненависть, — сказал доктор Пларр. — Я замечал это не раз у моих пациентов в этой проклятой стране, где не разрешен развод.

— Со мной этого не случится. Даже если я не могу любить, я не вижу причин для ненависти. Я никогда не забуду тот долгий медовый месяц в семинарии, когда я был так счастлив. Если я теперь и питаю какое-то чувство к церкви, это не ненависть, а сожаление. Думаю, она могла бы использовать меня для благой цели, если бы ей было дано понимать — я хочу сказать, понимать мир, какой он есть.

Радио продолжало шептать, и они напряженно вслушивались, ожидая, когда им объявят, сколько сейчас времени. В этой глиняной хижине, которая легко могла сойти за первобытную гробницу для целой семьи, доктор Плартт больше не чувствовал ни малейшего желания мучить Леона Риваса. Если он и хотел кого-то мучить, то только себя. Он подумал: как бы мы ни притворялись друг перед другом, оба мы потеряли надежду. Вот почему мы можем разговаривать как друзья, какими были когда-то. Я прежде времени постарел, раз больше не могу издеваться над человеком за его убеждения, какими бы они ни были нелепыми. Я могу только ему завидовать.

Немного погодя любопытство заставило его снова вернуться к этому разговору. Он вспомнил, что когда он шел к первому причастию в Асунсьоне, одетый как маленький монах и подпоясанный веревкой, он еще во что-то верил, хотя теперь уже не мог вспомнить — во что.

— Мне давно не приходилось слышать священников,— сказал он Леону.— А я-то думал, вы учите, что церковь непогрешима, как Христос.

— Христос был человеком,— сказал отец Ривас,— хотя кое-кто из нас верит, что он был и богом. Но римляне убили не бога, а человека. Плотника из Назарета. Некоторые правила, которые он установил, были просто правилами поведения хорошего человека. Человека своего времени и своей страны. Он понятия не имел о том мире, в котором мы теперь живем. Отдавайте кесарево... но если наш кесарь применяет напалм и осколочные бомбы... Церковь тоже не живет вне времени. Лишь иногда, на короткий срок отдельные люди... себя я к ним не причисляю, я не обладаю таким провидением, но думаю, что, может быть... как бы мне это тебе объяснить, если и сам я недостаточно верю?.. Думаю, что память о том человеке, о плотнике, может возвысить каких-то людей над теперешней церковью наших страшных лет, когда архиепископ садится обедать за стол с Генералом,— может возвысить этих людей до великой церкви вне времени и пространства, и тогда... этим счастливым.. не хватит слов, чтобы описать красоту той церкви.

— Я ничего не понял из того что ты сказал, Леон. Прежде ты все объяснял яснее. Даже троицу.

— Прости. Я так давно не читал подходящих книг.

— У тебя здесь нет и подходящих слушателей. Церковь интересует меня теперь не больше, чем марксизм. Библию я так же не хочу читать, как и «Капитал». Лишь иногда по дурной привычке пользуюсь примитивным словом «бог». Вчера вечером...

— Любое слово, которым пользуются по привычке, ровно ничего не значит.

— И все же ты уверен, что ни на секунду не убоишься гнева старого Иеговы, когда выстрелишь Фортнуму в затылок? «Не убий».

— Если мне придется его убить, бог будет виноват не меньше, чем я.

— Бог будет виноват?

— Он сделал меня тем, что я есть. Он зарядит мой револьвер и заставит мою руку не дрогнуть.

— А я-то думал, что церковь учит, будто бог — это любовь.

— Разве любовь посылала в газовые камеры миллионы людей? Ты врач, ты часто видел невыносимые страдания... ребенка, умирающего от менингита. Это любовь? Нет, не любовь отрезала пальцы у Акуино. Полицейские участки, где такое происходит.. Он создал их.

— Вот уж не ожидал, чтобы священник винил во всем этом бога!

— Я его не виню, я его жалею,— сказал отец Ривас, и в темноте раздался едва слышный радиосигнал.

— Жалеешь бога?

Священник положил пальцы на рычажок приемника. Прежде чем его повернуть, он минуту помедлил. Да, подумал доктор Плартт, есть своя прелесть в том, чтобы не знать самого худшего. Я еще никогда не говорил больному раком, что у него нет надежды.

Голос произнес столь же равнодушно, как если бы передавал бюллетень биржевых курсов:

— Главное полицейское управление сообщает: «Вчера в семнадцать часов человек, отказавшийся себя назвать, был арестован при попытке сесть на паром, отплывавший к парагвайскому берегу. Он пытался бежать, бросившись в реку, но был застрелен полицейскими. Труп вытащили из воды. Беглец оказался водителем грузовика с консервной фабрики Бергмана. Его не было на работе с понедельника — кануна того дня, когда похитили британского консула. Его зовут Диего Корредо, возраст тридцать пять лет. Холост. Полагают, что опознание его личности будет способствовать поимке других участников банды. Считают, что похитители все еще находятся в пределах провинции, и сейчас их энергично разыскивают. Командующий 9-й пехотной бригадой предоставил в распоряжение полиции роту парашютистов».

— Ваше счастье, что его не успели допросить, — сказал доктор Плarr. — Не думаю, чтобы на данном этапе Перес стал бы с ним миндальничать.

Пабло ответил:

— Они очень скоро дознаются, кто были его друзья. Еще год назад я работал на той же фабрике. Все знали, что мы приятели.

Диктор снова заговорил об аргентинской футбольной команде. Во время ее выступлений в Барселоне произошли беспорядки, ранено двадцать человек.

Отец Ривас разбудил Мигеля и послал его сменить на посту Акуино, а когда Акуино вернулся, старый спор разгорелся с новой силой. Марта приготовила безмянное варено, которое она подавала вот уже два дня. Интересно, уж не вкушал ли отец Ривас это блюдо ежедневно всю свою семейную жизнь, подумал доктор Плarr, впрочем, оно, вероятно, было не хуже того, что он привык есть в бедняцком квартале Асунсьона.

Размахивая ложкой, Акуино требовал немедленно застрелить Чарли Фортнума.

— Они же убили Диего!

Чтобы хоть на время от них избавиться, доктор Плarr понес в соседнюю комнату тарелку с похлебкой. Чарли Фортнум взглянул на нее с отвращением.

— Я бы не отказался от хорошей отбивной, — сказал он, — но они, должно быть, боятся, что я воспользуюсь ножом для побега.

— Все мы едим то же самое, — сказал доктор Плarr. — Жаль, что здесь нет Хэмфриса. Это еще больше возбудило бы его аппетит к гуляшу в Итальянском клубе.

— «В чем бы ни была твоя вина, пишу всем дают одну и ту же».

— Это цитата?

— Это стихотворение Акуино... Что нового?

— Человек по имени Диего пытался бежать в Чако, но полиция его застрелила.

— Десять негритят пошли купаться в море, и вот — осталось девять. Следующая очередь моя?

— Не думаю. Ты ведь единственный козырь в их игре. Даже если полиция обнаружит это убежище, она побоится атаковать, пока ты жив.

— Вряд ли она станет обо мне заботиться.

— Полковник Перес будет заботиться о своей карьере.

— Тебе так же страшно, как и мне, Тед?

— Не знаю. Может быть, у меня немного больше надежды. Или мне меньше терять, чем тебе.

— Да. Это верно. Ты счастливее — тебе не надо беспокоиться о Кларе и о ребенке.

— Да.

— Ты все знаешь о таких вещах, Тед. Будет очень больно?

— Говорят, что если рана серьезная, люди почти ничего не чувствуют.

— Моя рана будет самая что ни на есть серьезная.

— Да.

— Клара будет страдать дольше моего. Хорошо бы наоборот.

Когда доктор Плarr вернулся в другую комнату, спор все еще продолжался. Акуино говорил:

— Но что он знает о нашем положении? Сидит себе спокойно в Кордове или... — он спохватился и взглянул на доктора Плarr.

— Не обращайтесь на меня внимания,— сказал доктор Пларр,— вряд ли я вас переживу. Если только вы не откажетесь от вашей безумной затеи. У вас еще есть время скрыться.

— И признать поражение перед лицом всего мира,— сказал Акуино.

— Ты был поэтом. Разве ты боялся признать неудачу, если стихотворение было плохим?

— Мои стихи не печатались,— возразил Акуино.— Никто не знал, когда меня постигала неудача. Мои стихи никогда не читали по радио. И запросов в британском парламенте о них не делали.

— Значит, в тебе опять заговорил этот проклятый machismo. Кто изобрел этот machismo? Банда головорезов вроде Писсаро и Кортеса. Неужели никто из вас не может хоть на время забыть о вашей кровавой истории? Разве вы ничему не научились на примере Сервантеса? Он досыта хлебнул machismo под Лепанто.

— Акуино прав,— сказал отец Ривас.— Мы не можем позволить себе признать неудачу. Однажды наши люди отпустили человека вместо того, чтобы его убить,— это был парагвайский консул, и Генерала он так же мало интересовал, как Фортнум, но когда дошло до дела, мы не решились его убить. Если мы снова проявим малодушие, никакие угрозы смертью на нашем континенте больше не подействуют. Пока более безжалостные люди, чем мы, не начнут убивать всех подряд. Я не хочу нести ответственность за те убийства, которые последуют за нашей неудачей.

— У тебя сложно работает совесть,— сказал доктор Пларр.— Тебе будет жаль бога и за те убийства?

— Ты совсем не понял того, что я хотел сказать?

— Совсем. Ведь иезуиты в Асунсьоне не учили меня жалеть бога. Я этого во всяком случае не помню.

— Пожалуй, у тебя было бы больше веры если бы ты это помнил.

— У меня много работы, Леон, я стараюсь лечить больных. И не могу перепоручить это богу.

— Может, ты и прав. У меня всегда было слишком много свободного времени. Две мессы по воскресеньям. Несколько праздников Два раза в неделю исповеди. Исповедоваться приходили большей частью старухи... ну и, конечно, дети. Их заставляли приходить. Били, если они не являлись, а я к тому же давал им конфеты. Вовсе не в награду. Плохие дети получали столько же конфет, сколько и хорошие. Мне просто хотелось, чтобы они чувствовали себя счастливыми, когда стояли на коленях в этой душной коробке. И когда я назначал им епитимью, я старался превратить это в игру, в награду, а не в наказание. Они сосали конфеты, произнося «Богородице дево, радуйся» Пока я был с ними, я тоже радовался. Я никогда не чувствовал себя счастливым с их отцами... или матерями. Не знаю почему. Может, если б у меня самого был ребенок...

— Какой долгий путь ты прошел, Леон, с тех пор, как покинул Асунсьон.

— Жизнь там была не такой уж непорочной, как ты думаешь. Как-то раз восьмилетний ребенок признался мне, что утопил свою младшую сестренку в Паране. Люди думали, что она сорвалась с утеса Он мне сказал, что она слишком много ела и ему доставалось меньше еды. Меньше маниоки!

— Ты дал ему конфету?

— Да. И три «Богородицы» в наказание.

Пабло отправился на пост, чтобы подменить Мигеля. Марта дала индейцу хлебки и перемыла посуду.

— Отец мой, завтра воскресенье,— сказала она.— Право же, в такой день ты мог бы отслужить для нас мессу

— Я уже больше трех лет не служил мессы. Вряд ли я сумею даже припомнить слова.

— У меня есть молитвенник, отец мой.

— Тогда прочитай себе мессу сама Польза будет та же.

— Ты слышал что они сказали по радио Нас ищут солдаты. Это может быть последняя месса, которую нам доведется услышать. А тут еще и Диего... надо отслужить мессу за упокой его души

— Я не имею права служить мессу. Когда я на тебе женился, Марта, я отлучил себя от церкви.

— Никто не знает, что ты женился.

— Знаю я.

— Отец Педро спал с женщинами. В Асунсьоне все это знали. А он служил мессу каждое воскресенье.

— Он не был женат, Марта. Он мог пойти на исповедь, и снова согрешить, и снова сходить на исповедь. Я за его совесть не отвечаю.

— Для человека, который замышляет убийство, у тебя, по-моему, какие-то странные угрызения совести. Леон — заметил доктор Пларр.

— Да. Возможно, это не совесть, а всего лишь предрассудки. Видишь ли, когда я беру в рот облатку, я все еще немножко верю, что вкушаю тело господне. Впрочем, что тут спорить! У нас нет вина.

— Нет есть, отец мой. — заявила Марта — Я нашла на свалке пустую бутылочку из-под лекарства и, когда была в городе, наполнила ее в *cañina*¹⁸.

— Ты ничего не забываешь, — грустно сказал отец Ривас.

— Отец мой, ты же знаешь, что все эти годы я хотела снова услышать, как ты служишь мессу, и видеть, как люди молятся вместе с тобой. Конечно, без красивых риз это будет не так хорошо. Жаль, что ты их не сохранил.

— Они мне не принадлежали, Марта. Да и ризы — это еще не месса. Думаешь, апостолы облачались в ризы? Я терпеть не мог их носить, люди передо мной были одеты в лохмотья. Рад был повернуться к ним спиной, забыть о них и видеть перед собой только алтарь и свечи, но на деньги, которых стоили свечи, можно было накормить половину этих людей.

— Ты не прав, отец мой. Мы все так радовались, когда видели тебя в облачении. Оно было такое красивое — ярко-красное с золотым шитьем.

— Да. Наверно, это помогало вам хоть на какое-то время уйти от действительности, но для меня это была одежда каторжника.

— Но ты же не побоишься нарушить правила архиепископа, отец мой. Ты отслужишь для нас завтра мессу?

— А если то, что они говорят, правда и я обреку себя на вечное проклятие?

— Господь бог никогда не обречет на проклятие такого человека, как ты, отец мой. А бедному Диего и жене Хосе... и всем нам... нужно твое заступничество перед богом.

— Хорошо. Я отслужу мессу. — сказал отец Ривас. — Ради тебя, Марта. Я так мало для тебя сделал за все эти годы. Ты дала мне любовь, а все, что я дал тебе, это постоянную опасность и земляной пол вместо ложа. Я отслужу мессу, как только рассветет, если солдаты отпустят нам на это время. У нас еще остался хлеб?

— Да, отец мой.

Какая-то неясная обида заставила доктора Пларра сказать:

— Ты и сам не веришь во всю эту галиматью. Леон Ты их дурачишь, как дурачил того ребенка, который убил свою сестру. Хочешь раздать им на причастии конфеты, утешить перед тем как убьешь Чарли Фортну. Я видел своими глазами такие же гнусности, как те, о которых ты слышал в исповедальне. Но меня не утешит конфетой. Я видел ребенка родившегося без рук и ног. Я бы его убил, останься я с ним наедине, но родители не сводили с меня глаз — они хотели сохранить в живых это несчастное искалеченное туловище. Иезуиты твердили нам, что наш долг возлюбить господа. Любить бога, который производит на свет таких недонсков! Это все равно что считать долгом немцев любить Гитлера. Разве не лучше просто не верить в то чудовище, которое сидит там на облаках, чем делать вид, будто его любишь?

— Может, лучше и не дышать, но я волей-неволей дышу. Кое-кто из людей, как видно, приговорен неким судьей к тому, чтобы верить, точно так же, как приговаривают к тюремному заключению. У них нет выбора. Нет избавления. Они посажены за решетку на всю жизнь.

— «Отца я вижу только сквозь решетку», — с мрачным удовлетворением процитировал Акуино.

— Вот я и сижу на полу моей тюремной камеры, — сказал отец Ривас, — пытаюсь что-то понять. Я не богослов, почти по всем предметам я был последним в классе, но я всегда старался понять того, кого ты зовешь чудовищем, и почему я не могу перестать его любить. Совсем как родители, которые любили то изуверенное, жал-

¹⁸ Трактире (*исп.*).

кое туловище. Что ж, я с тобой согласен, он выглядит довольно уродливо, но ведь и я тоже урод, а все-таки Марта меня любит. В моей первой тюрьме — я имею в виду семинарию — было множество книг, где я мог прочесть все насчет любви к богу, но они мне не помогли. Не помог и никто из святых отцов. Ведь они никогда ни единым словом не обмолвились, что он — чудовище: ты совершенно прав, что так его зовешь. Им все было ясно. Они удобно рассаживались в присутствии такого чудовища, как старый архиепископ, за столом Генерала и болтали об ответственности человека и о свободе воли. Свобода воли служила оправданием всему. Это было алиби господ бога. Фрейда они не читали. Зло творил человек или сатана. Поэтому все выглядело просто. Но я никогда не мог поверить в сатану. Куда легче было поверить, что зло — это сам бог.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, отец мой! — воскликнула Марта.

— Я говорю сейчас не как священник, Марта. Мужчина вправе размышлять вслух в присутствии жены. Даже сумасшедший, а может быть, я и в самом деле немного сошел с ума. Может, в те годы в бедных кварталах Асунсьона я и свихнулся и поэтому сижу сейчас в ожидании часа, когда мне придется убить безвинного человека...

— Ты не сумасшедший, Леон, — сказал Ажуино. — Напротив, ты взялся за ум. Мы еще сделаем из тебя хорошего революционера. Разумеется, бог — это зло, бог — это капитализм. «Собирайте себе сокровища на небе»¹⁹ и они стократно окупятся в вечности.

— Я верю, что бог — это зло, — сказал отец Ривас, — но я верю и в его добро. Он сотворил нас по своему образу и подобию, как гласит древнее поверье. Ты отлично знаешь, Эдуардо, сколько истинной пользы в старых медицинских поверьях. Лечение змеиным ядом открыла не современная лаборатория. И старуха пользовалась плесенью с переспелых апельсинов задолго до пенициллина. Вот и я верю в древнее, почти позабытое поверье. Он сотворил нас по своему образу и подобию, значит, наши грехи — это и его грехи. Разве я мог бы любить бога, если бы он не был похож на меня? Раздвоен, как я. Подвергается искушениям, как я. Если я люблю собаку, то только потому, что вижу в ней нечто человеческое. Я могу почувствовать ее страх и ее благодарность и даже ее предательство. Когда она спит, то видит сны, как и я. Не думаю, чтобы я мог полюбить жабу, — хотя порой, когда мне приходилось дотронуться до жабы, ее кожа напоминала мне кожу старика, который провел суровую голодную жизнь, работая в поле, и я подумываю...

— Право же мое неверие куда легче понять, чем такую веру, как твоя. Если твой бог — з...о...

— Я провел больше двух лет в подполье, — сказал отец Ривас, — и нам пришлось ездить налегке. В наших рюкзаках богословские книги не помещаются. Только Марта сохранила молитвенник. Свой я потерял. Иногда мне попадался роман в бумажной обложке, вроде того, что я здесь читал. Какой-нибудь детектив. Такая жизнь оставляет много времени для раздумья, и, быть может, Марта права, у меня ум зашел за разум. Но иначе верить в бога я не могу. Бог, в которого я верю, должен нести ответственность за все творимое зло так же, как и за своих святых. Он должен быть богом, созданным по нашему подобию, с темной стороной наряду со стороной светлой. Когда ты Эдуардо, говоришь о чудовище, ты говоришь о темной стороне бога. Я верю, что придет время, когда эта темная сторона рассеется и мы сможем видеть лишь светлую сторону доброго бога. Ты веришь в эволюцию, Эдуардо, хотя бывает, что целые поколения людей скатываются назад, к зверью. Это долгая борьба и мучительно долгая эволюция; я верю, что и бог проходит такую же эволюцию, как мы, только пожалуй, с большими муками.

— Не знаю, как насчет эволюции, — сказал доктор Пларт, — но представь себе, что будет, если темная сторона твоего бога поглотит его светлую сторону. Представь себе, что исчезнет добро. Если бы я разделял твою веру, мне иногда казалось бы, что это уже произошло.

— Но я верю в Христа, — продолжал отец Ривас, — я верю в крест и верю в искупление. В искупление бога и человека. Верю, что светлая сторона бога в какой-то счастливый миг творения произвела совершенное добро, так же как человек может написать хоть одну совершенную картину. В тот раз бог полностью воплотил свои добрые намерения, поэтому темная сторона может одерживать то там, то тут лишь

¹⁹ Евангелие от Матфея 6:20.

временные победы. С нашей помощью. Потому что эволюция бога зависит от нашей эволюции. Каждое наше злое дело укрепляет его темную сторону, а каждое доброе — помогает его светлой стороне. Мы принадлежим ему, а он принадлежит нам. Но теперь мы хотя бы твердо знаем к чему когда-нибудь приведет эволюция, — она приведет к благодати, подобной благодати Христовой. И все же это ужасный процесс, и тот бог, в которого я верю, страдает, как и мы борясь с самим собой — со своим злом.

— А что, убийство Чарли Фортнума поможет его эволюции?

— Нет. Я все время молюсь, чтобы мне не пришлось его убить.

— И все же ты его убьешь, если они не уступят?

— Да. Потому же, почему ты спишь с чужой женой. Десять человек подымают в тюрьме медленной смертью, и я говорю себе, что борюсь за них и люблю их. Я знаю, что эта моя любовь — слабое оправдание. Святому достаточно было бы сотворить молитву, а мне придется носить револьвер. Я замедляю эволюцию.

— Тогда почему же?..

— Святой Павел ответил на этот вопрос: «Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю»²⁰. Он знал все о темной стороне бога. Он был одним из тех, кто побил камнями первомученика Стефана.

— И веря во все это, ты все еще называешь себя католиком?

— Да. Я называю себя католиком. что бы ни говорили епископы. И даже сам папа.

— Отец мой, ты меня пугаешь, — сказала Марта. — Ведь всего этого нет в катехизисе?

— В катехизисе этого нет, но катехизис — это еще не вера, Марта. Это нечто вроде графика движения. В том, что я говорил, нет ничего, что противоречило бы катехизису. Когда ты была ребенком, ты учила про Авраама и Исаака, и как Иаков обманул своего брата, и как был разрушен Содом, вроде той деревни в Андах в прошлом году. Когда бог — зло, он требует, чтобы и люди творили зло; он может создавать таких чудовищ, как Гитлер; он губит детей и города. Но когда-нибудь с нашей помощью он сумеет навсегда сорвать свою злую личину. Ведь злую личину иногда носили и святые, даже Павел. Господь связан с нами чем-то вроде общего кровообращения. Его здоровая кровь течет в наших жилах, а наша зараженная — в его. Ладно, знаю — я болен или сошел с ума. Но только так я могу верить в благодать Божию.

— Куда проще вообще не верить в бога.

— Ты в этом уверен?

— Ну, может, иезуиты и заронили в меня микроб этой болезни, но я его выделил. И слежу, чтобы он не размножался.

— Я никогда еще не говорил таких вещей вслух... Не знаю, почему заговорил сейчас.

— Может, потому, что потерял надежду?

— Тед! — позвал из соседней комнаты голос, который доктор Пларр начинал ненавидеть. — Тед!

Доктор Пларр не двинулся с места.

— Твой больной, — напомнил отец Ривас.

— Я сделал для него все, что мог. И какой смысл чинить его лодыжку, если ты собираешься пустить ему пулю в лоб?

— Тед! — раздался снова тот же голос.

— Наверно, хочет меня спросить, какие витамины Клара должна давать его ребенку. Или когда его лучше отнять от груди. Его ребенку! Темная сторона господа бога, наверное, смеется до упаду. Я никогда не хотел ребенка. Если бы она позволила, я бы от него избавился.

— Говори потише, — сказал отец Ривас, — хоть ты и ревнуешь к этому бедняге.

— Ревную к Чарли Фортнуму? С чего это мне ревновать? — Он выкрикнул: — Ревновать из-за ребенка? Но ребенок-то мой. Ревновать его к жене? Но она ведь тоже моя. Пока я ее хочу.

— Ты ревнуешь, потому что он любит ее.

Пларр чувствовал, как на него смотрит Марта. Даже в молчании Акуино было осуждение.

— Опять эта любовь! Такого слова нет в моем словаре.

²⁰ Послание Павла к Римлянам 7 : 15.

— Дай мне твою рубашку, отец — сказала Марта. — Я хочу ее выстирать к мессе.

— Немножко грязи не помешает.

— Ты не снимал ее три недели, отец мой. Нехорошо идти к алтарю, если от тебя пахнет псиной.

— Здесь нет алтаря.

— Дай рубашку, отец мой.

Он послушно снял рубашку; синяя краска вылиняла от солнца и была в пятнах от пищи и известки множества стен.

— Делай как знаешь, — сказал священник. — А все-таки жалко попусту тратить воду. Она еще может напоследок понадобиться.

Стемнело так, что хоть глаз выколи, и негр зажег три свечи. Одну он понес в соседнюю комнату, но тут же вернулся с нею и погасил.

— Он спит, — сказал он.

Отец Ривас включил радио, и по комнате понеслись печальные звуки музыки гуарани — музыки народа, обреченного на гибель. Треск атмосферных помех был похож на ожесточенную пулеметную стрельбу. Наверху в горах по ту сторону реки к концу подходило лето, и отблески молний дрожали на стенах.

— Пабло, выставь наружу все ведра и кастрюли, — сказал отец Ривас.

Внезапно налетел ветер, зашелестел по жестяной крыше листьями авокадо, но тут же стих.

— Если не удастся убедить Марту, что богу не противно голое человеческое тело, придется служить мессе в мокрой рубашке. — сказал отец Ривас.

Вдруг с ними заговорил голос, словно кто-то стоял в самой хижине, рядом.

— Управление полиции уполномочило нас зачитать следующее сообщение. — Наступила пауза, диктор искал нужное место. Им даже было слышно, как шуршит бумага. — «Теперь известно, где банда похитителей держит пленного британского консула. Ее обнаружили в квартале бедноты, где...»

Дождь из Парагвая обрушился на крышу и заглушил слова диктора. Вбежала Марта, держа в руках мокрую тряпку — это была рубашка отца Риваса. Она закричала:

— Отец мой, что делать? Дождь...

— Тише, — сказал священник и усилил звук.

Дождь прошел над ними по направлению к городу, а комната почти непрерывно освещалась молнией. С той стороны реки, из Чако доносился гром, он придвигался все ближе, как огневой вал перед атакой.

— «У вас больше нет надежды на спасение, — в перерыве между атмосферными помехами медленно, внушительно продолжал голос, отчетливо выговаривая слова, как учитель, объясняющий математическую задачу школьникам; доктор Пларр узнал голос полковника Переса. — Мы точно знаем, где вы находитесь. Вы окружены солдатами 9-й бригады. До восьми часов завтрашнего утра вам надлежит выпустить из дома британского консула. Он должен выйти один и пройти в полной безопасности под укрытие деревьев. Через пять минут после этого вы выйдете сами по одному, с поднятыми руками. Губернатор гарантирует, что вам будет сохранена жизнь и вас не вернут в Парагвай. Не пытайтесь бежать. Если кто-нибудь выйдет из хижины прежде, чем консула отпустят целым и невредимым, он будет застрелен. Белый флаг принят во внимание не будет. Вы окружены со всех сторон. Предупреждаю, если консула не отпустят целым и...»

В приемнике так завывало и затрещало, что слов уже нельзя было расслышать.

— Берут на пушку! — сказал Акуино. — Просто берут на пушку. Если бы они были здесь, Мигель бы нас предупредил. Он видит даже муравья впотьмах. Убьем Фортнума, а потом будем тянуть жребий, кому выходить первому. В такую темень разве разглядишь, кто отсюда выйдет — консул или кто другой? — Он распахнул дверь и позвал индейца: — Мигель!

В ответ на его оклик полукругом вспыхнули прожектора — они загорелись между деревьями дугой в каких-нибудь ста шагах. Через открытую дверь доктор Пларр видел, как мошкара тучей летит на огонь прожекторов, бьется о стекла и сгорает. Индеец плашмя лежал на земле, тень же доктора откинулась назад в глубь хижины

и растянулась на полу как мертвец. Доктор отошел в сторону. Интересно, заметил ли его Перес, узнал ли?

— Они не посмеют стрелять в хижину,— сказал Акуино,— побоятся убить Фортнума.

Огни снова погасли. В затишье между раскатами грома послышался слабый шорох, словно забегали крысы. Акуино, стоя у косяка двери, направил автомат в темноту.

— Не надо,— сказал отец Ривас,— это Мигель.

Новая волна дождя окатила крышу; ветер во дворе опрокинул ведро, и оно с грохотом покатилося.

Темнота длилась недолго. Может быть, молния вызвала короткое замыкание, которое теперь починили. Из хижины им было видно, как индеец поднялся на ноги, котел побежать, но его ослепил свет. Он завертелся, прикрыв рукой глаза. Раздался одинокий выстрел, он упал на колени. Казалось, что солдаты 9-й бригады не желают трогать боеприпасы на такую ничтожную мишень. Индеец стоял на коленях, опустив голову, как набожный прихожанин во время вознесения даров. Он покачивался из стороны в сторону, словно совершая какой-то первобытный обряд. Потом с огромным усилием стал поднимать автомат, но повел его совсем не туда, куда следовало, пока не нацелил на открытую дверь хижины. Доктор Пларр наблюдал за ним, прижавшись к стене, ему казалось, что парашютисты злорадно ожидают, что произойдет дальше. Тратить еще одну пулю они не собирались. Индеец не представлял для них опасности: прожектора слепили так, что цель он не мог разглядеть. Им было безразлично, умрет он сейчас или несколько позже. Пусть валяется хоть до утра. Автомат пролетел по воздуху несколько футов к хижине. Но упал так, что его было не достать, а Мигель остался лежать на земле.

Акуино сказал:

— Надо втащить его сюда.

— Он мертв,— заверил его доктор Пларр.

— Почему вы знаете?

Свет снова погас. Люди, укрывшиеся за деревьями, словно играли с ними в жестокую игру.

— Рискните вы, доктор,— сказал Акуино.

— Что я могу сделать?

— Верно,— кивнул отец Ривас.— Они хотят выманить наружу кого-нибудь из нас.

— Ваш друг Перес может не открыть огня, если выйдете вы.

— Мой пациент находится здесь,— сказал доктор Пларр.

Акуино потихоньку растворил дверь пошире. Еще чуть-чуть, и можно было дотянуться до автомата. Акуино протянул к нему руку. Вспыхнул свет, пуля вошла в косяк двери, которую он едва успел захлопнуть. Должно быть, тот, кто ведал прожекторами, услышал скрип дверных петель.

— Закрой ставни, Пабло.

— Хорошо, отец мой.

Отгородившись от слепящего света, они почувствовали себя хоть в какой-то безопасности.

— Что нам делать, отец мой? — спросил негр.

— Убить Фортнума немедленно,— отозвался Акуино,— а когда свет снова потухнет, попытаться бежать.

Пабло сказал:

— Двое из нас уже мертвы. Будет лучше, отец мой, если мы сдадимся. Ведь тут есть еще Марта.

— А как же месса, отец мой?

— Кажется, мне придется отслужить заупокойную мессу,— сказал отец Ривас.

— Отслужи какую хочешь мессу,— сказал Акуино,— но сперва убей консула.

— Разве я могу служить мессу убив человека?

— А почему бы и нет, если ты можешь служить мессу, собираясь убить человека? — сказал доктор Пларр.

— Эх, Эдуардо, значит, ты все еще католик, если умеешь поворачивать в ране нож. Ты еще будешь моим исповедником.

— Можно мне приготовить стол, отец мой? У меня есть вино. У меня есть хлеб.

— Я отслужу мессу, когда начнет светать. Я должен подготовиться сам, Марта, а это дольше, чем накрыть на стол.

— Позволь мне убить его, пока ты будешь молиться,— сказал Акуино. — Делай свое дело и предоставь мне делать мое.

— Я думал, твое дело писать стихи,— сказал доктор Пларр.

— Все мои стихи были о смерти, так что по этой части я знаток.

— Чего дальше тянуть, это же бессмыслица,— сказал Пабло. — Прости меня, отец мой, но Диего правильно поступил, когда пытался спастись. С ума надо сойти, чтобы убить одного человека, если за это наверняка убьют пятерых. Отец мой..

— Давайте голосовать,— нетерпеливо перебил его Акуино.— Решим голосованием.

— Ты уверовал в парламентскую систему, Акуино? — спросил доктор Пларр.

— Не говори о том, чего не знаешь, доктор.

— Я голосую за то, чтобы сдаться.— сказал Пабло.

Он закрыл лицо руками. Плечи его дрожали, видно было, что он плачет. Кого он оплакивал? Себя? Мертвых? Или плакал от стыда?

Доктор Пларр подумал: головорезы! Вот как их окрестят газеты. Поэт-неудачник, отлученный от церкви священник, набожная женщина, человек, который плачет. Господи, пусть эта комедия кончится как комедия. Никто из нас не рожден для трагедии.

— Я люблю этот дом,— сказал Пабло. — Когда умерли мои жена и ребенок, у меня не осталось ничего, кроме этого дома.

Вот и еще один отец, сказал себе доктор Пларр, неужели мы никогда не расстанемся с нашими отцами?

— Я голосую за то, чтобы убить Фортнума сейчас же,— заявил Акуино.

— Ты же сказал, что они берут нас на пушку,— сказал отец Ривас. — Может, ты и прав. Допустим, что вот уже восемь часов, а мы так ничего и не сделали,— они все равно не смогут на нас напасть. Пока он жив.

— Тогда за что же ты голосуешь? — спросил Акуино.

— За отсрочку. Мы же назначили срок — он истекает завтра в полночь.

— А ты, Марта?

— Я голосую, как мой муж,— гордо ответила она.

Громкоговоритель — его было слышно так хорошо, что он, вероятно, был установлен тут же между деревьями,— заговорил с ними, как и прежде, голосом Переса:

— Правительство Соединенных Штатов и британское правительство отказались посредничать в этом деле. Если вы слушали радио, вы знаете, что я говорю правду. Ваш шантаж не удался. Вы ничего не выиграете, продолжая задерживать консула. Если хотите спасти себе жизнь, выпустите его из хижины до восьми ноль-ноль.

— Они чересчур настойчивы,— сказал отец Ривас.

Кто-то шептался рядом с микрофоном. Слова были неразборчивы — они звучали, как шест гальки при откате волны. Потом Перес продолжал:

— У вашего порога лежит умирающий. Выпустите сейчас же к нам консула, и мы постараемся спасти вашего друга. Неужели вы обречете одного из ваших товарищей на медленную смерть?

Даже клятва Гипюкрата не обязывает идти на самоубийство, сказал себе доктор Пларр. Когда он был ребенком, отец читал ему о героях, о спасении раненых под огнем, о том, как капитан Отс уходит из палатки в метель²¹. «Стреляйте, хоть я и стара, коль так велит вам долг»²².— в те дни это было одним из его любимых стихотворений.

Он вышел в соседнюю комнату. В темноте ничего нельзя было разглядеть. Он прошептал:

— Вы не спите?

— Нет.

— Как ваша лодыжка?

²¹ Капитан Отс (ум в 1912) — участник экспедиции Р. Скотта к Южному полюсу. В надежде спасти своих товарищей ушел в метель из палатки и погиб.

²² Строки из баллады американского поэта Д. Г. Уитьера (1807—1892) «Барбара Фритчи», героиня которой, девятилетняя старуха, несмотря на угрозы южан, отказывается снять флаг северных штатов.

- Ничего.
- Я принесу свечу и смену повязку.
- Не надо.
- Солдаты нас окружили,— сказал доктор Плarr.— Не теряйте надежду.
- Надежду на что?
- Только один из них действительно хочет вашей смерти.
- Да? — равнодушно откликнулся голос из темноты.
- Акуино.
- И вы,— сказал Чарли Фортнум,— вы! Вы тоже ее хотите.
- Чего ради?

— Вы слишком громко разговариваете, Плarr. Не думаю, чтобы вы так громко говорили в поместье, даже когда я был в поле, за милую отсюда. Вы всегда были чертовски осторожны — боялись, чтобы не услышали слуги. Но наступает минута, когда даже у мужа открываются уши. — В темноте слышался шорох, словно он пробовал приподняться. — Я ведь думал, Плarr, что у врачей должен быть кодекс чести, но это, конечно, чисто английское представление, а вы ведь только наполовину англичанин, ну а другая половина...

— Не знаю, что вы подслушали,— сказал доктор Плarr. — Вы либо неправильно поняли, либо вам что-то приснилось.

— Наверно, вы думали, какое, черт побери, это имеет значение, она ведь всего только проститутка из дома матушки Санчес? Сколько она вам стоила? Что вы ей подарили. Плarr?

— Если хотите знать,— вспыхнув от злости, сказал доктор Плarr,— я подарил ей солнечные очки от Грубера.

— Те самые очки? Она их очень берегла. Считала шикарными, ну вот, а теперь ваши друзья разбили их вдребезги. Какая вы свинья, Плarr. Ведь это все равно что изнасиловать ребенка.

— Ну, положим, это было куда легче.

Доктор Плarr не сообразил, что стоит рядом с гробом. И не заметил в темноте, что на него занесли кулак. Удар пришелся по шее и заставил поперхнуться. Доктор Плarr отступил и услышал, как заскрипел гроб.

— Боже мой,— сказал Чарли Фортнум,— я опрокинул бутылку.— И добавил: — А там еще оставалась целая норма. Я берег ее для...

Рука зашарила по полу, дотронулась до туфли доктора Плarrа и отдернулась.

— Я принесу свечу.

— Ну нет, не надо. Не хочу больше видеть вашу подлую рожу.

— Вы смотрите на такие вещи слишком серьезно. Все ведь в жизни бывает, Фортнум.

— Вы даже не делаете вид, что ее любите.

— Не делаю.

— Наверно, вы бывали с ней в публичном доме, вот и думали...

— Я же говорил вам — я ее там видел, но никогда с ней не был.

— Я спас ее отсюда, а вы стали толкать ее назад.

— Я этого не хотел, Фортнум.

— Не хотели и того, чтобы вас вывели на чистую воду. Думали устроиться по-дешевле, не платить денег за свои удовольствия.

— Какой смысл закатывать сцену? Я считал, что все быстро кончится и вы ничего не узнаете. Ведь ни она, ни я не любим друг друга. Любовь — вот единственная опасность, Фортнум.

— Я любил.

— Вы же получили бы ее обратно. И никогда бы ничего не узнали.

— Когда же это началось, Плarr?

— Когда я во второй раз ее встретил. У Грубера. И подарил ей солнечные очки.

— Куда вы ее повели? Назад к мамаше Санчес?

Эти настойчивые вопросы напомнили доктору Плarrу, как пальцами выжимают из нарыва гной.

— Я повел ее к себе домой. Пригласил на чашку кофе, но она отлично понимала, что я под этим подразумеваю. Если бы не я, рано или поздно был бы кто-нибудь другой. Ее и мой швейцар знал.

— Слава богу,— сказал Фортнум.

— Почему?

— Нашел бутылку. Ничего не пролилось.

Было слышно, как Фортнум пьет. Доктор Плarr заметил:

— Лучше бы вы оставили немножко на тот случай...

— Я знаю, вы считаете меня трусом, но теперь я не очень-то боюсь умереть. Это куда легче, чем вернуться назад в поместье и дожидаться, когда у нее родится похожий на вас ребенок.

— Я этого не хотел,— повторил доктор Плarr. Злости больше не было, и защищаться он уже не мог. — Никогда ничего не выходит так, как хочется. Они же не собирались вас похитить. А я не собирался иметь ребенка. Можно подумать, что где-то сидит большой шутник, которому нравится из всего устраивать ералаш. Может, у темной стороны господа бога такое чувство юмора.

— У какой еще темной стороны?

— Это сумасшедшая выдумка Леона. Вот что вам следовало бы услышать, а во все не то, что вы услышали.

— Я не собирался подслушивать, просто хотел слезть с этого проклятого ящика и побыть с вами. Мне было тоскливо, а ваши наркотики больше не действуют. Я уже почти добрался до двери, когда услышал, как священник говорит, что вы ревнуете. Ревнует, подумал я, к кому же он ревнует? А потом услышал и вернулся на этот чертов ящик.

Однажды в дальней деревне доктору Плarrу пришлось сделать срочную операцию, которой он делать еще не умел. Перед ним был выбор — пойти на риск или предоставить женщине умереть. Потом он испытывал такую же усталость, какую чувствовал теперь, а женщина все равно умерла. В изнеможении он опустился на пол. И подумал: я сказал все, что мог. Что еще я могу сказать? А женщина умирала долго — или так ему тогда показалось.

Фортнум сказал:

— Подумать только, я ведь написал Кларе, что вы будете присматривать за ней и за ребенком.

— Знаю.

— Откуда, черт возьми, вы можете это знать?

— Не только вы один здесь слушаете то, что не надо. И тут вмешался шутник. Я слышал, как вы диктовали Леону. Это меня разозлило.

— Разозлило? Почему?

— Наверно, Леон был прав — я и в самом деле ревную.

— Кого?

— Еще одна забавная неразбериха, а?

Он услышал, что Чарли Фортнум снова пьет.

— Даже вашей нормы вам не хватит на целую вечность,— сказал доктор Плarr.

— Вечность мне и не грозит. Почему я не могу вас ненавидеть, Плarr? Неужели из-за виски? Но я еще не пьян.

— Может, вы и пьяны. Немножко.

— Это ужасно, Плarr, но ведь мне больше не на кого их оставить. Хэмфрису я не доверяю...

— Если хотите уснуть, я сделаю вам укол морфия.

— Лучше не спать. Мне еще о многом надо подумать, а времени мало. Дайте мне побыть одному. Пора к этому привыкать. Правда?

Глава IV

Доктору Плarrу казалось, что их оставили совершенно одних. Враги от них отступились: громкоговоритель молчал, дождь прекратился, и, несмотря на тревожные мысли, доктор Плarr заснул, хотя то и дело просыпался. В первый раз он открыл глаза потому, что его разбудил голос отца Риваса. Священник стоял на коленях у двери, прижав губы к трещине в доске. Он, казалось, разговаривал с мертвым или с умирающим за порогом. Что это было: слова утешения, молитва, отпущение грехов? Доктор Плarr повернулся на другой бок и снова заснул. Когда он проснулся во второй раз, в соседней комнате храпел Чарли Фортнум — хриплым, скрипучим, пьяным храпом. Может, ему снилось, как он блаженствует у себя дома в большой кровати после того, как прикончил у бара бутылку? Неужели Клара терпит его храп? О чем

она думает, вынужденная лежать рядом с ним без сна? Вспоминает ли с сожалением о своей каморке у мамыши Санчес? Там с наступлением рассвета она могла спокойно спать одна. Грустит ли о простоте своей тогдашней жизни? Он всего этого не знал. Отгадать ее мысли было все равно что понять мысли какого-нибудь странного зверька.

Свет прожекторов, проникавший под дверь, стал тускнеть. Наступал последний день. Он вспомнил, как много лет назад сидел с матерью на представлении *sop-et-lumière*²³ в окрестностях Буэнос-Айреса. Лучи прожекторов появлялись и исчезали, как слова, которые мелом писал на доске учитель, выхватывая из темноты то дерево, под которым однажды кто-то сидел — уж не Сан-Мартин ли?²⁴ — то старую конюшню, где какая-то другая историческая личность привязывала коня, а то и окна комнаты, где что-то подписывали — договор или конституцию, он не мог припомнить. Чей-то голос рассказывал эту историю прозой, отмеченной величием невозвратного прошлого. Он устал от медицинских размышлений и заснул. Когда он проснулся в третий раз, Марта уже хлопотала, накрывая скатертью стол, а сквозь щели в окне и двери просачивался дневной свет. На столе стояли на блюдах две незажженные свечи.

— Это все свечи, какие у нас остались, отец мой, — сказала Марта.

Отец Ривас еще спал, свернувшись, как зародыш.

Марта снова окликнула его:

— Отец мой!

От ее голоса навстречу новому дню стали просыпаться остальные — Леон, Пабло, Акуино.

— Который час?

— Что?

— Что ты сказала?

— Не хватает свечей, отец мой.

— Дело не в свечах, Марта. Что ты так суетишься?

— Рубашка твоя еще мокрая. Ты помрешь от простуды.

— Вряд ли от нее, — сказал отец Ривас.

Она досадливо ворчала, ставя на стол пузырек из-под лекарства с вином, бутыл из тыквы, которая должна была служить чашей, расстилая дырявое кухонное полотенце вместо салфетки.

— Не того я хотела, — жаловалась она. — Не о том мечтала. — Она положила на стол карманный молитвенник с рваным переплетом и раскрыла его. — Какое сегодня воскресенье, отец мой? — спросила она, листая страницы. — Двадцать пятое воскресенье после троицына дня или двадцать шестое? А может быть, сегодня рождественский пост, отец мой?

— Понятия не имею, — сказал отец Ривас.

— Как же я тогда найду нужное послание и главу из Евангелия?

— Прочту что попадется, наугад.

— Было бы хорошо отпустить Фортнума сейчас, — сказал Пабло. — Уже почти шесть, и через два часа...

— Нет, — возразил Акуино, — мы проголосовали за то, чтобы подождать.

— А вот он не голосовал, — сказал Пабло, указывая на доктора Пларра.

— У него нет права голоса. Он не с нами.

— Он умрет вместе с нами.

Отец Ривас взял у Марты мокрую рубашку.

— Нам некогда спорить, — сказал он. — Я отслужу мессу. Если сеньор Фортнум захочет ее послушать, помогите ему войти. Я отслужу мессу по Диего, по Мигелю, по всем нам, кто сегодня может умереть.

— Только не по мне, — заявил Акуино.

— Ты не можешь мне указывать, за кого надо молиться. Я знаю, что ты ни во что не веришь. Ладно. Не верь. Встань в тот угол и ни во что не верь. Кому какое дело, веришь ты или нет. Даже твой Маркс знает не больше моего, что истинно и что ложно.

²³ Звук и света (франц.).

²⁴ Сан-Мартин Хосе (1778—1850) — один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Южной Америке, национальный герой Аргентины.

— Терпеть не могу, когда попусту тратят время. У нас его не так много осталось.

— А как бы ты хотел его употребить?

Акуино рассмеялся.

— Конечно, я бы так же его потратил, как и ты. «Когда о смерти речь, то говорит живой». Если бы я все еще хотел писать стихи, я бы сделал эту строчку чуть яснее — я уже начинаю понимать ее сам.

— Ты примешь мою исповедь, отец мой? — спросил негр.

— Конечно. погоди минутку. Давай выйдем на задний двор. А ты, Марта?

— Как я могу тебе исповедоваться, отец мой?

— А почему бы нет? Ты достаточно близка к смерти, чтобы дать любое обещание — даже покинуть меня.

— Я никогда...

— Об этом позаботятся парашютисты.

— А ты сам, отец мой?

— Ну, мне придется сбиться без исповеди. Не всем так везет, что перед смертью у них под рукой священник. Я рад принадлежать к большинству. Слишком долго был одним из привилегированных.

Доктор Пларр оставил их и пошел в другую комнату.

— Леон собирается служить мессу, — сказал он. — Хотите присутствовать?

— Который час?

— Не знаю. Кажется, начало седьмого. Уже взошло солнце.

— Что они намерены делать?

— Перес велел им освободить вас до восьми.

— А они не хотят?

— Думаю, что нет.

— Значит, они убьют меня, а Перес убьет их. Только у вас есть шанс уцелеть, да?

— Может быть. Хотя и этот шанс невелик.

— Мое письмо Кларе... как бы там ни было, возьмите его у меня.

— Как хотите.

Чарли Фортнум вынул из кармана сверток бумаги.

— Здесь главным образом счета. Неоплаченные. Все торговцы жульничают, кроме Грубера... Куда, черт возьми, я его дел? — В конце концов он нашел письмо в другом кармане. — Нет, — сказал он, — теперь уже нет смысла его передавать. Зачем ей мои нежности, если у нее будете вы? — Он разорвал письмо на мелкие клочки. — Да я и не хотел бы, чтобы его прочла полиция. У меня есть еще и фотография, — добавил он, роясь в бумажнике. — Единственная моя фотография «Гордости Фортнума», но на ней и Клара тоже. — Он кинул взгляд на фотографию, потом порвал и ее. — Обещайте, что не расскажете ей, что я все о вас знал. Не хочу, чтобы она чувствовала себя виноватой. Если она на это способна.

— Обещаю, — сказал доктор Пларр.

— Эти счета... лучше займитесь ими сами. — Чарли Фортнум передал их Пларру. — На моем текущем счету, наверно, найдется, чем их оплатить. Если нет, эти жулики и так достаточно меня надували. Я уйду с корабля, — добавил он, — но не хочу, чтобы пострадал экипаж.

— Сейчас отец Ривас начнет служить мессу. Если хотите послушать, я вас туда отведу.

— Нет, я никогда не был, что называется, человеком религиозным. Пожалуй, останусь здесь со своим виски. — Он смерил взглядом то, что осталось в бутылке. — Может, хлебну глоточек сейчас, тогда напоследок еще останется настоящая норма. Даже больше шкиперской.

Из соседней комнаты доносился тихий голос. Чарли Фортнум сказал:

— Знаю, что если во все это верить, люди под конец получают какое-то утешение. А вы вообще во что-нибудь верите?

— Нет. — Теперь, когда в их отношения была внесена ясность, доктор Пларр испытывал странную потребность выразиться предельно точно. Он добавил: — Думаю, что нет.

— Я тоже... хотя... Это страшно глупо, но когда со мной тот тип, я говорю о священнике... ну о том, кто собирается меня убить... я чувствую... Знаете, была даже минута, когда мне показалось, что он хочет мне исповедаться. Мне, Чарли Фортнуму! Можете себе представить? И ей-богу, я бы отпустил ему грехи... Когда они убьют меня, Пларр?

— Не знаю, который сейчас час. У меня нет часов. Наверно, около восьми. Перес даст тогда команду парашютистам. Что будет дальше, один бог знает.

— Опять бог! Никуда от этого дурацкого слова не денешься, верно? Может, все-таки пойти и немного послушать? Вреда от этого не будет. А ему приятно. Я имею в виду священника. Да и делать все равно нечего... Если вы мне поможете.

Он оперся рукой на плечо доктора Пларра. Весил он на удивление мало для своей комплекции — будто его тело было надуту воздухом. Он старик, жить ему все равно осталось недолго, подумал Пларр и вспомнил тот вечер, когда встретил его в первый раз и они с Хэмфрисом тащили его, несмотря на все протесты, через дорогу в «Боливар». Тогда он весил куда больше. Они не сделали и двух шагов к двери, как Чарли Фортнум остановился и будто застыл на месте.

— Не могу,— сказал он.— Да и к чему это? Не хочу в последнюю минуту подлизываться. Проводите меня назад, к моему виски. Это и будет мое причастие.

Доктор Пларр вернулся в соседнюю комнату. Он встал рядом с Акуино, тот сидел на полу, недоверчиво наблюдая за движениями священника. Словно опасался, что, двигаясь взад и вперед возле стола и делая таинственные жесты руками, отец Ривас готовит ловушку, замышляет измену. Доктор Пларр вспомнил, что все стихи Акуино были о смерти. Видно, он не хотел, чтобы под конец ее у него отобрали.

Отец Ривас читал отрывок из Евангелия. Читал он не по-испански, а по-латыни; доктор Пларр давно забыл те немногие латинские слова, которые когда-то знал. Пока голос торопливо произносил фразы на этом мертвом языке, он следил за Акуино. Быть может, остальные думали, что, опустив глаза, он молится; у него и в самом деле промелькнула в голове какая-то молитва — или по крайней мере мольба, полная доверия к Телу Мое, мольба о том, чтобы в нужный момент у него хватило сил и решимости действовать быстро. Если бы я был с ними по ту сторону границы, подумал он, как бы я поступил, когда мой отец молил о помощи во дворе полицейского участка? Вернулся бы я назад к нему или спасался бы сам, как они?

Отец Ривас стал совершать последование мессы и освящение хлеба. Марта смотрела на мужа с гордостью. Священник поднял тыквенный сосуд и произнес единственную фразу из всей службы, которую доктор Пларр почему-то еще помнил: «...сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание»²⁵. Сколько поступков совершал он в своей жизни в память о чем-то забытом или почти забытом?

Священник опустил сосуд. Он встал на колени и сразу поднялся. Казалось, ему не терпится поскорее закончить службу. Он был как пастух, который спешит загнать стадо в коровник до начала грозы, но пустился домой он слишком поздно. Репродуктор гаркнул свое сообщение голосом полковника Переса: «Торопитесь выслать к нам консула и спасти свою жизнь. У вас остался ровно час». Доктор Пларр заметил, что рука Акуино крепче сжала автомат. Голос продолжал: «Повторяю, у вас остался всего один час. Освободите консула и спасите свою жизнь».

— «...ради того, кто взял на себя грехи всего мира, да дарует он им вечный покой».

Отец Ривас начал: «Domine, non sum dignus»²⁶. Ему вторил только голос Марты. Доктор Пларр оглянулся, чтобы посмотреть, где Пабло. Негр стоял у задней стены на коленях, с опущенной головой. Смогу ли я, подумал доктор Пларр, пока их внимание отвлечено мессой, выхватить у Акуино автомат и продержат их под дулом достаточно долго, чтобы Чарли Фортнум успел сбежать? Я бы спас жизнь им всем, не только Чарли, думал он. Он посмотрел на Акуино, а тот, словно угадав его мысли, покачал головой.

Отец Ривас взял кухонное полотенце и стал вытирать бутылку так тщательно, словно стоял в приходской церкви Асунсьона.

²⁵ Евангелие от Луки 22 : 19.

²⁶ Владыка, я недостойн (*лат.*).

— *Ite Missa est* ²⁷.

Голос из репродуктора откликнулся, словно литургическое ответствие: «У вас осталось пятьдесят минут».

— Отец мой,— произнес Пабло,— месса кончена. Лучше сдаться сейчас. Или давайте проголосуем слова.

— Я голосую как прежде,— сказал Акуино.

— Ты ведь священник, отец мой, тебе нельзя убивать,— сказала Марта.

Отец Ривас протянул ей кухонное полотенце:

— Ступай во двор и сожги его. Больше оно не понадобится.

— Это будет смертный грех, если ты убьешь его сейчас, отец мой. После мессы.

— Убивать когда бы то ни было — смертный грех для любого человека. Все, что мне остается, это молить господу смилостивиться надо мной, как молил бы всякий другой.

— Так вот что ты делал там, у алтаря? — спросил доктор Плarr.

Он был измучен спорами и тем, как медленно тянулось отпущенное им краткое время.

— Я молился о том, чтобы мне не пришлось его убивать.

— Письмо туда послал? — сказал доктор Плarr.— А мне казалось, ты не веришь, что на такие письма получают ответ.

— Может, я надеялся на счастливое совпадение.

Репродуктор объявил: «У вас осталось сорок пять минут».

— Хоть бы они оставили нас в покое...— пожаловался Пабло.

— Действуют нам на психику,— пояснил Акуино.

Отец Ривас внезапно вышел в соседнюю комнату. Револьвер он взял с собой.

Чарли Фортнум лежал на крышке гроба. Глаза его были открыты, он смотрел на глиняный потолок.

— Вы пришли со мной покончить, отец мой? — спросил он.

Вид у отца Риваса был смущенный, а может, и пристыженный. Он сделал несколько шагов в комнату и сказал:

— Нет. Нет. Не это. Еще нет. Я подумал, может быть, вам что-нибудь нужно.

— У меня есть еще немножко виски.

— Вы слышали, что сказал их громкоговоритель. Скоро они за вами придут.

— И тогда вы меня убьете?

— Так мне приказано, сеньор Фортнум.

— А я думал, что священник повинуется только церкви. Ах да, забыл. Вы ведь больше в ней не состоите? Тем не менее вы служили мессу. Я не бог вещь какой верующий, но мне не захотелось на ней присутствовать. Это ведь не такой праздник, когда надо быть в церкви. Во всяком случае мне.

— Я помянул вас в своей молитве,— неловко произнес заученную фразу отец Ривас, словно обращаясь к богатому прихожанину; но за последние годы он отвык от этого языка.

— Я предпочел бы, чтобы вы обо мне забыли, отец мой.

— Вот это мне не будет дозволено,— сказал отец Ривас.

Чарли Фортнум с удивлением заметил, что священник вот-вот заплачет.

— Что с вами, отец мой? — спросил он.

— Я не думал, что до этого дойдет. Понимаете, если бы вы были американским послом, они бы уступили. И я бы спас десять человеческих жизней. Я никогда не думал, что мне придется отнять у кого-то жизнь.

— Почему вас вообще назначили главным?

— Эль Тигре считал, что может мне доверять.

— А что, разве это не так?

— Теперь не знаю. Не знаю.

Неужели приговоренный к смерти должен утешать своего палача? — подумал Чарли Фортнум.

— Могу я чем-нибудь вам помочь, отец мой? — спросил он.

Священник смотрел на него с надеждой, как собака, которой послышалось слово «гулять». Он продвинулся на шаг ближе. Чарли Фортнум вспомнил мальчика с оттопыренными ушами в школе, которого изводил Мейсон. Он пробормотал:

²⁷ Идите, месса свершилась (*лат.*).

— Простите меня...

За что он просил прощения? За то, что не был американским послом?

— Я знаю, как вам тяжело,— сказал Ривас.— Лежать здесь. Ждать. Может, если бы вы смогли немножко подготовиться... это вас отвлекло бы...

— Вы хотите сказать — исповедаться?

— Да.— Он объяснил: — В чрезвычайных обстоятельствах... даже я...

— Но я не гожусь в кающиеся грешники, отец мой. Я не исповедовался лет тридцать. Во всяком случае, со времени моего первого брака... который и браком-то не был. Лучше займитесь другими.

— Для них я сделал все, что мог.

— После такого долгого перерыва... это невозможно... и нет у меня достаточной веры. Мне было бы стыдно произносить все те благочестивые слова, даже если бы я их и вспомнил.

— Вам не было бы стыдно, если б вы совсем не верили. И слова эти вовсе не нужно произносить вслух. Только совершите обряд покаяния. Молча. Про себя. Этого достаточно. У нас так мало времени. Просто акт покаяния,— уговаривал он, словно просил дать ему денег на обед.

— Но я же говорю, что забыл слова.

Ривас приблизился еще на два шага, словно вдруг обрел не то смелость, не то надежду. Быть может, надежду на то, что ему подадут на кусок хлеба.

— Просто скажите, что вы сожалеете, и постарайтесь это прочувствовать.

— Ну, я о многом жалею, отец. Вот только не насчет виски.— Он поднял бутылку, посмотрел, сколько в ней осталось, и снова поставил на пол.— Жизнь — штука нелегкая. Вот человек и лечится то одним, то другим лекарством.

— Не думайте сейчас о виски. Есть ведь и другое, о чем стоит подумать. Прошу вас просто сказать: я жалею, что нарушал правила.

— А я даже не припомню, какие правила нарушал. Их так много, этих проклятых правил.

— Я тоже нарушал правила, сеньор Фортнум. Но я не жалею, что выбрал Марту. Не жалею, что я здесь, с этими людьми. Вот у меня револьвер... нельзя ведь всю жизнь только помахивать кадиллом или кропить святой водой. И все же если бы здесь был другой священник, я бы сказал ему: да, я сожалею. Сожалею, что не живу в тот век, когда, как видно, было легче соблюдать церковные правила, или в каком-то будущем, когда их то ли изменят, то ли они перестанут быть такими жестокими. Кое-что я могу сказать без натяжки. Может, скажете это и вы. Я жалею, что у меня не хватало терпения. Неудачи вроде нашей — иногда это просто крушение надежды... Пожалуйста... ну разве вы не можете сказать, как вам жаль, что у вас не хватало надежды?

Этот человек явно нуждался в утешении, и Чарли Фортнум утешил его как мог:

— Ну, это я, кажется, мог бы сказать, отец мой.

Отец, отец, отец. Мысленно он повторял это слово. Ему привиделось, как отец сидит возле бара, он озадачен, сбит с толку, не узнает его, а сам он лежит на земле и над ним лошадь. Вот бедняга, подумал он.

Отец Ривас произнес отпущение грехов.

— Пожалуй,— сказал он,— теперь я бы выпил с вами по маленькой.

— Спасибо, отец мой,— откликнулся Чарли Фортнум.— Мне повезло больше, чем вам. Здесь нет никого, кто отпустил бы грехи вам.

— Я видел твоего отца только по несколько минут в день,— сказал Акуино,— когда мы ходили вокруг двора. Иногда...— Он замолчал, прислушиваясь к громкоговорителю, вещавшему из купы деревьев.

Голос произнес:

— У вас осталось только пятнадцать минут.

— Последняя четверть часа, на мой взгляд, пробежала слишком быстро,— заметил доктор Плarr.

— Неужели они теперь начнут отсчитывать минуты? Я бы хотел, чтобы они дали нам спокойно умереть.

— Расскажи мне еще немного о моем отце.

— Он был хороший старик.

— О чем вы говорили в те минуты, когда бывали вместе? — спросил доктор Плarr.

— У нас никогда не было времени толком поговорить. Рядом всегда был охранник. Он шагал тут же. Твой отец здоровался со мной очень вежливо и ласково — как отец с сыном... а я... ну я, сам понимаешь, очень его уважал. Сперва всегда немного помолчим... знаешь, как это бывает, когда имеешь дело с настоящим *caballero*. Я ждал, чтобы он заговорил первый. А потом охранник, бывало, закричит на нас и растолкает в разные стороны.

— Его пытали?

— Нет. Во всяком случае не так, как меня. Людям из ЦРУ это бы не понравилось. Он ведь был англичанин. Все равно пятнадцать лет в полицейской тюрьме — долгая пытка. Легче потерять несколько пальцев.

— Как он выглядел?

— Стариком. Что еще тебе сказать? Ты должен знать, как он выглядел, лучше, чем я.

— В последний раз, когда я его видел, он стариком не был. Жаль, что у меня нет хотя бы фотографии, где он лежит мертвый. Знаешь, такой, какие снимает полиция, чтобы подшить к делу.

— Зрелище было бы не из приятных.

— Зато заполнило бы пробел в памяти. Может, мы и не узнали бы друг друга, если бы ему удалось бежать. И он был бы сейчас здесь, с тобой.

— Волосы у него были совсем седые.

— Таким я его не видел.

— И он очень горбился. Его мучил ревматизм в правой ноге. Можно сказать, что ревматизм его и убил.

— Я помню его совсем другим человеком. Тот был высокий, худой и стройный. Он быстро шел от пристани в Асунсьоне. Только раз обернулся, чтобы нам помахать.

— Странно. Мне он казался невысоким и толстым, и он хромял.

— Я рад, что его не пытали — как тебя.

— Кругом постоянно были охранники, и мне даже не удалось предупредить его насчет нашего плана. Когда время настало — он даже не знал, что охранник подкуплен, — я крикнул ему «беги», а он растерялся. И замешкался. Это промедление да еще и ревматизм...

— Ты сделал все, что мог, Акуино. Никто не виноват.

— Как-то раз я прочитал ему стихотворение, — сказал Акуино, — но, по-моему, он не очень любил стихи. А все равно стихотворение было хорошее. Конечно, о смерти. Оно начиналось так: «Смерть имеет привкус соли...» Знаешь, что он мне как-то сказал? И даже сердито — уж не знаю, на кого он сердился. Он сказал: «Я здесь не страдаю, мне просто скучно. Скучно. Хоть бы бог послал мне немножко страданий». Какие странные слова.

— Кажется, я их понимаю, — сказал доктор Плarr.

— Под конец он настрадался вдоволь, как хотел.

— Да. Под конец ему повезло.

— Что касается меня, я не знал, что такое скука, — сказал Акуино. — Боль знал. Страх. Мне и сейчас страшно. А скуки не знал.

— Может, ты не узнал себя до конца, — заметил доктор Плarr. — Хорошо, когда это происходит в старости, как у моего отца.

Он подумал о матери, коротавшей дни среди фарфоровых попугаев в Буэнос-Айресе или поглощавшей эклеры на калье Флорида; о Маргарите, когда она спала в тщательно зашторенной комнате, а он лежал рядом и рассматривал ее нелюбимое лицо; о Кларе и ребенке, о долгом несбыточном будущем на берегу Параны. Ему казалось, что он уже достиг возраста отца, что он провел в тюрьме столько же лет, сколько отец, а бежать удалось не ему, а отцу.

— У вас осталось десять минут, — произнес громкоговоритель. — Выпустите консула немедленно, затем выходите по одному и руки вверх!

Еще не смолкли эти распоряжения, когда в комнату вошел отец Ривас. Акуино сказал:

— Время почти истекло, позволь мне сейчас его убить. Это не дело для священника.

— Может, они все еще берут нас на пушку.

— Когда мы наверняка это выясним, скорее всего будет слишком поздно. Янки хорошо обучили этих парашютистов в Панаме. Они действуют быстро.

Доктор Плarr сказал:

— Я выйду поговорить с Пересом.

— Нет, нет, Эдуардо. Это самоубийство. Ты слышал, что сказал Перес. Он не посмотрит даже на белый флаг. Верно, Акуино?

Пабло сказал:

— У нас ничего не выгорело. Выпустите консула.

— Если тот человек пройдет через комнату, я его застрелю,— заявил Акуино,— и всякого, кто станет ему помогать... даже тебя, Пабло.

— Тогда они убьют нас всех,— сказала Марта.— Если он умрет, мы все умрем.

— Это им во всяком случае надолго запомнится.

— Machismo! — сказал доктор Плarr.— Опять ваше проклятое дурацкое machismo. Леон, я должен что-то сделать для бедняги, который там лежит. Если я поговорю с Пересом...

— Что ты можешь ему предложить?

— Если он согласится продлить свой срок, вы согласитесь продлить ваш?

— Что это даст?

— Он все же британский консул. Британское правительство...

— Всего лишь почетный консул, Эдуардо. Ты сам не раз нам это объяснял.

— Но ты согласишься, если Перес...

— Да, соглашусь, но не думаю, чтобы Перес... Может, он не даст тебе даже рта раскрыть.

— Я думаю, даст. Мы с ним были приятелями.

На память доктору Плarrу пришел речной плес, бескрайний лес до горизонта и Перес, решительно шагающий с одного мокрого бревна на другое навстречу группе людей, где его ждал убийца. «Ведь мы же люди свои»,— сказал тогда Перес.

— Для полицейского Перес не такой уж плохой человек.

— Я боюсь за тебя, Эдуардо.

— Доктор тоже страдает machismo,— сказал Акуино.— Давай... выходи и разговаривай. Но захвати с собой револьвер.

— Я страдаю не machismo. Ты сказал правду, Леон. Я и в самом деле ревную. Ревную к Чарли Фортнуму.

— Если человек ревнует,— сказал Акуино,— он убивает соперника, или тот убивает его. Ревность — штука простая.

— Моя ревность другого сорта.

— Какая еще может быть ревность? Ты спишь с чужой женой. А когда он делает то же самое со своей..

— Он ее любит... вот в чем беда.

— У вас осталось пять минут,— объявил громкоговоритель.

— Я ревную, потому что он ее любит. Такое глупое, избитое слово — любовь. Для меня оно никогда не имело смысла. Как и слово бог. Я знаю, как спят с женщиной, я не знаю, как любят. Жалкий пьянчужка Чарли Фортнум победил меня в этой игре.

— Любовницу так легко не уступают,— сказал Акуино.— Их не так-то просто приобрести.

— Клару? — Доктор Плarr засмеялся.— Я расплатился с ней солнечными очками.— Воспоминания продолжали преследовать его. Они были как надоедливые препятствия, как бутылки в игре, которые требовалось обойти с завязанными глазами по дороге к двери. Он пробормотал: — Она что-то у меня спросила перед тем, как я ушел из дома... А я не стал слушать...

— Постой, Эдуардо. Пересу нельзя доверять...

Когда доктор Плarr открыл дверь, его на миг ослепил солнечный свет, а потом мир снова приобрел резкие очертания. Перед ним шагов на двадцать тянулась жидкая грязь. Индеец Мигель валялся, как тюк выброшенного тряпья, насквозь промокшего от ночного дождя. Сразу за ним начинались деревья и густая тень.

Вокруг не было никаких признаков жизни. Полиция, как видно, выселила людей из соседних хижин. Шагах в тридцати среди деревьев что-то блеснуло. Возможно, это луч солнца отразился на лезвии штыка, но когда Плarr немного приблизился и взгляделся внимательнее, он увидел, что это просто кусок жестяного бака из-под горячего,

который был вделан в стену хижины, спрятанной среди деревьев. Вдалеке залаяла собака.

Доктор Плarr продолжал медленно, нерешительно двигаться вперед. Никто не шевельнулся, никто не заговорил, не раздалось ни единого выстрела. Он поднял руки чуть выше пояса, как фокусник, который хочет показать, что в них ничего нет. И позвал:

— Перес! Полковник Перес!

Он чувствовал себя дурак дураком. В конце концов опасности не было и в помине. Они преувеличили серьезность положения. Ему было гораздо страшнее в тот раз, когда он прыгал за Пересом с бревна на бревно.

Он не услышал выстрела — пуля ударила его сзади в правую ногу — и рухнул ничком, словно ему подставили подножку при игре в регби; голова его была всего в нескольких шагах от тени, которую отбрасывали деревья. Боли он не почувствовал и хотя ненадолго потерял сознание, ему было так спокойно, будто он заснул в жаркий день над книгой.

Когда он снова открыл глаза, тень от деревьев почти не сдвинулась. Его сморил сон. Захотелось заползти под деревья и снова заснуть. Утреннее солнце палило. Он смутно помнил, что с кем-то должен обсудить, но это могло подождать, пока он поспит. Слава богу, подумал он, я один. Он слишком устал, чтобы заниматься любовью, да и погода для этого чересчур жаркая. А он забыл задернуть шторы.

За спиной он услышал чье-то дыхание, но не мог понять, откуда оно взялось. Чей-то голос шепнул:

— Эдуардо...

Сперва он не узнал голоса, но когда его снова окликнули, Плarr громко спросил:

— Леон?

Непонятно, что тут делает Леон. Плarr хотел повернуться, но нога одеревенела и не дала ему этого сделать.

Голос произнес:

— Кажется, они попали мне в живот.

Доктор Плarr вздрогнул и сразу очнулся. Деревья перед ним были деревьями квартала бедноты. Солнце жгло ему голову, потому что он не успел до них добраться. Он понимал, что только там был бы в безопасности.

Голос — он уже понял, что это голос Леона, — произнес:

— Я услышал выстрел. И не мог не прийти.

Доктор Плarr снова попробовал повернуться, но у него опять ничего не вышло, и он отказался от этой попытки.

Голос за спиной спросил:

— Ты серьезно ранен?

— Не думаю. А ты?

— Ну, я уже в безопасности.

— В безопасности?

— В полной безопасности. Не смогу убить даже мухи.

— Нам надо отвезти тебя в больницу, — сказал доктор Плarr.

— Ты был прав, Эдуардо, — произнес голос. — Какой из меня убийца?

— Не понимаю, что произошло... Мне надо поговорить с Пересом... А тебе здесь нечего делать, Леон. Ты должен был ждать вместе с остальными.

— Я подумал — а что, если я тебе нужен?

— Зачем? Для чего?

Наступило долгое молчание, пока доктор Плarr не задал довольно нелепый вопрос:

— Ты еще здесь?

В ответ послышался невнятный шепот.

— Не слышу! — сказал доктор Плarr.

Голос произнес что-то похожее на слово «отец». Во всем, что с ними происходило, явно не было никакого смысла.

— Лежи спокойно, — сказал доктор Плarr. — Если увидят, что кто-то из нас шевельнулся, могут выстрелить опять. И лучше не разговаривай.

— Мне жаль... Прости...

— Ego te absolvo²⁸, — прошептал доктор Плarr вдруг всплывшие в памяти слова.

²⁸ Отпускаю тебе грехи (лат.).

Он хотел рассмеяться, показать Леону, что шутит — мальчиками они часто подшучивали над ничем не значившими формулами, которые заставляли их заучивать священники, — но он слишком устал, и смех застрял у него в горле.

Из тени вышли три парашютиста. В своих маскировочных костюмах они были похожи на ходячие деревья. Автоматы они держали наготове. Двое направились к хижине. Третий подошел к доктору Пларру, который лежал не шевелясь и затаив дыхание, — оно уже прерывалось.

Глава V

На кладбище было много людей, которых Чарли Фортнум раньше и в глаза не видел. Женщина в длинном старомодном черном платье была, очевидно, сеньорой Пларр. Она цепко держала за руку тощего священника, его темно-карие глаза шныряли туда-сюда, налево-направо, словно он боялся упустить важного прихожанина. Чарли Фортнум слышал, как эта дама не раз его представляла: «Мой друг, отец Гальвао из Рио». Две другие дамы на краю могилы демонстративно вытирали слезы. Можно было подумать, что они служат плакальщицами в похоронном бюро. Обе не заговаривали с сеньорой Пларр, как, впрочем, и друг с другом, но этого мог потребовать профессиональный этикет. После мессы в соборе они по очереди подошли к Чарли Фортнуму и представились.

— Вы сеньор Фортнум, консул? Мы были такими друзьями с бедным Эдуардо. Это мой муж, сеньор Эскобар.

— Я сеньора Вальехо. Муж не сумел прийти, но я не могла не проводить Эдуардо, поэтому пришла со своим другом, сеньором Дюраном. Мигель, это сеньор Фортнум, британский консул, которого те негодяи...

При имени Мигель в памяти у Чарли Фортнума сразу же возник индеец, сидевший на корточках у двери хижины и с улыбкой чистивший автомат, а потом — тюк промокшего под дождем тряпья, мимо которого парашютисты пронесли его на носилках. Его рука свесилась с носилок и коснулась мокрой материи. Он начал было:

— Позвольте представить вам мою жену...

Но сеньора Вальехо и ее друг уже прошли мимо. Она прижимала развернутый платок к глазам — он выглядел чем-то вроде паранджи — до следующей светской встречи. Клара по крайней мере не изображает горя, подумал Чарли Фортнум. Это хотя бы честно.

Похороны, думал он, похожи на те дипломатические коктейли, на которых он присутствовал в Буэнос-Айресе. Их устраивали по случаю отъезда британского посла. Дело было вскоре после его назначения почетным консулом, и к нему еще проявляли некий интерес, поскольку он возил на пикник среди развалин членов королевской фамилии. Люди хотели знать, о чем говорили высокопоставленные гости. Теперь прием с теми, кого он видел в соборе, происходил на открытом воздухе, на кладбище.

— Меня зовут доктор Сааведра, — произнес кто-то рядом. — Может, вы припомните, мы как-то раз с вами встречались вместе с доктором Пларром...

Чарли Фортнуму захотелось ответить: как же, как же, в доме матушки Санчес. Конечно, помню, вы были с той девушкой. А я — с Марией, с той, кого закололи ножом.

— Это моя жена, — сказал он, и доктор Сааведра учтиво склонился над ее рукой; лицо ее наверняка было ему знакомо хотя бы из-за родинки на лбу.

Интересно, кто из этих людей знает, что Клара была любовницей Пларра? — подумал Фортнум.

— Мне надо идти, — сказал доктор Сааведра. — Меня попросили сказать несколько слов в память о нашем бедном друге.

Он направился к гробу, задержавшись, чтобы пожать руку полковнику Пересу и обменяться с ним несколькими словами. Полковник Перес был в мундире и нес фуражку на согнутой руке. Казалось, он серьезнее всех относится к тому, что происходит. Может, он размышлял о том, как отразится смерть доктора на его карьере. Многие, конечно, зависят от позиции британского посольства. Молодой человек по фамилии Кричтон — личность Чарли Фортнуму неизвестная — прилетел из Буэнос-Айреса как представитель посла (первый секретарь был прикован к постели гриппом). Кричтон стоял рядом с Пересом у самой могилы. Общественное положение присутствующих можно было определить по их близости к гробу — гроб как бы заменял собой почетного гостя. Чета Эскобар старалась пробраться к нему поближе, а сеньора Вальехо стояла почти рядом и могла бы дотронуться до него рукой. Чарли Фортнум с

костылем под мышкой держался позади светского общества. Ему казалось глупостью, что он вообще здесь находится. Он чувствовал себя самозванцем. Ведь своим присутствием он обязан только тому, что его по ошибке приняли за американского посла.

Тоже позади, но еще дальше Фортнума, стоял доктор Хэмфрис. И у него был вид человека, который сам понимает, что ему здесь не место. Его родной средой был Итальянский клуб, а законным соседом — официант из Неаполя, который боялся его дурного глаза. Заметив Хэмфриса, Чарли Фортнум сделал к нему шаг, но тот поторопился отойти. Чарли Фортнум вспомнил, как в незапамятном прошлом он пожаловался доктору Пларру, что Хэмфрис с ним не раскланивается и Пларр воскликнул: «Ну, это вам повезло!» То были счастливые дни, а ведь в это время Пларр жил с Кларой и его ребенок рос в ее чреве. Фортнум тогда любил Клару, и она была с ним кротка и нежна. Все это уже позади. Своим счастьем он, оказывается, был обязан доктору Пларру. Фортнум исподтишка взглянул на Клару. Она смотрела на Сааведру, который произносил речь. Вид у нее был скучающий, словно тот, кого он славословил, был ей незнаком и ничуть не интересен. Бедный Пларр, подумал Чарли Фортнум, и его она обманула.

— Вы были больше, чем врачом, исцелявшим наши тела, — говорил доктор Сааведра, адресуя свои слова гробу, обернутому в британский флаг, который по просьбе устроителей похорон одолжил Чарли Фортнум. — Вы были другом каждого из нас, своих больных, даже самых бедных. Все мы знаем, как, не щадя своих сил, вы, движимый любовью и чувством справедливости, безвозмездно лечили жителей квартала бедноты. И разве не трагедия, что тот, кто так самозабвенно трудился на благо обездоленных, пал от руки их так называемых защитников?

Боже мой, подумал Чарли Фортнум, неужели полковник Перес распространяет такую версию?

— Ваша мать родилась в Парагвае — в стране, бывшей некогда нашим доблестным противником, и вы, побуждаемый духом *patriotismo*, достойным ваших предков по материнской линии, которые сражались вместе с Лопесом²⁹, не думая о том, правое или неправое дело он защищал, пошли на смерть из хижины, где прятались эти мнимые защитники бедняков, в последней попытке спасти их, равно как и вашего друга. Вы пали от руки фанатичного священника, но вышли победителем, — друга вы спасли.

Чарли Фортнум взглянул на полковника Переса по ту сторону открытой могилы. Он стоял, опустив обнаженную голову, прижав руки к бокам, сдвинув ноги по стойке «смирно». Он был похож на памятник павшим воинам XIX века, а доктор Сааведра в своем надгробном слове продолжал внушать своим слушателям официальную версию смерти Пларра, — уж не договорился ли он о ней с Пересом? Кто теперь станет ее оспаривать? Речь будет дословно опубликована в «Эль литораль», а ее изложение появится даже в «Насьон».

— Если не считать ваших убийц и их пленника, я был последним, Эдуардо, кто видел вас живым. Ваши увлечения были много шире профессиональных интересов, и ваша любовь к литературе обогащала нашу дружбу. В последний раз, когда мы были вместе, не я позвал вас, а вы позвали меня (пациент и врач поменялись ролями) поговорить о создании в нашем городе культурного центра — Англо-аргентинского клуба и с присущей вам скромностью предложили мне быть его первым президентом. Друг мой, в тот вечер вы говорили о том, как сделать более тесными узы между английским и южноамериканскими народами. Кто же из нас мог предположить, что через считанные дни вы отдадите за это дело свою жизнь? Пытаясь спасти своего соотечественника и этих обманутых людей, вы пожертвовали всем — своей врачебной карьерой, глубоким восприятием искусства, дружескими привязанностями, любовью к приемной родине, которая жила в вашей душе. У вашего гроба я обещаю, что Англо-аргентинский клуб, окропленный кровью отважного человека, будет существовать.

Сеньора Пларр плакала; плакали, но более демонстративно, и сеньора Вальехо и сеньора Эскобар.

— Я устал, — сказал Чарли Фортнум, — пора домой.

— Хорошо, Чарли, — сказала Клара.

Они медленно побрели к нанятой ими машине.

Кто-то тронул Фортнума за руку. Это был Грубер.

— Сеньор Фортнум... — сказал он, — я так рад, что вы здесь... целый и...

²⁹ Лопес Франсиско Солано — командующий вооруженными силами Парагвая во время войны с Аргентиной, Бразилией и Уругваем (1864—1870).

— Почти невредимый,— сказал Чарли Фортнум. Интересно, знает ли Грубер? Ему хотелось поскорее укрыться в машине.— Как ваш магазин? — спросил он.— Дела идут?

— Надо проявить целую груду фотографий. Снимки хижины, где вас держали. Все рвутся туда, хотят посмотреть. Но, по-моему, они не всегда снимают ту самую хижину. Сеньора Фортнум, понимаю, какое тяжелое время вам пришлось пережить.— Он объяснил Фортнуму: — Сеньора всегда покупает в моем магазине солнечные очки. Если угодно, у меня есть новые образцы из Буэнос-Айреса...

— Да, да. В следующий раз, когда будем в городе... Извините нас, Грубер. Солнце здорово печет, а я чересчур долго стоял на ногах.

Его лодыжка, закованная в гипс, невыносимо зудела. В больнице ему сказали, что доктор Пларр хорошо обработал рану. Не пройдет и нескольких недель, как он снова сядет за руль «Гордости Фортнума». Машину он нашел на старом месте, под купой авокадо; она была немного побита, не хватало одной фары, да и радиатор был погнут. Клара объяснила, что машиной воспользовался кто-то из полицейских.

— Я пожалуйюсь Пересу,— сказал Фортнум, опираясь на капот и с нежностью поглаживая раненую обшивку.

— Нет, нет, не надо, Чарли. У бедняги будут неприятности. Ведь это я позволила ее взять.

В первый день пребывания дома из-за этого не стоило затевать спор.

Домой из больницы его повезли по местам, которые напоминали ему какую-то полузабытую страну — мимо проселочной дороги, которая вела на консервную фабрику Бергмана, мимо проржавевшей железнодорожной ветки заброшенного поместья, которое когда-то принадлежало чеху с труднопроизносимой фамилией. Он пересчитал пруды, мимо которых проезжал, — их должно было быть четыре — и думал о том, как он встретится с Кларой.

Но при встрече он только поцеловал ее в щеку и отказался прилечь, сославшись на то, что и так слишком долго лежал на спине. Ему было противно даже подумать о широкой двуспальной кровати, на которой Клара наверняка не раз лежала с Пларром, пока он объезжал плантацию (остерегаясь слуг, они избегали мять постели в комнате для гостей). Он сел на веранде возле бара, пристроив ногу повыше. И хотя он отсутствовал меньше недели, но эта неделя казалась ему чуть не годом тягостной разлуки, таким долгим, что двум людям немудрено было друг от друга отвыкнуть... Он налил себе шкиперскую норму «Лонг Джона». Глядя поверх бокала на Клару, он спросил:

— Они тебе, конечно, сообщили?

— О чем, Чарли?

— Что доктор Пларр умер.

— Да. Сюда приезжал полковник Перес. Он мне сказал.

— Доктор был твоим близким другом.

— Да, Чарли. Тебе удобно так сидеть? Может, принести подушку?

Как жестоко, думал он, что после их любовных утех и такого низкого обмана Пларр не заслужил ни единой слезы. У «Лонг Джона» был необычный вкус — он уже привык к аргентинскому виски. Фортнум стал объяснять Кларе, что в ближайшие недели будет лучше, если он поспит один в комнате для гостей. Гипс на ноге, сказал он, его беспокоит, а ей надо крепко спать — из-за ребенка. Она сказала — да, конечно, она понимает. Все будет сделано, как он хочет...

А пока он ковылял на костыле с кладбища к нанятой машине, кто-то его окликнул:

— Прошу прощения, мистер Фортнум...— Это был молодой секретарь из посольства Кричтон.— Позвольте мне днем заехать к вам в поместье. Посол поручил мне... обсудить с вами кое-какие вопросы...

— А вы пообедайте с нами,— сказал Чарли Фортнум.— Мы будем вам очень рады,— добавил он, подумав, что любой человек, даже из посольства, поможет ему избежать одиночества, которое ему пришлось бы делить с Кларой.

— Боюсь... я бы с большим удовольствием... но я уже обещал сеньоре Пларр... и отцу Гальвао. Если позволите, я приехал бы часа в четыре. Мне надо поспеть на вечерний самолет в Буэнос-Айрес.

Вернувшись в поместье, Чарли Фортнум сказал Кларе, что он слишком устал и обедать не хочет. До прихода Кричтона он немного поспит. Клара уложила его по-

удобнее,— она была обучена укладывать мужчин поудобнее не хуже любой медицинской сестры. Он старался не показать, что прикосновение ее рук, когда она взбивала подушку, его раздражает. Он даже поежился, когда она поцеловала его в щеку,— ему хотелось попросить ее больше себя не утруждать. Поцелуй женщины, которая неспособна любить даже своего любовника, не стоит ни гроша. И все-таки, спрашивал он себя, чем она виновата? Разве можно научиться любить в публичном доме? У кого — у клиентов? А раз она не виновата, он не должен показывать ей свои чувства. Было бы куда проще, думал он, если бы она действительно любила Пларра. Он сразу представил себе, как ему было бы легко, если бы, вернувшись домой, он увидел, что она убита горем, с какой нежностью он бы ее утешал. Ему пришла в голову фраза из сентиментального романа: «Дорогая, мне нечего тебе прощать». Но пока он себе это воображал, он вспомнил, что она продана за пару вульгарных солнечных очков от Грубера.

Сквозь жалюзи солнце ложилось полосами на пол комнаты для гостей. На стене висела одна из охотничьих гравюр отца. Охотник поднял убитую лису над сворой взбешенных собак. Чарли с отвращением посмотрел на картину и отвернулся,— он ни разу в жизни не убил даже крысы.

Кровать была довольно удобная, но ведь и гроб, застеленный одеялами, был в конце концов не таким уж жестким — лучше его кровати в детской, где он спал ребенком. В доме стояла глубокая тишина, ее лишь изредка нарушали шаги возле кухни или скрип стула на веранде. Не было слышно ни радио, передававшего последние известия, ни возбужденных голосов в соседней комнате. Свобода, как он обнаружил, это такое одиночество... Ему даже захотелось, чтобы дверь открылась и в нее застенчиво вошел священник с бутылкой аргентинского виски. Он чувствовал странное сродство с этим священником.

Похороны священника прошли очень буднично. Его на скорую руку закопали в неосвященной земле, и Чарли Фортнум был этим глубоко возмущен. Если бы он вовремя об этом узнал, он произнес бы у могилы несколько слов вроде доктора Сааведры, хоть и не помнил, чтобы за всю его жизнь ему приходилось произносить речи; однако в пылу возмущения он бы на это отважился. Он бы всем им сказал: «Отец был человек хороший. Я знаю, что он не убивал Пларра». Но кто бы его слушал? Два могильщика и водитель полицейского грузовика? Я все же узнаю, где его зарыли, и положу на могилу букетик цветов, решил он. И с этой мыслью в изнеможении заснул глубоким сном.

Клара разбудила его — приехал Кричтон. Она подала ему костыль, помогла надеть халат, и он вышел на веранду. Опустившись на стул возле бара, он предложил:

— Виски?

— А не рановато ли? — взглянув на часы, спросил Кричтон.

— Для выпивки рано никогда не бывает.

— Ну тогда разве что глоточек. Я тут говорил, что миссис Фортнум, вероятно, пришлось пережить страшные дни.

Не выпив ни глотка, он поставил стакан на столик.

— Ваше здоровье,— сказал Чарли Фортнум.

— И ваше.— Кричтон нехотя снова поднял стакан. Может, он рассчитывал, что так и оставит его нетронутым до положенного часа.— Посол хотел, чтобы я кое о чем с вами переговорил, мистер Фортнум. Мне, разумеется, нет нужды рассказывать, как мы за вас беспокоились.

— Да я и сам немного беспокоился,— заметил Чарли Фортнум.

— Посол просил вас заверить — мы делали все, что в наших силах...

— Да. Да. Конечно.

— Слава богу, все обошлось.

— Не все. Доктор Пларр погиб.

— Да. Я не хотел сказать...

— И священник тоже.

— Ну, он-то получил по заслугам. Он же убил Пларра.

— Ничего подобного, он его не убивал!

— Значит, вы не видели доклада полковника Переса?

— Полковник Перес страшный враль. Пларра застрелили парашотисты.

— Но ведь было же произведено вскрытие, мистер Фортнум! Нашли пули. Одну в ногу. Две в голову. И это не армейские пули.

— А кто проводил следствие — хирург 9-й бригады? Вот что передайте от меня послу, Кричтон. Когда Пларр выходил из хижины, я был в соседней комнате. И слышал все, что происходило. Пларр вышел, чтобы переговорить с Пересом, — думал спасти всем нам жизнь. Отец Ривас подошел ко мне и сказал, что согласился отсрочить ультиматум. Тут мы услышали выстрел. Тогда он сказал: «Они застрелили Эдуардо». И бросился вон.

— А потом нанес *coup de grâse*³⁰, — сказал Кричтон.

— Да нет же, нет! Он оставил револьвер у меня в комнате.

— У своего пленника?

— Я все равно не мог до него дотянуться. В соседней комнате он заспорил с Акуино... и со своей женой. Я слышал, как Акуино сказал: «Сперва убей его». И слышал его ответ.

— Какой?

— Он рассмеялся. Я слышал его смех. Меня это даже удивило, — он ведь не был смешливым человеком. Разве что иногда робко хихикнет. Смехом это не назовешь. Он сказал: «Акуино, у священника всегда есть дела поважнее». Не знаю почему, но я начал читать «Отче наш», хоть я и не из тех, кто любит молиться. И только дошел до «царствие твое», как снова раздался выстрел. Нет. Он не убивал Пларра. Он даже дойти до него не успел. Меня ведь пронесли мимо них. Трупы лежали в десяти шагах друг от друга. Будь там Перес, он бы наверняка позаботился, чтобы их передвинули. На такое расстояние, с которого возможен *coup de grâse*. Пожалуйста, расскажите об этом послу.

— Я, конечно, расскажу ему вашу версию.

— Это никакая не версия. На счету у парашютистов все три смерти — Пларра, священника и Акуино. Они хорошо поохотились, как у них говорится.

— Они спасли вам жизнь.

— Ну да, они. Или то, что Акуино промазал. Видите ли, у него ведь работала только левая рука. Прежде чем выстрелить, он подошел чуть ли не вплотную к гробу, на котором я лежал. И сказал: «Они застрелили Леона». Он был слишком взволнован, рука у него дрожала, но не думаю, чтобы он промахнулся во второй раз. Хоть и держал револьвер левой рукой.

— Как же Перес не знает всего этого?

— Он меня не спрашивал. Пларр как-то сказал, что Пересу прежде всего надо помнить о своей карьере.

— Я все же рад, что они покончили с Акуино. Он-то уж во всяком случае был убийцей... или хотел им стать.

— Он видел, как застрелили его друга. Нечего об этом забывать. Они многое пережили вместе. И он на меня злился. Мы с ним подружились, а потом я пытался бежать. Знаете, он ведь считал себя поэтом. Читал мне свои стихи, а я делал вид, что они мне нравятся, хоть и не находил в них особого смысла. Так или иначе я рад, что парашютисты удовлетволялись тремя смертями. Двое остальных — Пабло и Марта — просто бедолаги, которые впутались во все это нечаянно.

— Им повезло больше, чем они заслужили. Нечего было им впутываться.

— Может быть, их толкала своего рода любовь. Люди впутываются в разные истории из-за любви, Кричтон. Рано или поздно.

— Ну, это не оправдание.

— Нет. Вероятно, нет. Во всяком случае, не для дипломатической службы.

Кричтон взглянул на часы. Может, хотел удостовериться, что положенный приличиями час наступил. Он поднял стакан:

— Думаю, что какое-то время вам надо будет отдохнуть.

— Да я и так не очень-то надрываюсь, — сказал Чарли Фортнум.

— Вот именно. — Кричтон отхлебнул виски.

— Только не говорите, что посол опять требует отчета об урожаях матэ.

— Нет, нет. Мы просто хотим, чтобы вы спокойно поправлялись. Дело в том... в конце недели посол вам напишет официально, но ему хотелось, чтобы сперва я с вами переговорил. После всего, что вы пережили, официальные письма выглядели бы... так сказать, слишком официально. Вы же понимаете. Их пишут для подшивки в дело. Первый экземпляр идет в Лондон. Приходится выражаться... осторожно. Ведь кто-нибудь там может заглянуть в досье.

³⁰ Выстрел, которым добивают раненого (франц.).

— Но насчет чего послу осторожничать?

— Лондон вот уже больше года нажимает на нас, требует, чтобы мы сократили расходы. Знаете, они даже урезали на десять процентов смету на официальные приемы, и на малейшие издержки приходится предъявлять счета. А эти проклятые члены парламента ездят и ездят — рассчитывают, что мы хотя бы на обед их пригласим. Некоторые даже считают, что им надо устроить прием с коктейлями. Ну а что касается вас, вы, понимаете ли, довольно долго состояли на службе. Будь вы дипломатом, вам бы уже давно полагалось выйти на пенсию. О вас в каком-то смысле просто забыли, пока не произошло это похищение. Вам будет куда безопаснее... находиться подалеже от переднего края.

— Понятно. Вот оно что. Это для меня в некотором роде удар, Кричтон.

— Почему? Вам же только оплачивали консульские расходы.

— Я мог каждые два года ввозить новую машину.

— Вот и это тоже... в качестве почетного консула вы на нее, собственно, не имели права.

— Здешняя таможня не видит разницы. И все так делают. Парагвайцы, боливийцы, уругвайцы...

— Не все, Фортнум. Мы в британском посольстве стараемся ничем себя не пятнать.

— Может, потому вы никогда и не поймете Южной Америки.

— Я не хочу быть передатчиком одних только дурных вестей... — сказал Кричтон. — Посол поручил мне сообщить вам кое-что... строго конфиденциально. Обещаете?

— Конечно, кому мне рассказывать? — Даже Пларра больше нет, подумал он.

— Посол собирается представить вас к ордену по списку новогодних награждений.

— К ордену?.. — недоверчиво переспросил Чарли Фортнум.

— К О. Б. И.³¹.

— Что ж, это очень мило с его стороны, Кричтон, — сказал Чарли Фортнум. — Вот уж никогда не думал, что он ко мне так хорошо относится...

— Но вы никому не расскажете, правда? Вы же знаете, теоретически это еще должна утвердить королева.

— Королева? А, понимаю. Надеюсь, что после этого я не задеру нос. Знаете, мне как-то довелось показывать членам королевского дома здешние развалины. Очень милая была пара. Такой же был пикник, как с американским послом, но они не заставляли меня пить кока-колу. Мне эта семья очень нравится. Вот уж кто на своем месте!

— И вы никому пока не расскажете... ну, разумеется, кроме вашей супруги? Ей-то вы можете довериться.

— Думаю, что она этого и не поймет, — сказал Чарли Фортнум.

Ночью ему приснилось, что он идет вместе с доктором Пларром по бесконечно длинной прямой дороге. По обе стороны как оловянные блюда лежат lagunas³², при вечернем свете они все больше и больше сереют. «Гордость Фортнума» вышла из строя, а им нужно добраться в поместье до темноты. Его мучит тревога. Хочется бежать, но он повредил ногу. Он говорит:

— Нехорошо заставлять ждать королеву.

— А что делает королева в поместье? — спрашивает доктор Пларр.

— Собирается вручить мне О. Б. И.

Доктор Пларр смеется.

— Орден безнадежного идиота, — говорит он.

Чарли Фортнум проснулся в тоске, а сон стал сворачиваться быстро, как липкая лента, и в памяти остались только длинная дорога и смех Пларра.

Он лежал на спине в узкой кровати для гостей и чувствовал, что годы давят на него всей своей тяжестью, как одеяло. Он подумал, сколько лет ему еще придется лежать вот так, одному, — это казалось такой пустой тратой времени. Мимо окна мелькнул фонарь. Он знал, что это пошел на работу carataz; значит, скоро рассвет. Луч скользнул и осветил костыль, который на фоне стены был похож на вырезанную из дерева большую букву; потом свет померк и погас. Он знал, что осветит фонарь

³¹ Ордену Британской Империи.

³² Озера (исп.).

дальше: сперва купу авокадо, потом сараи и ирригационные канавы — в сером металлическом свете отовсюду спешат на работу люди.

Он опустил здоровую ногу с кровати и потянулся за костылем. После отъезда Кричтона он сообщил Кларе неприятную весть о своей отставке — и понял, что эта новость не произвела на нее никакого впечатления. В глазах девушки из дома матушки Санчес он всегда будет богачом. Насчет О. Б. И. он ей не сказал. Как он и говорил Кричтону, она бы все равно ничего не поняла, а он опасался, что ее равнодушие сделает это событие менее значительным для него самого. И все же ему хотелось ей рассказать. Хотелось разрушить выроставшую между ними стену молчания. «Королева собирается наградить меня орденом», — слышал он свой голос, а слово «королева», наверное, даже для нее что-то значит. Он не раз рассказывал ей о пикнике среди развалин с отпрысками королевского дома.

Фортнум двинулся на своем костыле, как краб, по диагонали вдоль коридора между гравюрами на спортивные сюжеты; он протянул в темноте руку, чтобы открыть дверь спальни, но двери не нащупал — она была открыта — и вошел в пустую комнату. Тишину не нарушало даже слабое дыхание. Можно было подумать, что он совсем один бродит по каким-то развалинам. Он поводит рукой по подушке и ощутил прохладу и свежесть постели, на которой никто не спал. Тогда он присел на край кровати и подумал: она ушла. Совсем ушла. С кем? Может, с саратаз?.. Или с одним из рабочих? Почему бы и нет? Они ей подходят больше, чем он. С ними она может разговаривать так, как не может с ним. Он столько лет жил один, пока не нашел ее, неужели как-нибудь не проживет и те несколько лет, которые ему еще остались? Обходился же он раньше, убеждал он себя, обойдется и теперь. Может, Хэмфрис снова станет здороваться с ним на улице, когда его имя появится в новогоднем списке награждений. Они снова будут есть гуляш в Итальянском клубе, и он пригласит Хэмфриса к себе в поместье; они усядутся рядом возле бара, впрочем, Хэмфрис, кажется, непьющий. Чарли стало больно при мысли, что Пларр мертв. Своим бегством Клара, казалось, предала не только его, но и покойного доктора. Он даже рассердился на нее из-за Пларра. Право же, она могла бы сохранить хоть ненадолго верность умершему — ну как если бы поносила по нему траур недельку-другую.

Он не слышал, как она вошла, и вздрогнул, когда она заговорила:

— Чарли, что ты тут делаешь?

— Ведь это же моя комната, правда? А где ты была?

— Мне стало страшно одной. Я пошла спать к Марии. (Мария была служанка.)

— Чего ты боялась? Привидений?

— Боялась за ребенка. Мне приснилось, будто я его задушила.

Значит, она все-таки кого-то любит, подумал он. Это было каким-то лучом света во мраке. Если она на это способна... Если в ней не все сплошной обман...

— В доме у матушки Санчес у меня была подруга, которая задушила своего ребенка.

— Сядь сюда, Клара.— Он взял ее за руку и ласково усадил рядом.

— Я думала, что ты больше не хочешь быть со мной.

Она высказала эту горькую истину как нечто не имеющее особого значения — другая женщина могла бы сказать таким тоном: «Я думала, что больше нравлюсь тебе в красном».

— У меня нет никого, кроме тебя, Клара.

— Зажечь свет?

— Нет. Скоро будет светать. Я только что видел, как пошел на работу саратаз.

А как ребенок, Клара?

— По-моему, с ним все хорошо. Но иногда он вдруг затихнет, и мне становится страшно.

Он вспомнил, что после возвращения ни разу не упомянул о ребенке. Ему казалось, что он заново учится языку, на котором не говорил с детства в чужой стране.

— Придется поискать хорошего врача,— произнес он не подумав.

Она испустила звук, какой издает собака, когда ей наступили на лапу,—был ли то испуг... а может быть, боль?

— Прости... я не хотел...— Было еще слишком темно, и он не видел ее лица.

Он поднял руку и дотронулся до него. Она плакала.— Клара...

— Прости меня, Чарли. Я так устала.

— Ты любила его, Клара?

— Нет... нет... я люблю тебя, Чарли.

— Любить совсем не зазорно, Клара. Это бывает. И не так уж важно, кого ты любишь. Любовь берет нас врасплох,— объяснял он ей, а вспомнив то, что говорил молодому Кричтону, добавил: — Во что только люди не впутываются из-за нее.— И чтобы ее успокоить, сделал слабую попытку пошутить: — Иногда по ошибке.

— Он никогда меня не любил,— сказала она.— Для него я была только девушкой от матушки Санчес.

— Ошибаешься.

Он словно выступал в чью-то защиту или пытался уговорить двух молодых людей лучше понимать друг друга.

— Он хотел, чтобы я убила ребенка.

— Это тебе снилось?

— Нет. Нет. Он хотел его убить. Правда хотел. Я тогда понял, что он меня никогда не полюбит.

— Может, он начинал тебя любить, Клара. Кое-кто из нас... мы так тяжелы на подъем... любить не так-то просто... столько совершаешь ошибок.— Он продолжал, только чтобы не молчать: — Отца я ненавидел... И жена не очень-то мне нравилась. А ведь они были не такими уж плохими людьми... Это просто была одна из моих ошибок. Некоторые люди учатся читать быстрее других. И Тед и я были не в ладах с алфавитом. Я-то и сейчас не так уж в нем силен. Когда я подумаю обо всех ошибках, которыми полны мои отчеты в Лондон...— бессвязно бормотал он, не давая замереть в темноте звукам человеческой речи в надежде, что это ее успокоит.

— У меня был брат, которого я любила, Чарли. А потом его больше не стало. С утра он пошел резать тростник, но в поле его никто не видел. Ушел и все. Иногда в доме у сеньоры Санчес я думала: может, он придет сюда, когда ему понадобится женщина, и найдет меня, и тогда мы уйдем вместе.

Наконец-то между ними появилась какая-то связь, и он изо всех сил старался не порвать эту тонкую нить.

— Как мы назовем ребенка, Клара?

— Если это будет мальчик, хочешь, назовем его Чарли?

— Одного Чарли в семье хватает. Давай назовем его Эдуардо. Видишь ли, я по-своему Эдуардо любил. Он был так молод, что мог быть моим сыном.

Он несмело положил ей руку на плечо и почувствовал, что все ее тело дрожит от плача. Ему очень хотелось ее утешить, но он не знал как.

— Тед и в самом деле по-своему тебя любил, Клара. Я не хочу сказать ничего дурного...

— Это неправда, Чарли.

— Раз я даже слышал, как он сказал, что ревнует ко мне.

— Я не любила его, Чарли.

Ее ложь не имела теперь никакого значения. Слишком явно ее опровергали слезы. В таких делах и полагается лгать. Он почувствовал огромное облегчение. словно после бесконечно долгого ожидания в приемной у смерти к нему пришли с доброй вестью, которой он уже и не ждал. Тот, кого он любил, будет жить. Он понял, что никогда еще она не была так близка ему, как сегодня.

Перевели с английского Е. ГОЛЫШЕВА и Б. ИЗАКОВ.

ГЕОРГИЙ ЗУБКОВ



НА ЯВКУ ВЫХОДИТ ЭЙФЕЛЕВА

УШУ есть раз приезжал Маяковский в Париж. На протяжении всех двадцатых годов. И снова появился здесь в семидесятых. По-маяковски: во всю ширь, во весь голос.

В семидесятых годах я работал в Париже, возглавлял корреспондентское отделение советского телевидения и радио. Стал очевидцем новых встреч поэта с французами и Францией. На выставке и на литературном вечере, в маленьком провинциальном театре и в огромном столичном зале для митингов, на спектакле в заводской столовой и на празднике газеты «Юманите».

Об этом и рассказываю. О некоторых эпизодах двадцатых годов. (Представить, как это было, помогли стихи и очерки Маяковского, воспоминания современников, сам Париж.) И о том, сколь неожиданно и вместе с тем закономерно связало время прошлые встречи Маяковского с сегодняшними событиями.

...ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана

НА КОРОТЫШКЕ РЮ КАНПАНЬ-ПРЕМЬЕР

Улица Кампань-Премьер небольшая. Полтора десятка домов с каждой стороны. Не больше. Дома стоят сплошной стеной.

Особой истории улица не имеет. «Первая кампания» — в переводе с французского. Названа так по случаю походов генерала Тапонье. Было это в конце XVIII столетия. Генерал воевал за здешние земли.

По мостовой шагает молодой Маяковский. Тесно ему в улочке. Но здесь его пристанище. Еще несколько шагов — и стеклянный козырек, а над ним написано: «Отель «Истрия».

Щелью входная дверь. Крошечный коридорчик. И сразу направо — конторка. За маленькой стойкой — хозяйка гостиницы.

— Бон суар, мадам Сонет! — гудит под потолком голос вошедшего.

— О, мсье Маяковский! Добрый вечер, добрый вечер!.. О вас пишут в газетах. Чего только не пишут! Что вы большевик, мсье Маяковский. Что у вас есть бомбы. Неужели вы их прячете в отеле? Вам не нравится наш комфорт? Наша семейная обстановка?.. Говорят, мсье Маяковский собирается увезти в Москву Эйфелеву башню. Это пожалуйста! Я участвовала в манифестации против господина Эйфеля. Столько железа на любимом Марсовом поле! Тридцать лет объезжаю это место. А башня **торчит!** На ваше счастье, вам не построить такой башни. Никогда!.. Не забудьте заказать утренний завтрак, мсье Маяковский.

Маяковский поднимает два пальца.

— О да! Как обычно, мсье Маяковский. Два утренних завтрака. Поняла, поняла...

— Жамбон!

— И ветчину! Конечно, конечно, мсье Маяковский... А правда ли, что в советской России не только заводы и банки, но и женщин национализируют? Насильно отнимают у мужей, увозят из дома?

— Бон нюи, мадам Сонет!

Он снимает с доски у стойки ключ с тяжелой бляхой. Зажимает ключ в большой ладони.

Снова оказывается в крошечном коридорчике, чтобы подняться к себе в номер по узкой, спиралью поднимающейся вверх лестнице.

Парижские гостиницы... В столице Франции их много, как и в каждой столице. И все же в Париже это особый мир.

Парижские отели размечены звездами. Одна звезда — сама скромность. Четыре звезды — полный шик.

Со звездами растут цены и уважение к клиентуре. С утра моют тротуар у входа. Ручки дверей отливают золотом. Стекла блестят дорогим камнем. Мальчики в голубой униформе на старте: этому внести, этому вынести, этому заказать Рио-де-Жанейро, этому сбежать за цветами, этому вывести машину из гаража, этому выгулять собаку. И все — с единственными словами: «Да, мсье!», «Да, мадам!». Слова «нет» не существует.

Есть отели совсем без звезд. Даже без номеров. Сдаются не комнаты, а кровати. Не на сутки или на ночь, а на часы. Здесь не меняют постельное белье. Ложатся в кровать, едва опустеет место. Такие отели — для рабочих-иммигрантов, приехавших искать счастье. Этим говорят только «нет».

На американский манер поднялись над Парижем отели-небоскребы. Одни у самой Эйфелевой башни, в каменной роще, которая выросла на берегу Сены. Другие в конце авеню, бегущей от Триумфальной арки.

В отель, который слился с парижским Дворцом конгрессов на площади Майо, приезжают как в самостоятельный город. Отель и впрямь город: с улицами, магазинами и банками, конторами, ресторанами, увеселительными заведениями. А рядом можно найти «семейный» отель. Там селятся с детьми и бабушками, готовят обеды и живут словно в собственной квартире.

Если в новых больших отелях комфорт по-американски, то в старых маленьких гостиницах уют по-французски. Обои в цветочек. Скатерть в цветочек. Лампа в цветочек. Хотя есть ванная или душ, на старинном комодке будет стоять такой же старинный таз и кувшин. Обязательно в цветочек.

Гостиница «Истрия» из тех, где пытаются сохранить уют по-французски. Не такая, а именно одна из тех. Ведь настоящий уют и настоящая старина в наш индустриальный век стоят дорого. А у гостиницы «Истрия» всего-навсего одна звезда.

Почти шестьдесят лет назад, во время своего второго приезда в Париж, в отеле «Истрия» остановился Маяковский. Он не сам его выбрал. О друге своей юности позаботилась писательница Эльза Триоле, поселившаяся здесь.

Все тот же козырек над входом и теперь. Та же узкая дверь. Не поменялась и вывеска над ней.

У двери до блеска начищенная табличка: «Комфорт».

Вхожу. Останавливаюсь. Не хочу упустить ни одной детали, ни одной подробности.

Дверь слева — душевая. Сюда не мог не заходить Маяковский: в его номере не было ванной.

Правая дверь ведет в миниатюрный салон с уютом по-французски. Три столика. Скатерти — на темно-коричневом фоне белые гроздья диковинных ягод. Такие же обои. Обоями обклеены и дверцы шкафа. Вокруг каждого столика четыре стула с соломенными сиденьями. На столиках низкие вазочки с цветами.

Две молодые горничные накрывают столы для пяти дежёнз — завтрашнего маленького завтрака. Ставят блюда, на него кладут салфетку, а на салфетку перевернутую чашку.

Утром постояльцев отеля ждут традиционные для всей Франции кофе, джем, м сло. хлеб. Лифта нет, поэтому горничные не разносят все это в номера.

На том же месте — хозяйская конторка. Та же доска с ключами.

Я пришел в гостиницу в предвечерний час, когда постояльцы еще не вернулись. Почти все ключи на месте. Три десятка отполированных ладонями ключей с тяжелыми бляхами. Который из них снимал с крючка Маяковский?..

Нынешнюю хозяйку гостиницы «Истрия» зовут Мари-Элен Денуаль. В лиловой кофе, в темных бархатных штанах, едва покрывающих колени. С короткой стрижкой.

— Я читала мсье Маяковского. Знаю, что это великий поэт. Он часто останавливался в отеле «Истрия»?

— Всякий раз, когда приезжал в Париж. Начиная с двадцать четвертого года.

— Я бы дощечку прибила в салоне в честь мсье Маяковского.

— Почему дощечку? Мемориальную доску у входа в гостиницу.

— Это не так просто... Стены принадлежат не мне.

Да, не просто. Мемориальную доску уже пробовали установить. Луи Арагон и другие друзья советского поэта. В префектуре разрешили. А владелец дома отказал. Не захотел портить стены.

— В отеле «Истрия», — рассказывает мадам Денуаль, — жило много интересных людей. Художники, писатели, фотографы... Когда мы делали ремонт в салоне и сняли со стен выцветшие обои, то вдруг обнаружили под ними рисунки. Позвали экспертов. Некоторые утверждали, что это мог быть сам Модильяни. Рисунки на стене наверняка были платой за проживание в гостинице. В те времена художники часто так делали. Тогда они были бедными и безвестными.

Я не увидел рисунков. Увы, они скрыты под новыми обоями.

— Много ли изменилось в отеле «Истрия» с двадцатых годов?

— Нет, все как прежде. Только, пожалуй, в салоне перемены. Раньше здесь, где мы сейчас с вами стоим, была перегородка. За ней — подсобное помещение. Никаких столиков. Завтраки разносили по номерам. Зато теперь все быстро знакомятся. За утренним кофе завязывается общий разговор. Советуются, что посмотреть, куда пойти. В отеле «Истрия» селятся небогатые туристы.

— А комфорт? — вспоминаю табличку у входной двери.

— Человеческие потребности не ограничиваются ванной комнатой, туалетом или завтраком в одиночку. У нас в каждом номере есть телефон. Разве это не комфорт?! Я едва могу содержать двух служанок. Сама хожу за провизией. Все-таки «Истрия» — отель туристического класса. Одна звезда.

— Скажите, мадам Денуаль, сколько всего номеров в отеле?

— Тридцать два.

— Какую из комнат мог занимать Маяковский?

— О, тех, кто принимал здесь мсье Маяковского уже давно нет!

— Все номера выходят на улицу Кампань-Премьер?

— Нет. Около дюжины во двор.

— Ну вот, первый шаг на пути расследования сделан. Итак, осталось только двадцать номеров. Окна комнаты Маяковского смотрели на улицу.

— Нет ли других подробностей?

— Маяковского обокрали в отеле «Истрия».

— Не может быть!

— Факт. Вышел утром в пижаме из своего номера и оставил на спинке стула пиджак с бумажником. Вернулся — и бумажника не обнаружил. Предполагают, что профессиональный вор выследил Маяковского еще в банке и поселился в комнате рядом. Ждал удобного случая. И дождался.

— Номер без ванны и туалета... Тогда это на верхних этажах.

— Еще десяток номеров можно исключить. Не правда ли?

— Внизу у нас номеров нет, а на каждую лестничную площадку выходит по пять комнат. Да, десять номеров, если отбросить второй и третий этажи.

— Скорее всего это был последний этаж. Маяковский видел из окна не только бульвар Распай, но и почти всю улицу направо.

— Если верхний этаж и если говорите, что в туалет можно было выйти прямо в пижаме, тогда...

Мадам Денуаль подходит к доске с ключами

— Скорее всего этот.

На медной круглой бляхе выпуклые буквы: «Отель «Истрия». Большая цифра «25». И ниже по окружности: «49, улица Кампань-Премьер, Париж, XVI».

Сжимаю ключ как редкую находку. Поднимаюсь по крутой лестнице. Пройдена первая площадка. Вторая. Еще одна...

Комната 25. К счастью, она пустует. Я снял эту комнату, чтобы остаться здесь.

В номере очень душно. Открыть окно можно, только отодвинув стол, крепко прижатый к подоконнику. Отодвигаю. На какой-то метр. И стол упирается в кровать.

Холодный вечерний воздух быстро наполняет маленькую комнату.

Внизу слева — светящееся подземелье. Вход в метро. Станция «Распай».

Конца улицы направо не видно. По гулу автомобильного движения точно угадывается, что там другой бульвар.

Направо от нас —
Boulevard Montparnasse,
налево —
Boulevard Raspail.

Отхожу к двери, чтобы взглядом — раз и навсегда — сфотографировать комнату.

Справа от входной двери большой шкаф. Одна створка зеркальная. Дальше окно. Стол у окна — старый, в три доски. Легкий стул с деревянной дужкой вместо спинки. За маленькой пирмой умывальник. Белеют два коротких полотенца, на полочке под зеркалом — стаканчик. У стены напротив окна — широкая кровать. Над изголовьем — телефонная трубка. Связь только со стареньким пультом за хозяйской конторкой. А от нее уже — с городом, со всем миром. У кровати старинная тумбочка с мраморной крышечкой.

Меряю расстояние от стены до стены: от той, где стоит зеркальный шкаф, до той, где умывальник.

Я стучаюсь
о стол,
о шкафа острия —
четыре метра ежедневно мерь.

За окном, если подойти вплотную к столу, внизу видны золотистые шапки осенних деревьев. Второй ярус — крыши. А над всеми крышами Парижа — Монпарнасская башня. Этой башни тогда за окном не было. Она появилась в семидесятые годы.

Пятьдесят восемь этажей. Самое высокое здание французской столицы. Из стали и стекла. Монпарнасская башня вызвала такие же бурные споры, как в свое время Эйфелева. Строить или не строить? Чудо века или уродство? Нужны высотные здания Парижу или нет?..

Стук в дверь Появляется мадам Денуаль.

— Мсье, вам нравится у нас?.. Этот этаж я, признаться, недолюбиваю. Стараюсь даже не подниматься сюда. Чтобы не видеть лишней раз Монпарнасскую башню. Мне так противна эта неуклюжая громадина, что я участвовала в манифестации против нее. Не сравнить с Эйфелевой!..

Башня бесцеремонно заглядывает в окно комнаты 25 в отеле «Истрия» на улице Гампань-Премьер.

Мне тесно здесь
в отеле Istria—
на коротышке
rue Campagne-Premiere.

Цепь раздумий сковывает меня, мешает поддерживать галантную беседу. Мадам Денуаль догадывается о моих ощущениях и незаметно исчезает.

В этой комнате Маяковский провел добрых полгода. Полгода — не так уж мало для человека, прожившего неполных тридцать семь...

Темнеет. Сумерки заслоняют Париж сегодняшний.

В комнату все настойчивей вторгается Париж двадцатых годов.

В «РОТОНДУ» ПРИДУТ ИЛИ В «ДОМ»

Впервые Маяковский приехал в Париж осенью 1922 года. «Уезжаю в Европу, как хозяин, посмотреть и проверить западное искусство», — заявил он накануне отъезда

В семь ноябрьских дней вместились множество знакомств, посещений, событий. художественные галереи-магазины и осенняя выставка картин, театры и аэродром Бурже, похороны Марселя Пруста и заседание палаты депутатов. Встречи с писателями, композиторами, художниками.

«Ротонда» и «Дом» — кафе на бульваре Монпарнас.

В разное время суток бульвар выглядит по-разному. В утренние часы он деловитый, озабоченный: бегут в школу дети, подвозят к гостиницам и ресторанам хрустящие

багеты (это хлеб тонкий и длинный, как настоящая палка), всякую снедь, увозят ящики, где гнездятся пустые бутылки, моют витрины, стекла входных дверей. Стулья в кафе все еще на столах ножками вверх. Кофе можно выпить стоя за стойкой. Стоя читают и свежую газету.

От двенадцати до двух часов дня бульвар завертится с максимальной скоростью. Это время дежэнэ. По-нашему — обеда. По-французски — завтрака. Просто завтрак в отличие от утреннего, маленького завтрака. Заполняются все рестораны и ресторанички, кафе и бистро, лавки кулинарных изделий и булочные. В ресторанах рассаживаются для деловых дежэнэ важные чиновники и фирмачи. Отведать спесиалитэ — традиционные блюда французской кухни — заходят богатые туристы. В кафе нет спесиалитэ. Здесь самый ходкий товар: бифштэк или сосиски с фри — жареным в кипящем масле картофелем. В кафе завтракают конторские служащие. Секретарши из тех же контор выстраиваются змейкой у прилавков, где можно купить салат из риса или картофеля в белых бумажных формочках. Рабочие жуют свой багет там, где началось обеденного перерыва. Запивают еду дешевым вином из пластмассовых бутылок. Каждому свое.

С трех часов наступает затишье. Закрываются магазины, лавочки, кафе. Выключаются плиты в дешевых и самых дорогих ресторанах. Едят те, кто кормил Париж.

К вечеру бульвар Монпарнас снова оживет. Посетители расположатся на открытых террасах кафе. Лицом к улице.

Официанты лавируют между клиентами. Сочными мазками красок появляются на столиках бокалы и вазочки. Ярко-зеленый мант (напиток с мятой), светло-бежевое панашэ (пиво пополам с лимонадом), темно-коричневый разлив горячего шоколада на белых шариках мороженого.

Посетители будут долго сидеть. Отпивать в час по глотку. Они смотрят спектакль улицы. Улица смотрит спектакль кафе.

Большинство — иностранные туристы. Ищут «Куполь». Ищут «Ротонду», «Дом». Ищут столик Хемингуэя. Ищут столик Пикассо, Леже. Сверяют свое продвижение с туристскими картами, заглядывают в справочники.

Загораются огни. Уходят в тень деревья, дома, машины. А на бульваре становится еще многолюднее, теснее. В привычный шум города врываются фальшивые голоса бродячих оркестров. У столиков кафе появляются художники. Как когда-то Модильяни, предлагают посетителям свои рисунки. Приходят темнокожие иммигранты. Увешены украшениями, всякими вещицами, которые мастерят сами. Тоже ищут покупателей. Забрёдают фотографы, готовые во что бы то ни стало оставить вам память о встрече с бульваром Монпарнас. Пробегают неслышными, бисерными шажками продавщицы цветов, рекомендуя мужчинам обязательно подарить женщине розу.

Бульвар Монпарнас затихнет только глубокой ночью. Уже после всех туристов, которым не спится в Париже.

Бульвар Монпарнас... Те же здания, те же столы, стулья, хрустящие багеты, жареный картофель фри. Остались обои в цветочек в салонах и номерах отелей, сохранились прежние названия.

Бульвар Монпарнас был таким и не таким в двадцатые годы. Как и отель «Истрия».

Шестьдесят лет назад здесь бурлила другая жизнь. Отсюда прокладывало дорогу в мир новое искусство. Оно рождалось в борьбе взглядов, кипении страстей, горении молодых душ. И многие сгорали, так и не вкусив плодов своего дарования. Раздобыть бы холст и краски, а только потом хлеб и воду. Найти бы сначала бумагу, а потом уж кров. Сколько их, безвестных и знаменитых, гнездились в комнатках-сотах «Ля Рюш», заглушая щепоткой соли голод плоти.

Трудно уловить перемены глазом.

Словно старый камин. Время не тронуло его, не подернуло морщинами трещин. Глеют дрова. Но пламя не разгорается. Тяга не та.

Эпоха великих поэтов и художников ушла. Сами они остались. И Ромен Роллан. И Арагон. И Пикассо. И Фернан Леже. И Делонэ.

И их частый гость Маяковский.

Кафе «Ротонда» и «Дом» были местом постоянных встреч и постоянных споров об искусстве и жизни. В ноябре 1922 года здесь появился Маяковский.

Готов поклясться —
И Рем,
и Ромул,
и Ремул и Ром
В «Ротонду» придут
или в «Дом».

Самое большое впечатление на Маяковского произвел Фернан Леже. Его мастерская находилась в двух шагах от бульвара Монпарнас. Гость из Москвы с интересом принял предложение посетить ее.

...Широко расставив ноги, закинув руки за спину, Маяковский стоит в центре мастерской Леже. Придирчиво рассматривает работы. Одобрительно улыбается.

Эстетика Леже — это эстетика индустриальных форм. Отношение Леже к российской революции — тоже рабочее.

— Скажите, мсье Маяковский, с какой скоростью собирается советская Россия вводить в действие свои электростанции?

— Со скоростью света, который они зажгут.

— Я восторгаюсь вашей страной, вашей революцией. Но правда ли, что повсюду у вас голод и болезни?

— Голод и болезни есть. Но не верьте, будто каждый, переехавший границу, съедается вшами без остатка.

— Что вы, мсье Маяковский! Я бы обязательно съездил к вам. Но пригодится ли мое умение в общем строительстве?

— Пригодится. Приезжайте. Моих товарищей заинтересует ваша живопись.

— Да, но как проехать в Москву?

— Я проехал через Берлин.

— Дело не в маршруте. Кто даст визу?

— Я получил визу благодаря своей глотке. Услышал меня в Колонном зале важный французский чиновник и заявил: «Надо показать эту пасть Парижу». А у вас пятерня, камарад Леже! Надо показать вашу пятерню Москве.

Леже широким жестом обводит свои картины.

— Берите все. Если что через дверь не пролезет, я вам через окно спущу.— И неожиданно по-русски (специально выучился для Маяковского): — До свиданья. Скоро приеду.

— Встретимся в «Ротонде»,— условились и мы с Надей Леже.

А из кафе пошли на улицу Нотр-Дам де Шан, сучковатый отросток бульвара Монпарнас.

Дом номер 86. Массивная дверь, вставленная в каменную раму с лепными украшениями, ведет во дворик с пятачок. В правом углу — подъезд. На последнем этаже — мастерская.

Да, в эти двери и по этим лестницам монументальных панно не вынесешь. А окно широченное. Не окно, а стеклянная стена, составленная из нескольких оконных рам разных размеров.

— Все, как было при Маяковском,— говорит Надя Леже, входя в мастерскую.— Только раньше стояла железная печка. Вот еще след от печной трубы остался.

В правом углу мастерской сквозь ткань, которой обиты стены, проступает темное пятно.

— Так никогда и не был Фернан в Москве,— возвращается Надя к разговору в 1922 году художника и поэта в этой мастерской.— Не сложилось, не получилось... А как хотел! Как он любил Москву, восторгался всем советским... Уже потом, после войны, когда в Париж стали приезжать советские артисты, мы ходили на их концерты каждый день. По несколько раз смотрели каждый советский фильм. Леже всегда заставлял меня петь русские песни: на прогулке, в машине, дома. В нашем загородном доме под Парижем его мастерская размещалась внизу, а я работала наверху. Рисовала и пела. Если переставала петь, Леже брал палку, стучал в потолок и кричал: «Надя, почему не поешь?»

Счастливы те, кто посвящает себя исполнению заветной мечты юности. Желание учиться у Леже, стать его соратницей по искусству освятило долгий путь дочки крестьянина из деревни Осетищи в Париж, столицу художников. Напрасно в свое время изгоняла из нее нечистую силу сельская знахарка. Не помогло — в пятнадцать лет Надя Ходосевич покинула родной дом с думой о Париже, о Леже. Сначала добралась до

Варшавы. Здесь сполна пришлось испытать первую горькую чашу бесправных и безденежных скитаний. Нежданно-негаданно пришла любовь. С мужем-студентом, который тоже решил заниматься живописью, попала в Париж. Замужество не облегчило, а осложнило жизнь. Родилась дочка. А Надя вскоре осталась в Париже одна. С мужем рассталась.

Если бы Маяковский встретил свою «парижанку» не в уборной маленького ресторана «Гранд-Шомьер», а в «Семейном пансионе» на улице Валетт, он тоже не знал бы, «право, молода или стара она, до желтизны отшлифованная». И она подтирала лужи, подавала, убирала, мыла, стирала. Была служанкой в «Семейном пансионе».

В редкие часы свободного времени приходила в школу живописи Леже, по ночам рисовала. Она стала художницей, стала и женой Фернана Леже.

— Нельзя повторять прежних художников. Это был самый главный завет Леже его ученикам. Как-то во время публичного выступления Леже спросили, какой художник нравится ему больше всего. Он сказал: «Я, Фернан Леже. А если бы мне нравился кто-нибудь другой, я бы и работал, как он».

У мольберта лежит палитра художника. Цветная застывшая лава. И с таким же неистовством бушуют краски на его холстах.

Фернан Леже был большим оптимистом. Жизнь представлялась ему неистребимой. Эта мысль посетила его в окопах первой мировой войны, куда он попал солдатом-сапером. Война тематически не отразилась в полотнах Леже, но именно она поставила его на ноги в искусстве.

Он стал воспевать жизнь в ее самых активных формах. Так вошла в его творчество тема труда, тема рабочего человека. Живя в антагонистическом мире, подвластном капиталу, он выставлял в парижских салонах картины, пронизанные верой в силу и могущество простого труженика. Леже не боялся противоборства двух миров. Он знал, за кем будущее. В борьбе видел не только опасное, но и прекрасное начало. Всю жизнь провел в рядах прогрессивных демократических сил, а в конце ее вступил в коммунистическую партию следом за Пабло Пикассо.

— Леже работал как рабочий, который каждый день ходит на фабрику. Всегда вставал в семь часов утра, завтракал и отправлялся в мастерскую. Работал до обеда. Обедал в одном и том же ресторанчике рядом с мастерской. После обеда возвращался в мастерскую и работал дотемна. Вечером любил ходить в кино, но чаще всего отправлялся на бульвар Монпарнас. В «Ротонду» или «Дом». Он был на редкость требовательным к себе. Любую вещь так долго дорабатывал, что я даже прятала от него картины, когда они мне казались абсолютно законченными.

Он хотел, чтобы его работы не просто жили рядом с людьми, а стали бы частью их жизни. Как стол, за который мы садимся. Как хлеб, который едим каждый день.

— Когда Леже садился за стол,— вспоминает Надя,— видел хлеб, молоко, сыр, он непременно восклицал: «Да здравствует крестьянин!» Это была своеобразная молитва Леже перед едой. Он всегда говорил, что стол, за которым мы сидим, сделан рабочими руками. Хлеб, который мы едим, выращен рабочими руками.

О рабочих руках — картина-поэма Фернана Леже. Стихи и рисунки на одном полотне.

«Их руки похожи на орудия труда, а орудия труда — на их руки...»

Слова встречаются с пальцами рук, набегают на них, переплетаются. Они единое целое в картине-поэме.

«Их штаны, как стволы деревьев. Настоящие рабочие штаны не имеют складки. В воскресенье у Тодора (этим именем Леже назвал своего рабочего.—Г. З.) будет складка на брюках. Один раз в неделю он наряжается. Довольна жена, довольны дочери. Но он не знает, куда девать свои руки. Они мешают ему. Его руки привыкли работать».

Руки на картине. Разные руки. В разных движениях, в разных жестах. Их не спутаешь ни с какими другими руками. Это руки рабочих. Они особые. У них свой покров. Своя ловкость, свое умение.

«Приветствуют всюду на свете их руки».

Приветствует их и Леже. Он верит, что придет время, когда руки рабочих будут работать не на хозяина, а на себя. То время, когда получит рабочий «свою машину, свой завод. И это близко. Это в пути».

Справа на картине — полукруг и в нем написано: «В память о Маяковском». И подпись: Фернан Леже.

Это свое необычное произведение, созданное в конце жизни, Леже посвятил советскому поэту.

— Они были похожи, Маяковский и Леже,— говорит Надя.— Оба огромного роста. У обоих сильные большие руки. Совпадали их взгляды на искусство, на место в нем художника. Относились к творчеству как к работе. Маяковский говорил — «делать стихи». Леже говорил — «делать картины».

— Вы были очевидицей той встречи?

— Мы видели Маяковского только со спины. Во время его посещения мастерской ученики школы не осмелились туда подняться. Встретили его и Леже в кафе на бульваре Монпарнас. Наблюдали издали, как они беседовали. Им вместе было интересно.

«Всюду появление живого советского,— писал Маяковский, вспоминая о первой поездке в Париж,— производит фурор с явными оттенками удивления, восхищения и интереса (в полицейской префектуре тоже производит фурор, но без оттенков)».

Как часто и мне в Париже доводилось наблюдать фурор, который производит «появление живого советского». Во время выступлений наших артистов, в дни приездов космонавтов, на встречах с учеными и поэтами.

Отношение к нам: от восторженной любви до яростного антисоветизма, от объективных признаний успехов до желания уничтожить социализм, от дружеского интереса к нашим делам до пожаров в магазине, где продаются советские книги, и погрома советских выставок, от возгласов «браво» в концертных залах до камней, разбивающих витрину представительства Аэрофлота.

Фернан Леже сделал свой выбор в отношении к нам сразу. А Надя Леже всегда оставалась патриоткой.

Это ее мозаичный портрет Владимира Ильича Ленина хорошо виден проходим на Елисейских полях за стеклом фасадной стены Аэрофлота, в которую бросают камни фашиствующие молодчики. Это в ее частной галерее на бульваре Распай устраивались выставки, экспонаты которых подкупленные хулиганы пытались изуродовать, разломать, забрызгать краской.

Раздумываю обо всем этом, рассматривая фотографии в мастерской Леже. Он дружил с Маяковским, Эйзенштейном, Эренбургом. Снимки более позднего периода, когда Леже уже не было космонавты Попович и Николаев, советские послы во Франции Абрагимов и Червоненко, композитор Шостакович, другие деятели нашей культуры, приезжавшие в Париж и встречавшиеся с Надей Леже.

Большой портрет самого Леже. Морщинистое лицо, крупный нос, густые брови. Простой, добрый, с хитринкой во взгляде. От его глаз, от его улыбки исходит тот же свет, та же радость, что и от его произведений.

— Он говорил,— продолжает наш разговор Надя Леже,— что встреча с Маяковским запомнилась навсегда. Маяковский оставался для Леже компасом в моменты поисков и сомнений.

Смерть помешала Фернану Леже приехать в Москву.

Смерть помешала Наде Леже выполнить давнюю мечту: у памятника Маяковскому в Москве изобразить в керамике чаепитие поэта с солнцем.

— Как хочу это сделать и как боюсь! Но обязательно сделаю. Привезу и покажу эскиз. В Москве решать удастся ли мне эта работа. Мой портрет Маяковского — начало задуманного... Ах, как бы хорошо мог украсить эту площадь в Москве Фернан Леже!

ПЕРЕПОЛОХ НА ГРЕНЕЛЛЕ

Во второй раз Маяковский приехал в Париж в начале ноября 1924 года. Пробыл здесь полтора месяца, добывая визы для поездки в Америку. Но этого разрешения так и не дождался.

Двадцать четвертый год был особым. Франция признала наконец республику Советов, установила с ней дипломатические отношения.

4 декабря 1924 года в Париж прибыл первый советский посол

До времени предусмотренного протоколом остается минута. Поезд уже катится вдоль перрона Северного вокзала.

Парижане встречают советского посла. Одни — улыбкой, другие — сжатыми от злости кулаками. Но сегодня кулаки в ход не пойдут. Сегодня день улыбок. Искренних и натянутых.

Поезд останавливается. Чиновник с набережной д'Орсэ делает знак рукой. Дверь вагона распахивается настежь.

На перрон спускается Леонид Борисович Красин. Он впервые привез в Париж верительные грамоты народа, а не великодержавного правителя.

Но где же гимн? Ах да, «Интернационал» запрещен во Франции. Как все меняется в жизни! Казалось, еще недавно французский посол в Петербурге добивался исполнения своего гимна. Видно, судьба «Интернационала» во Франции не лучше судьбы «Марсельезы» в Российской империи. Нет, сейчас советский полпред протестовать не будет. Еще зазвучит в Париже гимн революционной страны, гимн рабочих всего мира.

Автомобиль с Красиным направляется на улицу Гренелль. Она расположена на левом берегу Сены. Рив-гош — демократическая часть Парижа.

Старинный особняк стоит без хозяина уже семь лет. Раньше здесь жили царские послы. Теперь в вымазанные свежей охрой ворота въезжает представитель советской России.

Перед воротами толпа репортеров и фотографов. Как им хочется проникнуть туда, за каменный забор! Но приходится довольствоваться малым: подслушанным обрывком разговора, снятым через щель кадром...

Расталкивая газетчиков, к входу в посольство решительно пробивается Маяковский. Его ладонь упирается в ворота. Ворота закрыты. Маяковский начинает стучать в них кулаком.

— Кто это?

— Не видите? Личный телохранитель господина Красина!

— Ну и кулачище! Кувалда! Все ворота расшибет.

Ворота открываются. Маяковского впускают.

Прошло десять дней. Страсти улеглись. Теперь перед особняком на улице Гренелль стоит полицейский в мундире и каске.

Тихо на улице Гренелль. Редко кто беспокоит стража порядка. Вот прошли несколько человек с пригласительными билетами. Вполне уважаемые господа. И по-прежнему тишина. Для чего же их пригласили в посольство?..

Товарищи,
двое
док
таких, что им
и небо пустяк.
влезли
и стали
крепить на флагшток
в серпе и молоте
ситцевый стяг.

Все ясно: большевики решили поднять свой флаг. Но это же не простой флаг. Срочно сообщить начальству!

А тут —
и этого еще не хватало! —
Интернационал
через забор
махнул
и пошел по кварталам.

Неужели они обнаглели настолько, что заиграли запрещенный гимн? Что же будет?!

Факт —
поют!
Играют —
факт!
А трубы дулись,
гремели.
А флаг горит,
разрастается флаг.
Переполах на Гренелле.

Маяковский в Париже... Сжал кулак, выбросил вперед. Читает стихи. Это не история, а сегодняшний день.

Маяковский на парижской афише спектаклей молодежного коллектива, назвавшего себя «Группа РОСТА».

Их четверо на сцене театра «Рекамье»: певец с гитарой и аккомпанирующие ему музыканты. Звучат скрипка, виолончель и контрабас. «Группа РОСТА» поет стихи Маяковского. Как песни. Как баллады. Как гимны. Громко. Призывно. Самоозащитно. Ни в манере исполнения, ни в облике артистов ничего театрального. Свитера и джинсы. Как и на тех, кто в зале.

Почему решили петь Маяковского?

Ответ на голубых страничках пояснения, которое заменяет программки.

«Музыка несет энергию, способную привести стихи Маяковского в действие».

Почему вообще взялись за Маяковского?

«Любовь, революция, война и мир, заботы повседневной жизни — у Маяковского все сюжеты значительны».

Почему «Группа РОСТА»?

— Мы назвали себя так,— говорит руководитель группы Никола Живалик,— в честь знаменитых «Окон РОСТА» Маяковского. Есть прямая связь между тем временем и нашей действительностью: борьба за лучшее будущее.

Это не отдельные песни на стихи Маяковского. Это целый спектакль. Со своей темой, со своим сюжетом. И финал — стихи о советском паспорте.

Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

— Я случайно наткнулся в библиотеке на стихи Маяковского,— рассказывает Никола.— Начал читать. Не смог оторваться.

Они пели Маяковского в театре «Рекамье», на встречах молодежи, в цехах бастующих заводов.

Маяковский в Париже... Запретить!

Как бы хотелось этого господину Палену, возглавляющему один из парижских университетов.

«В ответ на письмо о просьбе разрешить съемку защиты диссертации Клодом Фриу на соискание ученой степени доктора наук сообщаю о своем отрицательном решении».

Отказ мотивирован: ввиду непригодности зала для визитов корреспондентов телевидения и отсутствия практики организации спектаклей.

Далее мсье ректор с французской галантностью выразил свое крайнее сожаление по поводу отказа и просил соизволить принять его нижайшее расположение.

Клод Фриу написал многотомную работу о творчестве Маяковского. Вполне естественно, что советское телевидение намеревалось подготовить репортаж о защите такой диссертации.

Маяковский в Париже... В том самом зале у Версальских ворот, где собирается на митинги рабочих Париж, где французские коммунисты проводили многие вечера, посвященные Советскому Союзу, где не раз выступал ансамбль Советской Армии, московский цирк, другие наши художественные коллективы.

...Сцена в пожаре алых полотнищ. Они трепещут от легкого бега танцоров. Взмывают в упругих руках, не сдаваясь в борьбе, зовя на бой.

Так завершается спектакль «Зажгите звезды». История Маяковского рассказана балетной труппой Ролана Пети.

— Узнав Маяковского,— беседует со мной известнейший балетмейстер,— я был захвачен силой, новаторством и добротой его творчества. Он шел в ногу с эпохой, которая его породила, в создании которой он сам участвовал и поэтом которой он был. Поэт революции, ставший ее подлинным героем. И я должен был это рассказать.

Десятилетним мальчиком в 1934 году Ролан стал учиться хореографии. Сформировавшись в школе «Парижской оперы», он в девятнадцать лет становится первым танцором на этой прославленной сцене. После войны Пети покидает «Оперу» и выступает с сольными концертами, а затем становится балетмейстером. Танцует и сам ставит спектакли. Его творческой активности можно только удивляться. Иногда он создает в один год более десяти спектаклей. Работает на парижской сцене и за границей. Готовит балетные сцены в кинофильмах, в представлениях мюзик-холла, на телевидении.

В 1972 году Ролан Пети организует свою постоянную труппу в Марселе. Создавая

новый театр, балетмейстер взял в союзники Маяковского. Первым спектаклем стал балет «Зажгите звезды».

Он отличается новизной и в музыке. Впервые в балетном спектакле прозвучали мелодии Прокофьева из кинофильмов «Иван Грозный», «Александр Невский».

Послушайте!
Ведь если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

«Конечно, нужно! — напишет в рецензии о спектакле парижская газета. — Огромному числу людей нужны звезды поэзии Маяковского. Это голос идущего вперед народа».

Маяковский в Париже.. Он мог бы смотреть с обложки своего полного собрания сочинений на французском языке.

О планах его издания мне рассказала Мадлен Брон, возглавлявшая «Эдитёр франсе реюни».

— Наше издательство уже выпустило немало книг советских авторов. И не только отдельных книг, а целых серий, многотомных собраний сочинений. От Максима Горького до Чингиза Айтматова. Издание всего Маяковского — неизмеримо трудное и интересное дело. Маяковский был первым из советских поэтов, которого услышали и полюбили французы.

Сама Мадлен не слышала Маяковского. В двадцатых годах ее, студентку факультета правоведения, привлекали другие поэты. Воспитанная в обеспеченной буржуазной семье, она не интересовалась революционным искусством.

В год смерти Маяковского Мадлен Брон возглавила социальную службу одной из больниц. «Именно там, — скажет она впоследствии корреспонденту «Юманите», — я увидела нищету и решила бороться за ее полное искоренение».

Мадлен включается в общественную жизнь. Антивоенная деятельность, работа генеральным секретарем международного комитета защиты республиканской Испании, участие в Сопротивлении. В год победы над фашизмом Мадлен Брон избирается депутатом французского парламента, а затем вице-председателем одной из палат.

3 августа 1946 года газеты поместили сенсационный снимок: впервые в истории страны заседание Национального собрания ведет женщина. Добавим, коммунистка: в годы оккупации Мадлен Брон вступила в ФКП.

С 1961 года товарищ Брон во главе «Эдитёр франсе реюни». Совместно с Луи Арагоном.

— Для полного собрания сочинений Маяковского нами избран не хронологический, а смысловой принцип. Решено начать с прозаических произведений поэта. В первый том наряду с прозой войдут статьи, выступления. Они помогут французским читателям лучше представить себе, кем был Маяковский, познакомиться с его оценками событий, суждениями об искусстве, литературе. Дальнейшие тома объединят стихи, поэмы, пьесы. Предполагается, что последний том познакомит с Маяковским-художником.

Предполагалось... Мадлен Брон, неутомимая и последовательная поклонница и издательница советской литературы, умерла. Собрание сочинений не увидело света.

Помешали и другие причины. Издать Маяковского — невероятная сложность для переводчиков. Издать Маяковского — политическое дело. Трудности, споры, соображения. Как обычно вокруг Маяковского.

Умер и Арагон.

Мне всегда хотелось поговорить с ним о Маяковском. Он откладывал интервью. В последний раз мы сидели рядом в театре «Рекамье». Я снова спросил о Маяковском. Арагон улыбнулся своей нежной улыбкой, наклонился ко мне и лукаво сказал:

— Маяковский в Париже.

Маяковский в Париже...

«20 лет работы» — парижская экспозиция воспроизводит московскую выставку 1930 года.

Кого удивишь в Париже выставками? Их так много и проводятся они так часто, что иные не собирают и сотни посетителей. На эту Париж валом валит.

Цель выставки по-плакатному броско запечатлел сам Маяковский: «...показать, что поэт не тот, кто ходит кучерявым барашком и блеет на лирические любовные темы, не поэт тот, кто в нашей обостренной классовой борьбе отдает свое перо в арсенал вооружения пролетариата...»

Знатоки смакуют: рукописи и рисунки поэта, первые издания его книг, его стихи на газетных страницах, афиши выступлений, эскизы театральных постановок.

Большинство встречается с Маяковским впервые. Смотрят на буржуя, поддетого красноармейским штыком, в «Окне РОСТА», на большую галошу с серпом и молотом, рекламирующую «Резинотрест», на фотомонтажные иллюстрации Родченко к поэме «Про это», читают лозунг-плакат о «поездах, расписанных боевыми строками», и об «атаках, горланивших частушки», афишу про то, как «люди хохочут и морщат лоб в театре Мейерхольда на комедии „Клоп“», слушают артистов, декламирующих «Облако в штанах», остаются на пресс-конференции и диспуты.

Смотрят, читают, слушают, спрашивают, поражаются.

Открывают Маяковского.

Событием невероятной важности назвала французская печать эту выставку в Париже.

После Парижа — Гавр, Бордо, Ренн, Амьен, Авиньон, Сент-Этьен. Гренобль... Маяковский совершает путешествие по Франции.

ЯВЛЯЕМСЯ ВОДИТЕЛЯМИ МИРОВОГО ИСКУССТВА

Год 1925 — время третьего приезда Маяковского во Францию. Эта поездка разделена надвое трансатлантическим пароходом, который увозил его в Америку и возвратил через четыре с лишним месяца в Гавр.

Из событий в Париже, участником которых стал Маяковский в двадцать пятом, главным была всемирная художественно-промышленная выставка. И советский павильон на ней.

На этот раз разлука с Парижем была недолгой. Да и была ли вообще? Не успел Маяковский вернуться в предновогоднюю Москву 1924 года, как получил особое поручение.

Пока поэт гостил в Париже, республике Советов тоже пришло приглашение в столицу Франции. Летом двадцать пятого года там должна была открыться всемирная выставка декоративного искусства и промышленности.

Приглашение на выставку было сделано лишь в ноябре, всего за полгода до ее открытия. Однако Совет Народных Комиссаров ответил согласием. Но смог выделить на участие только семьдесят тысяч рублей. Правительства других стран, стараясь не уступить друг другу в великолепии, тратили на свои павильоны-дворцы сотни тысяч и даже миллионы. Мы же еще не залечили ран войны империалистической, войны гражданской, интервенции. Социалистическая индустрия существовала только в смелых планах партии большевиков. Заводы стояли, цехи зарастали бурьяном.

Маяковскому и в Москве пришлось жить парижскими заботами. На следующий день после возвращения его подключили к работе комитета по устройству советского павильона.

Времени для создания экспозиции почти не оставалось, а ведь нужно было показать старому миру достижения нового мира. Задача не шуточная, задача на годы. Подготовка экспонатов занимала дни и ночи. Не могли мы везти в Париж одних матрешек. Не могли дать повод для злорадства классовому врагу. Гимн революции нельзя пропеть под балалайку.

...И вот июньским утром 1925 года Маяковский вышагивает по привычному маршруту. Позади гостиница «Истрия», улица Кампань-Премьер, бульвар Монпарнас, собор с гробницей Наполеона. Впереди — площадь Инвалидов, где разместилась художественно-промышленная выставка.

Из головы не выходит вчерашнее. И нужно было не запереть дверь! Неужели из-за какого-то парижского карманника сорвется поездка в Америку?

— Бонжур, господин Маяковский! — слышится сзади.

— Бонжур,— не прерывая тяжелых раздумий, отвечает Маяковский окликнутому его прохожему. Знакомые усики, черная бабочка, прилипшая к белоснежному воротничку. Лоснящаяся от пота лысина.

— О, вы заговорили по-французски! А помните нашу первую встречу? В Москве, в «Обществе эстетики»? Она могла бы продлиться дольше, если б вы владели этим языком тогда.

Едкая улыбка оживляет кажущееся выдолбленным из мрамора лицо. Но голова по-прежнему картинно вздернута вверх.

Маяковский опускает взор на собеседника...

Зимой 1914 года Москва встречала «отца футуризма». В «Обществе свободной эстетики» он сделал пространный доклад и собирался вести диспут. Причем с условием: возражать по-французски.

Зал молчал. Внезапно вскочил высокий юноша в желтой кофте:

— Требование вести диспут на французском языке — это публичное надевание намордника на русских футуристов! В «Обществе эстетики» можно свободно получать только кушанья по карточке!

Поднялся шум. Заседание закрыли. Диспут не состоялся...

— Вы читали мою последнюю книжку?

— Новые стихи, господин Маринетти?

— Нет. Она называется «Футуризм и фашизм». Я пытаюсь доказать близость этих понятий.

— Могли бы не утруждать себя. Достаточно поместить рядом два портрета — ваш и Муссолини.

Капельки пота на черепе сбегают в струйку, струйка сползает за ухо.

— Я горжусь сходством с дуче. Мне даже завидуют.

— Вы утверждали при нашей первой встрече, что настоящий поэт не должен быть ни на кого похож.

Взгляд Маринетти устремляется к панораме выставки. Глаза ищут спасительного укрытия от тяжелого вопрошающего взора.

В глубине площади стоят два павильона. Плечом к плечу. У массивного итальянского павильона оно мраморное, у советского — стеклянное.

— У нас не только поэты, но и архитекторы ни на кого не похожи.

Лицо-маска снова растягивается в улыбке.

— Я, конечно, не был внутри, но внешний вид вашего павильона просто убог. Эти здания демонстрируют не только лицо страны, но и толщину кошельков.

— Наши кошельки опустошают воровские руки. Но мы открываем свои Америки. Странно, господин бывший футурист, что этого не можете понять вы.

— Я был и остаюсь сторонником нового искусства!

— Вы поставили свое искусство на мраморные колени перед властью и денежным мешком. Нет, синьор Маринетти, новое искусство рождается только в мире новых отношений и представлений, в стране, вымытой рабочей революцией.

— Я вижу, вы тоже изменили футуризму, господин Маяковский. Что же вы называете новым искусством?

— Искусство, адресованное массам, понятное им.

Прошло полвека. И снова парижане увидели советский павильон двадцать пятого года. Его макет стал экспонатом на выставке «Париж — Москва».

Время, будто сказочный бинокль, укрупнило маленький макет до символа.

Павильон поражал прежде всего своей красной крышей.

Введение цвета стало новым словом в архитектуре. И произнес его советский зодчий Константин Мельников. Введение цвета было новым словом и в кинематографе. В том же году его сказал советский режиссер Сергей Эйзенштейн.

Не только в цветной крыше проявилось новаторство Мельникова. Легкость постройки, ее простота и, наконец, сплошной стеклянный фасад, открывающий взору экспонаты, прозвучали вызовом тяжеловесным соседям-дворцам.

Экспонаты были под стать павильону. Конечно, не могли мы тогда похвастаться машинами и станками. Революция не успела воплотиться в материю индустриальных форм. Но дух ее царил везде. Четырнадцать разделов советской экспозиции отразили не только величие, но и многогранность этого духа. Текстиль и театральные эскизы, оформление книг и изделия народных промыслов фотографии и денежные знаки. Казалось бы, обычные вещи. Но каждая отмечена неповторимой печатью новизны и оптимизма.

Каталог экспозиции и все, что касалось рекламных дел, готовил Маяковский.

Оформлением павильона руководил его соратник по Лефу Александр Родченко. Он говорил: «Свет с Востока — не только освобождение трудящихся. Свет с Востока —

в новом отношении к человеку, к вещам. Наши вещи в наших руках должны быть тоже равными, тоже товарищами».

Рядом с павильоном Родченко поставил обыкновенный рабочий клуб, каким в нашей стране нельзя было удивить даже тогда. В Париже он стал настоящей сенсацией. В двадцать пятом и семьдесят девятом годах. На выставке «Париж — Москва» рабочий клуб был восстановлен.

Выставка «Париж — Москва» действовала более пяти месяцев. Собрала две с половиной тысячи экспонатов из Москвы и Парижа, музеев других столиц, из частных коллекций. Размещалась в Национальном центре культуры и искусства имени французского президента Жоржа Помпиду, который сами парижане зовут по-своему «Бобур». По названию улицы, которая здесь пролегает.

«Бобур» — здание без ног, без головы, без стен, без крыши. Антидом! Но антидом удивительно практичный. Три этажа под землей, пять — наверху. Все, что необходимо для функционирования здания, вынесено наружу. Лифты, лестницы, вентиляционная и другие системы. Дом окружен подъемниками, трубопроводами, всякими конструкциями. Они ярко окрашены. Три цвета: красный, синий, зеленый.

И не такая уж дерзкая мысль подумать о том, что необычный «Бобур» начинался не в ателье Парижа или Рима, а в стране, «вымытой рабочей революцией». Не хочу сказать, что есть прямая архитектурная связь между красной крышей первого советского павильона и трехцветным «Бобуром». Нет, новизна в социальной идее. Рабочий клуб — клуб для трудового люда. Такого Франция не знала. Такого Франция не знает и сейчас.

Почему «Бобур» побил рекорды посещаемости? За год в культурном центре бывает около шести миллионов человек. Больше, чем поднимается на Эйфелеву башню.

Шесть миллионов парижан и приезжих устремляются в «Бобур», не только чтобы посмотреть на здание, но и чтобы посидеть в его библиотеке, заняться изучением иностранных языков с помощью магнитофонных записей, найти редкие грампластинки, приобщиться к культуре.

Маяковский утверждал после встречи с Парижем в двадцатых годах: «...при всей нашей технической, мастерской отсталости, мы, работники искусств Советской России, являемся водителями мирового искусства, носителями авангардных идей».

Среди книг поэта, плакатов, афиш — «солнечный» экспонат: две створки дверей, расписанных стихами. Лозунг Маяковского и солнца: «Светить — и никаких гвоздей!»

Эту дверь разрисовала художница Соня Делонэ. Она скончалась в год выставки «Париж — Москва» в возрасте девяти лет. Соня была женой и товарищем по искусству французского художника Робера Делонэ, прославившегося цветовыми решениями своих абстрактных картин.

Маяковский посетил парижскую мастерскую Делонэ.

«Он весь, — писал Маяковский, — даже спина, даже руки, не говоря о картинах, в лихорадочном искании».

Закрывшись в комнате, Делонэ просверлил отверстие в ставне и, пользуясь лучом как моделью, изобразил на полотне солнечный спектр. После этих опытов открыл ставни и начал изображать ясность дня, изучая игру света на стеклах и занавесках.

Лучшими картинами Делонэ считаются те, в которых он, не довольствуясь цветовой гаммой, делает изображение рельефным. Диск, шар, винт были для него этапами творчества. «Я нашел, это крутится!» — воскликнул однажды Делонэ, завершив одну из своих круговых форм.

Делонэ просил Маяковского передать привет Москве, просил московскую аэростанцию принять в подарок два его полотна, наиболее понравившихся Маяковскому: цветной воздух, рассекаемый пропеллерами.

Художник нарисовал пятьдесят один портрет Эйфелевой башни. Он ломал ее, скручивал, рушил. Маяковский считал, что в образе Эйфелевой башни, рушащейся на Париж, Делонэ старается выразить предчувствие революции.

Робер Делонэ нарисовал портрет Маяковского. Сделал такую надпись: «Великому поэту великого народа — его любящий товарищ».

Как и Леже, Делонэ хотел приехать в советскую Россию...

Связь времен существует, и об этом наш разговор с генеральным комиссаром выставки «Париж — Москва», которая явилась крупнейшим событием в советско-французских культурных отношениях.

— Ну и голосище

— Нам бы такой.

Начинают сыпаться реплики и вопросы.

— Докажите, что вы поэт в полном смысле слова!— кричит член дореволюционного поэтического кружка «Бродячие собаки» Георгий Иванов, уставившись на Маяковского в моноколь.

— Я люблю метафору. Прямой смысл оставляю вам. Вам, сбежавшим с родины и лающим на нее, чтобы доказать причастность к «Бродячим собакам». В прямом смысле. Голоса недругов все тише. Сорвать вечер им не удастся.

Из кафе Маяковский выходит под восторженный гул. Вокруг поэта плотное кольцо друзей. Их у него в этот вечер стало больше.

Толпа скандирует: «Кто там шагает правой?левой!левой!левой!»

Стоим за кулисами. Стоим — сидеть не на чем. И кулисы в здеющем помещении понятие условное.

Разговор об одном: что произойдет в зале через несколько минут, когда на помост поднимется наша поэтическая делегация, возглавляемая Константином Михайловичем Симоновым.

Поэты из Советской страны не раз выступали в Париже. И не раз проводились литературные вечера с их участием. Но такого вечера еще никогда не было.

— А Маяковский? — вспомнил Симонов о кафе «Вольтер». — Кор-а-кор! Врукопашную!

— Этот залище сто «Вольтеров» проглотит.

— Как они будут слушать стихи без перевода?

— Народ-то в зале есть? Сюда и не доберешься.

Да, этот вечер в октябре 1977 года вызвал немало волнений у организаторов и участников. Парижское литературное и артистическое агентство по культурным связям решило провести его в зале у ворот Пантэн. Зал достался Парижу в наследство от старых скотобоен. Огромное помещение под высокой крышей быстро приспособили для всяких массовых зрелищ, поставив многоярусными рядами несколько тысяч красных пластмассовых стульев.

Не слишком ли рискованно проводить поэтический вечер в таком гигантском зале, к тому же на окраине Парижа? Ведь парижская публика совершенно не приучена к многолюдному чтению стихов. И стихи будут читаться на русском, украинском, армянском языках только с небольшими предварительными пояснениями по-французски. Вплоть до начала вечера никто не был уверен, заполнится ли многотысячный зал.

— Ну, пора, — твердо говорит Симонов. — Пошли!

— Что решили читать, Константин Михайлович?

— «Жди меня».

Почему он выбрал в тот вечер именно эти стихи? Может быть, уже почувствовал серьезность своей болезни и верил, что из нее, как из боя, можно выйти живым. Или захотел еще раз проверить свои бессмертные строки. Может быть...

Мне навсегда запомнился Симонов на сцене зала у ворот Пантэн. В темной куртке, грустный, читающий стихи просто, негромким голосом.

На следующий день за столиком кафе, стоящим прямо на тротуаре, мы будем снимать его интервью для телевидения. Он будет рассказывать о том, как читал стихотворение «Жди меня» в Париже тридцать один год назад, в сорок шестом, на вечере литераторов, где был вместе с Эренбургом. На вечере присутствовал Морис Торез.

— Так что осталось это в памяти, — звучит в моих ушах не только голос, но и симоновская интонация. — Но, конечно, когда думаешь о советской поэзии и о Париже, вспоминаешь куда более значительные вещи, чем собственное чтение. Вспоминаешь прежде всего Маяковского. Он стоял у истоков общения советской и французской поэзии. Он здесь читал. Он здесь боролся, спорил.

На сцене — красный полукруг. Те же пластмассовые стулья, что и в зале. Советских поэтов встречают аплодисментами. Дружными, громкими. Свист все-таки раздается. Но боязливый, одинокий.

Участников вечера представляют, говорят о нашей многонациональной литературе.

Первым из поэтов к микрофону подходит Симонов.

Из темноты зала к помосту тянется единственный луч театрального прожектора, падает на лицо. Неподвижный, четко сфокусированный, этот луч еще сильнее концентрирует внимание слушателей:

Жди меня...

Нет между залом и поэтом языкового барьера. Нет десятилетий, минувших со дня появления стихотворения. Есть общность, рожденная единими переживаниями и раздумьями.

Мы сидим с Жаном Марсенак у самой стены. У него на коленях — сборник стихов на французском языке. Жан похож на суфлера: взгляд маятником ходит от сцены к книжке, от строчек к тещу. Губы беззвучно повторяют то, что написано, что слышит зал.

На французский это стихотворение перевел Жан Марсенак. Более сорока лет отдал он литературному труду.

Советские книги стали переводиться во Франции сравнительно недавно. В предвоенные годы их выпускали, как правило, лишь издательства, близкие к Французской коммунистической партии. В основном это были прозаические произведения. Поэзия занимала в тех первых публикациях скромное место. Заметную роль в приобщении французов к советской поэзии сыграл выход в середине шестидесятых годов антологии под редакцией Эльзы Триоле.

Марсенак был одним из тех французских поэтов, которые работали над переводами. Он рассказывал:

— Часто собирались У Эльзы Триоле. Каждый раз приступая в переводам нового автора, делились впечатлениями о его творчестве, читали стихи вслух, а потом встречались снова, обсуждая сделанное. В обсуждениях принимали участие Арагон, Гильвик. Все работали с большим терпением и неизменным вдохновением. Отбрасывали то, что казалось неудачным, и часто дорабатывали переводы коллективно.

Памятным для Парижа остался вечер в зале «Мютюалите», который был связан с выходом антологии русской и советской поэзии. Он проходил осенью 1965 года. Тогда в Париж приехали Сурков, Твардовский, Кирсанов, Мартынов, Слуцкий, Р. Рождественский, Вознесенский, Соснора. Из поэтесс — Белла Ахмадулина. В афише значилась и Ахматова, но она не смогла приехать: была больна.

Жан Марсенак вспоминал:

— Зал был переполнен. Зрители сидели на полу и в проходах. От имени советской делегации выступил Алексей Сурков. С коротким словом к присутствующим обращались перед чтением стихов все поэты. Гостей представляла публике Эльза Триоле. Французские переводы стихов читали известнейшие актеры, в числе которых был Жан-Луи Барро. Успех вечера превзошел все ожидания. Париж не знал подобных встреч с поэзией. Париж вдруг понял, что поэзия может иметь голос и лицо. После «Мютюалите» во Франции стали устраиваться публичные поэтические вечера.

Зал «Мютюалите» не сравнишь с залом у ворот Пантэн ни по числу мест, ни по составу зрителей. Здесь советская поэзия брала новый рубеж. Она встречалась с массовым французским читателем.

...Они сидят на сцене полукругом: Константин Симонов, Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Размик Давоян, Олжас Сулейменов, Виталий Коротич, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Марк Сергеев. Они принадлежат к разным поколениям. Они не похожи друг на друга. Нет ничего общего и в том, как они читают свои стихи и поют свои песни. Но поэзия объединяет, а не разобщает их: они утверждают одни идеалы.

— Никто из самых выдающихся современных поэтов не достиг бы своих вершин, если б не было Маяковского и его примера, — говорит мне Жан Марсенак в короткую паузу между выступлениями. — Поэт не один среди ста пятидесяти миллионов, а один со ста пятидесятью миллионами. Но думая о том же, что и другие люди, живя их заботами и радостями, поэт должен обращать обыденные слова в слова-символы. Так, чтобы вошли революционной азбукой в лексикон человеческой речи. Как умел это делать Маяковский. У каждого поэта должна быть хотя бы одна такая строка.

Она есть, такая строка, у Жана Марсенака. Это он сказал о Сен-Дени — «город мертвых королей и живого народа».

Соседство слов удивительно, как и соседство на площади Сен-Дени собора, где покоится прах сорока монархов Франции всех эпох, и мэрии, которую более полувека возглавляют коммунисты.

Рабочие Сен-Дени участвовали в штурме Бастилии 14 июля 1789 года. Все мужчины города без исключения ушли затем в войска Конвента, чтобы отстоять в битве с королевскими армиями народившуюся республику.

В местном музее хранится оригинал нот «Интернационала». На четвертом листе партитуры пролетарского гимна — подпись автора. Токарь по дереву Пьер Дегейтер тридцать лет прожил в Сен-Дени, организовал здесь рабочий хор и руководил им. Он умер и похоронен в этом городе в сентябре 1932 года.

Сен-Дени живой и в своих сегодняшних делах. Боевой авангард парижских предместий. В гуще этих дел — поэт-коммунист и муниципальный советник Жан Марсенак.

После вечера в зале у ворот Пантэн Жан приглашает советских друзей к себе, в квартирку над маленькой аптекой. На бокал амитье — дружеский бокал. Именно так: на бокал. Во Франции приглашения строго регламентированы. Если вам заранее не сообщили, что зовут на обед или ужин, никто не станет при неожиданной встрече опустошать холодильник и накрывать стол. И не оттого, что французы не гостеприимны. Просто таковы обычаи.

— За советскую поэзию! — произносит гость Марсенак. — Она сегодня одержала в Париже свою новую победу.

И снова наш разговор возвращается к кафе «Вольтер».

— Жан, чем ты объяснишь такой интерес во Франции к Маяковскому?

— Франция меняется. Мы обращаемся к поэту, который как никто другой был устремлен к этим переменам.

То было особое время во Франции — семидесятые годы. Французский народ хотел перемен, стремился к ним. Он объединился вокруг программы левых сил, душой которых были коммунисты. Волна недовольства нарастала по мере ухудшения жизни трудящихся. Тяготы дороговизны, тяготы налогов, тяготы безработицы.

Руки создателей не привыкли быть сложенными. Просящими. Гордые, умелые, мозолистые руки, воспетые Фернаном Леже. Они умели бороться. Миллион безработных встал со сжатыми кулаками. А с ними — несколько миллионов неимущих. Интеллигенция, выдающая несправедливое отношение к себе и к своему делу, встала рядом с рабочим классом Франции. Поднялось крестьянство.

Объявлена борьба. Есть союз левых сил. Есть общая программа. Ан аван! Вперед!

Как в такой момент нужно призывное слово! И тут на баррикады во весь свой могучий рост шагнула фигура Маяковского.

КУДА МЕНЯ ПОПАЛИ? ЧТО ЭТО?.. МОСКВА?.. ПАРИЖ?? НЬЮ-ЙОРК?!

Осенью 1928 года Маяковский снова был в Париже. Работал над комедией «Клоп». В гостинице «Истрия».

Поведение приехавшего выдает в нем завсегда отеля. В руке чемодан, только с вокзала, но держится так, будто вышел отсюда час назад.

— Бон суар, мадам Сонет!

— О, мсье Маяковский! Рада вас видеть. Очень рада! Опять к нам? Как любезно с вашей стороны не забывать старых друзей, Обычно богатые гости обходят нас стороной.

— Какой банкир хвастал моими векселями?

— Ох, мсье Маяковский! Напрасно вы считаете меня недогадливой. Ваше выступление в прошлый приезд вызвало фурор. А раз поэт становится популярным, то и бумажник его раздувается не только от гордости за хозяина.

— Мадам, вы не выходите из-за стойки. Откуда вам знать о моей популярности?

— Только вы уехали, как в «Истрию» заглянула полиция.

— Полиция? Это меня ободряет.

— Забудьте о полиции. Как забыла я. Здесь вам всегда рады. Только должна огорчить: мы вынуждены теперь больше брать за свои услуги. Во Франции снова инфляция.

— Инфляция? Запор товаров при поносе денег.. Нам не опасна ваша болезнь. Заказываю двойной завтрак.

— И ветчину, мсье Маяковский?

— Обязательно, мадам Сонет.

...Давно погасли огни на улочке Кампань-Премьер. Лишь справа завлекающе подмигивает Монпарнас.

Спектакль закончился. Зал опустел. Присыпкин пошел разгримировываться. А мы с режиссером Бруно Карлучи остались.

— Учимся у Маяковского революционному, новому. Такие выдающиеся мастера советской культуры, как Маяковский, чье творчество разворачивалось в первые десятилетия Страны Советов, и сегодня находятся в авангарде прогрессивного художественного и литературного движения стран Запада.

— Как воспринимают Маяковского зрители вашего театра?

— Мы начали с поэмы «Хорошо!», воспевающей «землю молодости». Этот литературный спектакль имел успех. Зрители, что приходят к нам в театр, любят поэзию и, мы убедились, понимают Маяковского. Понимают, несмотря на все различие проблем, которых Маяковский касался, например, в комедии «Клоп», и тех забот, которыми живут люди нашего городка. «Клоп» интересен для нас тем, что Маяковский разоблачает в нем мелкобуржуазный дух. Конечно, для нас политическая борьба, изменение экономической и социальной структуры — главная задача. Но как важен духовный облик человека, его нравственные качества.

Вместе с программкой представления «Клоп» зрители могли приобрести книжечку со статьями, фотографиями, рисунками, копиями документов, даже таблицами. Статьи — о Маяковском, о времени революции и обновления, о постановках комедии «Клоп» в Советском Союзе и во Франции. На фотографиях — Маяковский и те, с кем он работал: Родченко, Мейерхольд, Шостакович. Рисунки Маяковского, его «Окна РОСТА», его рекламные плакаты. А таблицы — о первых пятилетних планах. Таблицы нашего роста.

Вступительная статья к этой книжечке озаглавлена: «Боритесь за культуру». Начинается так: «За нее нужно драться. Каждый день. Во всех областях. В любой точке. Драться, чтобы отстоять то, что имеется. Чтобы защитить культуру от деградации, гибели».

В статье рассказывается и о трудностях театра в Венисье. В 1975 году, когда ставили «Клопа», министерские власти в Париже обещали выделить театру 300 тысяч франков. Обещанная сумма быстро сократилась до 120 тысяч. Когда пришло время принимать решение, сжалась до 85 тысяч. А средний по затратам спектакль обходится в 250 тысяч. Только один спектакль! А как быть с остальными?!

Плачевное положение. Не только с этим театром. Повсюду во Франции: полпроцента на культуру в государственном бюджете.

Театр в Венисье держится благодаря поддержке местных властей, профсоюзных и общественных организаций.

В фойе театра — панно об успехах Советской страны. Сегодняшний день наших заводов и фабрик, градостроительства, культурной жизни.

Маленький город в центре Франции. Театр со зрительным залом на двести мест. Четырнадцать постоянных актеров в труппе. И эти панно! Их показывают советскому гостю с уважением и надеждой. С уважением к нашей стране. С надеждой на перемены во Франции.

«Спектакли о Маяковском, — скажет, прощаясь, Бруно Карлучи, — наше слово в общей борьбе за перемены».

«Выбрать Маяковского во Франции, — скажет, здороваясь, Серж Пёт, — значит обратиться к будущему».

Другой режиссер, другой театр. Совсем иная обстановка.. Заводская столовая переоборудуется. Выносят столы. Расставляют рядами стулья. Устанавливают декорации. Монтируют освещение. Все это делают шесть человек: режиссер, трое актеров, играющих в спектакле, два профсоюзных активиста. Работают быстро, привычно, без лишних движений и без лишних слов. Каждая минута на счету. Время ограничено арендой грузовика, который доставил театральные аксессуары, лимитированной возможностью занимать помещение, а главное — обеденным перерывом рабочих.

Рабочие пообедают в другой столовой. Те, кто собирается на спектакль, должны сделать это первыми и сразу спуститься сюда. Люди будут входить и выходить во время действия, но никто не сделает им замечания. Наоборот, каждому новому зрителю будут только рады, а каждого ушедшего поблагодарят, что все-таки смог присутствовать на представлении.

В конце зала, где создается импровизированная сцена, натянут большой белый экран. На него будут проецировать диапозитивы, на нем актеры будут рисовать и делать пояснительные надписи. На полу под экраном сложено несколько деревянных

брусев. Такие же продолговатые прямоугольные брусья положены справа и слева от экрана. Будто готовятся не показывать спектакль, а что-то строить.

Зал постепенно преобразуется в настоящий театр. Даже раздался первый звонок, предупреждающий о скором начале.

Теперь у профсоюзных активистов есть возможность поговорить со мной. Это председатель культурной комиссии заводского комитета Бернар Лоран и работник этой комиссии Жозет Пот.

Завод принадлежит компании «Рон-Пуленк», одной из самых крупных. Сто пятнадцать тысяч рабочих и служащих. Предприятия не только во Франции, но и в других странах. Продукция связана с химией. Во всем многообразии: от минеральных удобрений до лекарств, от всевозможных синтетических волокон до полной гаммы пластмасс. Завод находится под Лионом. В другом его рабочем пригороде — Сен-Фоне. И было это той же весной 1975 года.

— Я слышала, что в Советском Союзе артисты часто приезжают к рабочим, — говорит Жозет. — А у нас это событие. Во Франции на предприятиях нет рабочих клубов. Нет культурного центра и на нашем заводе. Правда, есть библиотека, которая насчитывает более десяти тысяч книг. Они выдаются читателям бесплатно. Однако отсутствие клуба и нежелание дирекции предоставить какие-либо помещения — серьезные препятствия для культурной работы.

— Но это не главное, — дополняет Бернар. — Это практические трудности. Дело в самой сущности капиталистической системы. Если серьезно говорить о культурном развитии трудящихся, нужно начинать с их образования. А возможности рабочих учиться ограничены. И материально сложно, и всякими способами проводится социальный отбор. Предприниматели препятствуют культурной работе профсоюзов, считая ее частью идеологической борьбы. Да и средств на все не всегда хватает.

— Кто ассигнует вашу деятельность?

— Администрация, из фонда заработной платы. Это началось в конце сороковых годов, когда рабочие стали требовать, чтобы было покончено с патернализмом, то есть всякого рода подачками. Рабочие хотели сами заниматься своими социальными вопросами. Такой спектакль, как этот, о Маяковском, организован на средства культурной комиссии, и вход на него бесплатный.

— А каковы личные возможности рабочего? Часто ли он ходит в театр, кино, сколько покупает книг?

— Я вам расскажу о себе, — отвечает Жозет. — Треть заработной платы уходит на жилье. Это как и у большинства французов. Вторую треть плачу няне, которая остается с моей маленькой дочерью. Предпочла бы поместить ребенка в ясли, но в Венисье, где я живу, существуют только одни ясли. В них сорок мест, а желающих несколько десятков тысяч. Наконец, последняя треть расходуется на питание и одежду. От заработной платы не остается ни сантима.

— Наш завод, — замечает Бернар, — не составляет исключения среди других предприятий компании «Рон-Пуленк». Рабочие ходят в театр очень редко. Более или менее регулярно — два-три человека из ста. Остальные бывали в театре случайно или вообще никогда не бывали. В кино ходят охотнее, но тоже не все. При таких условиях наша работа приобретает особое значение.

На стене столовой повешен плакат. На плакате Маяковский. Во весь рост. Рядом — стихи на французском языке. «Приказ по армии искусств».

Шестеро, которые преобразуют зал, из армии Маяковского. Они ведут свой бой. Надо успеть с приготовлениями. Надо собрать публику. Надо сыграть такой спектакль и так, чтобы зрителям захотелось прийти и в следующий раз, чтобы они открыли для себя важное и волнующее.

Серж Пот — командир. И его режиссерский пульт — как командная вышка. Пульт поднят на своеобразные строительные леса у опорной колонны зала. На пульте — осветительные приборы, проекционный аппарат, магнитофон с записями шумового и музыкального сопровождения, звонок для сбора зрителей в зал.

Он один на вышке. Один настраивает, проверяет, пробует. Начнется представление — и он не раз с ловкостью циркача спустится и поднимется по лестнице, представленной к режиссерскому пульту: ведь он еще и сам играет.

— У меня нет воспоминаний, которые не были бы связаны с театром. — Серж Пот начал рассказывать без вопросов, стремительно, как делал все остальное. — Сначала я был любителем, но вот десять лет как стал профессионалом.

Только в одном смысле: зарабатываю театром на жизнь. Профессиональных знаний мне не хватает. Я театральному искусству никогда не учился. Все постигал на практике. Это удел большинства моих коллег. Во Франции мало профессионально подготовленных артистов, мало постоянных профессиональных трупп. И если в первом случае типична моя личная история, то во втором — история нашего театра. Наша труппа, которую создал Марсель Марешаль, вышла из университетской среды. Многие годы наше существование было просто жалким. Мы работали без всяких субсидий, без всякой материальной помощи. Мы не только держались, не только надеялись — мы боролись. Нас поддержали профсоюзы, учительская масса, сами зрители. И мы победили. В шестьдесят восьмом году наша труппа образовала компанию «Котюрн» — Лионский драматический центр.

Серж вертится волчком. Обилие обязанностей не тяготит, а радует его. На бесконечные заботы он отвечает улыбкой, доверчивой и легкой. Он влюблен во всех, кто пришел на спектакль.

— Спектакль о Маяковском играется театром «Котюрн»?

— И да и нет. Сколько, по-вашему, бывает рабочих людей среди зрителей театра в Лионе? Пять-шесть процентов, не больше. А мы хотим играть для таких людей. Театр неотделим от широкой публики, от народных масс. И мы сами отправились к своим зрителям. Образована группа, которая готовит выездные спектакли. Играем на заводах, в библиотеках, в учебных заведениях. В любых аудиториях. Наша группа, как десант, должна быть мобильна и всегда готова к действию.

Последняя фраза доносится уже с командной вышки. Серж Пот занял свой боевой пост. Подал команду к началу спектакля.

Сцена представляет студию телевидения. Зажглась красная лампочка на крышке телевизионной камеры: знак, что камера включена и может вести показ. Камера направлена на стол, овладевший центральной позицией. За этим столом разместится ведущий передачу.

На столе помимо обычных для ведущего вещей: стакана с водой, книг, листа бумаги, — грудой навален различный реквизит. Среди него — живописная одежда поэта-футуриста, цилиндр, трость, краски и кисти.

Стол являет собой место противоборства: организованности и беспорядка, скучной традиционности и непривычной новизны.

Позы артистов, занявших место на сцене, — это девушка и два молодых человека — не выражают готовности приступить к какой бы то ни было деятельности.

Появляется ведущий. Его роль играет Серж Пот. Окинув опытным взглядом студию, ведущий впадает в панику. Пытается выбросить все лишнее, зовет артистов к микрофону. Те протестуют: обыденная манера литературной передачи не годится для знакомства с Владимиром Маяковским. О ком угодно можно вещать за столом со стаканом минеральной воды, только не о Маяковском. Пусть сам поэт войдет в студию. Сам расскажет о себе.

Раздаются предупредительные сигналы выхода в эфир. Включается полный свет. Ведущий бросается к столу, адресуя зрителям банальные приветствия. Его прерывает громовой голос Маяковского:

— Послушайте, сбегайте мне за сигаретами. — Не обращая больше внимания на ведущего, Маяковский начинает: — Я поэт. Этим и интересен...

— Почему вы поставили Маяковского? — Этот вопрос я не мог не задать Сержу Поту.

— Маяковский — поток. Он всеми силами расчищал дороги, по которым шел, от всего устаревшего, освобождался от всего, что стесняет, унижает, лишает человеческого и творческого достоинства. Через Маяковского видишь целый исторический период — Октябрьскую революцию, рождение нового мира. Его революцию, его мир. Работать над произведениями Маяковского значит самому обрести новые силы и стремления.

Трое на сцене выступают от лица Маяковского. Читают стихи и автобиографические записки поэта. Читают и строят: лестничные марши, наклонные переходы, покатые спуски, крутые подъемы. Деревянные брусья то ложатся параллельно, то перекрещиваются, то разбегаются лучами. Стол каждый раз становится центром всех этих конструкций.

Движение и перестановки придают спектаклю действенный, наступательный характер.

В конце представления из брусев образуется баррикада. И, бессильный совладать с теми, кто поднялся на нее, ведущий обрывает передачу из телевизионной студии. Свет и звук выключены. Спектакль прекращен. Не окончен, а именно прекращен.

После спектакля здесь же, в столовой,— обсуждение. Его начинает Бернар Лоран:

— Инициатива режиссера Сержа Пота: познакомить рабочих с такой поэзией, это нужное дело. Многие и не представляли себе, как важна роль поэзии в политической борьбе, в нашей повседневной жизни.

— Ты прав, Бернар,— говорит служащая Жизель Паноссен.— Спектакль пробудил во мне желание почитать Маяковского, углубить мое знакомство с ним, захотелось как можно больше узнать об этом поэте. Если такое желание появилось и у других наших рабочих, думаю, что цель достигнута.

На кофточке Жизели Паноссен — эмблема ВКТ. Самой массовой, самой решительной, самой деятельной профсоюзной организации во Франции. Такая же эмблема с изображением рабочих ладоней в рукопожатии солидарности приклеена на карман рубашки Бернара.

— По случаю забастовки,— объяснил он,— и нашего марша в Париж, чтобы передать дирекции требования рабочих.— Бернар улыбается.— Вот и Маяковский мобилизует нас, зовет к действию.

— Незабываемый день,— благодарит режиссера работница Брижит Пистр.— Я ничего не знала о Маяковском. Никогда не читала его стихов.

...В заводской столовой все происходит в обратном порядке. Демонтируют командный пункт режиссера, снимают экран, грузят деревянные брусья. Разбирают ряды стульев. Вносят столы. С той же быстротой и деловитостью, что и до представления. Через три часа новый спектакль — в зале библиотеки.

МИР ОГРАБЛЕННЫЙ ДЕЛЯ

1929 год — последняя поездка Маяковского во Францию. Он провел несколько весенних недель в Париже, короткое время отдыхал на юге. Тогда-то и побывал Маяковский в Монте-Карло.

По узкой лестнице отеля, перешагивая через ступеньку, а то и две, поднимается человек в широкополой шляпе.

Навстречу спускается худошавый постоялец в клетчатом пиджаке. О чем-то задумался и не смотрит под ноги. Столкновение неминуемо.

— Эй вы! Или спуститесь на землю, или парите выше.

Рассеянный постоялец встает в ступеньку.

— Владимир Владимирович! Вот не ждали!

— Я не мессия. Всем ждать не надо.

— Вы не узнаете меня?

— Вспомнил по щекам. Вы их растягиваете, как подтяжки.

— Плохонькая гостиница. Неужели вам не порекомендовали ничего получше?

— Я здесь уже в пятый раз.

— Но в номерах нет туалета. Это так неудобно ночью.

— Пейте на ночь что-нибудь с гвоздями.

Худошавый постоялец не может сдержать улыбку. Теперь щеки-подтяжки растягиваются горизонтально.

— Надолго в Париж, Владимир Владимирович?

— Нет, скоро поеду на юг.

— А я отправляюсь туда завтра. В Монте-Карло.

— Вот и отлично. Встретимся.

— Где?

— Если вы настоящий писатель — в казино.

— В казино?

— Казино — это баня для буржуа. Возле рулетки он обнажается до косточек.

До встречи!

...Днем веет весенним теплом, но к вечеру его вытесняет ветер с моря. Пустеет берег, пустеют пальмовые аллеи.

Смолкает шум. Гаснут огни в домах.

Лишь три окна горят так ярко, что свет их соскальзывает в море. Жизнь бурлит только здесь.

В парадную стеклянную дверь тычет свою бамбуковую трость широкоплечий исполин. Проходит в зал. Никто не поднимает глаз на гиганта. Все увлечены игрой.

Шарик
скачет по рулетке,
руки
сыпят
франки в клетки...

Лишь один человек замечает нового посетителя.

— Спасибо вам, Владимир Владимирович.

— За что?

— За совет.

Крупье — ночной князь в Монако. Его стул подобен трону. Он загребает фишки, их владельцы — деньги.

Вокруг стола банкиры и члены аристократических семейств, главы преуспевающих фирм, судовладельцы и землевладельцы.

Противник у всех один — рулетка. Рулетка проигрывает, рулетка выигрывает, рулетка платит, рулетка разоряет...

Одни ставят на число, другие — на ряд, третьи — на цвет. Комбинаций много — ставь хоть на все сразу.

Пока рулетка вертится, эмоции одни: этот теребит пуговицу, тот чешет лысину, кто шевелит губами, кто зажмуривается. Но вот шарик застывает. На одном из тридцати семи чисел.

Вздохи, возгласы, вопли, стоны...

Выигрываются и проигрываются сотни, тысячи, миллионы.

— Когда вижу здешнюю нищету, хочется все отдать. Когда вижу здешних миллиардеров, хочется иметь больше, чем у них.

— А отчего бы вам не сыграть? Вы ведь азартный человек, Владимир Владимирович, я знаю.

— Не хочу.

— Почему?

— С этими не хочу. С друзьями бы сыграл.

Маяковский пристально всматривается в сидящего неподалеку игрока. Тот от волнения вспотел.

— Смотрите, как мучается этот монтекарлик. Поможем ему?

Рука, зажавшая тысячефранковую фишку, повисла в скульптурной позе. По всему видно, что фишка последняя.

— Мсье, смело ставьте на семнадцать, — раздается зычный голос. — Это число сейчас выиграет.

Безжизненная рука молча повинуется.

— Почему? — слышится с соседнего стула.

— Потому что здесь я. Это число — год нашей революции.

— Агент Москвы! — звучит справа.

— Это провокация! — доносится слева. — Предлагаю в знак протеста не играть даже на комбинацию с этим числом.

Тысячефранковая фишка передвигается на другую цифру. Крутится рулетка, мечется шарик...

— Семнадцать! — объявляет крупье. Он улыбается. Он доволен. Все ставки достались казино. Редкая удача.

— Болваны! — заключает зычный голос.

На сей раз никто не смеет возразить.

В немой тишине слышно только постукивание бамбуковой трости. Дверь перед ее хозяином услужливо распахивается, как перед всяким из здешнего сброда, собирающегося в казино изо дня в день.

... вот он —
капиталист.

Вот он.

вот он —
вор и лодырь —

из
 бездельников-деляг,
 мечет
 с лодырем
 колоды,
 мир
 ограбленный
 деля.

Сентябрь 1980 года. Вместе с певцом Роже Варнэ мы едем из Парижа в Курнев. Сегодня, в осеннюю субботу, там начинается праздник газеты «Юманите».

У нас с Роже не только общие интересы, желание побыть вместе — у нас и общее дело. Он написал новую песню. Песню о Маяковском. Будет петь ее на празднике. А мы должны снять его выступление для кинофильма, который через год появится на телевизионных экранах под названием «Париж. Почему Маяковский?..».

Мы условились с Роже Варнэ встретиться загодя, не на самом празднике, а в Париже, потому что в празднике принимают участие сотни тысяч человек. В том году собралось два миллиона. Найти друг друга в такой толпе труднее, чем иголку в стоге сена. Попробуй найти, когда это целый город со своими площадями и улицами, домами-павильонами, с нескончаемым людским потоком. Повсюду что-то новое, привлекающее: карусели, лотереи, тиры, жаровни, столы дегустации, барные стойки, тележки с мороженым, газетами, воздушными шарами, торговые ряды, эстрады, танцевальные площадки.

Этот город живет только два дня. В первые субботу и воскресенье каждого сентября. Потом исчезает. Через год снова появляется.

— Как думаешь, — обращается ко мне Роже, — что последнее видел в Париже Маяковский?

— Северный вокзал, — отвечаю я. — Как и сейчас, поезда к Москве уходили оттуда.

— Да, конечно, вокзал... А что делал?

— Остановился в отеле «Истрия», семь недель провел в Париже, продолжал писать «Баню». Ездил отдыхать на юг. Был в Монте-Карло.

— Знаешь, о чем я думаю: жаль, что он не побывал на празднике «Юманите». А ведь мог.

Мог. Первый праздник состоялся в 1930 году. Тяжело приходилось газете — рупору трудящихся масс. Ее хотели закрыть. Банк, где находились средства газеты, был блокирован.

Марсель Кашен, являвшийся политическим директором «Юманите», предложил организовать комитеты защиты. Его призыв подхватили, а осенью тридцатого года в одном из парижских пригородов состоялся политический митинг. После него — небольшое гулянье. Так родился народный праздник. Теперь он самый массовый во Франции.

Приезжают на метро, специальными поездами, автобусами. Людской шквал волнами заливает парк Курнев.

Мы с Роже молчим, но думаем об одном: как въехать на территорию праздничного городка на машине. Это строго запрещено. Дороги перекрыты несколькими кордонами. Сначала это полицейские, а ближе патрулируют бригады коммунистов.

От стоянки до эстрады идти добрых два километра. Для нас это невозможно: помимо кинокамеры, магнитофона, треножника, сумок со всякими шлангами и световыми приборами, нужно нести несколько ящиков аппаратуры Роже Варнэ.

Неожиданно для меня Роже достает из кармана фотографию Маяковского и крепит ее к ветровому стеклу. Это не может не привлечь. Первый же полицейский с удивлением спрашивает:

— Кто это у вас на машине?

— Маяковский, — отвечает Роже.

— Кто?!

— Советский поэт. Я буду петь о нем.

С фотографии смотрит элегантно-веселый, прижавший к груди пушистого пса. Все это выглядит так по-французски, что полицейского берет сомнение:

— Он жил в России?

— Когда в России, когда в Париже. Любил ходить с друзьями в наши кафе и рестораны. Ездил в Монте-Карло.

— Играть?

— Я не знаю более азартного игрока!

— И вы будете петь про него на празднике «Юманите»?

— Именно!

То ли упоминание о Монте-Карло, то ли настойчивые гудки выстроившихся в длинную очередь машин принуждают полицейского сдаться. Он пропускает нас на боковую дорогу, ведущую в Курнев. Первый кордон позади.

Через полкилометра другой. Здесь коммунисты.

— Бонжур, камарад!

После традиционного приветствия снова объяснение.

— Маяковский?

Нам повезло. Парень, который стоит на посту, был на концерте «Группы РОСТА». Роже Варнэ представляется. Рассказывает про свою новую песню, которую везет на праздник.

— Проезжайте, — дружелюбно говорит дежурный.

Роже берет фотографию и дарит парню. Тот с благодарностью принимает подарок.

И вот мы у эстрады. Тут же торгуют пластинками Роже Варнэ.

Среди его песен есть очень популярная во Франции «Мари-Визон» — о женщине в норковой шубке. Ее поют многие знаменитые певцы. Когда Варнэ захотел включить песню в свой большой диск, издатели отказались это сделать. «Она давно не твоя, — сказали ему. — Все уже забыли, что написал ее ты».

Многолика культурная программа праздника. Дает возможность приобщиться к настоящему искусству. Где еще простой рабочий мог бы видеть, например, балет Большого театра? Или, как сегодня, слушать концерт греческого композитора Микиса Теодоракиса и его оркестра, смотреть спектакль будапештской оперы. Некоторые номера культурной программы просто уникальны. В этот раз — международная выставка театральных кукол. И не просто выставка: что ни день — спектакли кукольников из разных стран.

С эстрады, где готовится к выступлению Роже Варнэ, видна центральная сцена. Скоро здесь произойдет главное событие праздника — митинг, на котором выступит Генеральный секретарь ФКП Жорж Марше.

Впереди у Франции — президентские и парламентские выборы, где победят левые силы. Впереди у Франции — время демократических реформ. И яростное сопротивление тех, кто привык жить, «мир ограбленный деля».

Праздник 1980 года проходит под лозунгом «Надежда сегодня». Так называется книга Жоржа Марше, привлекающая особое внимание посетителей «Книжного центра».

Сам автор так определяет надежды:

«Изменить Францию. Изменить, мир. Остановить гонку вооружений. Гарантировать мир. Сохранить независимость Франции. Если хотите, поговорим об этом вместе».

Здесь действительно можно поговорить с автором. Писатели дают автографы, отвечают на вопросы, сами задают их.

Сегодня их здесь около двухсот. Среди них наш старый знакомый Жан Марсенак.

— Скажи, Жан, давно ли на празднике устраиваются «Книжные центры»?

— С тридцатых годов. Не секрет, что французы мало читают. Мы уже говорили об этом. Причин тут немало. Нам, коммунистам, очень важно помочь простому человеку найти путь к нужной книге, разобраться в потоке литературы. Да и цены здесь другие, праздничные, намного ниже обычных. Инициаторами «Книжного центра» были Луи Арагон и Эльза Триоле. Они рассказывали мне, что о массовых праздниках с участием поэтов мечтал еще Маяковский в свой последний приезд. Трудное было время. К власти в стране пришло правое большинство. В партии намечался раскол. Число ее членов уменьшилось. Руководителям грозили аресты. Но именно тогда у нас, в Сев-Дени, прошел Шестой съезд ФКП, принявший решение усилить работу с массами. Первый праздник «Юманите» стал самым важным ответом на это решение.

Арагон познакомился с Маяковским в баре ресторана «Куполь» на бульваре Монпарнас в ноябре 1928 года.

«Это была та минута, — вспоминал спустя шесть лет сам Арагон, — которая должна была изменить мою жизнь. Поэт, который сумел очутиться на гребне революционной волны, этот поэт должен был оказаться связью между миром и мною. Это было первое звено цепи, которую я приемлю и показываю всем сегодня, цепи, соединившей меня снова с внешним миром. Некоторые философы научили меня отрицать его. Поэт

Владимир Маяковский научил меня, что надо обращаться к миллионам людей, к тем, которые хотят переделать этот мир».

Слово «юманите» означает «человечество». Праздник газеты вобрал в себя не только политический смысл, идущий от ее названия, но и понимание этого слова в его глобальном, земном значении. Это и впрямь праздник трудовой Франции, праздник прогрессивного человечества, на который съезжаются гости из многих стран мира.

Перед эстрадой, где будет петь Роже Варнэ, собираются зрители. Негаданная встреча — с группой рабочих химического завода под Лионом. Проходили мимо, прочитали афишу. Решили остаться послушать. После спектакля они знают, кто такой Маяковский.

Рядом со сценой пролегают дорожки. Первые такты песни привлекают прохожих. Останавливают. Вовлекают в круг слушателей.

«Его стихи — огонь, и пусть молниями блеснут они в этой песне...»

Голос певца сливается с общим голосом праздника. А в песне его — голос советского поэта. Слова об атакующем классе, о том, как отдает ему автор всю свою звонкую силу.

Песня Роже Варнэ звучит все громче, все мощнее.

«Маяковский, как я хочу, чтобы с тобой познакомился каждый в моей стране».

Отель «Истрия». Утро. Закрываю номер 25. Спускаюсь по лестнице.

Ночь была чудесной, хотя раздумья так и не дали сомкнуть глаз..

ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ



О РАЧИТЕЛЬНОСТИ

Сразу после приезда в Берлин пытаюсь достать новый телефонный справочник. На почте объясняют:

— Можете получить бесплатно, если сдадите старый справочник.

Купив мебель, не знаю, что делать с огромным старым шкафом. Мой сосед Герхард Гольдшмиат советует:

— Ты можешь превратить эту рухлядь в украшение дома. Вначале надо его ошкурить, чуть сузить полки...

Я не упускаю счастливого случая и дарю Герхарду эту «перспективную» рухлядь. Год спустя моя жена удивляется: где сосед купил такой замечательный шкаф?

Не сразу открыл я для себя логическую связь между приведенными фактами. Только позже уловил ее, поразмыслив о хозяйственности Герхарда и миллионах марок, сэкономленных на предприятиях республики.

Бережливость, рачительность поощряется в ГДР на всех ступенях. Так уж отрегулированы здесь экономические рычаги. Но решающим все же является моральный фактор. Бережливость начинают воспитывать у человека на том этапе, когда он еще не думает о степени вознаграждения. Отец не выбросит банку не только потому, что она стоит денег. Плохой пример для детей. Родители привлекают детей к обсуждению семейного бюджета. Пусть знают, что велосипед, туристическая поездка не свалились с неба. Поэтому в летние каникулы в ГДР достаточно и мойщиков автомашин, и подсобных рабочих в магазинах, и сборщиков макулатуры. Когда в садах Потсдама созревает урожай, ватаги мальчишек и девочек отправляются из Берлина на заработки.

Известно, легко быть бережливым, когда у тебя одна пара обуви, очень трудно, если у тебя их несколько пар. Материальный достаток обесценивает вещи. Мы оперируем часто другой шкалой цен. Сдать две бутылки, тонкую кипу бумаги — стоит ли! Когда в ГДР несколько лет назад увеличили приемные цены на вторсырье, специалисты с удивлением отметили: закупки макулатуры и металлолома возросли незначительно. Много существует объяснений этому факту. Одно из них: в «домашнем хозяйстве» республики ничего не пропадает из того, что можно запустить на второй круг производства.

В ГДР действует хорошо организованная, продуманная в деталях система сбора бумажной макулатуры, стеклянной тары, металлолома. Наши немецкие друзья создали образцовую индустрию переработки вторичного сырья. Тут они оказались далеко впереди многих стран.

Известно, что тонны слагаются из граммов. Миллионы марок, которые экономит ежегодно немецкая социалистическая республика благодаря собственной рачительности, тоже складываются из пфеннигов. На всех ступенях действует принцип, усвоенный с детства: нельзя бросить, разбить, сжечь, уничтожить вещь, которая имеет цену. Поэтому школьников Берлина часто водят на завод, расположенный вблизи столицы. Там перерабатывают строительный мусор. Снесенные дома не сжигают, а сортируют. Старые бревна, рамы, двери продают частным застройщикам. Кирпич перемалывают, и он идет на покрытие дорог и площадок. Даже старые обои находят своих покупателей.

По нему можно сверять часы. Не было случая, чтобы Рихард Бениш опоздал хотя бы на минуту. Стало привычным: каждую среду ровно в одиннадцать у калитки звякает его велосипед. День у Рихарда начинается рано. В шесть утра он отправляется в путь. Мой адрес в списке стоит на одном из последних мест. Рихард приезжает, когда его коляска доверху нагружена кипами старых газет, бутылками, банками и разной ветошью.

Старьевщик? Нет, к нему это не подходит. Не похож он на старьевщиков, которые ходили в годы моего детства по московским дворам, выкрикивая: «Шурум-бурум!» Во всем, что делает этот человек, есть сознание важности и необходимости его работы. Отсюда и пунктуальность, дотошность в расчетах и определенная солидность, с какой ведет он дело. Верно, что Бениш ни разу не опоздал. Но и не помню случая, чтобы кто-нибудь заставил его простаивать у закрытой калитки. Случилось что-то непредвиденное — мы оставляем записку или складываем кипы газет перед входом в дом.

Каждый сборщик макулатуры получает от государства небольшой аванс для расчетов с клиентами. Бухгалтерия простая: за банку или килограмм макулатуры Рихард платит меньше, чем получает от государства. Так складывается разница, которая служит солидной добавкой к пенсии Бениша.

За год Рихард сдает в общей сложности более 5 тонн бумажной макулатуры, 14 тысяч бутылок и банок. Недавно его наградили путевкой в дом отдыха. Месяц, проведенный на балтийском побережье, стал неисчерпаемой темой его рассказов. Вот и сейчас, прежде чем загрузить свою коляску, он не преминул заметить:

— Прошлой весной, когда уезжал в Росток, было теплее...

Не знаю, но мне всегда казалось несправедливым называть хламом вещи, которые не потеряли своей практической ценности. Со слов Бениша я записал несколько цифр, которые наводят на серьезные размышления. 45 процентов своих потребностей в бумаге ГДР покрывает за счет переработки макулатуры. Для стран — членов СЭВ это наивысший показатель. Три четверти стали в республике выплавляют из металлолома. 10 процентов текстильных изделий приходится на вторсырье. 70 процентов стеклянной тары покупатель возвращает обратно в торговую сеть. Больше десяти лет здесь не выпускают винных бутылок — обходятся собранной тарой. Еще пример немецкой рачительности — пивная бутылка. В среднем каждая бутылка оборачивается более 30 раз.

Буду откровенным: специалисты, с которыми мне приходилось беседовать, настоятельно просили не сводить проблему использования отходов только к моральным аспектам. Верно, что Бениш аккуратен и пунктуален, что немец редко выбросит банку или пачку газет. И все же при нынешнем размахе производства ни Бенишу, ни кому-либо другому не запустить на второй круг всю громадную массу отходов.

Известный в ГДР журналист-экономист Вальтер Флорат пишет, что сегодня уже нельзя эффективно вести хозяйство без эффективной переработки отходов. На одном из последних пленумов ЦК СЕПГ говорилось, что отношение к вторсырью — это наглядный показатель хозяйственности. Вот так смежаются понятия. А ведь еще недавно считалось: собирать вторсырье... от бедности.

Немецкая социалистическая республика — страна развитой промышленности. Это с одной стороны. С другой — ГДР не богата природными ресурсами. 60 процентов своих потребностей в сырье она покрывает за счет импорта. Много покупает в странах социалистического содружества, но немало приходится приобретать на капиталистических рынках. В таких условиях бережливость в расходовании сырья и материалов, строгий учет — не пожелание, а закон успешного развития народного хозяйства. В прошлой пятилетке прирост сырья достиг 3,7 процента. Использование отходов возросло с 24 до 30 процентов. Только в 1982 году было запущено на второй круг 26 миллионов тонн вторсырья.

Можно ли сказать, что второй круг в году действует без сбоев? Директор Института по изучению проблем использования вторсырья доктор Хорст Хаук отвечает отрицательно. Достаточно сказать, что отходы промышленности покрывают только 10 процентов потребности народного хозяйства в сырье. Иными словами — две трети всех отходов пропадают, превращаются в труху и ржавеют на свалках.

Как показывают расчеты специалистов, тут еще немало резервов. Вот хотя бы такой пример. В республике много тепловых электростанций и все они работают на

буром угле. Только 10 процентов золы используют в строительной индустрии. Много это или мало? Если брать в расчет международные нормы, то ГДР занимает лидирующее положение. Но доктор Хорст Хаук доказал: использование угольной золы можно довести до 27 процентов. Институт, который возглавляет ученый, работает над проблемой применения автомобильных шин. Горы старых покрышек стали уже приметной деталью окраины. Но, оказывается, их можно превратить в дешевое покрытие дорог и улиц. Это значительно снизит стоимость асфальта, позволит исключить дорогостоящие компоненты. Надо сказать, что проблема отходов в поиске ученых ГДР занимает солидное место. Только в 1980 году ей было посвящено 200 научных разработок.

В Бернбурге мне пришлось коротать вечер в уютном кафе, которое оборудовали ребята. Средства они получили в результате воскресных походов по дворам и свалкам. В Хенигсдорфе таким же путем построили спортивную площадку.

В течение вот уже нескольких лет в Государственном банке ГДР открыт «счет молодых социалистов». На него переводят средства, вырученные от сдачи металлолома и макулатуры. Распределяют доходы следующим образом: половина суммы идет на счет Центрального совета Союза свободной немецкой молодежи, 25 процентов отчисляют в пользу районного или окружного совета ССНМ, остаток поступает в пользу самих сборщиков. Не знаю кому как, но мне лично по душе такая четкость. Ребята знают, сколько получают за свой труд. Знают они и как распорядиться деньгами. Это приносит взаимную выручку.

От Бениша и его коллег поступает в год почти 360 тысяч тонн металлолома, 548 тысяч тонн бумажной макулатуры, более 100 тысяч старых текстильных изделий и 700 миллионов стеклянных бутылок и банок. Цифры впечатляющие!

Экономисты считают, что отлаженность утилизации — один из важных показателей современного производства. Разумно организовать использование вторичного сырья подчас выгоднее, чем строить новые шахты, рудники или заводы. В ГДР, которая бедна полезными ископаемыми, это получает прямое выражение. Тонна металла, вновь запущенная в производство, сокращает экспорт сырья. «В нынешней пятилетке запланирован ежегодный прирост товарного производства на 6,5 процента, тогда как прирост сырья и материалов определен в 2,8 процента. Разницу мы должны покрыть из собственных ресурсов», — говорит мне Хайнц Йорк, заместитель министра материального снабжения.

Каждое министерство в ГДР отвечает не только за выпуск продукции, но и за снабжение своей отрасли. Переработка отходов — тоже их дело. Йорк и его коллеги не могут экономить за счет распределения. Их задача — искать новые источники сырья. Главный из них — переработка вторсырья.

Хайнц Йорк говорит о «профилактике потерь». Иными словами, процент отходов можно уменьшить, если думать о потерях уже на стадии проектирования. Показательно, что 70 процентов материалов наши друзья экономят за этот счет.

В Дрездене действует так называемый Информационный центр использования материалов. Его услугами сегодня пользуется полторы тысячи предприятий. Центр дает рекомендации, как заменить дорогостоящий материал более дешевым, как найти применение отходам. От клиентов отбоя нет. И это понятно. Важной характеристикой технического уровня изделия стала его «материалоемкость». В прошлом году генеральным директорам комбинатов было поручено пересмотреть существующие отраслевые стандарты, с тем чтобы приравнять их к международным.

Второй круг не существует сам по себе. Сотни проблем связаны с понятием «бережливость». Журнал «Вохенпост» недавно писал о времени, когда возникнут промышленные комплексы, работающие без отходов. А пока что отходы есть. Чтобы из них выделить вторсырье и запустить его по второму кругу, требуются особые условия. Как пишет журнал, сейчас на свалках оказывается 70 миллионов тонн вторсырья. Это далеко не однообразная масса. 60 процентов отходов — перемешанная масса. Рихард Бениш сортирует свой ежедневный улов самостоятельно. Хозяева приемных пунктов тоже обходятся собственными силами. Когда же речь идет о миллионах тонн, нужен другой подход. Время меняет масштабы проблемы. У рачительности сегодня иной счет. Но в ГДР при всем при том помнят — марка складывается из пфеннигов.

...Второй круг, по которому возвращаются в оборот многие полезные вещи и материалы, не замыкается, конечно, на сборщике Бенише. Все важно и нужно: и Ри-

хард Бениш, и 12 тысяч пунктов, которые принимают от населения макулатуру, и поиск ученых, и точный расчет плановиков. У истинной бережливости не может быть двух измерений. Рачителен в личных делах — бережлив и в делах государственных.

Первый раз я с ним встретился в лесу: Карл Лемке — лесник. И не просто лесник, а главный лесничий одного из самых больших зеленых массивов ГДР. Границы его владений простираются от Фюрстенберга до Нейстрелица: 55 тысяч гектаров леса, 27 заготовительных участков, более 900 рабочих и специалистов. Ежегодно они поставляют 200 тысяч кубометров древесины. В масштабах республики цифра солидная.

Когда мы встретились, Лемке занимался совершенно необычным делом. Аккуратно вымерив квадрат, отбил его кольешками и начал осторожно подрезать дерн. Работал не торопясь, сосредоточенно. Прежде чем вонзить лопату, долго примеривался. Видно, боялся ненароком прихватить лишний сантиметр.

Весь квадрат земли покрывал слой масла. Жухлая трава выделялась ржавой заплатой на зеленой поляне. Пласт свежего дерна лежал рядом. Лемке попросил помочь, и вместе мы уложили его на место масляного пятна. Подогнали вплотную края и присыпали шов свежей землей. В понедельник придут сюда рабочие, обнесут квадрат штакетником, чтобы не затоптали ненароком. Еще неизвестно, приживется ли трава, не появится ли весной новое желтое пятно. А я подумал о другом. Вот ехал водитель, устал, свернул на обочину, выкурил сигарету и поехал дальше. Пятна не заметил, а если и увидел, то посетовал на механика. Сколько уйдет времени на ремонт машины — два-три часа, а чтобы восстановить травяной покров, понадобятся месяцы.

Карл Лемке показал мне вблизи Нейстрелица озеро. Прошло шесть лет, прежде чем его берега обрели первозданную свежесть. За два сезона отпускники выпоттали траву дочиста. Урок Лемке пошел на пользу. Теперь отдают отпускникам только часть озер, часть — под отдых и рыбакам. Из 107 озер в этом хозяйстве только 55 открыты для моторных лодок.

Лемке смотрит на часы, пора возвращаться. Думал в воскресенье погулять в лесу, но вот натолкнулся на это пятно и прокопался полдня.

— Это горожанам надо отдыхать в лесу, лесникам лучше всего проводить выходной в городе, — говорит Карл.

Сам он родился и вырос в городе. Отец и даже дед — потомственные металлурги, а его потянуло в лес. Лемке учился в Берлинском университете. Защитил диплом и получил назначение в Эберсвальде, в научно-исследовательский институт. Через три года защитил диссертацию, и ему предложили кафедру. Но как раз в этой точке жизнь его сделала крутой поворот.

Лемке приехал в лесное хозяйство Нейстрелица, чтобы собрать материал для новой работы. Его интересовали проблемы выживания корневой системы пихтовых саженцев. Он провел в лесничестве две недели, потом попросил продлить командировку еще на месяц, когда истек и этот срок, написал заявление с просьбой оставить его в лесничестве. Год спустя ему предложили возглавить «Фёрствиртшафтсбетриб». Так он стал главным лесничим. К привычному понятию «сажай», которое определяло его научную деятельность, теперь добавилось сугубо практическое — «руби». Большого противоречия здесь нет. Между этими понятиями существует тесная взаимосвязь. Важно ее сохранить. Не выпячивать одно в ущерб другому. Ежегодно в Нейстрелице сажают около 35 миллионов деревьев. Это больше, чем выращивают.

Расчет, который мне показали в министерстве сельского хозяйства ГДР, выглядит следующим образом: ровно через год должно быть получено столько же древесины, сколько было вывезено. Ведь леса в ГДР посажены человеком. Ничто не растет само по себе, даже деревья. Отличный результат, по мнению Лемке, когда из 17 тысяч саженцев приживаются 12 тысяч. Недавно прикинули перспективный план на десять лет вперед. Вышло, что при таком соотношении задания по вывозу древесины не причиняют лесам вреда. Лемке заглядывает вперед. Без этого нельзя. В Нейстрелице он обосновался не на год, а на всю жизнь.

Стоит напомнить, что ГДР принадлежит к числу промышленно развитых стран Европы. По плотности населения республика занимает шестое место на континенте. Добавьте к этому разветвленную транспортную систему, высокую техническую осна-

ценность села, развитую химическую индустрию. Проблема охраны природы здесь стоит остро.

Леса в ГДР занимают 27 процентов территории — почти 2,9 миллиона гектаров зеленых насаждений. Не так уж и много. Но вот цифры из другого ряда. По последней переписи на небольшом зеленом пятачке обитает 28 тысяч оленей, 15 500 ланей, 315 тысяч косуль, 2 200 муфлонов, почти 49 тысяч кабанов, 60 тысяч фазанов и около 200 тысяч зайцев. Лемке говорит, что за последние семь лет население его лесного хозяйства больше чем удвигилось. Можно было бы и радоваться, а он морщит лоб. В его тоне слышится озабоченность.

О перенаселении лесов узнаешь враз по уничтоженным посадкам, обглоданным деревьям и вытоптаным посевам. Урон, который нанесли звери лесам пятнадцать лет назад, составил 20 миллионов марок. Но год за годом эта цифра сокращается, хотя поголовье обитателей лесов неизменно растет. В своей книге, которую он недавно закончил, Карл Лемке приводит интересные цифры: в 1958 году от зверей пострадало почти 80 тысяч гектаров лесных угодий, а в 1971 году только 23 тысячи — почти в 4 раза меньше. Эта тенденция сохранилась. Хотя только, в последние пять лет число оленей в республике увеличилось на 130 процентов, ланей — на 159, а кабанов даже на 177 процентов. Таким образом, проблема двусторонняя: защита леса от перенаселения и защита зверей от чрезмерного истребления.

В ГДР нет в привычном понимании глухих уголков — леса полны живности. Вдоль дорог стоят знаки «осторожно — звери». Сколько раз мне приходилось видеть, как неторопливо переходит дорогу семейство кабанов. Вспугнутая шумом, выскочит на опушку косуля и остановится перед вереницей машин. Даже на окраине Берлина можно поднять зайца и косуля тут не в диковинку. Журнал «НБИ» пишет, что в окрестностях столицы обитают более тысячи зайцев, 900 фазанов и 520 косуль. Под самым боком у города растут ягоды, грибы. Их столько, что выражение «искать грибы» давно потеряло свое первоначальное значение.

Грибы берлинцы не ищут, а собирают, как мы собираем ягоду в саду. Отъехали от города два-три километра, еще не скрылись верхние этажи домов, а навстречу уже идут грибники с полными корзинами. Не меньше в лесах и ягод, а озера полны рыбой. Все это живет, рождается, растет, размножается под боком у человека, по соседству с предприятиями и транспортными магистралями. Заместитель министра сельского хозяйства, он же и главный лесничий ГДР, Рудольф Рутник назвал это парадоксом современности. Парадокс состоит в том, что в этих посаженных лесах куда больше живности, чем в иных отдаленных уголках сибирской тайги.

В новом словаре охотника, который выпустили в ГДР нет слова «браконьер». Нет их и в жизни. Зато есть: совершенно новое понятие хегегер — ухаживающий охотник. Сочетание это родилось: не по воле филологов. Писатель Василий Субботин в одном из своих очерков о ГДР пишет, что во время поездки по республике он так и не услышал охотничьего выстрела. Нет, охотники тут стреляют. Стреляют из настоящих, винтозарезных ружей. Только в 1980 году было отстреляно почти 22 тысячи оленей, больше 188 тысяч косуль, 117 тысяч кабанов и 67 тысяч зайцев. За год сдано государству 7 800 тонн мяса. В лесничестве Нейстрилица охотники добыли 3 700 косуль, 550 оленей, 730 кабанов.

Карл Лемке тоже охотник, один из председателей местного охотничьего общества.

— Без охотника нам сегодня не обойтись. В нынешних условиях он выступает в роли естественного регулятора.

Свою добычу охотники в ГДР обязаны сдавать государству. Это предусматривается соответствующим договором. Взамен охотничья организация получает бесплатно корма для подкормки зверей, материал для сооружения кормушек, загонов и охотничьих вышек.

Вообще-то человека с ружьем тут встретишь редко. Не только потому, что дома хранят оружие немногие. Весь арсенал находится у районного егера. Ружье охотник получает перед выходом в лес.

Охотник обязан стрелять метко, без промаха, безошибочно выбрав цель. Последнее особенно важно. Прежде чем получить «право на выстрел», он должен пройти специальную подготовку. Мой приятель из Висмара Вернер Хинц год был в загонщиках, прежде чем стал членом охотничьего общества. Но это случай яркий. Обычно испытательный срок продолжается два-три года. За это время новичок изучает ору-

жие, правила охоты, учится метко стрелять. Отстреливают слабых, плохо развитых животных, возраст которых перешел уже определенную границу. Можно промахнуться, но нельзя ошибиться в выборе цели. Убить самку, срезать выстрелом молодого кабана-первогодка — не только промах, но и потеря престижа. Виновный понесет серьезное наказание вплоть до лишения охотничьего билета.

В лес охотник ходит чаще всего без ружья, с пилой, топором или лопатой. У каждого общества есть свои угодья в среднем до 5 тысяч гектаров. Охотники отвечают за порядок, убирают сушняк, охраняют посадки, в ненастье подкармливают зверей, не допускают поправки посевов.

Сегодня в ГДР насчитывается 922 охотничьих общества, объединяющие около 40 тысяч человек. В Цюльбюргене действует специальная школа для «руководителей охоты».

Мне рассказывали, что за организацию охоты в министерстве сельского хозяйства отвечают три человека, один из них ведает расширением лесных массивов. Но добавьте к этому 10,5 тысячи человек, которые состоят в обществе «Друзья леса», 40 тысяч охотников. Поэтому в лесах ГДР редко увидишь разбухший от гнили пенек или сухой ствол дерева. Въехать на машине в лес так же немислимо, как сесть за руль в нетрезвом состоянии. Такое отношение к лесу и делает его богатым.

Не все можно отрегулировать законом. Можно набрать корзину грибов, а можно прийти в лес с мешком. Можно сорвать ветку березы, а можно наломать охапку. Но вырастет ли потом? Вопрос для жителей ГДР далеко не риторический. Сообщая о вывозе древесины, стройкой ниже обязательно напоминают, сколько посажено взамен деревьев. Отправляя ребятшек в лесные лагеря, их учат не только отдыхать на лоне природы, но и заботиться о ней. В Галле первоклассники сажают липу и ухаживают за ней все двенадцать лет учебы. В Бернбурге молодежь отмечает день помолвки посаженным кустом розы. Все это связано между собой вечным правилом: срубил — посади, застрелил — вырасти. Взял у природы — верни ей сполна, и она тебя вознаградит сторицей. Это не я сказал. Так написал в своей книге Карл Лемке.

Под боком у железнодорожной ветки заросшая густым чертополохом делянка вытянулась узкой полоской. Чтобы купить клочок бросовой земли, семья Фрица Зелле три года собирала деньги, отказывая подчас себе в самом необходимом. Весь участок Фрица обнесен легкой сеткой высотой сантиметров сорок. Он забыл ключ, и нам ничего не оставалось как перешагнуть через забор. Сосед Зелле отгородил сад кустами роз, другой и вовсе выложил границу гладкими камешками, раскрасив их в разные цвета. А город вот он, под боком. Слышно, как погромыхивает трамвай, снуют автобусы. Рядом в школьном дворе мальчишки гоняют мяч. Многое изменилось здесь с того времени, как посадили первые сады.

Пятьдесят лет назад на окраине Галле зазеленели фруктовые посадки. Это был один из миллионов «садов Шребера». Так называли их по имени известного врача Даниэля-Готлиба Шребера. Всю свою жизнь он боролся против скученности и серости рабочих окраин. В 1852 году вместе со своим зятем Хаузильдом Шребер разбил вблизи Магдебурга «сад для детей рабочих». Восемнадцать лет спустя удалось создать в Лейпциге первую «садовую колонию».

362 человека — большинство рабочие, купили в складчину небольшой участок земли и заложили первый клейнгартен — буквально маленький сад. У маленького сада оказалось большое будущее. Как показывают социологические исследования, большинство жителей ГДР свободное время отдают клейнгартену. Более миллиона человек насчитывает общество садоводов, огородников и любителей животных.

Желания горожанина иметь садовую делянку можно объяснить многими причинами. Западногерманский журнал «Штерн» пишет, что в этом увлечении проявилось общее стремление сохранить связь с природой. Другие на дело смотрят сугубо практично: садовый участок — выгодное помещение капитала. Стоимость квадратного метра земли в окрестностях Гамбурга подскочила в последнее время до тысячи марок. Что же касается Фрица Зелле, то у него собственное отношение к саду. Есть увлечение, есть и трезвый расчет.

Зимой ходить в сад бесполезно. Вот почему Зелле откладывал нашу встречу поближе к весне. Зимой сад не увидишь. Голые деревья да еще снег, укравший последнюю зелень. Чего тут смотреть? На листе бумаги показал мне Фриц, где какие растут деревья, где цветы, а где ягоды. Есть у него альбом с фотографиями. И все же,

признаюсь, дрогнуло у меня сердце, когда увидел участок в «натуральную величину». Многое, что рассказывал он мне прежде, не мог и представить. Относил все на счет природной восторженности Фрица. Теперь открыл дверку парника... Каркас, сделанный из легких планок, сверху обтянут пленкой. Все сооружение занимает чуть больше двух метров. Вверх ползут побеги огурцов, внизу, куда не доходит солнечный свет, рассыпались бисером лисички. Так устроен и его огород. С каждого клочка земли снимают по два, а то и по три урожая. Не успела поспеть редиска, как тут же начинает топорщиться лук, а следом идет морковь.

250 квадратных метров — таков садовый участок Зелле. По масштабам ГДР, можно сказать, обычный. Максимально, на что может рассчитывать здесь садовник, — 400 квадратных метров. Если вычесть 50 квадратных метров, что занимает дом Зелле, почти игрушечный фонтан и дорожки, у Фрица 180 метров «чистой пашни». И вот на этом пятачке растет девять сортов яблонь, три сорта груш. Есть абрикосы, слива, вишня. 15 квадратных метров занимает клубника, столько же отведено под овощи. Добавьте к этому розы, тюльпаны, хризантемы, несколько кустов смородины, ежевики, грибы, которые растут в парнике. Сам Фриц Зелле называет себя фанатиком сада. Сад его хобби, его увлечение, которому он отдает все свободное время. Дома у него целая библиотека — книги по садоводству. Соседи к нему идут всякий раз, когда нужна помощь. А ведь он родился и вырос в городе.

Сосед Зелле Вернер Фере не может похвастаться рекордными урожаями. Но все равно в прошлом году снял с участка 100 килограммов яблок, почти столько же груш, 30 килограммов клубники, 80 килограммов ранних овощей. Пятнадцать лет назад вблизи теплотрассы обособилось их садовое объединение.

Общество садоводов создано в ГДР двадцать лет назад. Объединяет оно 1 092 197 человек. Каждый семнадцатый житель республики имеет свой садовый участок на окраине города. Редко под сады отводят хорошие земли. Достаются пустыри вдоль дорог, железнодорожных линий, на месте угольных разработок или песчаных карьеров. Представители общества снуют по республике в поисках бросовых земель. Местные советы охотно им помогают. Кому хочется иметь под боком заросший пустырь или развороченный бульдозерами овраг. А тут не проходит и года как на дикой пустоши начинают зеленеть посадки.

Можно часами бродить между крохотными участками, удивляясь фантазии и прилежности хозяев. Каждый клейнгартен красив по-своему. В нем все продумано до мелочей — от замысловатой дверной ручки до игрушечных фонтанов и почтовых ящичков при входе. В тени развесистых деревьев прячутся керамические гномы.

Садовый домик в ГДР называют лаубе. Его можно купить в рассрочку, но можно и построить самому. Местное общество поможет достать материал. В одном случае это остатки снесенных городских построек, в другом — промышленные отходы. Не хватает собственных накоплений — можно взять на озвучивание кредит.

В ГДР за последнее время вошло в оборот понятие «активный отдых». Если человек одиннадцать месяцев сидит за канцелярским столом и проводит отпуск на пляже — это не считается активным отдыхом. Сад дает человеку физическую зарядку. Конечно, всякая крайность опасна. Но 250 квадратных метров не два гектара. Уход за делянкой — дело необременительное. Когда Зелле купил туристическую путевку в Советский Союз, за садом присмотрел сосед. Итак, сад как форма активного отдыха. Это главное. Но в ГДР не упускают из виду сопутствующие факты, не списывают их в категорию второстепенных и отдачу получают солидную. Фере в прошлом году собрал 100 килограммов яблок, Зелле вырастил 75 килограммов груш, столько же слив. Для семьи в три человека многовато, хотя остаток и невелик. Вот тут и начинается математика маленьких чисел, которой в совершенстве владеют руководители центрального правления. Расчет который выкладывает передо мной Эрвин Веннер, выглядит просто.

Сад на полгода обеспечивает семью фруктами и овощами. Фриц Зелле — пример образцовый, но даже у средних садоводов всегда есть излишки. Немного — ведро яблок, корзина слив или помидоров. Ему нет расчета идти за несколько километров, чтобы сдать их. Правда, в ГДР излишки урожая у вас примут в любом овощном магазине, но лучше, если это можно сделать без всяких хлопот.

— Не нужно ждать, когда к нам придет садовод, лучше, если мы придем к нему сами, — говорит мне Эрвин Веннер.

В 1980 году только в Берлине хозяева клейнгартенов продали 3500 тонн фруктов и 600 тонн овощей. Ежегодно садоводы-любители поставляют к столу республики

почти 40 процентов фруктов, 20 процентов овощей. Но и это не все. В обществе, возглавляемом Эрвином Веннером, есть сотни людей, которые на своих делянках разводят кроликов, выращивают уток, занимаются пчеловодством. Так что поставки кляйнгартенов не ограничиваются несколькими наименованиями. От них государство ежегодно получает 40 процентов яиц, почти 100 процентов кроличьего и 80 процентов утинового мяса. Любители-пчеловоды покрывают 90 процентов потребности населения ГДР в меде.

Фриц Зелле показал мне маленькую фанерную будку, выкрашенную в зеленый цвет. Они есть в каждом садовом объединении. Обслуживают их обычно пенсионеры. От участка Зелле до приемного пункта пять минут ходьбы. Не правда ли, удобно: сдал ведро фруктов, тут же получил расчет — и никаких забот. При необходимости можешь отнести свою продукцию в любой овощной магазин или лавочку города. Более 15 тысяч приемных пунктов обслуживают садоводов. Будем честными: помидоры, выращенные на грядках, конечно, лучше тех, что собраны на полях кооперативов. Продавцы это знают и охотно принимают овощи и фрукты от хозяев кляйнгартенов. Экономисты это берут в расчет. Только 3 процента урожая частных садов идет в переработку, большая часть поступает на прилавки магазина. «Выращено в кляйнгартене» — лучшая реклама.

В организации, которую возглавляет Эрвин Веннер, действует более двух тысяч консультационных пунктов. Их обслуживают 13 тысяч штатных и общественных инструкторов. Есть у садоводов своя газета и несколько журналов. Телевидение ведет специальную передачу «Твой сад». На ежегодной Международной выставке в Эрфурте «ИГА» имеется специальная экспозиция.

В 1982 году министерство сельского хозяйства продало садоводам два миллиона саженцев яблонь, столько же вишни, 150 тысяч деревьев груши. Сорта, которые хорошо зарекомендовали себя в кооперативах, не всегда подходят для маленьких участков. Работники министерства прислушиваются к мнению садоводов, стараются полностью удовлетворить их запросы в семенах, минеральных удобрениях, а при необходимости и в технике. Взаимопонимание ведет к взаимной выгоде. Первый секретарь центрального управления Эрвин Веннер показывает мне заявку министерства на новый год. Речь идет не только о количестве фруктов и овощей, которые хотели бы получить от садоводов. Специалисты министерства детально расписывают и ассортимент поставок. Понятно, никто не может указывать владельцу делянки, какие сеять овощи. Он сам рассчитывает, что ему выгодно, а что в убыток. Надо только отрегулировать шкалу закупочных цен.

Мы попробовали с Фере подсчитать, сколько он выручил от своей делянки. Не скажу чтобы много, но из этих средств погасил уже кредит, расплатился за саженцы. И ведь делалось это все между прочим, больше для собственного удовольствия, чем по обязанности.

Есть вопрос, который задавал я себе не раз. Под садовыми участками в ГДР занято 30 тысяч гектаров. А ведь республика не богата землей. На душу населения приходится 0,37 гектара сельскохозяйственных угодий. К тому же строятся предприятия, растут города. Сад Зелле под боком у города. От его дома полчаса ходьбы. Города давно перешагнули прежние границы. В Ростоке, Дрездене и даже Берлине сады превратились в зеленые островки среди многоэтажных новостроек. Конечно, можно решить проблему с помощью.. бульдозера. Но в ГДР не торопились сносить садовые делянки. Разве они мешают городу? Почти полторы тысячи садовых объединений в республике получили официальный статус зон отдыха. Участки остались за их хозяевами, а ворота садового объединения по решению общего собрания открыты для горожан.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Восемьдесят лет назад — 30 июля 1903 года — открылся II съезд РСДРП, подготовленный ленинской «Искрой». На съезде создана была большевистская партия, партия нового типа. Съезд завершил тем самым процесс объединения революционных марксистских организаций России на идейных, политических и организационных принципах, разработанных В. И. Лениным.

На этот исторический, этапный характер II съезда указывал и сам В. И. Ленин, напоминая, что «большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года».

В. И. Ленину, создателю большевистской партии, передового отряда рабочего класса, посвящены воспоминания старого коммуниста академика Б. М. Кедрова, который с юных лет связал свою судьбу с ленинской партией, посвятив свою жизнь углубленной разработке и пропаганде теоретических трудов В. И. Ленина, его философского наследия.

Б. М. КЕДРОВ



ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ ОБРАЗ ЛЕНИНА *

Глазами подростка

1. ЭПИЗОДЫ 1918 ГОДА

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.

Военная песня.

Январь. Вижу его на Учредительном собрании с хором. И так, детство мое кончилось, началось отрочество. Но, может быть, оно началось уже немного раньше этого, когда мы вернулись в Россию из Швейцарии и когда мне исполнилось 13 лет.

Мы с отцом живем в революционном Петрограде у Подвойских. В их семье встретили 1918 год, первый Новый год после Октябрьской революции. Каким-то он будет, этот год? Что он принесет?

5 января в бывшем Таврическом дворце, где раньше заседала Государственная дума, открылось Учредительное собрание. Тетя Нина (жена Подвойского) дала мне пригласительный билет, и вот я вместе с ней сижу на хорах, прямо над правой (от трибуны) правительственной ложей. Вскоре в нее вошел Ленин и сел на одно из передних кресел. С этого момента я не спускал с него восторженного мальчишеского взгляда, следя за тем, что он делает внизу в ложе. Я видел, как он вынимает из кармана и читает какие-то бумаги (портфеля у него не было), делает записи, оборачивается к соседям и разговаривает с ними. Го вдруг опершись на перила находящейся перед ним загородки, поднимает голову и смотрит то в зал, то куда-то вверх, в противоположную от меня сторону.

* Начало моих воспоминаний под названием «Запечатленный образ Ленина. Глазами мальчугана (эпизоды 1911—1917 годов)» было опубликовано в журнале «Молодая гвардия», № 5 за 1969 год. Они кончались декабрём 1917 года, когда мне только что исполнилось 14 лет.

В это время в левую правительственную ложу входят мой отец и Подвойский. На отце желтый дубленый полушубок и огромная папаха серого цвета. Подвойский тоже в полушубке. Кругом слышу свистящий шепот: «Комиссары, комиссары! Смотрите, вот вошли комиссары, видите их?» Отец и дядя Коля (Николай Ильич Подвойский) садятся на правительственные места.

Время открытия давно уже истекло, и вот на центральную трибуну или кафедру взбирается старичок, слабенький, какой-то согнутый, и что-то собирается говорить. Эсеры и их союзники как в зале, так и на хорах громко ему аплодируют. Легко было догадаться, что это старейший член Учредительного собрания и что он правый эсер, а эсеров, как стало известно, громадное большинство среди членов Учредительного собрания. Но тут началось что-то невообразимое. Большевики и левые эсеры повскакали со своих мест, застучали кулаками по попитрам и закричали: «Долой! Долой!! Долой!!!» Они хотели, чтобы Учредительное собрание открыл не правый эсер, хотя бы и старейший, а представитель советской власти. Крики «Долой!» неслись также и со всех хоров, где преобладали среди гостей большевики и левые эсеры. «Кричи громче», — говорила мне тетя Нина, и я присоединял свой ломающийся голос к общему неопишумому гвалту.

Стоявший на кафедре старичок пытался что-то говорить, но не мог и только разевал свой рот, беспомощно потрясая худыми руками. Так продолжалось довольно долго. Но вот к кафедре быстрыми шагами поднимается Я. М. Свердлов. Он в черной кожаной куртке. Подойдя к старичку, он что-то ему говорит, показывая руками, что у того все равно ничего не получится. Тот сокрушенно трясет головой, пожимает плечами и тихо сползает с кафедры. На нее входит Свердлов. Только что бушевавший зал внезапно стихает, и в полной тишине слышится голос Свердлова, отчеканивающий каждое слово: «Исполнительный Комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов поручил мне открыть заседание Учредительного собрания».

Затем приступили к выборам председателя. Правые эсеры выдвинули своего лидера, Виктора Чернова, а мы, в качестве компромисса, левую эсерку Марию Спиридонову. Началась длинная процедура голосования. В этот момент я наблюдал сверху, как к Ленину из зала подошел какой-то депутат в сером крестьянском армяке, приехавший, по-видимому, из далекой губернии. Он стал снизу тянуться к Ленину, явно выражая желание с ним о чем-то поговорить. Со своей стороны, Ленин повернулся к нему, перегнувшись через перила перегородки. Возможно, Ленин даже наклонил спинку стоявшего перед ним в ложе стула, опустил ее на перила перегородки и лег на нее сам с тем, чтобы дотянуться до депутата в крестьянской одежде.

Я пристально, с огромным интересом следил сверху из хоров за этой сценой. Я видел, что Ленину интересен этот разговор и он всячески тянется навстречу своему случайному собеседнику, чтобы услышать его слово сквозь общий шум, царящий в зале во время перерыва. Я наблюдал, как Ленин что-то говорит и, очевидно, спрашивает о чем-то, что его очень заинтересовало в данный момент. Возможно, что крестьянин-депутат действительно приехал издалека, откуда сообщения в Питер приходят редко, и вот Ленин воспользовался случаем, чтобы узнать и услышать из первоисточника о том, что делается в этом далеком глухом углу России.

Так думал я, пристально наблюдая сверху за тем, что происходило внизу в правой правительственной ложе.

Наконец голосование кончилось, большинством голосов выбрали в председатели Чернова — это означало, что Учредительное собрание в своем большинстве отказалось сотрудничать с советской властью. Да и по своему составу оно не выражало подлинного настроения масс, сложившегося после Октябрьской революции, так как выборы в него происходили гораздо раньше, когда на массы действовал еще дурман соглашательских партий.

После объявления результатов голосования большевики — депутаты и гости покинули зал. Через некоторое время ушли и левые эсеры. Оставшиеся депутаты пытались еще заседать, но к ним (как рассказывал потом отец) явился матрос — начальник караула Таврического дворца (это был легендарный Железняков) — и распустил Учредительное собрание, сославшись на то, что охрана устала.

Разговор Ленина с крестьянским депутатом произвел на меня неизгладимое впечатление. Я видел, как Ленин на глазах у всех, пренебрегая всяким этикетом, ведет себя так свободно и просто, как будто никого кругом нет, а есть крестьянин-депутат, с которым нужно обязательно переговорить. А ведь Ленин — глава Советского пра-

вительства, вождь большевистской партии. Но ничего в нем нет от надутой церемониальности, от позерства... Вот это действительно великий человек, думал я и тогда и потом.

Через несколько дней после роспуска Учредительного собрания в том же зале Таврического дворца проходил III Всероссийский съезд Советов. Отец и дядя Коля присутствовали на нем и, придя домой, подробно рассказывали о его работе. Я, конечно, многое уже позабыл из их рассказов, тем более что сам я на этом съезде не был. А так как я неоднократно впоследствии читал выступления Ленина на съезде, то теперь я очень боюсь смешать то, что я прочел позднее, с тем, что слышал тогда из уст родных. Но два места из доклада Ленина на съезде, переданных отцом и Подвойским (уже не помню, кем из них), мне врезались в память. Первое — это то, что Ленин привел слова деревенской старухи, что солдата («человека с ружьем») теперь не надо бояться — он не обидит, а поможет. Второе — это то, что мы, русские, начали мировую революцию, а народы Западной Европы ее продолжат.

Слушая эти рассказы, я думал: «Не прошло еще четверти года, а Ленин уже отчитывается за работу Совнаркома. Вот подлинно народная власть, подлинно народные комиссары».

При закрытии съезда, как говорили отец и Подвойский, выступил матрос Железняков — начальник караула Таврического дворца. Он говорил горячо и страстно о том, что где-то во Франции на русском военном корабле офицерское зверье убило нескольких матросов, и предложил почтить вставаньем память погибших революционеров. Отец добавил, что он редко слышал, чтобы говорили с такой неподдельной страстью. Весь зал как один в едином порыве, вместе с Лениным и Свердловым, встал в ответ на призыв, прозвучавший из уст моряка.

Много лет спустя мне захотелось документально проверить этот эпизод, который произвел на меня тогда такое сильное впечатление. Я достал материалы (протоколы) III Всероссийского съезда Советов, изданные в начале 1918 года, и что же я там обнаружил? Часть протоколов была утеряна еще тогда, причем начало речи Железнякова перед закрытием съезда не сохранилось. Сохранился ее конец, где, увы, отсутствовали имена. Я стал рыться в архивах и установил, что речь шла о крейсере «Аскольд», стоявшем во французском порту Тулон. Реакционное офицерство во главе с командиром крейсера Ивановым 6-м инсценировало провокационный взрыв корабля, устроило судилище, которое приговорило к расстрелу четырех ни в чем не повинных матросов. Приговор утвердил новый командир крейсера капитан 1-го ранга К. Ф. Кетлинский.

Когда я все это установил, мне стала понятна горячность и страстность, с как бы выступил Железняков на III съезде Советов, и то, почему делегаты во главе с Лениным так дружно откликнулись на его призыв.

Февраль. В дни рождения Красной Армии. Время шло, и обстановка в стране накалялась день ото дня. Все тот же революционный, бурлящий Петроград. Конец февраля 1918 года. На дворе холодно и ветрено. По улицам маршируют вооруженные отряды рабочих из только что созданной молодой Красной Армии. На стенах домов и на круглых башенках для афиш расклеено: «Социалистическое Отечество в опасности!» Вокруг — кучки петроградцев. Лица суровые, разговоров не слышно...

Мы по-прежнему с отцом живем у Подвойских на Кронверкской улице (Петроградская сторона). Мой дядя Николай Ильич Подвойский — нарком по военным делам, отец — комиссар по демобилизации старой армии. Уже около месяца как подписан декрет о создании новой Красной Армии. В боях против немецких войск она с честью оправдывает свое назначение.

Я хорошо помню треножные дни накануне взятия немцами Пскова и день когда Псков пал. В этом городе жили тогда мои родные, среди них — мой двоюродный брат Женья Плечов (он погиб в 1941 году на фронте). Его мать лежала в те дни в петроградской больнице (где-то за Смольным). Можно представить нашу радость, когда в Псков вновь вступили части Красной Армии!

23 февраля был день реального рождения Красной Армии, день ее боевого крещения когда на весь мир разлетелась весть, что она действительно родилась, родилась как сила, способная давать отпор врагу, посягающему на наше социалистическое Отечество. Рождалась она в муках, когда старая армия быстро распадалась и из ее лучших элементов, а прежде всего из рабочих красногвардейских отрядов, стала формироваться новая военная сила молодого Советского государства.

Все хорошо знают, что с первых дней своего возникновения Красная Армия находилась под неусыпным наблюдением Владимира Ильича и направлялась его твердой рукой. Я — тогда еще мальчик — стал однажды невольным свидетелем этого. Как сейчас вижу и слышу: Подвойский при мне читает отцу какую-то небольшую записку. Точного содержания ее я не запомнил, но хорошо помню, что в ней подвергалась резкой критике работа Наркомвоена. Меня тогда удивили выражения лиц у отца и дяди — они были какие-то смущенные, необычные. Отец сначала молчал, а потом тихо спросил: «От него?» Подвойский молча кивнул головой. И я сразу же догадался, от кого была записка, понял, что это Ленин так резко и, очевидно, справедливо критиковал или, лучше сказать, ругал и вместе с тем поправлял наркомов, требуя от них, чтобы они в наикратчайшие сроки, отведенные историей для решения великих задач, поставленных революцией, сделали все возможное и даже невозможное, с точки зрения обычных человеческих сил, для выполнения своего долга перед революцией, перед социалистическим отечеством.

Мне хочется добавить, что 24 февраля (по новому стилю) — день рождения моего отца. В 1918 году ему исполнилось 40 лет.

Март. За и против Брестского мира. Тогда у всех на языке были слова «Брест» и «мир». Одни были за, и первым из них был Ленин; другие были против и требовали воевать против вильгельмовской Германии. Ленин же говорил, что германская революция опаздывает, ее еще нет, но она придет обязательно, а потому надо выиграть время, принять условия мира, которые выдвинули германские империалисты, несмотря на всю неслыханную тяжесть этих условий. Когда же мы займемся энергично приведением в порядок нашего народного хозяйства, железных дорог и продовольственного дела, созданием своей крепкой армии для защиты нашей революции, к этому времени, безусловно, подспеет революция в Германии. Так говорилось в газетном отчете об одном из выступлений Ленина того времени.

В марте 1918 года Советское правительство переехало в Москву и мы с отцом тоже, а также вся семья Подвойских. Вскоре состоялся IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, на котором присутствовала моя мать (с гостевым билетом). Она обо всем подробно поделалась с нами, по обыкновению изображая в лицах всех выступавших. Главным вопросом, вокруг которого вращались все выступления на съезде и развернулась ожесточенная схватка между большевиками во главе с Лениным и их разношерстными противниками, был вопрос о Брестском мире. Мать рассказывала, как Ленин сказал, что раньше мы были пораженцами, а теперь, после Октября 1917 года, перестали быть ими, стали на позиции защиты нашего отечества, откуда мы изгнали буржуазию и ее приспешников. Ленин говорил также о том, что германская революция так или иначе неизбежно победит, если не сейчас и не завтра, то в скором будущем. Против Ленина выступали многие правые и левые эсеры, меньшевики и прочие. Они объявили большевиков предателями, лакеями Вильгельма II, приказчиками германского империализма, обвинили их во многих самых тяжелых грехах, которые Ленин, отвечая, с мрачным видом перечислял, загибая каждый раз новый палец на своей руке. Если все эти ругательные слова напечатать, говорил Ленин, то получится многопудовая тяжесть, но все это будет для меня (тут он немного остановился и хитро улыбнулся) как перышко.

Сказав это, моя мать засмеялась и показала, как Ленин сделал движение руками, словно он смахивает со своей головы попавшую на нее пушинку. Это шутовское движение показало, как мало придавал Ленин значения всем оскорбительным выпадам против него и большевиков со стороны их противников. И когда присутствовавшие на съезде большевики увидели этот ленинский жест, они, по словам матери, облегченно вздохнули, так как до этого, когда Ленин перечислял по пальцам выдвинутые против него обвинения, он говорил нарочито хмуро и мрачно. Оказалось же на поверку, что он ни во что не ставит истерические вопли своих противников. Вот как можно было одним-единственным метким ленинским жестом свести на нет все злобные выкрики и обвинения со стороны врагов.

Апрель. Слышу его голос, вижу его рукопись. В течение 1918—1919 годов я трижды работал в редакции газеты «Правда». Первый раз это случилось весной 1918 года.

Мне было уже 14 лет, и я начал работать. Это был шаг к тому, чтобы окончательно выйти из детского возраста и стать хотя бы наполовину взрослым. Странно, что мне тогда так хотелось скорее повзрослеть. Произошло это так.

Моя двоюродная тетя Евгения Александровна Дидрикуль работала в редакции «Правды» в иностранном отделе. В «Правде» не хватало технических работников. Как-то раз Мария Ильинична (сестра Ленина) попросила мою тетю рекомендовать ей хотя бы подростков, но достаточно грамотных. И вот я впервые вхожу во двор бывшей Сытинской типографии в доме № 48 по Тверской, поднимаюсь по железной лестнице на четвертый этаж; пройдя светлый коридор со стеклянным, как помнится, потолком, вхожу в небольшую, заваленную газетами, рукописями и письмами комнату секретаря редакции. Встречает меня небольшого роста немолодая женщина (ей тогда было 40 лет) с очень приветливым лицом и ласковыми глазами. У нее гладкая прическа, голова ее наклонена немного набок, словно она все время к чему-то прислушивается, слегка прижимая голову к плечу. Радужно жмет руку, спрашивает, как зовут. Голос негромкий, скорее тихий и какой-то задумчивый. Вспоминает: «В прошлом году летом ваш отец показывал нам в «Правде» ваш семейный паспорт, с каким ваша семья возвращалась из Швейцарии в Россию. Так там на каждой странице печатей столько было поставлено! Видела и вашу фотографию». Сказав это, она засмеялась, и тут же ее лицо потеплело, словно засияло изнутри.

Потом я заметил, что когда она смеялась, у нее светилось все лицо, особенно глаза. Вспоминая 1917 год, она добавила: «А знаете, какое трудное время тогда было, сколько лилось ненависти и злобы к нам, большевикам, к правдистам. Бывало, в редакции — телефонный звонок. Берешь трубку, слышишь голос: «Это — откуда?» Отвечаешь: «Газета «Правда». А из трубки злобное шипенье: «Правда! Это действительно правда? А не ложь?»...»

И она опять засмеялась, но уже как-то по-другому. Я понял так: «Что, взяли? Не вышло по-вашему!» Это — по адресу наших врагов.

Итак, я начал работать в «Правде». Это моя первая настоящая работа, и я впервые стал зарабатывать как взрослый. Сотрудников в редакции было тогда очень и очень мало. Я — технический помощник у Марии Ильиничны. У нее помощником был сначала только я один, некоторое время помогал ей еще мой брат, Юрий, на полтора года моложе меня. Надо было принимать и отправлять почту, подходить к телефону, часто ездить с ее поручениями, делать вырезки из газет и наклеивать на большие листы твердой бумаги, распределяя их по странам: ей хотелось, чтобы сразу можно было увидеть все, что печаталось в последнее время об Англии, Франции, Италии, Дании и других странах в виде телеграмм и статей.

А поручения были самые различные, иногда совсем неожиданные. Помню, раз испортился у нас в редакции телефон, что в те времена случалось нередко. Мария Ильинична очень сердилась, стучала долго по рычажку, но все было безрезультатно. Телефон бездействовал. Тогда она послала меня к Подбельскому, дала адрес и сказала: «Поезжайте к нему и скажите, чтобы он немедленно, — она сделала ударение на «немедленно», — исправил телефон — не может же «Правда» жить без телефона!»

Я помчался, думая, что Подбельский монтер или, может быть, даже начальник телефонных монтеров. Пришел туда, куда мне сказала Мария Ильинична, и повторил ее слова: «Не может же «Правда» жить без телефона, подумайте сами!» Подбельский подтвердил: «Конечно, конечно, сейчас исправим». И когда я вернулся, телефон уже работал.

«А кто этот Подбельский?» — спросил я Марию Ильиничну. «Да он — нарком почт и телеграфов, разве иначе так скоро бы починили нам телефон?» — сказала она своим тихим голосом.

Мария Ильинична иногда во время работы делилась отрывочными воспоминаниями о семье Ульяновых, своей юности и молодом Владимире Ильиче. Но это только невзначай, мимоходом и словно стесняясь. По-видимому, я и брат напоминали ей что-то из ее далекого прошлого.

Имя Ленина произносилось в редакции часто. Помню, как однажды Мария Ильинична привезла пачку листов бумаги исписанных острым, косым, по-видимому, очень быстрым почерком без всяких помарок. В этот момент в ее комнату вошел, по обыкновению сутулясь и глядя через пенсне близорукими глазами, Николай Леонидович Мещеряков, член редколлегии «Правды». И она ему сказала: «Вот новая статья Владимира Ильича». Это была, кажется, рукопись ленинской статьи «Очередные задачи Советской власти». Тогда я впервые увидел почерк Ленина и его только что написанную работу, прямо из-под пера.

Мария Ильинична обедала в определенное время с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной в их кремлевской квартире. «Поеду домой обедать, а то там меня уже ждут»,— иногда говорила она. Однажды что-то ее задержало в редакции, и она довольно долго сидела в комнате редакторов. Зазвонил телефон. У нас было правило — не спрашивать, кто зовет Марию Ильиничну к телефону, а передавать ей сразу трубку. Но на этот раз я услышал в трубке голос, похожий на голос Владимира Ильича, и не смог удержаться, чтобы буквально с замиранием сердца не задать вопрос: «А кто ее спрашивает?» «Скажите, что брат».

Я мчусь в комнату редакторов: «Мария Ильинична, вас Владимир Ильич зовет к телефону!» Она, подхватив длинную юбку, спешит к себе, и я слышу, как она говорит: «Володя, извини, что опаздываю. заканчиваем то-то и то-то (уж не помню, что именно), сейчас приеду». И она, быстро беря что-то начатое ею со стола, торопится домой.

Я вспоминаю, как из рук вон плохо работал в те времена телефон. Дозвониться куда-нибудь было очень трудно. Я навсегда запомнил, что Ленин, зовя Марию Ильиничну из своей квартиры, сам соединялся с «Правдой».

Май. Он на Красной площади. Вспоминается эпизод, связанный с появлением Ленина на Красной площади у кремлевской стены. Весна 1918 года. Ленин выступает перед демонстрантами или военными. Я стою со знаменем «Правды» в непосредственной близости от Ленина и окруживших его товарищей. Знамя тяжелое, бархатное, с золотыми кистями и бахромой, на большом древке. Я пытался его нести впереди нашей группы правдивостов, но не хватило сил, и я зашатался. Один из редакторов «Правды» подхватил его и донес до Красной площади, где вернул мне, сказав: «Теперь держите».

Вскоре я заметил, что фотограф нацеливает свой аппарат так, чтобы захватить и Ленина с окружившими его товарищами и наш ряд, стоящий со знаменами вниз по ступенькам от кремлевской стены до самой площади (а сзади нас находились могилы жертв революции). Вдруг мне стало стыдно: если я получусь на фотоснимке, то могут подумать, будто я нарочно выставился вперед с тем, чтобы меня сфотографировали почти рядом с Лениным. И я быстро спрятался за древко знамени, которое держал в руках, стараясь затесаться в глубь наших рядов.

Сегодня я простить себе не могу этой чрезмерной застенчивости и щепетильности. Не все ли равно, кто и что мог подумать, глядя на этот снимок: ведь я же сам никак не старался нарочно попасть в поле фотоаппарата.

Так прошли два месяца моей первой работы в «Правде».

Июнь. К нему с секретной почтой. В конце мая 1918 года отец по заданию В. И. Ленина организовал «советскую ревизию» для проверки того, как утверждалась советская власть на нашем Севере, прежде всего в Ярославской, Вологодской и Архангельской губерниях. К этому времени наши бывшие союзники, англичане и К^о, высадились в Мурманске и оккупировали мурманский край под предлогом защиты его от немцев. Было ясно, что они на этом не остановятся, а попытаются захватить весь наш Север, а оттуда ударить по Москве. Одна из главных задач «советской ревизии» состояла в том, чтобы, укрепляя органы советской власти, очистить наш Север от сил контрреволюции.

Отец взял меня с собой.

В поезде я выполнял роль связного, или, как отец говорил более торжественно, роль фельдъегеря. Мне было поручено в кратчайший срок любыми способами доставлять в Москву материалы (пакеты), врученные мне отцом и другими работниками «советской ревизии», и разносить их по московским учреждениям, куда они будут адресованы. А потом получить от всех этих учреждений обратные письма в «советскую ревизию» и столь же быстро и оперативно доставлять их по назначению. Все материалы были секретные, строго секретные и совершенно секретные. Ехать же на поездах действительно приходилось всеми возможными способами: когда в теплушке, когда в тамбуре или на паровозе, когда на подножке и даже на крыше вагона вместе с тысячами куда-то едущих и спешащих людей. Железнодорожный транспорт работал из рук вон плохо, топлива не хватало, пробки на дороге образовывались то и дело. У меня через плечо была надета кожаная сумка, как у грамвайных и железнодорожных кондукторов, и в ней помещался весь перевозимый мною ценнейший груз. Другого багажа я не брал, дабы все свое внимание и бдительность сосредоточить на сумке.

..Сейчас, вспоминая мои рискованные, скажу резко, опасные поездки между Москвой и Севером, я удивляюсь, как это отец не боялся за меня. Он, очевидно, твердо верил в выносливость, ловкость и сообразительность своего сына и безгранично доверял мне. И это доверие я чувствовал всем своим мальчишеским сердцем и неизменно оправдывал его на все сто процентов.

А в промежутках между поездками я вел в поезде запись входящих и исходящих бумаг, надписывал адреса на пакетах, запечатывал пакеты сургучной печатью и выполнял другие канцелярские функции.

Приехав в Москву, я прежде всего шел в Кремль отнести пакет, адресованный отцом Ленину. Это была довольно своеобразная процедура. Бюро пропусков в то время для входа в Кремль не было, и решение вопроса — впускать пришедшего или нет — целиком предоставлялось на усмотрение часового. Подхожу к Кутафьей башне. Хочу войти. Часовой, опираясь в свободной позе на винтовку, окликает меня:

— Парень, ты куда?

— В Кремль.

— А зачем?

— Вот привез Ленину пакет с Севера.

— А ну покажь! — говорит часовой повелительно.

Показываю пакет с надписью «В. И. Ленину. Секретно. Лично. В собственные руки» и пятью сургучными печатями — четыре по углам, одна в центре. Часовой вертит в руках пакет, что-то думает, а потом возвращает его и милостиво разрешает: «Пройди».

У входа в здание Совнаркома опять часовой, и история повторяется: он тоже долго вертит в руках пакет с печатями, а потом пропускает. Длинные коридоры. С замиранием сердца стучу и открываю дверь... Вот я сейчас увижу Ленина, совсем вблизи! Но... вхожу в комнату, оглядываюсь — Ленина нет! Напротив меня в конце комнаты сидит светловолосый молодой человек, смотрит на меня и очень вежливо спрашивает, что мне нужно. Отвечаю, что привез Ленину с Севера пакет. «Дайте мне его сюда, я распишусь», — говорит молодой человек.

Я решительно отказываюсь. «Не дам, — говорю, — видите, написано „Секретно. Лично. В собственные руки!“ Как же я отдам вам?»

«Ну знаете, — говорит мне молодой человек, — если бы Ленин сам принимал поступающую к нему почту, он вынужден был бы заниматься только этим. Я же сижу здесь для этого».

Я упорствую: уж очень мне хочется самому передать Ленину «в его собственные руки» драгоценный пакет. Кто знает? Вдруг Ленин вспомнит меня или спросит: «Мальчик, а ты чей?» А я с гордостью отвечаю: «Я сын Михаила Сергеевича Кедрова». Но пока я мечтаю так, сидящий за столом молодой человек словно изучает меня. Проходит несколько минут, мы пререкаемся, наконец молодой человек встает из-за своего стола и предлагает: «Ну что ж, хорошо! Садитесь за стол на мое место, я открою дверь в кабинет Ленина, и вы увидите, как я передам Владимиру Ильичу ваш пакет в его собственные руки».

Что делать? Я соглашаюсь. Уж, видно, не сбьется моей мечте. Сажусь на место секретаря и через раскрытую дверь вижу, как в глубине кабинета Ленин за столом разрывает доставленный мною пакет, вынимает из него бумаги и карандашом пишет на нем расписку. С этой распиской я ухожу из Кремля. Мне хочется оставить ее себе, сохранить как самую заветную реликвию. Но этого нельзя: все расписки на конвертах от сданных пакетов я должен вернуть в «советскую ревизию» ее секретарю, моему двоюродному брату Артуру Фраучи. Отец его зовет Артуром, и тот вскоре выбирает себе псевдоним Артузов, чтобы когда отец обращается к нему, слышалось не фамильное «Артур», а уважительное «товарищ Артузов».

Но все же один пакет с ленинской распиской мне удалось сохранить в своем личном архиве. Конверт разорван. На нем моей рукой полудетским почерком написано: «Товарищу (вырвана буква «В») И. Ленину» и снизу в скобках «лично», а наискось стоит расписка в получении, написанная толстым синим карандашом: «Ленин».

Каждый раз перед обратным выездом из Москвы на Север в поезде «советской ревизии» я заходил во все учреждения, куда перед тем доставлял почту и брал из

этих учреждений, если оказывались, обратные пакеты для отца и его сотрудников. Всего таких поездок туда и обратно я совершил немало. Первая была из Ярославля в Москву и снова в Ярославль. Вторая — из Вологды в Москву, а обратно в Архангельск, куда уже переехал поезд. Третья — в Москву в начале июля вместе с поездом «советской ревизии», после чего я месяц снова проработал в «Правде».

Июль. В дни левозсеровского мятежа. 2 июля отец с группой сотрудников (и я в их числе) приехал в Москву для доклада Ленину о проделанной работе.

Придя после доклада домой, отец рассказывал, что Ленин предвидит интервенцию на Севере. После этого отец уехал обратно, а я остался. По настоятельной просьбе Марии Ильиничны я снова стал ее техническим помощником. Это была уже вторая моя работа в «Правде».

6 июля в Москве вспыхнул мятеж левых эсеров. Помню, как в редакцию вбежала Мария Ильинична и воскликнула: «Мерзавцы! Только что убили Мирбаха!» Она была очень взволнована, так что даже ее шляпка съехала набок. Находившиеся в редакции обступили ее с расспросами: «Как? Кто? Зачем?» Она сказала, что ничего еще неизвестно, но что это сделано с целью сорвать Брестский мир и вызвать войну с Германией.

Накануне мятежа в Большом театре открылся V Всероссийский съезд Советов. Моя мать с гостевым билетом слушала 5 июля доклад Ленина на этом съезде — отчет Совнаркома. Вернувшись домой, она рассказывала, что обстановка на съезде была очень напряженная. Левые эсеры во время речи Ленина устроили obstruction: орали, не давали ему говорить, выкрикивали всякие оскорбления. В зале стоял несмолкаемый шум. Перед докладом Ленина выступила вождь левых эсеров — Мария Спиридонова, которая своей истерикой и обвинениями в адрес Ленина и большевиков постаралась накалить обстановку. Но во время ее выступления никто ее не прерывал, не мешал ей говорить и уж во всяком случае никаких оскорблений не выкрикивал. Когда же начал говорить Ленин, левые эсеры буквально взбунтовались, кричали Ленину: «Мирбах!», «Керенский!» Но Ленин не реагировал на это. Сохраняя удивительную выдержку, он стоял на трибуне, каждый раз спокойно продолжая прерванную речь, и этим в конце концов заставил утихомириться разбушевавшихся было левых эсеров.

Так рассказывала моя мать.

Потом объявили перерыв для заседания партийных фракций съезда. Большевики должны были собраться в отдельном помещении, левые эсеры — в зале Большого театра. Это касалось и гостей. Мать говорила, что к ней подошел представитель большевистской фракции и шепнул: «На выход». Она вместе с большевиками какими-то боковыми и черными ходами вышла на улицу. После этого все двери Большого театра были заперты, всюду поставлена вооруженная охрана, и левозсеровская головка оказалась в ловушке.

Все это мы узнали от матери, когда она со съезда вернулась домой.

Помню, как в день мятежа я шел по Большой Никитской (ныне улица Герцена). Где-то около консерватории появился броневик и открыл пулеметную стрельбу вдоль улицы. Народ бросился враспылку.

Потом Н. И. Подвойский рассказывал, каким был Ленин в эти опасные для Советской республики часы. Он был весь в движении, собранный и нацеленный на быстрое принятие оперативных мер и решений для быстрейшего подавления вспыхнувшего мятежа. Главное для него было — не потерять ни одной минуты для организации сил, способных немедленно разоружить мятежников, вывести их из строя, лишить возможности расширять и укреплять захваченный ими в первые часы мятежа плацдарм. Подвойский говорил про себя, что он буквально летал, выполняя поручения Ленина, привлекая латышских стрелков, находившихся в летних казармах, поднимая по тревожным гудкам московских рабочих и выполняя десятки других поручений Ленина. Ни одной секунды Ленин не находился в спокойном состоянии: он был весь напряжен, весь кипел, заражая других своей энергией.

...Как же меня неприятно удивило, когда на предварительном просмотре фильма «Шестое июля» я увидел понурую фигуру Ленина, который в самый горячий, самый ответственный момент событий как-то отрешенно, словно махнув на все рукой, медленно движется вдоль окна, завешенного шторой. Я сказал тогда режиссеру картины:

«Это не Ленин! Ленин не был и не мог быть в такие минуты вот таким понурым и расслабленным. Напротив, чем тревожнее, чем опаснее оказывалась ситуация, тем собраннее, активнее, деятельнее становился Ленин».

Режиссер мне возразил: «Но ведь Ленин был человек, и ничто человеческое ему не было чуждо. Вот я и пытался отразить на экране момент, когда Ленин немножко пал духом». И режиссер не внял моей критике, моим уверениям, что в самый момент восстания (как это изображено в кинокартине) такого на самом деле не было. Так, ради допущения абстрактной возможности — должен же Ленин когда-нибудь хоть ненадолго впасть в уныние и падать духом — Карасик внес явно фальшивую ноту в свой фильм...

28 июля отец снова приехал в Москву и был у Ленина. Он доложил Ленину об общем положении на Севере и об окончании эвакуации (осталось грузов всего на 2—3 поезда), о выезде послов, о неудаче мобилизации, о необходимости направить туда войска. Было решено предоставить отцу дополнительную воинскую силу и назначить его отъезд на ближайшие дни.

Все это отец рассказывал нам дома перед новым отъездом на Север. Он говорил о том, как заботливо, как внимательно расспрашивал его Ленин, не забывая о мелочах.

Еще до захвата Архангельска губернские и уездные Советы получили указание об организации отпора интервентам и белогвардейцам, подписанное Лениным и Свердловым.

30 июля 1918 года, получив по указанию Ленина в свое распоряжение орудия, пулеметы и боеприпасы, специальным воинским поездом отец выехал в Архангельск. По дороге он остановился в Вологде, где издал приказ: «Северную железную дорогу Вологда — Архангельск объявить на осадном положении. Пассажирское движение на этом участке с сего числа прекратить».

Август. В безумной тревоге за него. 1 августа «поезд Кедрова» выехал из Вологды на Север. На всем пути следования отец был непосредственно связан через Бонч-Бруевича с Лениным, держа его в курсе событий.

В ночь на 3 августа поезд отца прибыл на станцию Тундра (в 40 верстах от Архангельска).

По мере продвижения поезда поступала информация о положении в Архангельске. Отец тут же передавал полученные сведения по прямому проводу в Москву, Ленину. Позже он рассказывал, что через Бонч-Бруевича был получен телеграфный запрос В. И. Ленина о перевороте в Архангельске. Владимир Ильич интересовался, закрыто ли устье Двины, возможно ли наступление по Двине, а также выведены ли пароходы с Северной Двины.

У отца в то время не было данных для ответа на эти вопросы; он сообщил только, что поезд продолжает путь, с тем чтобы прежде всего приостановить паническое бегство из Архангельска и попытаться вернуть город.

С вечера 2 по 4 августа связь «поезда Кедрова» с Вологдой, а значит и с Москвой, была прервана. В эти дни Ленин не раз вызывал на прямой провод вологодских товарищей, запрашивая их о положении дел на Севере и о местонахождении «поезда Кедрова». Вологжане, не имея связи с Кедровым, не могли сообщить ничего определенного. Создавалось впечатление, что поезд захвачен белыми.

Как раз в это время интервенты захватили Архангельск. Отец стал командующим войсками Северо-Восточного участка отрядов завесы. Я сказал Марии Ильиничне, что мое место на фронте с отцом и что я прошу ее отпустить меня. Она согласилась и сделала это чисто по-матерински.

И вот я снова в Вологде, где на привокзальных путях в вагонах стоял штаб командующего. С фронта я возил донесения главным образом в Кремль Ленину, в военное ведомство и в ВЧК. Таких поездок было, я полагаю, три, может быть, четыре. Я, конечно, не знал и не мог знать содержания пакетов, которые вез Ленину от отца и отцу от Ленина. Но кое о чем отец мне рассказывал, а иногда и показывал то, что получал от Ленина. Теперь эти документы опубликованы, и я буду цитировать письма и телеграммы В. И. Ленина по собранию его сочинений.

Отец часто говорил, что Ленину приходилось фактически быть главнокомандующим и что Ленин требовал присылать ему самые подробные отчеты и оперативные сводки и руководил ходом военных операций.

Все это проходило на моих глазах, тем более, повторяю, что нередко требуемые Лениным сводки и отчеты из отцовского штаба доставлял ему я. Помню, как однажды приехавший с фронта в Москву отец, очень расстроенный, рассказал матери в нашем, то есть ребят, присутствии, что за самовольный выезд в Москву его страшно изругал Ленин, но обещал во всем помочь. И отец показал написанную рукой Ленина записку с требованием назвать ему имена шести бывших генералов, которые будут расстреляны, если просимое моим отцом своевременно не доставят на фронт. Показывая нам эту ленинскую записку, отец добавил, что жаловался Ленину на саботаж и волокиту в военном ведомстве.

Теперь я могу воспроизвести эту записку не только по памяти, а текстуально (предписание Высшему военному совету 9 августа 1918 г.):

«Немедленно дать просимое;
сегодня же отправить из Москвы;

дать мне тотчас *и м е н я* 6 генералов (бывших) (и адреса) и 12 офицеров генштаба (бывших), отвечающих за точное и аккуратное выполнение этого приказа, предупредив, что будут расстреляны за саботаж, если не исполнят.

М. Д. Бонч-Бруевич должен мне письменно тотчас через самокатчика ответить на это.

Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)¹.

После этого отец немедленно выехал на фронт, взяв с собой и меня. С дороги он отправил со мной Владимиру Ильичу письмо, в котором сообщал, что, несмотря на его мощную поддержку и исключительное впечатление, произведенное в военных управлениях его запиской, удалось получить только небольшую часть просимого.

Два дня спустя (12 августа 1918 года) Владимир Ильич ответил отцу телеграммой:

«Вологда

Губисполком, Кедрову

Вред Вашего отъезда доказан отсутствием руководителя в начале движения англичан по Двине.

Теперь Вы должны усиленно наверстывать упущенное, связаться с Котласом, послать туда летчиков немедленно и организовать защиту Котласа во что бы то ни стало.

Предсовнаркома Ленин².

Поступали и такие сообщения от моего отца, которые Ленина особенно радовали. Такова телеграмма от 13 августа о победе над врагом на северодвинском направлении: «Наш отряд судов под командой товарища председателя Архангельского губисполкома Павлина Виноградова встретился с превосходными силами противника в устье реки Ваги и нанес противнику поражение. Из пяти неприятельских судов судно «Заря» взято нами в плен со всеми припасами и грузами и четырьмя пулеметами...»

Телеграмма была помещена в «Известиях» 14 августа 1918 года. На ней Ленин написал: «В печать. *Крупная победа* над англичанами и белогвардейской сволочью».

Еще больший успех одержали наши войска на железной дороге в районе Обозерской, о чем отец также сообщил в Москву.

А вот еще одно письмо отцу от Владимира Ильича, написанное 29 августа 1918 года, накануне его ранения. Конец письма является ответом на жалобу вологжан на то, что в результате «кедровщины» в Вологде вспыхнет восстание, которое до сих пор удавалось предупреждать.

«т. Кедров! Вы мало сообщаете фактического. Присылайте с каждой оказией отчеты.

Сколько сделано фортификационных работ?

По какой линии?

Какие пункты ж.-д. *обеспечены* подрывниками, чтобы в случае движения англо-французов большими силами мы взорвали и разрушили *серьезно такое-то* (какое именно, надо дать отчет, и где именно) мостов, верст железных дорог, проходов среди болот и т. д. и т. п.

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 141.

² Там же, стр. 147.

Достаточно ли обезопасили Вологду от белогвардейской опасности? Непростительно будет, если в этом деле проявите слабость или нерадение.

Привет!

Ленин»³.

В ответ на это отец телеграфировал В. И. Ленину и Я. М. Свердлову, что в районах Вологды и Череповца обнаружены белогвардейские ячейки, преимущественно из бывших офицеров, готовившихся поднять восстание в случае приближения англичан. Арестован ряд участников, раскрыта вся организация, действовавшая при содействии английской миссии в Вологде.

Отец говорил, что если удалось на первых же шагах парализовать наступление превосходящего и по числу и по технике противника и расстроить его планы, то в этом заслуга ЦК нашей партии и прежде всего Ленина. Задача была выполнена потому, что среди обещен растерянности твердая рука великого рулевого вела советский корабль к намеченной цели.

Так говорил мой отец. Как мне кажется теперь, борьба за советский Север была кульминационным пунктом всей его жизни, всей его революционной деятельности. И этот пункт от начала до конца был связан с Лениным, вдохновлен Лениным. Разумеется, и позже в жизни отца бывали яркие моменты, тоже связанные с Лениным, но они уже не имели того масштаба и характера, как те два месяца — июль и август 1918 года.

В жизни отдельного человека бывает такой момент, когда в силу внезапного стечения обстоятельств в этом человеке до конца и удивительно полно вдруг раскрываются дремавшие или не проявлявшиеся в нем до сих пор силы и способности. На короткие мгновения человек как бы вспыхивает ярким светом и таким потом входит в историю, в память человечества. Так у отца такой яркой вспышкой в его биографии был июль—август 1918 года.

30 августа до Вологды, до штаба дошла страшная весть: Ленин тяжело ранен... словно огромная рука протянулась из неведомого и сжала со всей силой сердце. В глазах потемнело, мысли оборвались... Нет, не может быть! Разве может существовать на свете глаз, который прицелился, рука, которая навела дуло револьвера, палец, который спустил курок? И в кого? В Ленина! Это — как выстрел в наше собственное сердце. Не верилось, не хотелось верить... Но это была правда, и от нее никуда нельзя было уйти... А потом ожидание очередных бюллетеней о состоянии здоровья Ленина, неумолкающая тревога за его жизнь, неугасимая надежда на выздоровление.

Как только весть о ранении Ленина дошла до Вологды, моя мать, находившаяся здесь вместе с отцом, уехала в Москву, сказав, что, может быть, потребуется сиделка для ухода за Лениным.

Прошло несколько дней, и Троцкий со своими приспешниками добился смещения моего отца с поста командующего; явной причиной было то, что отец не соблюдал военной субординации и через голову начальства обращался непосредственно к Ленину. Теперь Ленин выбыл из строя, и пока он был в постели, Троцкий поспешил избавиться от неудобного ему командующего, не всегда действовавшего по инстанции.

Сентябрь—октябрь. Он снова с нами! Итак, мы снова с отцом в Москве. Нельзя передать той радости, которая охватывает нашу семью и весь советский народ при чтении известий о начавшемся выздоровлении Ленина. Он снова с нами!— эти слова звучат в сердце каждого из нас.

Почти три месяца — до декабря 1918 года — я проработал курьером в агитотделе МК РКП(б). Секретарем МК тогда был В. М. Загорский, а моим непосредственным начальником — А. Д. Розовская (зав. агитпропом). Меня обязали кроме текущих поручений разносить путевки МК докладчикам, которым предстояло в очередную пятницу выступить с докладами перед рабочей аудиторией. Такие доклады именовались отчетами народных комиссаров перед рабочими. Именно во время такого доклада Ленин и был ранен на бывшем заводе Михельсона. Он продолжал теперь снова выступать, однако путевку ему передавала сама Розовская, с тем чтобы никто, кроме нее и самого Ленина, не знал, где, на каком именно заводе состоится выступление. Это держалось в строжайшем секрете.

³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 172.

Ноябрь. Слышу его речи. В ноябре 1918 года мне трижды посчастливилось видеть и слышать Ленина. Первый раз — в день первой годовщины Октябрьской революции. Мы с отцом стоим на Воскресенской площади (ныне площадь Революции). Здесь был установлен временный памятник Марксу и Энгельсу, сделанный из гипса. Вокруг памятника — кольцо пришедших сюда демонстрантов. Среди них вижу Подвойского с маленьким сынишкой Левой. С деревянного постаamenta памятника выступает Ленин, но его фигура заслонена от меня цоколем, на котором возвышаются фигуры Маркса и Энгельса. Мы стоим за их спинами, но хорошо слышим голос Ленина. Он говорит о великой всемирно-исторической заслуге Маркса и Энгельса, доказавших неизбежность крушения капитализма и перехода к коммунизму. «...Это предвидение великих социалистов стало сбываться!» — сказал Ленин.

Затем мы — вся группа демонстрантов во главе с Лениным — перешли на Красную площадь, где на кремлевской стене располагалась большая мемориальная доска памяти борцов Октябрьской революции — над их могилами. Доска завешена белым покрывалом, и в назначенный момент Ленин его спустил. Взору открылась живописная картина. На ней была изображена высокая женщина в венце, державшая в руках золотистую ветку или большой колос. Ленин произнес короткую речь, говоря о павших в дни Октября. Он произнес клятву: «Победа или смерть!», призывая идти по стопам борцов, погибших в октябрьские дни.

Это был первый советский памятник, увиденный мною. За ним вскоре последовал обелиск Свободы, воздвигнутый на Советской площади против здания Моссовета на месте разрушенного памятника Скобелеву. Внизу обелиска на чугунных плитах была начертана первая конституция РСФСР, созданная под руководством Ленина.

Второй раз я слышал и видел Ленина вскоре после празднования первой годовщины Октября. Бурей разнеслась весть о начале революции в Германии. Было объявлено, что 11 ноября 1918 года на собрании московских коммунистов Ленин сделает доклад о международном положении. Я сидел вместе с матерью в одной из лож. Большой театр утопал в свете люстр, золоте и красном бархате. Только сцена была совершенно пустой, видны были одни голые доски. Чувствовалось напряженное ожидание. Вдруг из-за кулис быстрыми шагами, наклонившись немного вперед, вышел Ленин. В его руках, словно по ветру, развевались длинные тонкие бумажные телеграфные ленты... Раздались бурные аплодисменты, перешедшие в овацию. Дойдя до середины сцены, Ленин сказал, что не станет делать доклад, а просто зачитает полученные из Германии последние телеграммы, ибо германская революция, которую предсказывали большевики, совершилась и позорный Брестский мир теперь будет отброшен вместе с германской монархией.

Вспыхнула бурная овация, раздались восторженные выкрики, и Ленин начал читать телеграммы одну за другой. Теперь я жалею, что не записал их тогда же, а тех, которые запомнил, было очень мало. Ленин же читал их часа полтора, отрывисто, без комментариев, сообщая их текст в зал, слушавший чтение их с замиранием сердца, буквально затаив дыхание.

Вот те немногие телеграммы из прочитанных Лениным, которые цитирую по памяти: «Император Вильгельм Второй бежал из Германии и перешел голландскую границу», «Власть в Киле перешла в руки рабочих и матросских депутатов», «В Берлине создано новое правительство — Совет народных уполномоченных». Потом выяснилось, что это было правительство предателей германской революции — немецких правых социал-демократов Шейдемана и Носке, убивших два месяца спустя вождей революции — Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Но в первый момент это было еще неясно, неизвестно, и казалось, что германская революция родила действительно революционное правительство и что оно под стать Совету Народных Комиссаров (с заменой слова «комиссаров» словом «уполномоченных»). Далее Ленин прочел сообщение о том, что советское посольство в Германии, высланное только что перед этим кайзеровским правительством, возвращено в Берлин по решению Берлинского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Когда Ленин кончил читать телеграммы, бывшие у него в руках, из-за кулис молодой человек принес ему целый веер новых, только что полученных телеграмм, которых Ленин сам еще не читал. И он стал их читать вслух, так что эту новую информацию о самых свежих событиях в Германии получали одновременно с Лениным и все присутствующие в зале. Так Ленин сливался в одном революционном порыве

с сотнями и тысячами коммунистов, собравшихся в этот торжественный час в Большом театре.

В третий раз я слышал Ленина в самом конце ноября 1918 года. В этот день МК проводил собрание московского партактива с докладом Ленина об отношении пролетариата к мелкобуржуазной демократии. По райкомам и парторганизациям роздали специальные билеты, по которым только и разрешалось пропускать участников этого собрания; оно должно было состояться в одном из малых залов Дома союзов. Мне поручили контроль, и я вместе с красноармейцами стоял у дверей, выходящих на Большую Дмитровку. Вдруг входит Мария Ильинична, а с ней Н. Л. Мещеряков и еще два-три работника «Правды». Видя меня, она с заговорщическим видом шепчет мне: «Ну, Фаня, по старой памяти пропустите, пожалуйста, меня и этих членов редакции «Правды» — нам почему-то не прислали билетов». И я, гордый тем, что хотя и нарушаю этим строжайшее указание, но действую в соответствии с революционным существом дела (так я оправдывал в своих глазах этот поступок), пропустил Марию Ильиничну и ее спутников, а потом вместе с ними и сам пошел слушать доклад Ленина. Добавлю, что без билета рвался в зал член коллегии какого-то наркомата, но я его не пропустил. Он страшно возмущался и ругался: как это его, члена правительства, смеют не пускать на доклад Ленина? Но тут я настоял на своем и так его и не пропустил. Он ушел ни с чем.

Появился Н. И. Подвойский с палочкой, с которой он ходил после покушения на него. Я только что приготовился строго спросить у него пропуск, как подбежал комендант здания, отстранил меня и сказал уважительным тоном: «Товарищ Подвойский, проходите, пожалуйста!» Так я и не успел показать своему дяде, что стою здесь на боевом посту.

Собрание началось, я запер входную дверь, на всякий случай оставив красноармейца у дверей, сам бросился в зал. Зал был набит до отказа, стояли в проходах. Я примостился на ступеньках подмостков, с которых говорил Ленин, у самых его ног, и просидел так до конца собрания, глядя на говорившего Ленина в буквальном смысле снизу вверх и записывая кратко то, о чем он говорил.

Когда я вошел в зал, Ленин говорил о том, что к среднему крестьянству недопустимо никакое насилие с нашей стороны. Он говорил о Брестском мире и о недавнем мятеже левых эсеров, говорил про споры о том, придет или нет революция в Германию и что когда она пришла, то подтвердила наши предсказания. Ленин объяснил потом, почему мелкобуржуазные массы отвернулись от нас в первые месяцы диктатуры пролетариата, а с нами остался пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством. Ленин объяснил также, почему пришлось прибегать к террору в условиях обострения гражданской войны. Но Ленин говорил и о колебаниях в среде мелкой буржуазии. В результате враждебных действий наших бывших союзников — западных капиталистов — у мелкой буржуазии стали рассеиваться иллюзии в отношении врагов революции. Поэтому надо заменить наши прежние лозунги новыми, а не отворачиваться от поворачивающейся к нам мелкой буржуазии. Если раньше мы были за насилие, то теперь мы за соглашение, так как изменилась обстановка в стране. Раньше мы были за террор, теперь — за соглашение, делая голосом акцент, сказал Ленин. Это касается и старой интеллигенции, которая пошла было за чехословацким восстанием, но теперь заколебалась. Она нужна для социализма, и с ней следует достичь соглашения, так как она уже не может заниматься саботажем и к нам (Ленин сделал ударение на «к нам») стала относиться по-добрососедски, а не враждебно. А нам предстоит строить социализм, а для этого нужна культура. Вот почему надо заменить старые лозунги новыми. В войне надо использовать малейшую помощь.

Когда я впоследствии сравнивал мои записи с опубликованным текстом доклада Ленина, то обнаружил, что я уловил далеко не все, но, пожалуй, главное.

Потом были прения, но их я не записывал. Из заключительного слова Ленина я записал только первую фразу, что наше учение не догма, которую надо заучить, а руководство к действию. Остальная часть ленинского заключения осталась незаписанной, не знаю почему. Может быть, меня послали к кому-нибудь в зале.

Когда собрание кончилось и все стали расходиться, я в толпе столкнулся с Аней Халдиной, с которой работал вместе в агитотделе, только я — курьером, она — сотрудицей. «Слышали? — спросила она меня. — Ленин предлагает соглашение с мелкой буржуазией, вот до чего он дошел». Я ответил: «Что ж тут плохого? Он ищет для нас

союзников». «Хороши союзники — меньшевики да эсеры. С ними надо бороться, а не соглашаться настоящим революционерам». Я же сказал ей, что доклад Ленина мне очень понравился и я думаю, что Ленин прав. Она сказала что-то ироническое и взглянула на меня как на ребенка, с которым нельзя говорить и спорить о серьезных вещах. Мне же показались дикими ее замечания, сделанные в адрес Ленина. «Как можно усомниться в правоте Ленина?» — думал я в недоумении.

Дома я передал матери мой разговор с Аней Халдиной и добавил, что не могу ее понять: она кажется такой умной, хорошей и вдруг говорит про Ленина такие вещи. Мать сказала, что в этом нет ничего удивительного, она ученица и последовательница своего школьного учителя — Н. Н. Кропотова, а он из левых коммунистов. Соглашение с мелкой буржуазией, о чем говорил Ленин, они считают отходом от революционного марксизма (она сказала резче: изменой ему).

Декабрь. Рекомендация его сестры. Когда мне исполнилось 15 лет, я решил вступить в партию. Обратился за рекомендацией к Марии Ильиничне. Как сейчас помню, поднялся я к ней в редакцию и сказал, что хочу стать членом партии, а поскольку начал свою работу в «Правде», то хотел бы знать, не даст ли она мне рекомендацию. Она охотно согласилась, сказала, что я уже не тот юнец, каким пришел в «Правду», стал гораздо более сознательным. И добавила: вообще во время революции политическое созревание происходит гораздо быстрее, чем в годы мирной жизни. На небольшом листке бумаги своим ровным наклонным почерком она написала рекомендацию, подписалась «М. Ильина» и поставила небольшую печатку редакции газеты «Правда», которая лежала у нее в ящике письменного стола. Вторую рекомендацию мне дал В. М. Загорский. В декабре 1918 года меня приняли в члены РКП(б), а еще немногим раньше, с 1 декабря того же года, я стал снова работать в редакции «Правды». Это была моя третья, самая долгая по времени, работа в «Правде», продолжавшаяся почти полгода.

Теперь мои функции усложнились. Главной моей задачей стало чтение почты. Я оставался все тем же техническим помощником секретаря редакции, но постепенно круг дел становился шире. Я по-прежнему выполнял любые поручения Марии Ильиничны, ездил туда, куда она меня посылала, подходил к телефону и т. п. Новым было то, что Мария Ильинична старалась приобщить меня к работе с рабкорами, давала мне обрабатывать письма рабочих, велела выбирать из них прежде всего те, которые следует, по моему мнению, поместить в «Правде». Она показывала, как надо редактировать письма и заметки, сохраняя стиль автора, его язык, устранять литературные шероховатости, исправлять грамматические ошибки. Учила, что рукопись надо редактировать, но не писать за автора, советовала там, где это возможно, обязательно сохранять образные и вообще характерные выражения и обороты. Мария Ильинична любила говорить, что рабочие должны во всем чувствовать, что «Правда» — это их газета.

Помню, какова была моя радость, когда на страницах «Правды» появилось первое подготовленное мной письмо рабочего. Но иногда того, что требовала Мария Ильинична, не получалось. Мне очень понравилось одно хлестко написанное письмо, направленное против инженерно-технического персонала какого-то завода. В письме был разруган инженер, который якобы понимает в производстве, как свинья в апельсинах. Я подготовил письмо к печати, но оно не пошло.

«Разве вы не видите, что писал его отсталый рабочий, зараженный духом спещеедства?» — сказала Мария Ильинична, разъяренная мой промах.

Многие письма рабочих, особенно те, в которых содержались различные просьбы и жалобы, посылались на проверку или же с запросом о возможности удовлетворить просьбу. Авторам я составлял письменный ответ, который Мария Ильинична подписывала. Более пространные письма писала она сама.

Мария Ильинична буквально горела на этой работе, которая была ее любимым детищем. Своим энтузиазмом она заражала всех, и скоро благодаря ей организованное ею рабкорское движение превратилось в мощную опору «Правды», связывающую газету с самыми широкими рабочими массами.

И еще я заметил: со всеми без исключения Мария Ильинична была одинаково приветлива и проста, ко всем включая наших курьеров Пискунову, Пырина относилась дружелюбно и уважительно, всем говорила «вы», со всеми здоровалась за руку. В ней чувствовалось настоящее человеческое отношение к людям, и оно проявлялось оди-

наково ко всем независимо от того, какой пост — высокий или совсем незаметный — занимает тот или иной человек. Научиться быть таким человеком, как она, было нельзя. Им следовало родиться...

Так «в борьбе и тревоге» прошагал по дорогам начавшейся гражданской войны и интервенции 1918 года, первый год молодой Советской республики, вдохновляемой на подвиги великим Лениным. Что ждет нас впереди? какие новые испытания принесет наступающий 1919 год? — подобные вопросы невольно возникали у всех советских людей, и каждый из нас пребывал в состоянии тревожного ожидания.

2. ЭПИЗОДЫ 1919 ГОДА

Незабываемый 1919-й...

Январь. Нападение бандитов. Год 1918-й кончился. Наступил 1919 год, пожалуй, самый тяжелый для молодой Советской республики. На Новый год художник-карикатурист Дени нарисовал целую серию смешных карикатур на членов редакции «Правды», на некоторых авторов газеты и сотрудников. Их наклеили на большой лист бумаги, подписали и повесили в коридоре редакции. Тогда еще не родились стенгазеты, и все с интересом и любопытством столпились у этого прообраза будущей стеной печати.

Приехал Демьян Бедный, назвал Марию Ильиничну «хозяйюшкой», шутил и острил. Помню, зашел тогда же в нашу комнату Шведчиков (заведующий трестом Главбумага, или коротко Главбум). Мария Ильинична стала жаловаться Демьяну Бедному, показывая на Шведчикова: «Видите, какую они нам плохую бумагу дают».

Демьян Бедный скаламбурил: «Ну что ж! Главбум всегда действует наобум». Все засмеялись, в том числе сам Шведчиков.

Наступивший год сулил тяжелые переживания. Прежде всего надо рассказать о ЧОНах и о борьбе с бандитами. ЧОН — это часть особого назначения, состоящая из вооруженных коммунистов, организованная прежде всего для борьбы против бандитизма и внутренней контрреволюции. Вопрос о бандитизме коснулся и Ленина лично. Вскоре после Нового (1919) года приходит как-то в редакцию Мария Ильинична и рассказывает про страшный случай, происшедший с нею и Лениным накануне. (Много позднее я узнал, что это случилось 19 января.) Владимир Ильич, она и еще один сопровождавший их товарищ вечером поехали на автомобиле в Сокольников в лесную школу, где отдыхала Надежда Константиновна. Захватили для нее с трудом раздобытый кувшинчик молока, который держал сопровождавший их товарищ. Темно, фонари не горят, на улицах снежные заносы. Около Каланчевки (привокзальной площади) кто-то остановил автомашину, закричав: «Стой!» Шофер стал объяснять, что автомашина Совнаркома, — он думал, что это наш патруль, оказалось — вооруженные бандиты. Кричат: «Вылезай!» Грозят револьверами. Вылезли. У Владимира Ильича выхватили бумажник, сели и уехали. Ленин сказал: «Идем скорее, иначе они узнают, кто мы, и вернутся за нами». Так дошли до райсовета, и Владимир Ильич там крепко ругал кого-то за то, что нет охраны, нет света, что у Председателя Совнаркома отняли автомобиль.

«А молоко Наде все-таки привезли», — добавила, улыбнувшись, Мария Ильинична.

Вечером дома отец сообщил нам вкратце об этом событии, о котором он услышал в ВЧК. Я обратил тогда внимание на некоторое расхождение в рассказах отца и Марии Ильиничны о месте этого происшествия. Кажется, отец говорил, что это случилось при въезде на Каланчевку, тогда как в действительности — немного дальше за Каланчевкой.

Но у отца были дополнительные сведения о поведении бандитов, завладевших автомашиной. Бандиты действительно вскоре же вернулись за Лениным, узнав из захваченных ими документов, кто был у них в руках, кого они упустили. Но Ленина и его спутников след уж простыл. Я спросил тогда отца: «А что бы эти бандиты могли сделать с Лениным?» Он подумал и ответил: «Они могли, конечно, его убить. Но могли бы потребовать огромный выкуп и для себя свободный выезд за границу. Пришлось бы удовлетворить их — ведь голова Ленина для нас бесценна. Хорошо, что все так кончилось, а могло быть куда хуже». И, улыбнувшись, отец добавил: «А ведь Ленин

в такой обстановке не растерялся, вышел сам и ловко вывел своих спутников из такого положения».

Эта история имеет свое продолжение и окончание. Спустя несколько месяцев, уже летом 1919 года, чоновские отряды окружили одну банду, разгромили ее и убили ее главаря. В кармане у него обнаружили дневник, простреленный и окровавленный. Дневник был выставлен тогда в своего рода музее ВЧК, и я мог с ним познакомиться. Надо сказать, что бандитские главаря того времени нередко были настроены поэтически, вели дневники «со слезой», были склонны к лирике и пафосу. Убитый был из этого сорта бандитов. В музее ВЧК его дневник был раскрыт на странице, датированной тем числом, когда был захвачен автомобиль Ленина. Здесь стояла запись, сделанная рукой бандита: «Сегодня я даровал жизнь Владимиру Ульянову-Ленину». А я подумал тогда: «Каким же беспардонным хвастуном был этот бандит, приписывая себе столь великодушный поступок. На самом-то деле он должен был с великим огорчением занести в свою писульку: „Сегодня я упустил или прозевал Ленина“».

Забегая еще дальше вперед скажу, что летом 1920 года, будучи курсантом Свердловки, я купил и прочел только что вышедшую тогда книгу Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». По поводу допустимости компромиссов Ленин привел там простое, доходчивое, популярное сравнение: «Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо, несомненно... Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс «принципиально недопустимым» или объявил лицо, заключившее такой компромисс, соучастником бандитов».

Я сразу догадался, что здесь Ленин имел в виду именно то событие, о котором Мария Ильинична рассказывала в холодное зимнее утро в начале 1919 года.

Но вернусь к зиме 1918/19 года. В ЧОНах коммунисты, рабочие учились владеть винтовкой, проходили строевую подготовку. В редакции меня выделили организатором нашего отряда ЧОН. Занятия проходили в одном из переулков, выходящем на бульвар около Трубной площади. Я горячо взялся за дело: как всякий мальчишка-подросток, я благоговел перед настоящей винтовкой и полагал, что так же должны думать и все вообще. В ЧОН я записал не только мужчин, но и всех наших женщин, членов партии, в том числе Марию Ильиничну и Надежду Михайловну Лукину. Они долго отказывались, говоря, что не представляют себе, как будут не то что стрелять из винтовки, а просто держать ее в руках. Но я все же настоял на своем и убедил их. Я доказывал: что же они станут делать, если на них нападут вооруженные бандиты? Как дать отпор бандитам, если не владеть винтовкой? И я демонстрировал, как это легко и просто делается. Гордый тем, что я сумел сломить их сопротивление, я привел свой отряд на место сбора. Но как только Мария Ильинична и Лукина взялись было за винтовки, оружие почему-то выскользнуло из их рук, а женщины заявили, что все равно стрелков из них не получится и что им лучше пойти в сестры милосердия. Старший товарищ (военинструктор) так и порешил.

В Москве есть улица Марии Ульяновой, выходящая на Ленинский проспект. Каждый раз, бывая на этой улице или проезжая мимо нее, я вспоминаю ту, имя которой она носит. Сегодня, хотя минуло с тех пор как я работал в «Правде», столько десятилетий, дорогой мне образ Марии Ильиничны как живой, словно искрящийся каким-то внутренним светом, встает перед моими глазами, и слышится ее тихий, немного глуховатый голос, посылающий меня к Подбельскому с просьбой починить редакционный телефон...

Январь 1919 года был полон тяжелых событий. В середине января в Берлине были зверски убиты вожди германской революции — Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

Вся наша семья — отец и трое нас, подростков. — собралась у матери в большом зале Моссовета с тяжелым чувством на сердце. В зале никого, кроме нас, не было. Внезапно входная дверь на лестницу распахнулась, и в зал быстрыми шагами, в пальто и теплой шапке вошел Ленин. Увидя нас, он улыбнулся, снял шапку и издали нас приветствовал, быстро пройдя на балкон. Мы все застыли от неожиданности, а в глазах отца и матери я прочел какой-то восторг и чувство гордости.

Ленин кончил свою речь с балкона Моссовета, обращенную к собравшимся на площади демонстрантам. Он вернулся в зал вместе с остальными товарищами, нахо-

дившимися на балконе, и подошел к нам. Он поздоровался с каждым из нас за руку, спросил у родителей о их здоровье, кивнул нам, ребятам, на прощанье и быстро вышел из зала. По глупому мальчишеству я долго не мыл правую руку, мечтая как можно дольше сохранить прикосновение к ней ленинской руки. Что ж делать, если таково было горячее чувство величайшей преданности Ленину, которое безраздельно владело мною в те годы.

В эти дни в Москве, в Доме союзов проходил II Всероссийский съезд профсоюзов, на котором с докладом должен был выступать Ленин. Мать достала два гостевых билета на этот доклад, но отдала их брату Юрику и двоюродному брату Виктору Фраучи. «Ты часто бывал на докладах Ленина, пусть послушают и они», — сказала она.

Когда они вернулись с прослушанного доклада, то ничего не могли рассказать толком, кроме того, что Ленин горячо осуждал зверское, предательское убийство Либкнехта и Люксембург и его вдохновителей. При этом Ленин повесил на спинку стула свое пальто, все время «играл» этим стулом, раскачивая его туда-сюда.

...Когда я недавно попросил профессора Казанского медицинского института В. Х. Фраучи сообщить мне, что у него осталось в памяти об этом событии, он сказал, что только две вещи. Страстное осуждение Лениным презренных убийц вождей германского пролетариата и раскачивание им во время доклада стула, на спинке которого висело его пальто...

Февраль — апрель. В Кремле около него. Я расскажу три эпизода, связанных с Лениным, которые произошли в ту же исключительно тяжелую зиму. Может быть, некоторые из них произошли немного раньше — либо в декабре 1918 года, либо в январе 1919 года.

Первый эпизод.

В ту же зиму мне пришлось побывать в кремлевской квартире Ленина, точнее сказать, на тамошней кухне. Произошло это при следующих обстоятельствах.

Время тогда было очень голодное. Зима с 1918 на 1919 год выдалась суровой, снежной. Дров и хлеба почти не было, а потому к сильному холоду прибавлялся не менее сильный голод. Однажды сотрудники «Правды» получили целый вагон картошки. Но разве это была картошка? Промерзшая насквозь, со льдом, землей и грязью. Очищенная от земли и грязи, она, после того как ее варили, превращалась в несъедобное подобие резины. Нужно было эту резину пропустить через мясорубку, а потом жарить на чем хочешь, что было под руками, хотя бы на касторке или глицерине. Рыбьего жира (не говоря о пищевых жирах) не было тогда и в помине. Каждому сотруднику полагался мешок такой вот почти несъедобной картошки.

Мария Ильинична обратилась ко мне: «Когда вы к себе завезете свой мешок, я вас очень попрошу свезти мой к нам домой, только вы входите со двора по черной лестнице, прямо на кухню, там отдадите нашей домработнице.— И шепотом добавила: — Скажу по секрету, у нас сегодня вечером есть нечего».

И вот тащу на спине по узкой витой лестнице двухпудовый мешок, попадаю в темную, закопченную кухню кремлевской квартиры Ленина. Навстречу выходит невысокая и уже немолодая женщина и всплескивает руками от радости, узнав, что я привез картошку: «Вот, милый, спасибо тебе, сказать по правде, нам сегодня и есть было бы нечего».

Так из двух источников одновременно я узнал, что Владимир Ильич и его семья питались, как и все советские люди, получая лишь то, что положено по карточкам. В исключительном случае, наравне со всеми служащими и рабочими вплоть до курьеров и уборщиц, семья Ленина могла получить один мешок мерзлой, грязной, почти неудобваримой картошки...

Второй эпизод. Той же зимой я, как всегда, вечером ходил в Кремль за материалами для «Правды» или относил авторам, живущим в Кремле, их материалы. На этот раз все сделал, разнес, хочу уже уйти домой, вдруг возле Большого Кремлевского дворца вижу идущего мне навстречу Ленина. Я прямо остолбенел и замер на месте. На Ленине была зимняя шапка и теплое пальто. Я осторожно стал следить, куда пойдет Ленин. Он прошел мимо дворца, повернул направо и у Боровицких ворот, не выходя из Кремля, стал спускаться вниз, к кремлевской стене, отделяющей кремлевский холм от набережной Москвы-реки. Я тут же бросился мимо дворца, Ивана Великого и царь-колокола к Спасской башне, возле которой тогда

стоял памятник Александру II. Это была небольшая галерейка с двумя крыльями, и на ее потолке мозаикой были выложены портреты русских царей. В центре галерейки находился сам памятник. Вся эта галерейка вместе с памятником стояла на искусственном выступе, возведенном на склоне кремлевского холма, как раз напротив дорожки между кремлевским холмом и кремлевской стеной, выходящей на Москву-реку. Из этого памятника-галереи хорошо просматривалась узенькая протоптанная в глубоком снегу тропинка, идущая вдоль кремлевской стены. По этой тропке внизу гулял Ленин, то приближаясь ко мне, то удаляясь от меня. А я сверху как завороченный следил за ним. Вдруг навстречу ему откуда-то от стены, примыкающей к Спасской башне, выехал грузовик. Чтобы пропустить его, Ленин шагнул далеко в сторону прямо в сугроб и стоял там, ожидая, когда грузовик пройдет. Но тот, едва лишь поравнялся с Лениным, заглох. Водитель, повозившись в кабине, вылез и стал ручкой заводить мотор. Мотор никак не хотел заводиться. Водитель склонился над мотором, Ленин, ступая в глубокий снег, прошел вдоль кузова и тоже стал заглядывать туда, куда смотрел водитель. Так продолжалось довольно долго, пока наконец мотор не затарахтел. Грузовик уехал, Ленин снова вышел на тропку, отряхнул низ своих брюк от снега и отправился домой. Только тогда я покинул свой наблюдательный пост.

Третий эпизод. Скажу еще коротко о том, что я слышал от одной из сотрудниц «Правды» — Сарры Крыловой. Она была профессиональной певицей и выступала на сцене. После перенесенного тифа она была обрита и, как мне говорила, во время выступлений надевала парик. Мария Ильинична несколько раз приглашала ее в кремлевскую квартиру петь для Ленина его любимые русские песни, которые он знал с детства. Крылова рассказывала, что у нее никогда не было более внимательного слушателя, чем Ленин, и ни для кого другого ей не было так отраднo петь.

Расскажу еще об одном событии того времени.

Однажды, это было в марте 1919 года, Мария Ильинична поручила мне доставку в «Правду» текущих материалов VIII съезда партии, который проходил в Кремле. Она сама вручала их мне в комнате, где, по-видимому, работала редакционная комиссия съезда, а я должен был как можно скорее доставлять их в редакцию «Правды». Помню длинные коридоры, по которым приходилось ходить в те дни за этими материалами, и какую-то особенно напряженную атмосферу, которая чувствовалась и в здании, где проходил тогда партийный съезд, и во всем Кремле.

Май—ноябрь. На страже революции. С конца мая до конца ноября 1919 года — почти полгода — я ездил с отцом по всем тогдашним фронтам. Ленина я видел за это время всего один раз — на Красной площади на трибуне во время демонстрации по случаю второй годовщины Октябрьской революции. Было холодно, шел снег. Я стоял недалеко от основной трибуны и, не отрывая глаз, смотрел на Ленина. На мне были полушубок и ушанка.

До этого я побывал вместе с отцом в Петрограде, перед тем вспыхнул мятеж в форте Красная Горка и других, а также готовился белогвардейский заговор, связанный с деятельностью иностранных посольств и миссий, которые еще оставались в бывшей столице. Отец составил план, каким образом можно выловить заговорщиков, блокируя миссии и посольства.

В июне поезд отца выехал на Южный фронт, и я снова вместе с ним. В Козлове (ныне Мичуринск) стоял штаб фронта. Я участвовал в организации проверки документов в прифронтовой полосе и в задержании подозрительных лиц. Ездили мы вдвоем с таким же, как и я, подростком. Иногда с нами отправлялся старший из числа взрослых сотрудников отцовского поезда. Работа сопряжена была с большим риском: мы могли получить пулю в лоб от какого-нибудь пьяного «героя» или задержанного врага.

Каждый раз по возвращении в Москву я заходил в редакцию «Правды» к Марии Ильиничне и рассказывал последние новости из своей особотдельской жизни и деятельности, а она ужасалась тому, как мой отец не боится брать меня с собой в такие опасные поездки. Я же гордо улыбался и говорил: «Мария Ильинична, теперь я уже большой!»

В сентябре 1919 года анархисты бросили бомбу в здание МК РКП(б) в Леонтьевском переулке. При взрыве погибли секретарь МК РКП(б) В. М. Загорский, рекомендовавший меня в партию, и другие товарищи. Участники собрания, живые свидетели этой трагедии, рассказывали: когда через открытое окно, выходящее в садик, влетела бомба и, упав к столу президиума, стала шипеть, Загорский метнулся к ней со сло-

вами: «Тише, товарищи! Спокойно!» Он хотел выбросить ее обратно в окно, но не успел. Раздался взрыв. Погибла Аня Халдина, с которой я три месяца работал в агитпропе МК, погиб ее друг и учитель Н. Н. Кропотов, за которым она пошла в революцию, хотя сама была выходцем из буржуазной семьи. Рассказывали мне, что, смертельно раненная, умирая, она порывалась что-то спросить, и я подумал: в эти последние мгновения ей хотелось знать, жив ли ее друг и учитель...

Хоронили их на Красной площади. Когда на минуту открыли крышки гробов, раздался громкий плач родных. Была младшая сестра Ани, на нее очень похожая, очевидно со своими родителями. В воздухе разнесся тлетворный запах, и гробы быстро закрыли. На сердце было невыносимо тяжело и грустно. Я думал о Загорском, Кропотове и Ане, о том, что по воле террористов ушли из жизни такие замечательные люди...

Той же осенью 1919 года отец отправился на Западный фронт, и я, конечно, с ним. На этот раз у него был уже не поезд, а только отдельный вагон-салон, в котором жили и его сотрудники. Задача состояла в том, чтобы создать в Гомеле укрепленный район: не дать белогвардейцам, орудовавшим на юге, образовать общий фронт с врагами, действовавшими на западе советской России.

В ноябре, после мамонтовского рейда по нашим тылам, поезд отца должен был прочесать район этого рейда начиная с Тамбова. В Моршанске мы ловили сбежавшего начальника местной милиции Антонова, который в 1920 году возглавил кулацкий мятеж, известный под названием антоновщины.

Это было тяжелое, очень тяжелое время для Советской республики. Все силы оказались напряжены до предела. Но велика была вера в победу над врагом, и символом этой веры неизменно служили имя и образ Ленина.

Декабрь. По его призыву на борьбу с тифом. Конец 1919 и начало 1920 года я провел в специальном поезде Всероссийской комиссии по борьбе с сыпным тифом, которую возглавлял мой отец. Он был врач по образованию, чекист и военный по характеру работы в период гражданской войны. К концу 1919 года наш Восточный фронт быстро продвигался вперед на восток. Красная Армия преследовала и громила разваливавшуюся колчаковскую армию. Убегавшая от нас белая армия была заражена сыпняком и оставляла нам в наследство массы тифозных солдат. Возникла острая необходимость не дать волне сыпняка ринуться в центр советской России, где истолодавшиеся люди стали бы жертвами эпидемии тифа. А чтобы предупредить страшное нашествие сыпняка, надо было создать прочный кордон, да не один: сначала на Волге, потом на Урале и в Зауралье и, наконец, в самой Сибири — Западной и Центральной. Вот для этой цели и была создана комиссия, которую организовал и возглавил мой отец. Борьба с сыпняком оказалась не менее сложной и ответственной, нежели борьба с контрреволюцией.

Я тоже входил в число сотрудников названной комиссии и вел в ней активную работу, выполняя всякого рода поручения. А дел было по горло. Начали с Симбирска. Здесь организовали санитарный пункт, дезинфекцию, походную баню-поезд, прачечную и т. д. На станции был создан наблюдательный пункт для проверки всех отъезжающих в сторону Москвы, то есть на запад. Мосты через Волгу, так же как через Иртыш под Омском, были взорваны, по льду проложены рельсы — мы выходили из вагонов и шли вперед, а вагоны — один за другим — под хлюпающие звуки, раздававшиеся из-под колес, перекатывал паровозик. За Симбирском следовали Уфа, потом Курган, Омск, Новониколаевск... Везде вдоль железнодорожного полотна в снегу валялись трупы колчаковских солдат. Госпитали были переполнены тифозными. Врачей и медперсонала не хватало, не хватало рук хоронить умерших. Мы работали день и ночь.

10 декабря, в день моего рождения (мне исполнилось 16 лет), наш поезд пересекал Уральский хребет, и я стоял на паровозе, любясь зимним пейзажем Уральских гор. Мне было известно, что наша комиссия выполняет прямое задание Ленина. 2 декабря 1919 года Ленин выступал на VIII Всероссийской конференции РКП(б) в Москве и говорил, что одна из наших задач — «борьба со вшами, теми вшами, которые разносят сыпной тиф. Этот сыпной тиф среди населения, истощенного голодом, больного, не имеющего хлеба, мыла, топлива, может стать таким бедствием, которое не даст нам возможности справиться ни с каким социалистическим строительством»⁴.

⁴ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 359.

А спустя три дня, на VII Всероссийском съезде Советов, он сказал еще резче: «И третий бич на нас еще надвигается — *вошь, сыпной тиф*, который косит наши войска. И здесь, товарищи, нельзя представить себе того ужаса, который происходит в местах, пораженных сыпным тифом, когда население обессилено, ослаблено, нет материальных средств,— всякая жизнь, всякая общественность исчезает. Тут мы говорим: «Товарищи, все внимание этому вопросу...» И в этом вопросе мы, товарищи, действуя такими же методами, начинаем достигать успешных результатов»⁵. И немного дальше Ленин вновь выразил твердую уверенность в успехе борьбы против сыпняка: «...если мы напряжем все свои силы для того, чтобы стереть с лица русской земли сыпной тиф,— результат некультурности, нищеты, темноты и невежества,— если мы все те силы, весь тот опыт, который мы приобрели в кровавой войне, применим в этой войне бескровной,— мы можем быть уверены, что в этом деле, которое все же гораздо легче, гораздо человечнее, чем война, что в этом деле мы завоюем себе успеха все больше и больше»⁶.

Почта тогда работала плохо, и московские газеты с речами Ленина мы смогли прочитать с большим опозданием. Только что приведенные слова и призывы Ленина являлись для нас такой поддержкой в трудной работе, что передать это на бумаге просто невозможно. Воодушевленные и вдохновленные великим Лениным, мы продолжали свою работу, о результатах которой отец регулярно сообщал в Москву.

⁵ Там же, стр. 410.

⁶ Там же, стр. 411

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛ. МИХАЙЛОВ



«Я К ВАМ ПРИДУ...»

Наследие поэта и современная русская поэзия

В истории время от времени возникают такие явления искусства, литературы, которые на долгие десятилетия и даже столетия остаются загадкой для новых поколений, предметом поклонения — одних и отрицания — других, что само по себе предполагает запуганный «сюжет» взаимоотношений.

К таким явлениям относится Маяковский. Насколько непрост «сюжет» его взаимоотношений с потомками (как, впрочем, и с современниками), можно судить хотя бы по дискуссии, что в конце минувшего 1982 года состоялась на страницах «Литературной газеты». Казалось бы, полстолетия, прошедшие со времени кончины поэта, могли прояснить этот «сюжет». В какой-то мере усилиями множества специалистов, ученых, поэтов действительно прояснили. Но иногда, как, например, после упомянутой дискуссии, кажется, что взаимоотношения современной поэзии с Маяковским еще больше запутываются.

Дискуссии вокруг имени и творческого наследия Маяковского практически не прерываются, если не на газетных страницах, то в исследовательской работе постоянно сталкиваются разные концепции и разные оценки. И это хорошо — в спорах рождается истина, во всяком случае они приближают нас к истине, но часто обнажают и слабости подхода к теме, слабости понимания предмета.

Девяностолетие со дня рождения поэта несомненно даст, и уже дает, новый толчок к изучению и творческому освоению наследия Маяковского. В преддверии этой даты появились, на мой взгляд, весьма содержательные и интересные работы по поэтике Маяковского — Б. Гончарова, А. Субботина, Ф. Пицкель. Они во многом дополняют известные фундаментальные исследования, среди которых видное место занимают труды В. Перцова и А. Мегченко.

Однако по-прежнему малоизученным остается вопрос освоения традиций Маяковского, его непосредственного (или опосредованного) влияния на современную поэзию. Маяковский как явление поэзии вырос в такую фигуру, которую никому не обойти, поле притяжения к ней чрезвычайно велико, в него попадают даже те, кто, бызает, и не подозревает об этом и обеими руками отмахивается от Маяковского.

Особую сложность представляет отношение к нему крупнейших художников слова, таких, как Есенин, Пастернак, Твардовский, чье творчество ярко индивидуально и как бы независимо от иного опыта. Однако зависимость — прямая ли, обратная, косвенная — обнаруживается и в этих конкретных случаях. Попытаться проследить эту зависимость значит приоткрыть источник силы притяжения в поэте, в тенденции, в характере.

В первой части статьи я и попытаюсь хотя бы пунктирно наметить некоторые моменты притяжения и отталкивания в отношениях к Маяковскому одного из самых крупных русских советских поэтов — Александра Твардовского. Затем постараюсь передать свое ощущение эффекта присутствия Маяковского в поэзии наших дней.

Оказавшись в предгорье, мы невольно устремляем взгляд на вершины. В горной гряде русской советской поэзии после Маяковского высятся пик Твардовского, который своими очертаниями отнюдь не напоминает пик предшественника. Переведа эту незамысловатую метафору на язык критической прозы, мы должны будем сказать, что эти действительно вершинные — каждый в своем времени и каждый надолго — явления в художественном развитии сильно отличаются друг от друга. Так сильно, что дают повод некоторым литературоведам и критикам рассматривать их как две поляр-

ности, два основных направления русской советской поэзии. Скажем сразу, такое размежевание идет по признакам (и принципам) стиля, поэтики, что имеет большое, но все-таки не самое решающее значение.

Маяковский и Асеев, Маяковский и Пастернак... Эти привычные сопоставления облегчает то обстоятельство, что поэты — люди одного поколения, хотя и Асеев и Пастернак надолго пережили своего великого современника Твардовский как поэт, как личность — порождение другого времени при всем том, что писать он начал в конце 20-х годов, когда мощные раскаты голоса Маяковского, конечно, доносились до его родного Смоленска. Но рядом зазвучал негромкий и такой зазывный голос старшего земляка — Михаила Исаковского. Он был ближе, понятнее для слуха деревенского юноши.

И тем не менее еще в середине 30-х годов, когда появилась в печати «Страна Муравия», поэма, выдвинувшая Твардовского в ряд наиболее ярких и талантливых поэтов того времени, Асеев за кажущейся простотой поэмы увидел большую и сложную культуру стиха и попытался установить его интонационную близость к стиху Маяковского — в «описании события общезначимого», в том, что поэту «нужны были доказательства широкого масштаба». С тех же примерно исходных позиций позднее, уже в 70-х годах, критик Ст. Лесневский назвал имя Твардовского как наиболее близкое к Маяковскому в современной поэзии, сказав при этом: «Этот государственный, державный пафос, это стремление подчинить себя долгу, «лиризация» долга — у них общие». (Мы еще вернемся к этому суждению, оно, конечно, шире асеевского.)

Отношение самого Твардовского к Маяковскому не было застывшим, казенным. Большой художник, создавший свой, неповторимый поэтический мир, Твардовский ревниво воспринимал иной поэтический мир, отмечая в нем степень близости (как у Исаковского) или, наоборот, различия (как у Есенина, Маяковского). Поэтому важно проследить, как же с годами это отношение трансформировалось, уточнялось.

Нетрудно догадаться, что Твардовский прошел отличную от Маяковского поэтическую школу, хотя в программе ее были и общие, сближающие их пункты, а в родословной поэтов есть, по крайней мере, одно близкое обобщение — Некрасов.

В статье о Пушкине (1949), настаивая на том, что именно Некрасов является подлинным продолжателем традиций национального гения, а не сторонники «чистого ис-

кусства», переходя к нашему времени, Твардовский сказал: «Только поэту революционной эпохи — Маяковскому, смело и безоговорочно пошедшему навстречу новой жизни, никто уже не откажет в праве на наследование великих традиций русской поэзии». Не значит ли это, что он и себя, свое творчество по генеральной направленности рассматривал в этой традиции? И еще нам важно в данном случае подчеркнуть понимание Твардовским задач, целей поэзии — идти навстречу новой жизни. Это программа, за нею — опыт, убеждения, личность.

В работе «Как был написан «Василий Теркин» Твардовский несколько раз назвал имя Маяковского. Надо заметить, что здесь перед нами поэт, уже осознавший или, по крайней мере, осознающий свое место в русской, советской поэзии, свое право независимо судить о самых сложных и самых выдающихся явлениях литературы. Поэтому, например, он счел себя вправе (в статье о поэзии Маршака) критически отнестись к стихам Маяковского для детей, находя их рассудочными, написанными не на уровне мастерства автора. В то же время, защищая от критики строки Маршака: «По проволочке дама идет, как телеграмма», — он ссылался на авторитет Маяковского, которому эти строки очень нравились.

В статье «О Бунине» (1965) Твардовский с явно осуждающим оттенком упоминает позднейшие негативные оценки писателем Брюсова, Блока, Маяковского, Есенина.

Все упоминания имени Маяковского в статьях и выступлениях Твардовского даны в контексте, не оставляющем сомнения в его уважительном отношении к поэту. Одно, как кажется, внутренне задевает Твардовского, и это относится, помимо Маяковского, к Пастернаку, Асееву, Светлову и другим — что эти поэты «обладали исключительно зрением интеллигентных горожан на ту часть мира, что носила название деревни и не была для них... хотя бы предметом воспоминаний детства». Эта часть мира, составлявшая в ту, послереволюционную пору основу основ нашего общества, близка и дорога Твардовскому генетически. Вот откуда некрасовская традиция у него, вот откуда такое сердечное и благодарное слово о Михаиле Исаковском, первым воспевшем новую, советскую деревню...

Подчеркнем — новую. В этом пристрастии к новому, в борьбе за него — «генеральная дума» поэта, о которой он упоминает в письме К. Ваншенкину. Она совпадает с «генеральной думой» Маяковского. Пути ее живания в поэзию у них разные. Отсюда

некоторая недоговоренность, неотчетливость отношения младшего современника к старшему при всем пиетете, уважении к его имени и таланту.

На Всероссийском съезде учителей (1960) Твардовский сказал: «Маяковский — огромное литературное явление», — заметив, однако, что у него были «большие поклонники, апологеты» и были люди, которые его «активно не принимали». Он сделал вывод: «И мы не вправе сказать, что те, которые любят его поэзию, обязательно хорошие люди, а те, которые не любят, обязательно плохие, отсталые». Сказано, в общем, правильно. Любовь в искусстве, так же как и любовь мужчины и женщины, — чувство управляемое, недекретируемое. И у Твардовского в его высказываниях мы ищем не выражение любви, а — понимание.

В одной из статей, протестуя против «преувеличенной», по его мнению, оценки Есенина, Твардовский заметил: «Можно вспомнить о Маяковском: так или иначе, но он всеми силами своей поэтической души рвался из своего малого времени в свое большое, перспективное время. И это сообщает его поэзии несравненно большую, чем есенинской, устойчивую долговечность».

Оставим в стороне противопоставление одного поэта другому, но отметим для себя, что Твардовский делает это признание, как будто преодолевая внутреннее неприятие Маяковского, может быть, его поэтики («так или иначе»), но он безусловно верит в его искренность, в его страсть («всеми силами своей поэтической души»), в его поэтическую долговечность. И конечно, ему импонировал демократизм Маяковского, его страстное стремление уйти из малотиражной книжки в народ. Такой ведь была внутренняя потребность и самого Твардовского.

Е. Винокуров писал о Твардовском:

«По-некрасовски он радеет о стране, и эта тревога за страну ощущается в каждом его слове. Великие исторические катаклизмы, судьбы миллионов людей — вот что всегда интересовало поэта. Вот чему было подчинено всегда его перо. Тема народа стала его внутренней лирической темой. Объективное воспринято субъективно, через „я“».

Это по сути очень близко уже упоминавшимся выше словам Ст. Лесневского о «государственном, державном пафосе» обоих поэтов.

Рассмотрим с этих позиций хотя бы поэмы «Хорошо!» и «За далью — даль». Уже в зачине, в первой главе октябрьской поэмы Маяковского обозначено слияние личной

судьбы поэта с судьбою народа и государства на великом историческом переломе:

Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.

У Твардовского, тоже в первой главе, лирическое начало обнаруживает себя исподволь, в эпитетах:

Дорога дальняя моя,
Окрестный мир страны обширной,
Родные русские поля,
В ночи мерцающие мирно...

(Разрядка моя. — А. Л. М.)

Здесь возникают в памяти годы другого великого исторического события — минувшей войны, события горестного, но еще более сплотившего народ (автор объединяет себя с народом местоимением «наше»: «...счастье наше в том, что счастья мы хотим упорно, что на века свой строим дом...»).

Дом — сквозной и многозначный образ у Твардовского: он дом и как жилье, и как временное обиталище — вагон поезда на транссибирской магистрали, что пересекает страну с запада на восток, — и как страна, держава, и, наконец (по выражению А. Македонова), как некая «упорядоченная новая общность», единство народа и государства. Идея государственности выливается в идею могущества, исторической устойчивости.

В поэме «Хорошо!» идея общности народа (общности классово) утверждается в ходе революции, местоимение «наш», «наши» обретает государственное значение в сознании народа, от его имени говорится: «Мы будем работать, все стерпя, чтоб жизнь, колеса дней торопя, бежала в железном марше в наших вагонах, по нашим степям, в города промерзшие наши».

Вживание в идею общности у Маяковского начинается с местоимения «наш», «наша», «наше» Революция дала возможность трудовому народу ощутить себя хозяином страны проникнуться идеей государственности. И когда встает вопрос о защите Советского, народного рабоче-крестьянского государства от контрреволюции и интервен-

ции, классовая общность скрепляется местимением «мы»:

Посреди
 винтовок
 и орудий голосища
Москва —
 островком,
 и мы на острове.
Мы —
 голодные,
 мы —
 ннщие,
с Лениным в башке
 и с наганом в руке.

И уже где-то с тринадцатой главы начинается живинане «я», лирического героя— со всеми, как потом и у Твардовского в поэме «За далью — даль», биографическими приметамн самого поэта — в революционную общность народа. Здесь появляются строки признания, что «понятной» стала «теплота любовеи, дружб и семей». Трогательные детали быта, через которые просвечивает суровый аскетизм времени, еще больше подчеркивают величие классовой солидарности («Миллионный класс вставал за Ильича...»); с нарастающей лирической экспрессией выражено чувство полного единства с народом («...где каплей льешься с массами...»). Это апофеоз новой государственности, основанной на фундаменте революционной общности трудящихся масс.

В поэме Твардовского идея государственности развивается по нарастающей. Вначале она зреет подспудно — в ощущении протяженности, простора, величия и красоты природы. В главе «Две кузницы» постоянные посетители кузницы деревенской, бывшей «тогдашним клубом, и газетой, и академией наук», собираются для того, чтобы «побыть в охоту на народе, забыть, что жизнь невесела». Только здесь, в деревенской кузне, «на народе», чувствовали они себя людьми («...и словно всяк — хозяинбарин...»). А вот другая кузница — Урал, «опорный край державы», выступает в ином качестве: он «будто край родимый», здесь именно, через «полжизни» от деревенской кузницы, от детства, отчетливо проступает державное чувство, хозяйское чувство. А там и Сибирь — «завод и житница державы, ее рудник и арсенал» и тоже «своя, родная вдаль и вширь...». При виде сибирских просторов, в мыслях о Сибири рождается идея единства лирического героя с народом, с теми людьми, которых «вели сюда кого приказ, кого заслута, кого мечта, кого беда...», здесь он осознает, что обязан «любой из тысяч этих судеб...».

В поэме «Хорошо!» (как, впрочем, и в поэме «Владимир Ильич Ленин») тема ре-

волюционной общности, единения трудящихся масс развивается на фоне революции, в ходе гражданской войны. У Твардовского таким испытанием, из которого народ вышел еще более сплоченным, еще более преданным идее социалистической государственности — на пути к исторической общности своей как народа, — показана Великая Отечественная война. Это во время войны, о которой поэт вспоминает с болью и гордостью, фронт и тыл «шли во имя жизни» как «два брата, два бойца. Великой верные Отчизне тогда. И впредь. И до конца».

«Чувство семьи единой», если воспользоваться крылатыми словами Тычины, особенно ярко проявилось в момент перекрытия Ангары (в главе «На Ангаре»). Это чувство государственности, чувство причастности каждого к великому делу строительства новой жизни, обновления страны. Здесь, на перекрытии Ангары,

Одним охвачены порывом,
В семье сравнялись трудовой.
В сыновней службе не лукавой.
Огнем ученые бойцы.

Здесь во всей красе показали они «тот молодецкий резон», который красит жизнь трудящегося человека «в труде, в страде, в беде любой...».

Как и в поэме Маяковского «Хорошо!», в поэме «За далью — даль» нарастает волна лирического проникновения в эпос, местимение «я» все настойчивее заявляет свое присутствие в народе, свою причастность к его недавней истории и нынешним свершениям.

Все дни и дали в грудь вбирая,
Страна родная, полон я
Тем, что от края и до края
Ты вся — моя,
 моя,
 моя!

На все, что внове
И не внове,
Навек прочны мои права.
И все смелее, наготове
Из сердца верного слова.

Отсюда ширится чувство долга, ответственности «за все на свете», которое поднимает лирического героя поэмы к вершинам патетики в строках, обращенных к родине:

Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоём.
За новым трудным перевалом —
Вдохнуть
С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим иль малым,

Ах, самым малым —
Все равно!

Она моя — твоя победа,
Она моя — твоя печаль,
Как твой призыв:
Со мною следуй,
И обретай в пути,
И ведай
За далью — даль,
За далью — дали!

Патетические строфы о единстве лирического героя с родиной, выражающие патриотические чувства, чувство державного величия страны, величия народа, ее хозяйна, также сближают Твардовского с Маяковским, с поэмой «Хорошо!». Здесь единство лирического героя, поэта с народом перерастает в гордое сознание, что он хозяин страны («Я с теми, кто вышел строить и мечь...»), что он несет ответственность за страну, за ее будущее. В восемнадцатой и девятнадцатой главах поэт выражает готовность встать на защиту завоеваний революции не только от своего имени, но и от имени народа. Гимн во славу родины звучит молодо, патетично, утверждая идею социалистической государственности:

И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!

Переключка «генеральных дум» в творчестве двух поэтов, преемственность их поэтического воплощения на разных этапах исторического пути государства сближает их больше нежели формальные элементы стиха, его стилистика, его выразительность.

Хорошо известно, что влияние больших художников на литературу простирается далеко во времени.

Маяковского давно уже нет, но он все равно есть. Его принимают, у него учатся, стараются вырваться из-под его влияния, быть похожим, но в то же время и непохожим на него, и его отрицают, но, отрицая, оглядываются на него, испытывают эффект его присутствия...

Полезно прислушаться к суждению о Маяковском Владимира Соколова — суждению поэта, на почтительном расстоянии отстоящего от Маяковского по ряду позиций, но отличающегося трезвостью подхода к различным явлениям поэзии; кстати, думается, некоторые поклонники Соколова, оказавшего влияние на поэзию 60—70-х годов, предпочли бы выставить его на противопо-

ложном от Маяковского фланге русской советской поэзии. Не будем и мы искусственно сближать этих действительно во многих отношениях разных поэтов. Любая попытка какого-либо внешнего сближения здесь может оказаться натяжкой. Однако последуем подсказке Соколова и попытаемся обнаружить эффект присутствия Маяковского и в этом, повторим, весьма далеком от него поэтическом явлении.

Вот что сказал Соколов: «Маяковский был, конечно, выразителем, борцом, горланом-главарем. Но он еще и написанный им Владимир Маяковский. Он для нас как Евгений Онегин, Пьер Безухов... — он действующее лицо. Мы о нем много знаем».

И очень важное, хотя и грубовато сформулированное добавление:

«И он не врал. Не выдумывал себя. Он себя обострял и смягчал — он себя воспитывал. И образом своим воспитывал нас.

Таков лирический поэт».

Отметим: суждение Соколова о Маяковском не однозначно, союз «но» означает — не лобовое, не прямое — разделение. Он как бы отделяет одного Маяковского от другого. Тот, который был горланом-главарем, не близок натуре Соколова. Но в творчестве Маяковского он увидел полно осуществленный образ лирического поэта (по литературоведческой терминологии — лирического героя) и выделил его воспитательную функцию, сравнив его присутствие в литературе с присутствием в ней таких гениальных эпических созданий, как Евгений Онегин, Пьер Безухов... Это созданный, «написанный» Маяковский, образ поэта. Подлинный Маяковский — прототип. Так, видимо, надо понимать Соколова. Ведь в образе лирического героя все от Маяковского, «он не врал», «не выдумывал себя», он «себя обострял и смягчал», то есть следовал закону художественного обобщения, закону типизации. В лирике этот процесс одновременно является процессом самовоспитания. У Маяковского — самовоспитание в условиях коренной ломки социальной системы, общественных отношений, в условиях революции.

Соколов зорко подметил эту особенность, спроецировав творчество Маяковского на поэзию 60—80-х годов, дав ключ к разгадке эффекта его присутствия. С этой стороны еще никто, пожалуй, не примеривал одежды Маяковского, по крайней мере в русской поэзии. А если беглым хотя бы взглядом окинуть ее панораму, то проиллюстрировать мысль Соколова есть чем, и нагляднейше подтвердит ее, например, поэзия Евтушенко, где процесс самовоспитания об-

наруживается очень легко, при первом же соприкосновении с нею.

Да кого ни возьми. Станислава Куняева, например. Вспомним его знаменитое стихотворение 1960 года «Мои учителя устали...». А вот поздние строки, из книги «Солнечные ночи» (1981):

Мне бы только выдержать нагрузки,
но, одну заботу сбросив с плеч,
я прошу, как принято по-русски,
новую на эти плечи лечь.

Самовоспитание, подчинение себя идее, цели было жестким, аскетическим принципом Маяковского:

Но я
себя
смирал,
становясь
на горло
собственной песне.

Подобный аскетизм объяснялся революционной ситуацией, необычайной целеустремленностью поэта. Не будь он абсолютно убежден в необходимости, бесспорности выбранного им направления творческой работы — без этого самовоспитание Маяковского могло бы зайти в творческий тупик. Только бесконечная вера в правоту выбора давала крылья и другой, н у ж н о й песне.

У Соколова процесс самовоспитания отнюдь не выставлен на первый план, хотя тоже сравнительно легко обнаруживается. Его нравственные и эстетические позиции в течение трех десятилетий творческой жизни не претерпели существенных изменений, они лишь обогащались опытом, оттенками. Перечитывая стихи Соколова, надо иметь в виду не только процесс самовоспитания лирического поэта (60—70-е годы не давали особых поводов становиться «на горло собственной песне» перед величием других задач), а, пожалуй, создание о б р а з а его — не выдуманного, правдивого внутренне, представляющего свое в р е м я, несущего в себе силу положительного примера.

Еще давнее, раннее стихотворение Соколова воспринимается как программа, возможно навеянная пастернаковским «определением поэзии»:

Как я хочу, чтоб строчки эти
Забыли, что они слова
А стали: небо, крыши, ветер,
Сырых бульваров дерева!

Это программа не только эстетическая но и этическая, которая с годами углублялась и которая нашла свое выражение и в высказываниях о Маяковском, касающихся внутренней п р а в д и в о с т и образа лири-

ческого героя, его невыдуманности, «жизни глубины». Об этом же, по сути, уже в зрелом возрасте написано замечательное стихотворение «Спасибо, музыка, за то...».

Было и так, что стремление к абсолютной внутренней правдивости принимало болезненный оттенок («Когда смеются за спиной, мне кажется, что надо мной»). Поэт не скрывал этого от читателя — шел процесс самовоспитания.

Он переживает кризисные состояния («Время»). С большой остротой и внутренним напряжением решается нравственная проблема выбора («Чужое письмо»). В поэме «Чужое письмо» лирический герой вступает в спор с самим собой, ибо рухнули устои того, что прежде казалось непоколебимым. В поисках выхода из создавшегося положения, в поисках жизненной сути он проходит искушение мещанского благополучия, которое посулил ему один знакомый человек. Решительное «нет!» мещанству, его «философии прокорма» и должно стать началом нравственного перевооружения героя поэмы, чья душевная драма явилась отголоском собственных переживаний и размышлений поэта.

В «Чужом письме» присутствует традиционный для русской литературы образ двойника, именно между ним и лирическим героем идет непримиримый спор. Ведь это двойник вносит переворот в спокойное существование лирического героя, заставляет его «перечитать» свои же книги... Процесс самовоспитания тут выступает как сюжетообразующее начало.

Наказ себе учиться у природы, данный в начале пути, Соколов воспринял и проводил в жизнь истово. В слове, в изысканном пластическом рисунке он научился запечатлевать ее самые прихотливые изменения. Это его искусство эмоционально, оно порождено искренней любовью к земле, к родине. Оно подчинено этой любви — негромкой, не приемлющей словесных изъяснений на людях, но от этого не менее глубокой, не менее ревностной. Насчет ревности, кстати, сказано прямо: «Не уважаю неревнивых». Почему? «Им, равнодушным, все равно, когда, какое, чье зерно вошло на их, не чьих-то, нивах». Вот черта лирического характера, ведущая родословную от образа поэта, созданного Маяковским, и принятая внутренне во многом не близким ему поэтом Владимиром Соколовым.

А не перекликается ли с Соколовым Василий Федоров в своем утверждении: «Владимир Маяковский настолько вошел в жизнь, что он уже выше стихов»? По-види-

Отгалдят,
Отвздыхают —
Нагрущусь,
Настыжусь,
Во весь рост поднимусь,
Отряхнусь
И опять зашагаю.

С поправкой на время и обстоятельства образ лирического героя у Федорова близок Маяковскому, близок чертами определенности, резкости, смелости и открытости.

Поэтов разных поколений завораживала и продолжает завораживать огромность (крупность, масштабность) Маяковского. Вспоминаются Самед Вургун и Смеляков, Исаев и Евтушенко... «Он дорог мне прежде всего своей человеческой огромностью... Он... говорил с неумолкающим долгим эхом на всю нашу страну — для всех и для каждого». Это Егор Исаев. Если мы с этой точки зрения рассмотрим поэмы Исаева «Даль памяти» и «Суд памяти», то разве не ощущаем в них масштаб личности поэта, его органический демократизм, стремление быть услышанным всею страной и каждым человеком в отдельности?

Незримое присутствие Маяковского ощущается в поэмах Исаева — ощущается в широте и исторической перспективе мировидения, в ориентации на массовую аудиторию без всякого подыгрывания ей. Демократизм поэм Исаева, как и демократизм стихов и поэм Маяковского, коренится в глубоком, не высказанном (или осторожно высказанном) убеждении, что поэзии принадлежит учительская роль и роль эта по природе своей гуманна, демократична. Не в этом ли и услышал долгое, неумолкающее эхо на всю страну — для всех и для каждого — Егор Исаев, когда размышлял о поэзии Маяковского!

Прислушаемся, как он сам устанавливает контакт с читателем. Если Маяковский прямо обращается к современникам или — через их головы — к потомкам («Нашему юношеству», «Послание пролетарским поэтам», «Во весь голос» и др.), то Исаев делает это иначе, он вовлекает читателя в размышление развитием образа, вовлекает его в круг своих эмоций.

Средства разные, цель — одна: быть услышанным, установить тесную связь с читателем, с внутренней установкой на произнесение стихов, если хотите, на эстрадность. Он или прямым вопросом завязывает беседу:

Вы думаете, павшие молчат!
Конечно, да — вы скажете.
Неверно! Они кричат,
Пока еще стучат

Сердца живых
И осязают нервы,—

или, как сказочник, зачином дает понять: слушайте, мол, это я вам говорю — всем:

А было как?
А было:
Ночь сырая
Стояла в мимолетных облаках,—

и так далее.

Поэтика Егора Исаева лишь некоторыми компонентами напоминает поэтику Маяковского (здесь он ближе к Твардовскому). Сходство проявляется, пожалуй, в тенденции к усилению условности, к метафорической сжатости письма. Вспомним, что Маяковский даже в поэмах с историческим обзором событий («Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!») сводил к минимуму повествовательные элементы, уплотняя строку. Произошла революция, одну историческую эпоху сменила другая, а у Маяковского:

Впервые
вместо: и это будет...—
пели:
— и это есть наш последний..

Исаев в упразднении повествовательности, может быть, и не пошел дальше. но тенденция эта безусловно воспринята им. Вот, к примеру, как дано начало Великой Отечественной войны:

И молния тревоги
Безмерной протяженностью своей
Ударила,
Ветвясь по всей огромной
Стране твоей
В длину и в ширину —
И каждого касаясь поименно
И купно всех,
Ушла и в глубину
Истории —
Туда,
К мечу Донского
И Невского — в седые времена —
И восходя от поля Куликова,
От волн чудских
К холмам Бородина
И далее —
оттуда,
из былого —

Сюда,
Сюда,
В рассветные поля..

Исаев нашел такие сопряжения и переключки времен в условном плане, которые без всякой натяжки создают впечатление исторической протяженности.

В сегодняшних, по крайней мере устных, спорах о Маяковском некоторые недоразу-

меня идут от простого незнания. В литературу пришло поколение поэтов, которое в известной мере традиции Маяковского восприняло уже как бы отраженно, через своих предшественников. Причина кроется в том, что школа (средняя и высшая) и догматики от критики (и литературоведения), канонизируя поэта, навязывали о нем упрощенное представление, которое не приближало читателя к Маяковскому, а скорее отталкивало от него.

Другая причина.. Тут позвольте сослаться на поразительную мысль Бехера: «Известно, что многие писатели не умеют писать, но менее известно, что большинство писателей не умеет читать...»

Рискованная мысль, но в беседах (спорах) с некоторыми поэтами о Маяковском, особенно с теми, кто любит «ниспровергать», действительно иногда создается впечатление, что они не только не умеют читать его стихи, но и вообще прекратили чтение после окончания университета или Литинститута. А ведь непрограммное, серьезное чтение могло бы открыть им несколько неожиданных истин, и среди них такую, например, что и они, не подозревая этого, наследуют и развивают некоторые традиции Маяковского.

Переходя к конкретным поэтическим явлениям, мы, разумеется, снимаем подозрение в непрочтении с тех, о ком пойдет речь. «Ниспровергатели» пусть остаются безымянными. Ведь Виктор Боков, например, о котором у нас пойдет здесь речь, хорошо понимает значение близкой ему традиции Маяковского. Это разговорная стихия и демократичность поэзии.

Выше уже говорилось о постоянном стремлении Маяковского к демократизации стиля, о его стремлении слиться с массами народа, почувствовать себя этой силы частицей. Боков озабочен тем же, хотя идет к цели иным путем.

У Маяковского разговорный язык улицы и частично фольклорные элементы демократизируют стих. Немалую роль в процессе достижения «неумолкающего эха» играет, конечно, и интонация, и богатство ритмов, и синтаксис. Маяковский, любивший прислушиваться к шумам улицы, даже в зачатке стихов улавливавший некий гул, широко впустил (перенес) полифонию и полиметрию разговорного русского языка в поэзию, это его несомненная заслуга.

Если отобрать лучшие стихи Бокова, отрывки из поэмы «Свирь», особенно богатой ритмами, и прочесть искусно, то может получиться (по звучанию) настоящая сим-

фония без оркестра. Тут можно услышать (помимо канонических) ритмы и интонации народной песни, частушки, лубка, заговора, былины...

Сейчас в разборах творчества Николая Тряпкина или других поэтов, связанных с традициями устнопозитического творчества народа, ищут их родословную в литературном ряду, далеком от Маяковского. Так, говоря о Тряпкине, не без оснований вспоминают имя Николая Клюева и даже Есенина. Но вряд ли при этом следует забывать, что принцип самообогащения поэтического языка экспериментально утверждался Велимиром Хлебниковым, в поэтической практике — Маяковским.

У Хлебникова словообразования чаще всего носили лабораторный характер, у Маяковского их природа демократичней, и поэтому неологизмы свободней входили в практику его поэтической работы, в систему выразительности, стали одной из черт его поэтики.

У Тряпкина можно встретить неологизмы типа «разбуденные» (от имени — Буденный), «тиндличет», «журчеек» (контаминация), «Федя-избачок», «петушьи», «гусьи», у него же вольное обращение со словом при образовании множественного числа («ржей», «светы» и т. п.). Думается, что эти поэтические опыты вполне можно отнести к опытам в традициях Маяковского.

У зрелого Тряпкина нередки в стихах старинные речения, архаизмы. То же можно встретить и в стихах (хотя в иной поэтической манере) Беллы Ахмадулиной. Но ведь и эту традицию в советской поэзии закрепил Маяковский! Это про него с полным основанием писал А. Югов:

«Маяковский с глубоким знанием дела, мастерски объединил и древнерусский и церковнославянский языки с языком современным — как литературным, так и «просторечием».

Очень примечательно, что Владимир Маяковский словотворствовал и порою рвал современную ему школьную этимологию и синтаксис в глубоком согласии с законами языка, и опыты его грамматикой исторической оправданы».

Русская поэзия в поисках выразительности языка и до Маяковского не чуралась словотворчества, но, как правило, с особой тщательностью, взвешенной на весах традиции (Анненский. Блок), или уже с претензией на особую изысканность (Северянин) Исключение может составить Цветаева с ее анархическим своеволием и свое-

властием по отношению к языку, но и она в этом значительно уступает Маяковскому.

Маяковский раскрыл шлюзы в поэзию не только словообразованиям собственным, но и тем, которые внесла в язык революция, ее институты, новые общественные отношения. Маяковский искал слова, образы, чтобы дать «революции такие же названия, как любимым в первый день дают!». Он вводил в стихи не только слова и понятия, которые дотоле не вводились в поэзию (социализм, пролетариат, большевик и т. п.), но и им самим изобретенные (отнюдь не претендующие на то, чтобы закрепиться в языке). Их выразительность должна была соответствовать образному строю стихотворения, поэмы (главы, отрывка), куда неологизмы вводились. Вот, к примеру, словообразования из «Стихов о советском паспорте»: выев, слоновости, паспортина, молоткастый, серпастый... Все они прекрасно вписываются в стилистику этого стихотворения.

Как в употреблении новой общественно-политической, официальной, технической лексики, так и в словотворчестве Маяковский открыл перед поэзией возможности, которыми она охотно пользуется и поныне. В этом направлении за ним шел такой непохожий на Маяковского поэт, как Исаковский. Канцеляризм, официальная лексика как средство стилистической окраски встречаются и в стихах Светлова — не только молодого, но уже и зрелого. Еще более щедр на введение официальной лексики и канцеляризм Сергей Смирнов. Вот почти наудачу стихотворение «Занятое дерево»: «...ведь осиною лакомятся лоси и аналогичная родня»; дальше про осину: «Не пора ль, товарищи поэты, реабилитировать ее?!» (Разрядка моя. — Ал. М.)

В современной поэзии этот прием распространился широко. Совсем по-маяковски сказал Михаил Дудин: «...в поэзию входит партийная страсть. В партийное дело — поэзия!..» Страсть современника, погруженного в дела и заботы нашего времени, а не прихоть поэта подсказывает необходимость вводить в поэзию тот лексикон, который сопутствует нам в жизни, в повседневности. Проиллюстрировать этот тезис можно стихами многих поэтов.

Станислав Куняев. Он осторожен в употреблении подобной лексики, и все же:

Но политика — древнее дело мужчин,
а не юношей, вот почему
в силу этой и нескольких прочих причин
пулю в спину всадили ему.

Римма Казакова, свободно оперирующая официальной лексикой:

Как знать, был он нетрезв или спешил,
но, что, конечно, в общем, ненормально,
как абстракционист, господь решил
свою задачу, так сказать, формально.

Процесс пополнения поэтического языка новыми словами не прерывается. Однако в русской поэзии 70—80-х годов на лексику влияет то обстоятельство, что язык стал более строго рассматриваться как инструмент и в то же время строительный материал национальной культуры, как носитель национальных духовных ценностей, бережливое отношение к нему сдерживает лирический напор современного свойства, напор неологизмов, канцеляризм, техницизм, вульгаризмов, варваризмов, направляя поиски стилистической выразительности в глубь языка, в его истоки, в тот пласт разговорной речи, который идет от самого корня.

Богатство языка (в данном случае русского) огромно, его выразительные возможности поистине неисчерпаемы. И вместе с тем нет смысла изолировать язык литературы, язык поэзии от лексических новообразований. Жизнь постоянно обогащается новым содержанием и, стало быть, новыми понятиями и терминами. Становясь предметом поэтического постижения, новое содержание отнюдь не всегда укладывается в старую, хотя и испытанную, но уже не отражающую этой новизны систему образной речи, и поэзия, даже порою сопротивляясь этому, должна обогащаться лексически.

«Язык отбрасывает слова, в которых не нуждается, — считает Е. Винокуров, — он не примет того, что ему чуждо по духу, единственно с чем он борется — это с н о р м о й, которая все время старается его обуздать. Но писатели помогают ему, разыскивая и вводя в оборот новые речения: они не дают языку покрыться пленкой, извлекая из глубин народной речи то, что еще не стало нормой». Рассуждение вполне диалектическое. Опираясь на него, Винокуров не только оправдывает, но и ставит в пример аномативность ж и в о й, мощной и первоначальной речи в поэзии Есенина и Маяковского.

Небезынтересно здесь сказать и о другом. Высоко ценя личность и творчество Маяковского, Винокуров (в специальной статье о нем) замечает, что сам он работает в иной манере, что ему ближе поэты более сдержанного голоса — Тютчев, Баратынский, Заболоцкий. Еще раз уточняем: речь

идет о манере, а не об основных творческих принципах, в которых Маяковский остается для Винокурова великим образцом.

Но обратим внимание вот еще на что: Винокуров ставит в заслугу Маяковскому «введение в поэзию реального, грубого, земного». При этом замечает: «Он предметен, вещен...» Изобразительность, предметность стихов Винокуров с сочувствием наблюдает и у Евтущенко. Да и сам Винокуров не чуждается предметности, ему «нравится фактура деревьев и камней», он видит «свернувшуюся мошку в янтаре», сырые простыни в «поднебесной сини», витающий над кастрюлей пар.

Вот она — вещь: «На ощупь мир правдивей». Кто еще в наше время, помимо Винокурова и Евтущенко, с такой грубоватой пластической тщательностью показывает в поэзии нашу жизнь?

Молодым еще поэтом Винокуров написал стихотворение «Черный хлеб». Этот военных времен черный хлеб жизни привлекал внимание читателя к быту, обыденности, к такой далекой от традиционной поэзии бытовщине. Винокуров, исследуя жизнь, ищет в ней связи и противоречия, отражения большого света жизни в малом. Без материального ощущения мира он не мыслит путей к правде жизни, к истине обобщающего философского характера, к синтезу конкретного и общего. Тут я вижу проявление масштаба личности поэта, широты его кругозора, которая в Маяковскомшла классическое выражение.

Проблема традиций, литературных влияний серьезно разработана в новейших исследованиях творчества Маяковского (Б. Гончаров, В. Сквозников, Ф. Пипцель и другие). Но еще в начале 20-х годов, устанавливая «родословную» Маяковского, исследователи назвали имена Державина и Некрасова. Эта связь никем не подвергается сомнению. Но прав и В. Кожин: «Наследство Маяковского соотносится не только с этой линией, но и с поэзией Пушкина, Лермонтова, Блока. Не случайно образы этих поэтов и их голоса то и дело вплетаются в поэзию Маяковского». Многие исследователи не без основания указывали, например, на традиции Некрасова в творчестве Твардовского. Но разве поздняя лирика поэта не дает права говорить о влиянии на него Пушкина (может быть, не прямого, может быть, как раз воспринятого через Тютчева)? Такие опосредованные связи в литературе, особенно в поэзии, трудноуловимы.

С этой трудностью мы встречаемся и изучая влияние Маяковского на современную

поэзию. Как обнаружить и доказать эффект его присутствия — прослеживая утверждение и развитие наиболее общих принципов его творчества или, наоборот, улавливая сходство в элементах поэтической структуры?

Чрезмерное увлечение структурой — в русле ли Маяковского или в каноническом стихе — не может дать истинно поэтических открытий. Вспоминается парадоксальная мысль Андрея Платонова: «Опытность в искусстве может предупреждать ошибки и предохранять от создания шедевров».

Смысл парадокса шире. Здесь имеется в виду не только опытность (умение) версификаторская (если иметь в виду поэзию), чисто профессиональная, но и опытность в смысле традиционных путей художественного постижения мира. Творческое следование традициям исключает такую опытность.

В любом случае, когда речь идет о продолжении традиций того или иного выдающегося художника, важно отделить творческое отношение к его наследию, опыту, принципам от внешнего подражания, от эпитонства, от догматического следования за ним. Маяковский однажды провозгласил:

Марксизм — оружие,
огнестрельный метод.
Применяй умечю
метод этот!

Если попытаться провести аналогию, то ведь и в искусстве индивидуальный метод изначально предполагает творческое его применение и развитие. Немало споров, например, вызвал и до сих пор вызывает обосновывавшийся Маяковским принцип социального заказа. Уже несколько лет как наши издательства («Современник», «Молодая гвардия») ввели этот принцип в практику своей деятельности. Он помогает осуществлять издательскую политику.

Но как соотносить его с творчеством писателя, не будет ли он вступать в противоречие с творческой свободой, проявлением индивидуальности художника? Будет постоальку, поскольку социальный заказ не станет внутренней потребностью самого художника, не станет тем, что, как говорил Бехер, «мы заказываем себе сами». Маяковский наступал на горло одной своей песне, но пел он тоже с вою, тоже от сердца, от чувства, от потребности спеть ее. Несмотря на весь свой ригоризм, подчинение своего пера служению великой цели, он, разумеется, предполагал индивидуальное отношение к социальному заказу.

Еще один из принципов Маяковского —

не гнушаться никакой черновой работой, если она подчинена великой цели, — также не может восприниматься сегодня буквально. Было бы, например, неуважением к огромному таланту Твардовского или Мартынова и ничем не оправданным расточительством требовать от них писать «агитки по любому хозяйственному вопросу». Вот ведь и Маяковский, беря на себя черновую работу, порой нерационально расходовал свой талант, энергию, время, делал работу, которую могли бы выполнить другие люди, другими средствами. На этом основании, казалось бы, можно и предать забвению принцип Маяковского, объявить его устаревшим. Но нет. Самая суть-то этого принципа да и всего опыта Маяковского — в как можно более тесном сближении поэзии, искусства вообще с задачами, которые стоят перед народом, перед обществом.

Есть аналогии и аналогии. Вот одна, казалось бы, лежащая под рукой.

Маяковскому не нравилось состояние, когда «жизнь стиха — тоже тиха». Наш современник Юрий Кузнецов тоже стремился к «нарушению покоя» в поэзии:

Ты не стой, гора, на моем пути.
Добру молодцу далеко идти.

Не мешай ногам про себя шагать,
Не мешай рукам про себя махать.

Молодой Маяковский эпатировал читающую публику несколькими жесткими по смыслу строчками стихов. Юрий Кузнецов в наши дни вызвал настоящую дискуссию одной строкой такого же свойства. Но вряд ли подобные факты надо брать в расчет. Это мог быть или вызов господствующей морали, или же несколько запоздалые по возрасту жесты самоутверждения.

Я бы искал в данном случае аналогию в другом. Скажем, в том, что в стихах Юрия Кузнецова бросается в глаза крупность задачи: макромир, человек и вечность, человек и вселенная..

Маяковский, как известно, в поэмах «Человек», «Люблю», «Про это», в дореволюционной лирике эгоцентричен: внешний мир становится объектом его изображения постольку, поскольку он составляет среду, окружение поэта. Но поэма «Про это» уже кончается так:

Чтоб жить
не в жертву дома дырам,
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец
по крайней мере миром,
землей по крайней мере — мать.

Меняется ориентация и с нею шкала ценностей. И несмотря на то, что после поэмы «Про это» Маяковский идет — в поэмах, в лирике, в социальной сатире — к большей конкретности, к текущей жизни, в движении стиха, в напоре его ощутимы размахи шага саженей!

Непросто эти закономерности стиха Маяковского подвести к Юрию Кузнецову, и все-таки линия связи просматривается. Юрий Кузнецов стремится и первый план дать крупно (не только фон), строки из уже цитировавшегося выше стихотворения красноречиво говорят об этом:

Не ищу я путь об одном конце,
А ищу я шар об одном кольце.

Я в него упрусь изо всей ноги,
За кольцо схвачусь изо всей руки.

Мать-Вселенную поверну вверх дном,
А потом засну богатырским сном.

Укрупнение здесь тоже неотрывно от субъекта, от лирического характера, оно становится законом устремлений поэта.

Некоторые дооктябрьские и послеоктябрьские произведения Маяковского — это, как в наше время любят обозначать поэты, его автопортреты. Возьмем хотя бы поэмы «Человек», «Люблю». По нынешней литературоведческой терминологии их можно было бы рассматривать в связи с образом лирического героя. Однако нам в данном случае удобнее разглядеть здесь автопортрет поэта, право на такой взгляд нам дает привязанность сюжета к фактам биографии. Естественно, что подлинные факты жизни поэта неотделимы от жизни в широком плане, они ее проявления, ее следствия. Следствия тех социальных условий, в которых формируется личность.

И это надо особо подчеркнуть, учитывая попытки некоторых советологов за океаном наглухо отделить личные мотивы в творчестве поэта от социальных, обосновать свою концепцию «двух Маяковских».

Особенности автопортретов Маяковского интересны потому, что эта форма лирического самовыражения получила широкое распространение уже в наше время (Э. Межелайтис, Е. Евтушенко, А. Вознесенский). Каковы же они?

Вспомним знаменитые строки из пролога к «Облаку в штанах»:

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрэмив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Это набросок автопортрета, он рассчитан на то, чтобы его увидели (услышали) все,

весь мир, этим самым личная драма, положенная в основу поэмы, возводится в масштаб драмы общечеловеческой, порождаемой вполне определенными социальными условиями, царящими в мире. Таким образом, автопортрет приобретает черты характера типического, сохраняя при этом близкое сходство с его создателем.

Поэму «Человек» можно — условно, разумеется, — отнести к жанру автобиографии, написанной от третьего лица. Об этом говорят и названия глав: «Рождество Маяковского», «Жизнь Маяковского», «Страсти Маяковского» и т. п. (В поэме «Люблю» главы названы: «Мальчишкой», «Юношей», «Мой университет», «Взрослое» и т. п.) В общем, это автопортрет человека, свободным чувствам которого противостоит весь уклад жизни:

Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах
верхом
«Закон»,
на сердце цепь —
«Религия».

Восстание духа продемонстрировал в этом автопортрете Маяковский. Собственно, таким же не мирящимся с гнетущими обстоятельствами жизни, тяжким наследием прошлого в сознании и в быту людей остается поэт и в поэме «Люблю». Эволюция лирического героя — как последний и главный штрих автопортрета — завершается в поэме «Во весь голос», где перед нами предстает образ «революцией мобилизованного и призванного» поэта, ей, революции, отдавшего весь жар сердца, талант, труд.

Э. Межелайтис во втором «Автопортрете» (первый представляет собой попытку имитировать детский рисунок), судя по эпиграфу, вдохновлен опытом Рембрандта, Ван Гога и Сислея, но посмотримся повнимательнее, нет ли тут следов и литературного влияния.

У Маяковского в романтических, возвышенных тонах воспеается «необъяснимое чудо» — человек, сошедший к людям («...день моего сошествия к вам»). С первых строк деловито и определено выражено желание «познать себя» у Межелайтиса. Цель одна — самопознание. У Маяковского и у Межелайтиса самопознание идет через ощущение себя в пространстве и времени. Маяковский ведет одна страсть — любовь, Межелайтиса — тайна жизни, круговращение природы. Задача расширяется. У Маяковского господствует чувство, у Межелайтиса — мысль. И тем не менее их объединяет пафос познания и самопознания. Ро-

мантический автопортрет Маяковского стал предтечей сугубо реалистического, выписанного во всех подробностях и связях с жизнью автопортрета Межелайтиса.

Автопортрет:

С холста гляжу на землю

Такой же, как с земли на этот холст.

Нет сомнения, на Межелайтиса оказал влияние поздний Маяковский. Однажды Межелайтис убежденно сказал, что в многонациональной семье советских поэтов нет ни одного, кто так или иначе не испытал бы на себе мощного влияния творчества Маяковского, кто не учился бы у него. Может быть, в этом и есть преувеличение, но небольшое. Можно и не учась и не желая того испытывать чье-то влияние. В этом смысле мы и говорили выше об эффекте присутствия Маяковского в современной поэзии.

Но вернемся еще раз к автопортрету. Андрей Вознесенский, архитектор по образованию, увидел свой автопортрет в новейшей конструкции современного аэропорта. Новейшая конструкция аэропорта как бы обратно проецируется на структуру стиха поэта, его новизну. Сравнение брезжущих витражей с рентгеновским снимком души сообщает о способности поэта проникать в души людей, сообщает, конечно, ассоциативно. И еще: «...мощное око взирает в иные миры». Опять проекция, исходя из первоначального сравнения, на поэзию, на себя.

В «Треугольной груше» поэт выступает в разных обличьях. «Автоотступление» со строчками:

Я — семья
во мне как в спектре живут семь «я», —

могло в свое время восприниматься как шутка, самопародия, но сказано это всерьез, и даже очень. Это, так сказать, внутренний автопортрет поэта, аналитика, раскладывающего мир на части и в разные сферы этого мира устремляющего разных Вознесенских.

Многочисленны автопортреты Евтушенко, поэт очень открытого, особенно в молодости, готового на дерзость и на покаяние. В них можно обнаружить и эпатирующие строки, как у молодого Маяковского, и искренние признания в своих «грехах», и страсть бойца, готового сразиться с самым серьезным противником.

Как видим, эффект присутствия Маяковского в современной поэзии обнаруживается не сразу и не всегда достаточно наглядно, но он прослеживается по разным на-

правлениям. Поэтика, формальные завоевания его настолько глубоко, органично и уже трудноузнаваемо вошли в творческую практику новых поколений поэтов, что сейчас, в конспективном изложении, их можно лишь обозначить. Можно указать лишь некоторые направления, по которым обнаруживаются следы новаторской работы Маяковского в стиховой структуре. Это прежде всего демократизация лексики, стилистики. Это также ритмическая свобода и многообразие, разговорность стиха, смелое сближение с прозой. Это обогащение словаря за счет неологизмов и за счет «непоэтической», деловой, канцелярской, политической лексики. Это необычность и богатство рифмовки... Менее улавливаемые особенности образного строя стиха, его ассоциативная свобода и парадоксальность тоже находят продолжение в современной поэтике. Все это представляет собой еще малоисследованный материк, куда непременно придут целые экспедиции молодых энтузиастов.

...Поэт и время.

Исполнилось девяносто лет со дня рождения поэта. Более пятидесяти из них Маяковского нет с нами. Но тома его «партийных книжек» вошли в духовную жизнь народа как великое достояние социалистической культуры. Стихи Маяковского живут своею трудной и прекрасной жизнью, вторгаясь в сегодняшнюю действительность, они заражают нас революционным духом, духом борьбы и созидания, ощущением новизны и молодости мира социализма, устремленностью в будущее.

Поэзия Маяковского — живой и вдохновляющий источник лучших традиций советской поэзии на долгие годы. Мы вновь и вновь обращаемся к ним с твердой уверенностью, что открытое время Владимира Маяковского еще впереди. Он сам видел его, когда обращался к потомкам:

Я к вам приду
в коммунистическое далеко...



ДМ. МОЛДАВСКИЙ

★

ВЛАДИМИР НЕОБХОДИМОВИЧ

Из тетрадей о Маяковском

В биографии Владимира Маяковского есть только дата рождения — 19 июля 1893 года. Даты смерти у поэта нет. Далее — бессмертие.

Имя Маяковского не просто неотделимо от очистительных бурь его времени, он еще и поэт, вызывавший их, — разумеется, в той мере, в которой это вообще доступно поэту.

«Облако в штанах», «Война и мир», «150 000 000», «Про это», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Клоп», «Баня», «Во весь голос» и стихи — тысячи стихотворных строк, строк-открытий, строк-откровений, строк, рассчитанных на сегодняшний день и оставшихся навечно.

О каких бы темах в поэзии Маяковского мы ни упоминали — все они определены одним: мир, земля, пожалуй, вся вселенная были для него собственной комнатой, искоженной и хорошо знакомой. Воспитав себя на мысли, что поэзия — могучая сила в борющемся мире, он всем своим существом воспринимал перипетии этой борьбы как нечто глубоко личное. Отсюда и проникновенное — изнутри — понимание сложившихся процессов жизни, и соединение высокого умения заглянуть в будущее с выполнением «социального заказа» сегодняшнего дня.

Всемирная слава пришла к Пушкину и Гоголю после их смерти.

Льва Толстого и Максима Горького мир узнал при их жизни.

При жизни узнал и понял Маяковского. Не всегда точно, не всегда до конца. Но узнал как символ России, окрыленной революцией.

И Россия прочла в Маяковском о великом освобождении от вековых табу, догм, оградений.

О Маяковском написаны тома.

Обращаюсь лишь к своим запискам и некоторым старым работам.

Помню, как по заданию «Звезды» брал интервью у гостей пушкинского юбилея 1949 года. С переводчиками и без них, на смеси многих языков пытался говорить с гостями о Пушкине. И почти каждый называл еще одно имя, стоящее рядом, — имя Маяковского.

Его называли и Эми Сяо и Иоганнес Бехер.

Особенно хорошо помню Пабло Неруду, очень смуглого, полного, утомленного толпой, славой и жарой. Произнеся слово «Маяковский», он развел руками и сказал одно слово: «Учитель!»

Валлорис — город гончаров. И город Пабло Пикассо, вернувшего ему славу. Это здесь расположена Капелла мира — знаменитые антивоенные фрески. Здесь все хорошо знают Пикассо.

Идем в мастерскую его друга Жоржа Рамье. Нас знакомят.

— Вы гончар?

Суховатый ответ:

— Керамист.

Наш собеседник стар, подтянут и любезно-холоден. Он двадцать пять лет работал с Пикассо, знал многих его знакомых и друзей, в том числе Илью Эренбурга.

Отвечает на мои вопросы точно и лаконично.

— Влияло ли народное творчество гончаров Валлориса на Пикассо?

— Не думаю. Скорее можно говорить о влиянии Пикассо на народное творчество.

— Говорил ли когда-нибудь Пикассо с вами о народном искусстве?

— Никогда не говорил. Он вообще никогда об искусстве не говорил.

— Упомянул ли когда-нибудь имена русских писателей или художников?

— Маяковского.

Было так. Назым Хикмет только приехал в СССР, приехал, вырвавшись из тюремной тюрьмы.

В Ленинграде он должен был выступить в Доме писателей имени Маяковского.

Я отправился в Дом писателей пораньше и еще внизу встретил поэта Анатолия Чивилижина. Тот сказал:

— Товарищ начальник (он всем говорил «товарищ начальник»), срочно идите за кулисы. Там Хикмет. Один. Скучает. Поговорите с ним. А я побегу нацеплю галстук.

Я быстро вспомнил все, что знал о поэте... Стихи, переведенные еще в 20-х годах... Статьи из «Литературной газеты»... Заметку редактировавшегося В. Маяковским «ЛЕФа» за 1923 год о юбилее В. Мейерхольда с высказыванием «коммуниста-турка поэта Назима» об архаическом театре, который пора отдать под «эlevator для ржи», предоставив «шелк декораций — на юбки крестьянским девкам»...

Вспомнив все это, я бодро вошел в комнату, сделал несколько шагов, увидел высокого, светловолосого, к моему удивлению, человека и вдруг оробел.

После позорной и бессмысленной паузы я сказал, разглядывая незнакомца:

— Скоро начнем... А пока будьте как дома...

— В Доме Маяковского я всегда как дома, — ответил он.

Потом разговор все-таки наладился (завязал его Хикмет, спросив что-то об особе, в котором находился наш клуб).

Это был довольно долгий разговор — о турецком кукольном театре Карагёз (Хикмет сказал, что верен ему с юности), и о Сулеймане Рустаме — его старом друге, «рабочем поэте», и, конечно, о Маяковском.

Маяковский был учителем для него. Человеком-эталоном. Всегда. Всюду.

Между прочим Хикмет сказал:

— Маяковский обо мне говорил: «Турок, а одет не по форме — блондин!»... — И повторил: — В Доме Маяковского я всегда как дома...

С. И. Дымшиц-Толстая была художницей, известной еще до революции. Училась у Л. Бакста, М. Добужинского, К. Петрова-Водкина, Герена. Выставлялась на выставках «Мир искусства», «Бубновый валет»... На выставке «X лет Октября» и др.

Я познакомился с ней уже старенькой, высохшей, не похожей на знаменитую «Даму в маске» М. Сарьяна, портрет работы Г. Якулова, героиню многих стихов поэтов начала века. Она охотно рассказывала о своих близких и друзьях — об А. Толстом, Лактионове, Гончаровой, Татлине...

Здесь я воспроизвожу фрагменты ее воспоминаний о Маяковском, хранящихся у меня, и ряд подробностей, услышанных от мемуаристки при наших с нею беседах.

«Моя первая встреча с Владимиром Владимировичем была в Москве в 1914/15 году в Литературном обществе на Дмитровке.

Появился новичок-поэт в ярко-желтой кофте.

Он был высокого роста, статный, с красивым лицом и мощным голосом.

Особое внимание и дружбу проявили к нему наши художники — Ларионов и Давид Бурлюк.

Помню бесконечные встречи на выставке 1915 года, где художники горячо обсуждали вывешенные полотна, спорили до хрипоты, шутили»...

Так всегда возникал в памяти людей Маяковский — в полемике, в спорах, в дискуссии.

Рассказ идет о следующем периоде жизни поэта:

«Помню более позднюю встречу с ним в осенний вечер на Воробьевых горах.

На Владимире Владимировиче была черная крылатка и черная мягкая фетровая шляпа; мы шли с ним по ровному полю, и он импровизировал стихи. В то время мне больше нравился Блок, но сила и правда содержания, напор таланта Маяковского были так велики, что я почему-то особенно остро запомнила картину яркого заката и ощущение высоты Воробьевых гор.

Я поняла, что стихи читает большой поэт. Таким творческим темпераментом мог обладать только выдающийся художник...»

«Помню Владимира Владимировича в Ленинграде в «Бродячей собаке» — литературном клубе. История его такова. На вечере у одного из писателей было решено организовать в новом году литературный клуб. Денег ни у кого не было. Договорились в первую очередь снять помещение «по средствам» — это значило снять подходящий сухой подвал. Такой подвал нашелся на Михайловской площади. Решили там устроить новогодний маскарад с буфетом. Несмотря на то, что ремонт подвала не был закончен, туда явился цвет

петербургской художественной элиты в роскошных туалетах, фраках и т. д. Билеты на вход для посторонних были очень дороги. Таким способом подводилась материальная база под клуб. Один из организаторов в буфете продавал, а другой тут же расплачивался с представителями магазинов. Надо еще прибавить, что каждый из организаторов клуба должен был внести свою лепту: художники разрисовали стены, поэты, музыканты, литераторы демонстрировали там свои новые произведения, артисты и режиссеры занимались всевозможными импровизациями. В дальнейшем этот клуб был превращен в крупное литературное кафе, и только.

Большим событием в «Бродячей собаке» был приезд Максима Горького. Помню, как в подвальной двери появилась высокая фигура Максима Горького с веселыми светящимися глазами. В хоре приветственных голосов выделялся мощный голос Владимира Владимировича.

Горький и Маяковский любовно и долго друг с другом беседовали, и Владимир Владимирович поехал провожать Горького.

«В 1923/24 году я была в Москве. Однажды на Страстной площади вдруг передо мной вырос Маяковский. Оказывается, он меня увидел с другого конца площади, перебежал ее, чтобы спросить, как я живу и что делаю. Мне запомнился этот порыв сердечности, дружелюбия к товарищу, даже и не очень близкому».

До столетия Маяковского — рукой подать. Для тех, кто будет праздновать этот уже близкий юбилей, слова о Пушкине: «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на эМ» — будут восприниматься не только как утверждение близости двух величайших поэтов, но и просто хронологически: день смерти Пушкина в 1837 году был отделен от дня рождения Маяковского в 1893 году меньшим временным расстоянием, чем они — завтрашние — от дня ухода Маяковского. Но есть нечто большее, объединяющее этих поэтов, — есть воистину пророческая вера в будущее Родины, позволяющая видеть «через горы времени», это величайший философский оптимизм, демократизм, человечность, народность...

Мы стояли на берегу Ханис-Цкали. Река начиналась где-то у самого неба. Вероятно, поэтому она и была такой синей. Дальше вода бледнела — казалось, краска начинает смываться. В том месте, где река

меняла свой цвет, на другом берегу я увидел два похожих друг на друга дома. Оба на высоких каменных столбах. Сразу за ними начинался крутой подъем в горы. Тот дом, что находился справа, и был целью моей поездки. Когда-то там жила семья Маяковских. Теперь это музей, его хранитель — поэт М. Патаридзе, пропагандист и переводчик Маяковского.

Проходим через мост.

Поднимаемся по ступеням, и вот мы уже входим в детство поэта.

Его отец Владимир Константинович был лесничим. На стене одной из комнат и сегодня висят ровные деревянные квадраты, белые, коричневые, красные, — образцы лесных пород края. Человека этого любил, он был весел и прямодушен. Хорошо знал грузинский язык. Он любил острое слово, веселую прибаутку. О нем и самом до сих пор ходят рассказы и легенды.

Говоря о фольклоре и современности и справедливо сомневаясь в жизненности многих жанров, мы подчас забываем о «рассказах очевидца» и о «биографической легенде». Это то, что могло быть, но чего не было...

Именно это и заставило меня включить в рассказ о поездке в Маяковский (Багдади) и Кутаиси некоторые из слышанных мною легенд, связанных с биографией В. В. Маяковского и его отца.

Первая из легенд связана с рождением поэта и традиционным мотивом о рождении великого человека. Неизвестный автор смягчил ее юмором. Вышел будто бы в день рождения Маяковского его отец из комнаты Александры Алексеевны, матери поэта, на балкон. Увидел хозяина дома.

— Здравствуй, Нико! Ну, — говорит, — и сон мне приснился! Будто из комнаты Александры Алексеевны вышел великан.

— Хорошо, Владимир Константинович. Сын большим человеком будет. Может быть, даже ревизором лесничества...

Когда я рассказал это Людмиле Владимировне Маяковской, сестре поэта, она сразу сказала: «Легенда!» — и даже назвала фамилию возможного ее сочинителя.

В семье Маяковских много пели, любили сказки. Владимир — об этом рассказывали мне друг его детства Аркадий Илларионович Ниноу и другие друзья поэта — знал их множество.

Иногда Володя сам сочинял сказки: соединял куски из разных известных ему — русских, грузинских, всяких других. Во

всех его (как и вообще в народных) сказках всегда побеждал бедный, смелый и добрый человек.

В жизни было наоборот... Не раз к отцу приходили оборванные люди. Они просили разрешения на бесплатную порубку леса.

— Бесплатно не могу разрешить. Это не имение моего отца! — говорил Владимир Константинович сурово. Но потом называл, сколько стоит порубка, давал разрешение и... часто платил сам.

Об отце поэта ходит и такой рассказ (Людмила Владимировна тоже относит его к области фольклора). Однажды на хрипящем коне, в бурке с громадными плечами, с задранными вверх усами прискакал к дому Маяковских сам князь.

Соскочил с лошади. У дома играли мальчишки. Не взглянув на них, князь бросил им повод. И побежал по ступенькам вверх. Володя взял повод. Он прислушался. Сверху доносился крик. Это кричал князь. С трудом можно было понять, в чем дело. Оказывается, какой-то бедняк бесплатно рубил дрова в его лесу. И нарубил — страшно сказать — целую вязанку! Князь требовал расправы. Крики все усиливались.

Тогда Володя отпустил повод. Лошадь, почувствовав свободу, побрела к реке. Сверху, перекрывая князя, раздался голос лесничего. Кажется, он крикнул: «Вон!» Князь появился на крыльце. Догнал лошадь. Лошадь слегка отступила. Спотыкаясь о камни, князь сделал несколько шагов. Лошадь еще немного отошла. Князь к ней — она от него. На берегу столпились зрители. Сдерживая смех, они смотрели, как князь, гордый и пылкий, красный от злости и стыда, еще очень долго ходил за своей лошастью — ловил ее. И никто ему не помог. А мальчишки пели что-то очень обидное про глупого и жадного человека, от которого даже лошади и собаки бегут со всех ног...

Лошадей и собак Володя любил. До сих пор о какой-то знаменитой его собаке с восторгом вспоминает совсем-совсем молодой А. И. Нинуа. Любил гулять с отцом по лесу — и пешком и верхом. Еще любил купаться. Любил чурчелу — орехи в застывшем соке винограда. И еще очень многое другое, что любят все ребята, — он же был самым обыкновенным мальчиком. Был весел и храбр — его друзья рассказывают, как еще совсем маленьким вытащил он из бурных, разлившихся вод Ханис-Цкали своего приятеля.

Когда-то, взяв с собой книгу Фламариона, Володя Маяковский разглядывал с бе-

рега созвездия и звезды. Евгений Евсеевич Гванцеладзе, приятель юного Маяковского, смотря на те же самые повидавшие виды светила, говорил мне, что различать звезды его научил мальчик из селения Багдади. «Если б я поэтом не был, я бы стал бы звездочетом» — вспоминалась строка Маяковского.

Маяковский хорошо знал грузинский язык — об этом рассказывают все знавшие его. Мало того, и Гванцеладзе, и Ткашелашвили, и Демьянович, и все его одноклассники, с которыми мне приходилось говорить, утверждали, что он был единственным русским мальчиком, который посещал дополнительные занятия по грузинскому языку. В этом был какой-то вызов, пусть неясно осознанный, пусть непродуманный. Во всяком случае, кое-кто так и воспринимал эти занятия. А Маяковский учился любить певучую красоту Бараташвили и сложную, полную вновь избретенных слов и необычных рифм строку Бесики!

Николай Виссарионович Джанашия — он учился в одной гимназии с Маяковским и жил рядом в соседнем доме — говорил, что «Володя» хорошо знал гётевского «Рейнеке-лиса» в русском переводе и по-грузински большие отрывки из «Витязя в тигровой шкуре» Руставели.

Память у гимназиста Маяковского была превосходная.

Трудно говорить о первых стихах Маяковского. Все знавшие его убеждены, что писал он еще в первом классе. Но что писал и как — не знают!

Нинуа сетовал, что затерял альбом, где были стихи Володи. Гванцеладзе вспомнил, что Маяковский читал стихи под древней чинарой — под той самой, под которой вершили суд цари Имеретии. Ткашелашвили силился вспомнить какие-то строки. Единственное, что помнили все, была гимназическая песенка об учителе Глушакове, который сперва был просто учителем, а потом назначен директором:

Наш учитель Глушаков
Ходит выше облаков,
Просит денег у богов
На починку сапогов.

Речь здесь шла явно о богах греческого Олимпа — Глушаков был историком. Он был длинен ростом — отсюда «ходит выше облаков». Но ведь к моменту назначения Глушакова директором Маяковский уже уехал в Москву. И это легенда...

Нинуа рассказал мне еще одну историю (Людмила Владимировна, услышав ее, ска-

зала: «Выдумка!»): будто бы, желая показать силу своей воли, лег между рельсов пригородной ветки юный Владимир и пролежал под товарным составом, машинист которого чуть не сошел с ума от ужаса.

Н. В. Джанашия рассказал такой эпизод: сорвался с цепи медвежонок, большой уже, почти взрослый. Того и гляди разорвет. Все бегут, перешолох, паника. Вдруг из угловых дверей нового здания выбегает Володя, с протянутой рукой подходит к медведю и быстро надевает ему на шею цепь...

Николай Виссарионович вспомнил один разговор с гимназистом Маяковским. Однажды, идя вместе с Николаем, Маяковский спросил его по-грузински:

— До какого класса думаешь учиться?

Николай ответил:

— До последнего, до восьмого!

— Значит, ты крестьянин, — сказал Владимир, — ведь у нас в Грузии учащиеся делятся на категории: князья в науке не нуждаются — еле-еле добираются до третьего класса; богачи тянутся до шестого; восьмой класс кончают лишь крестьяне — для этого нужны упорство и способности.

С начала XX века Кутаиси — один из центров деятельности подпольной большевистской партии. Учащиеся Караганов, Сакварелидзе и некоторые другие были связаны с революционным подпольем.

Маяковский знал о делах своих старших товарищей. Известно, что он был на знаменитой сходке в Ясоновой пещере.

С первых лет учебы Маяковский связан с революционным движением. Не переоценивая возможностей мальчика, следует признать, что он, как, впрочем, и другие его одноклассники, был втянут в орбиту событий. Не раз бывало так, что их, младших гимназистов, подзывали серьезные восьмиклассники и совали им в руки всевозможные пакеты и бумаги. Их надо было пронести через весь город, не вызывая ни в ком подозрения и вручить нужному человеку. Обычно эти пакеты пахли типографской краской.

Однажды, рассказывал мне Ниноа, Маяковского с товарищами позвал приятель — гимназист седьмого класса. Он сказал Маяковскому, что есть-де важное дело. Когда гимназисты пришли к нему, он повел их во двор, и началась обыкновенная ладта. Только сам приятель не играл, а вместе с другими старшеклассниками сидел в доме. И они что-то писали — вероятно, листовку. Но вот на улице показались какие-то подозрительные субъекты. Воло-

дя бросил мяч в окно. Через минуту все старшеклассники уже играли вместе с малышами.

Это, конечно, не было уж очень ответственным делом, но Маяковский гордился и тем, что хоть немного, а помог настоящим революционерам.

Революция была, казалось, в самом воздухе. Она была всюду. О ней писали газеты, о ней спорили дома.

В театре шли пьесы о свободолюбивых борцах, о героях, о сынах народа. Самые обычные, казалось бы, монологи вдруг начинали звучать как призыв к восстанию. Гимназическое начальство не пускало в театр, тем не менее Маяковский пересмотрел все пьесы. В театр ходили как на митинг. И совсем не удивились гимназисты, когда однажды увидели, как у входа в театр появились баррикады. На баррикадах хозяйничали рабочие и железнодорожники. У многих были ружья.

— Нужна подмога!

И тогда мальчики побежали по классам. Ш. А. Ткашелашвили вспоминал, как Маяковский раскрывал одну за другой двери и кричал.

— Выходите все! На баррикады!

Гимназисты выбегали на улицу.

Правда, на баррикады их не пустили. Именем революционного порядка им приказали идти по домам.

Учитель поэта В. А. Васильев ответил на мои вопросы: «Сообщаю в ответ на ваше письмо: в Кутаисской гимназии во время пребывания в ней Маяковский (1903 и последующие годы) пользовался хрестоматией Мартыновского — одного из педагогов г. Тифлиса...» (из письма от 9 июля 1953 года).

Разыскиваю хрестоматию. Сюда включены сказки (о животных, нравоучительные и др.) — «Лисичка-сесточка», «Кривда и правда», «Солнце, месяц и ворон», «Иванушка-дурачок» и пр.; былины — «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Илья Муромец и Идолище поганое»; ряд народных песен...

Безусловно, к тому моменту, когда В. Маяковский «из 5-го вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы», совершенно определенный запас теоретических знаний в области фольклора он уже имел. И запас этот расширялся всю жизнь.

Молодой Маяковский был безусловно ориентирован в современной ему теории

литературы и даже языкознания. Возможна тема — А. Потебня и В. Маяковский.

Декларацией отношения символистов к А. Потебне была статья, опубликованная Андреем Белым в сборнике «Логос» — международном ежегоднике по философии культуры. Статья называлась «Мысль и язык», повторяя название известной книги А. Потебни. А. Белый утверждал, что А. Потебня был непосредственным предтечей русского символизма: «Из объединения внешней формы и содержания путем взаимной обусловленности внутренней формы провозглашается единство формы и содержания как в словесном, так и в художественном символе. И в этом выводе своем Потебня предвзывает и обосновывает один из главных лозунгов русского символизма». А. Белый пишет, что символизм языка и есть для А. Потебни его поэтичность.

Доказывая, что «область языка не совпадает с областью мысли», теоретик символизма утверждает, что «смысл всей деятельности Потебни — выявить «и р а ц и о н а л ь н ы е к о р н и л и ч н о с т и» в творчестве слов». Общие выводы Андрея Белого таковы: символисты утверждают, что 1) творчество обуславливает познание, 2) форма художественного произведения неотделима от содержания — вместе они составляют символ искусства и 3) корни мифологического и религиозного творчества таятся в символе — между религией, мифологией и искусством есть внутренняя связь.

Сборники учеников А. Потебни под общим названием «Вопросы теории и психологии творчества» выходили периодически. А в тезисах докладов футуристов сохранились положения, свидетельствующие о знакомстве с трудами А. Потебни (или его учеников).

Еще в тезисах доклада «О новейшей русской поэзии» В. Маяковский говорил о «связи нашей поэзии с мифом, в частности с русским», о «культе языка как творца мифа», о свойстве слова как поэтическом импульсе, призывая возродить «первобытную роль слова».

В. Шкловский говорил мне, что Маяковский был знаком с работами и самого А. Потебни и «потебнианцев». Несомненно, в тезисах доклада «Пришедший сам» основное положение «Слово — самоцель поэзии», несмотря на направленность против импрессионизма (а также Бальмонта и Брюсова), заключало повзгорение известного положения А. Потебни. Недаром А. Белый утверждал, что для Потебни слово есть произведение искусства.

Очевидна связь некоторых тезисов В. Маяковского с работами А. Потебни, в частности с положениями его книги «Мысль и язык», показавшей, как возникает и исчезает образность языка.

Я несколько раз публиковал воспоминания о Н. Н. Асееве, его письма — в книге «Господин Леший, Господин барин и мы с мужиком» (1965), в брошюре «Притяжение сказки» (1980) и др.

Н. Н. Асеев рассказывает о том, что Владимир Владимирович Маяковский хорошо знал и сказки, и песни, и пословицы, которые любил в разговоре переиначивать, обыгрывая их звучание. Конечно, был период полемики, но не с народным творчеством как таковым, а с создателями псевдонародных, примитивных по форме и сомнительных в идеологических отношениях произведений.. К народному языку, к живым оборотам разговорной речи Маяковский относился в высшей степени уважительно и внимательно.

О частушке в творчестве Маяковского после статей и книг А. Дымшица, В. Перцова, моих все известно. Но впервые об этом оборотил еще при жизни Маяковского Н. Н. Асеев. Он же оставил в своей поэме «Маяковский начинается» рассказ о Маяковском и его спутнике, услышавших где-то на берегу южного моря слова песни:

Вдруг до них
из дальней дали,
лунной ленью залитой:
«Мы на лодочке катались,
золоти-и-истый, золотой!»
.
Маяковский
шел под звездным светом,
море отражало небеса.
«Я б считал себя
законченным поэтом,
если б смог
т а к у ю
написать».

В воспоминаниях Н. Н. Асеев приводит ту же фразу: «Если бы я сумел написать такую вот песню, я бы считал себя законченным народным поэтом».

Маяковский многому учился у народной частушки.

Выступая на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи», он процитировал строки, поразившие его своим звучанием:

Дорогая, дорогой,
дорогие оба,
дорогая дорогого
довела до гроба.

Частушка эта имеется в сборнике великорусских частушек Е. Н. Елеонской.

Звучание ее строк, поразившее поэта,— черта вообще характерная для этого фольклорного жанра. Можно привести и другие примеры подкрепляющей основную мысль инструментовки. Несомненно, Маяковский, создавая строки:

Сидят
папаши.
Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи,—

припоминал инструментовку частушки из сборника В. И. Симакова:

Все папаши в поле пашут,
Моего папаши нет...

Иногда, как и в период «Окон РОСТА», Маяковский использовал целые частушечные обороты. Таковы, например, строки известного стихотворения «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им»:

Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
шел я низом,
строил
мост в социализм...

В основе их — известная (приведена в том же сборнике Е. Н. Елеонской) частушка:

Шел я верхом, шел я низом.
У милашки дом с карнизом,
У милашки огонек,
Милашка кушает чаек.

Другой пример — строки стихотворения «Маленькая цена с пушистым хвостом»:

Сидит милка
на крыльце,
тихо
ждет
сниженья цен...

Здесь Маяковский вспомнил начало частушки: «Сидит милый на крыльце с выраженьем на лице...»

Известно, что Маяковского однажды посетило солнце. Было это в поселке Пушкино — я специально ходил посмотреть это самое место.

Самое реальное светило. Отчасти оно напоминало солнце из народной сказки.

Отсюда и простота величественного светила, и, главное, его человеческие черты в сочетании с некоторыми, так сказать, физическими чертами солнца.

Солнце, явившееся к Маяковскому, напоминает образ солнца из многочисленных

русских сказок, например из известной сказки «Солнце, Месяц и Ворон Воронович», где все названные персонажи ходят друг к другу в гости, а Солнце печет на себе олады, посылно облегчая труд своей жены (есть эта сказка и у А. Н. Афанасьева). Вообще светило в фольклоре живет в простоте: приходит, уходит, разговаривает и пр. Об этом хорошо писал еще А. Н. Афанасьев в своем классическом труде «Поэтические воззрения славян на природу».

Но солнце у Маяковского отличается от персонажа сказок или песен. Отличается оно по манере изображения и от тех образов, которые возникали у поэта в плакатах РОСТА.

Какие же приметы светила? Кроме очеловечивания, доведенного до конкретизации (так, разговорное выражение «солнце зашло» превращается в реплика: «...чем так, без дела заходить, ко мне на чай зашло бы!»), появляются зримые черты, не свойственные устному творчеству; о солнце известно, что оно закрыто мягкой тканью облаков («занежен в облака ты»), что у него человеческий лоб («златолобо»), что оно способно ходить, «раскинув луч-шаги».

Все эти черты ведут нас (ах, как много лет вели меня!) не столько к солнцу из устной поэзии, сколько к изображению, вошедшему в знаменитое собрание Д. А. Ровинского «Русские народные картинки». В этом собрании есть работа мастера Кореня, изображающая ангела, лицо которого «яко солнце и нозе его яко столпи огнени».

Пред нами предстает весьма своеобразное изображение не ангела, которого рисовали обычно в виде крылатого юноши, а солнца. У светила человеческое лицо, туловище его целиком закрыто облачной тканью, идет оно, расставив ноги-лучи. Двигается это светило к сидящему человеку, чтобы передать ему книгу.

Сходство полное!

Можно предположить, что В. В. Маяковский, еще в ранней юности проявлявший интерес к народным картинкам, вспомнил эту гравюру, работая над стихотворением «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

Я много раз писал о Павло Тычине — были статьи, были и воспоминания.

Кем был Павло Тычина для меня? Прежде всего одним из наследников Маяковского, новатором. Искателем новых путей. Первооткрывателем. Коммунист, певец «се-

мы единой», революционер в искусстве, он стал одним из символов новой поэзии.

Расскажу лишь о начале знакомства когда я неожиданно-негаданно получил от Павло Григорьевича огромный пакет его книг — от изданий 20-х годов до последних и еще «Кобзаря» со статьей П. Тычины и еще «Гнев Шевченко», редкое издание, которое наши летчики бросали с самолетов над оккупированной Украиной в годы войны.

Это было после публикации в «Звезде» моей статьи о Маяковском и поэзии советской Украины. Не связанный литературной борьбой 20-х годов или начала 30-х, я довольно бесхитростно написал о близости В. Маяковского и П. Тычины. Опубликовал некоторые малоизвестные и забытые материалы. Была перепечатана и заметка В. Кузьмича из одесской газеты «Большевистское знамя» под названием «Брат», автор которой рассказывал о выступлении Маяковского перед московскими и украинскими писателями: Маяковский негодовал, что многие русские писатели не знакомы с украинской литературой. Он говорил: «Вы знаете французов, немцев, американцев, а вот родных товарищей по борьбе за коммунистическую культуру не знаете! Вы охотно в групповых спорах ссылаетесь на Дюамеля, Вильдрака, а почему вы не ссылаетесь на стихи Тычины и Сосюры?..»

Речь шла о двух крупнейших поэтах Украины, с именами которых связывалось начало ее советской литературы. И не случайно Маяковский, дав обязательство за год овладеть украинским языком, прочел на память стихи Павло Тычины:

Вставай, хто серцем кучерявий.
Нова Республіко, гряди,
Хлюпни нам море, свіжі лави,
О, земле, велетнів роди!

Новатор русской поэзии протянул руку украинскому поэту-новатору.

17 апреля 1930 года вышел экстренный двоянный выпуск «Литературной газеты» и «Комсомольской правды», посвященный памяти Маяковского.

Я впервые увидел эту газету в руках моего отчима, человека, который никогда не проронил слезы, хотя был болезненным и физически слабым. Но тогда, когда держал эту газету, он стирал, чтобы я не видел, слезы. Газета осталась в доме на многие, многие десятилетия, переживая библиотеки и хозяев.

Разворачиваю газету и сразу обращаю внимание на разницу в стиле некрологов и соболезнований. С некоторым холодком, хотя и со всеми причитающимися высокими эпитетами высказались рапповцы. Полны муки и слез — не письма, а плачи товарищей по работе. Трагической спазмой прерываются голоса друзей. И снова осуждающие нотки в отклике РАППа: «КрымАПП ничем не оправдывает поступок...»

И в конце — «Тракторная колонна „Маяковский“»: «Делаем первый взнос...»

Экземпляры этой газеты сохранились во многих других семьях — у художника В. В. Лебедева, у художника В. В. Владимирова, у кинорежиссера Г. С. Казанского и у очень многих других. Так хранится память только о самых близких и необходимых людях. Необходимых. Навсегда.

Я слышал однажды, как Николай Николаевич Асеев читал отрывок из поэмы «Маяковский начинается». Из разных глав — старых и новых. Не помню, о чем говорили, но сперва он прочитал что-то о «старой закваске Вандеи», об обрезках, обломах и кнутах... А потом со слезами на глазах, которые от этого стали еще пронзительнее:

Вот так,
во всем и везде
впереди,—
еще ты и слова не вымолвишь,—
он шел,
за собой увлекая ряды,
Владимир Необходимович!

Увлекая ряды...
Владимир Необходимович.

Ленинград.

ЛЮБОМИР ФИЛДЕК

★

МАЯКОВСКИЙ В СЛОВАКИИ

Из четырех томов поэзии Маяковского, переведенных мною на словацкий язык, в двух я сохранил подлинные названия — «Владимир Ильич Ленин» и «Стихи детям», а для двух нашел, как мне кажется, удачные строки из самого Маяковского. Том избранных поэм я назвал «Уважаемые товарищи потомки», а книгу избранной лирики — «Завидуйте».

Мои советские друзья не раз спрашивали: «Чем вы объясняете то, что сегодня в современной словацкой литературе проявляется такой большой интерес к Маяковскому? И что в его поэзии побудило вас дать книге лирики именно такое название?» Это, думаю, серьезный вопрос, серьезная тема для размышлений о Маяковском.

Наверное, прежде всего надо немного сказать о себе. Я родился в 1936 году, следовательно, принадлежу к третьей волне увлечения в Словакии этим советским классиком.

Первая волна возникла до войны, во времена так называемой первой Чехословацкой республики. Прогрессивные чешские и словацкие литераторы, как и читатели, были в ту пору серьезно увлечены не только поэтическим феноменом Маяковского, но и всем, что было связано с Советским Союзом вообще. «Новая, новая была звезда коммунизма», — писал выдающийся чешский поэт Витезслав Незвал. Новаторство поэтики Маяковского привлекло широкое внимание. Было необычно и то, о чем он пишет, и то, как он это делает. Правда, в это время представления о поэзии Маяковского у чешских и тем более у словацких читателей были несколько смутными. Мало кто мог прочитать его стихи на русском языке. А вот переводы вызвали шумные обсуждения, и это породило вторую, послевоенную волну увлечения Маяковским в Словакии.

После войны и освобождения нашей родины Советской Армией, после образова-

ния в 1948 году народно-демократической Чехословакии Маяковский с остросоциальной тематикой своих стихов стал нам намного ближе. Явления, имеющие общественный и политический характер, о которых он так ярко писал, не были уже для нас далекой «экзотикой», стихам Маяковского помогала материализоваться в нашем представлении существующая реальность. Поэтический пафос Маяковского — это пафос победившей в СССР революции и наступающего социализма. Он был подхвачен нашими поэтами в период, когда революция побеждала и у нас. И это прекрасно, что поэты Чехии и Словакии испытывали на своем творчестве мощное влияние Маяковского. Естественно, что в это время появились новые переводы его стихов. Вспоминаю свои первые сильные переживания: мне было пятнадцать лет, когда в Словакии вышла книга Маяковского «Стихи» — переводческий труд целого коллектива лучших, прогрессивно настроенных поэтов.

В юности я публиковал иногда свои стихи, получая за них небольшие, почти символические гонорары. На один из таких гонораров я купил книгу Маяковского и полюбил его стихи на всю жизнь.

Люблю эту книгу до сих пор, как обычно мы любим лучшие воспоминания из своего детства. Эта книга стала серьезным и значительным явлением в моей жизни. У составителей было много энтузиазма, хотя теперь я должен признать, что ее переводчикам явно не доставало профессионального мастерства. Словацкий Маяковский звучал несколько косноязычно, встречались сбои ритма, неудачные рифмы.

К счастью, словацкая и чешская литературы — родные сестры, в трудные минуты они всегда приходят друг другу на помощь. В послевоенной чешской литературе Маяковский встретился с прекрасным переводчиком Иржи Тауфером, посвятившим ве-

ликому русскому поэту многие годы своей жизни и сумевшим создать действительно достойный эквивалент оригинала. Переводы Иржи Тауфера позволили нам постичь, каким поэтическим мастером был Маяковский, сколь значительно социально и тематически было содержание его стихов. Иржи Тауферу удалось перевести большую часть поэзии Маяковского. В Словакии переводы Маяковского появились позже, и их поэтический уровень долгое время оставался недостаточно высоким. В чем было дело? Возможно, в том, что в словацкую поэтическую традицию слишком трудно входил такой оригинальный, ни на кого не похожий поэт. Для нашей поэзии типичны иные ритмы и рифмы. Обычно ей присущи ритмическая четкость и точность рифм. Правда, на каких-то ранних этапах развивался и свободный стих, но это не имело никакого значения для переводческой «проблемы Маяковского». Маяковский ведь и в русской поэзии был подлинным новатором и возмутил классические поэтические традиции. Все это требовало новаторства и от переводчиков. Однако у переводчиков такие поиски приводили чаще всего к ритмическому хаосу и неудачной рифмовке. Назрела необходимость появления новых переводов, переводчиков, раскрепощенных, свободных от привычных традиций. Так появилась третья волна увлечения Маяковским, к которой в поэзии принадлежу и я. Конечно же, я не хочу сказать, что наше появление сразу решило что-нибудь. Остро стоял вопрос не только о Маяковском, но и о переводах стихов вообще. Методика была устарелой, а точнее, она вообще не была разработана. Решением этой задачи занялась целая группа людей, я был в их числе. На мою долю пришлось переводы Маяковского.

Молодая переводческая школа старалась работать профессионально, полагаясь не только на интуицию, но и аналитически исследуя принципы поэтического перевода. Мой первый том — собрание поэм Маяковского — содержит и объяснение техники пе-

реводов классика. Теория изрядно обогащала переводческую работу. Например, о моих переводах Маяковского Зорой Валковой была написана книга «Поэзия Маяковского в переводе на словацкий язык» (она вышла к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции). Почти половину книги занимает исследование рифм. З. Валкова сопоставляет рифмы оригинала и перевода, демонстрируя, какие рифмы в словацком языке следует считать наиболее удачными и близкими Маяковскому и когда можно взять на себя смелость говорить и об «эквивалентности».

Сегодня на словацком языке Маяковский живет и дышит так же свободно и независимо, как и на чешском. Но потому, что этот процесс постижения не был быстрым, что кропотливые поиски переводческого решения велись долго и тщательно, словацкий Маяковский все еще открывается нашему читателю, его воспринимают как новейшую поэтическую ценность. Словацкие актеры подготовили литературные вечера, программа которых составлена из произведений великого поэта, театры поэзии создали немало композиций (это касается и профессиональных коллективов и самодеятельных). Маяковский выходит победителем в конкурсах актеров-чтецов и собирает богатую театральную жатву. Что чаще всего звучит с эстрады? Наиболее популярными продолжают оставаться поэмы «Флейта-позвоночник» и «Облако в штанах». Театральные коллективы часто обращаются и к поэме «Владимир Ильич Ленин». Актеры с успехом читают сатирические стихотворения, остающиеся злободневными до сих пор («Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Общее руководство для начинающих подхалим» и др.).

В заключение я позволю себе в качестве пророка предсказать, что зре Маяковского в словацкой литературе далеко до заката. Нас, переводчиков, ожидает серьезная работа с огромным наследием поэта-классика.

Братислава.

Перевела со словацкого С. ДАВЫДЮК.

ГЕВОРГ ЭМИН



РЕВОЛЮЦИЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫЙ...

Владимиру Маяковскому девяносто лет. Имей я фантазию хоть девяноста поэтов, все равно трудно представить Маяковского девяностолетним, старым или дряхлым. Из тех он поэтов, всегда молодых, страстных, горячих, которые или не старятся вообще, или... не доживают до старости. Навсегда остался он в нашей памяти таким, каким описал себя в своей знаменитой поэме «Тринадцатый апостол» («Облако в штанах»):

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрoмив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Рожденный в буре революции и видный всему миру на высоком гребне революционной волны, Маяковский-поэт словно сам олицетворяет революцию.

Маяковский один из тех великих поэтов XX века, чье влияние так ощутимо в поэзии всего мира, ибо он не только обладал мощным талантом, но и был новатором в истинном смысле этого слова.

Он возвещал миру то новое, что было рождено революцией.

Лишь такой поэт, подлинный новатор, мог еще до революции предвидеть ее приход с разницей всего на год («Где глаз людей обрывается кущей главой голодных орд, в терновом венце революций грядет шестнадцатый год»).

Революция, потрясая основы старого мира, не могла не выдвинуть своего пророка-поэта, возвестившего миру небывалую новь. А если к тому же этот поэт был гениален, как Маяковский, то он не мог вливать новое вино в старые мехи. Он должен был создать новые поэтические формы. И он их создал! Маяковский внес новое дыхание не только в русскую поэзию, но и в поэзию многих народов мира. Его бла-

готворное влияние чувствуется у многих крупнейших поэтов XX века — от Поля Элюара до Назыма Хикмета, от Египше Чаренца до Пабло Неруды.

Трибун революции, Маяковский одновременно самый нежный лирический поэт нашего времени, настоящий лирик, без сантиментов и слащавости. И если многие не знают об этом и не представляют Маяковского во всем величии, широте и сложности, как одного из крупнейших поэтов настоящего и — я не боюсь этого слова — будущего, то в этом виноват не сам поэт, а мы, годами и десятилетиями растаскивавшие его по цитатам и создающие о нем однобокое и упрощенное впечатление. В наш век, богатый литературными школами, немало «модерновых» поэтов, но Маяковский был и остается самым современным поэтом, с которым вряд ли в силах тягаться любые позднейшие «авангардисты».

Маяковский не только страстно отвергал старое, обветшалое (вспомним хотя бы его четыре знаменитых «Долой!» в поэме «Облако в штанах»), но был могуч и в утверждении нового (поэма «Хорошо!»). Поэтому он не мог быть равнодушен ни к чему фальшивому.

Он был готов, превратив лавровый венок своей славы в метлу, выметать сор пороков, предрассудков из нашего общего дома. «Мы всех зовем, чтоб в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила. И это лучше из доказательств нашей чистоты и силы», — писал в свое время Маяковский. Слова эти весьма актуальны и поныне. «Поэзия — вся! — езда в незнаемое», «Настоящая поэзия всегда, хоть на час, а должна опередить жизнь», — любил повторять Маяковский. Не по этой ли причине лучшие его произведения не только не стареют, но и обновляются с каждым новым поколением, выявляя свои скрытые доселе глубины.

Маяковский, вечно молодой, горячий, страстный, как сама революция, дойдет до будущих поколений — до потомков, к которым он так страстно и откровенно обращался во вступлении к поэме «Во весь голос».

Жизнь Маяковского была трудной, но он с достойным большого поэта благородством оставил нам не свои обиды и горечь, а прежде всего — пламенную веру: не ветви, обломанные камнями, брошенны-

ми в его поэтический сад клеветниками, а — цветы и плоды этого сада:

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

Ереван.

Перевела с армянского АРМЕНИИ ГАМБАРЯН.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Сергей Антонов. Роман о селе и о себе. — **Гр. Горин.** Читая рассказы Леонида Ленча. — **Леонид Бежин.** По законам смежной прозы.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Турбин. Трактор — машина авторитетная. — **Евгений Добровольский.** Встречи на родной земле.

Литература и искусство

РОМАН О СЕЛЕ И О СЕБЕ

Юрий Куранов. Глубокое на Глубоком. Роман. М. «Современник». 1982. 336 стр.

Среди проблем, которые в нашей эстетической науке полагаются решенными, есть одна — весьма важная, а может быть, и злободневная. Эту проблему в школьном виде можно сформулировать так: какое произведение искусства действует сильнее — то, где автор скрывает свои взгляды, или то, где он выражает свое отношение к миру намеренно открыто, откровенно?

Многие полагают одним из основных принципов художественного творчества ту объективность, о которой гласит известная формула: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше для произведения искусства».

Вряд ли это следует понимать однозначно. И если Екатерина II, считавшая себя писательницей, советовала, «чтоб сочинитель скрыл свое бытие и везде бы было его сочинение, а его самого не видно было и нигде не чувствовалось, что он тут действует», то она имела в виду нечто иное, чем современное литературоведение.

Вообще практика показывает, что всегда, во все времена внутри реалистического искусства сосуществовали выдающиеся творения обоих видов — и открыто тенденциозные и сознательно объективные.

В России XIX века к числу «тенденциозных» творцов можно отнести Н. Чернышевского, Ф. Достоевского, Н. Некрасова, художника П. Федотова, а к «объективис-

там» — И. Гончарова, А. Чехова, А. Фета, художника И. Шишкина. Возможно, при этом значительно больше фамилий окажется в списке «тенденциозных». Сейчас же, по моему, основной массив нашей книжно-журнальной художественной продукции отмечен печатью объективности. Давно известно: желает автор или нет, а тенденция, когда произведение талантливо, непременно прорвется к читателю, как фантом Соляриса.

Ну а если произведение лишено тенденции вообще, и скрытой и открытой? Не потому ли у нас выходит немало литературы, скромно называемой «средней» (а если открыты кавычки — серой, безликой, скучной), что существуют авторы, у которых гнет руку к перу, а перо к бумаге не мучительная потребность передать людям заветную мысль, не беспокойная тенденция, а мучительное желание приобрести лимузину повышенного спроса?

И в связи с этим — не стала ли в наши горячие времена открытая тенденция одним из самых выразительных, самых сильнейших художественных средств?

Положительным ответом на эти вопросы для меня явился роман Юрия Куранова о сельских тружениках 70-х годов — «Глубокое на Глубоком».

Один из героев (и герой книги, и герой трудовой битвы за хлеб и мясо), директор совхоза, расположенного на Псковщине,

Виктор Васильевич Васильев, за три года превратил расхлябанное хозяйство в современное предприятие по производству мяса. А писатель Юрий Куранов решил сделать на эту тему документальную киноленту. «Работу в документальном кино я бы, без всяких оговорок, поставил намного выше работы в кино художественном, особенно если учитывать степень свободы действий и ответственности за них», — пишет Ю. Куранов. И эта фраза могла бы быть отличным эпиграфом к его книге.

Короткий опыт общения с кинопроизводством в качестве сценариста привел писателя к выводу, что режиссеры-документалисты делятся на два типа. Режиссер первого типа уже в момент замысла знает, что хочет и что получится. Он сам отыскал материал, осмыслил его, приобщил к своему замыслу оператора и прочих специалистов. «Работают они, как правило, быстро, продуктивно, их съемочный материал почти весь пригоден к работе, и монтажный период, период озвучивания для такого режиссера одно удовольствие, этап, венчающий сложную и красочную пору практических действий».

Второй тип, говоря усаовно, режиссер-монтажер. Он «вручает оператору свою режиссерскую разработку, пунктуально определяет, что снимать, и практически устраняется от режиссирования».

Сила его проявляется за монтажным столом. «Он в совершенстве владеет полученными еще при обучении в институте и в последующей самостоятельной деятельности штампами. Орудуя этими штампами, комбинируя их, режиссер склеивает ленту и заявляет, что фильм спасен». Состоящая из умелой, иногда талантливой, комбинации самых разнообразных штампов, такая лента без особых сложностей проходит все шлюзы приемных советов и комиссий. В такой съемочной группе всем, кроме оператора, живется легко и просто. Фильмы пекутся один за другим, все довольны, однако творческого удовлетворения здесь быть не может.

Фильм, о котором повествует Ю. Куранов, был снят, но получился он не таким, каким был задуман. Десятижильный здоровяк директор, не достигший пятидесятилетнего возраста, внезапно заболел. Говорили, что еще летом Виктора Васильевича избил на пруду пьяные браконьеры. Врачи определили болезнь легких, положили лечиться. Через две недели выписали. Ю. Куранов разговаривал в августе у того же пруда с Виктором Васильевичем:

«— Браконьеры, я слышал, к вам на пруды повадились?

— И не говорите, хоть вооруженную охрану ставь,— Васильев даже побурел лицом,— того и гляди, пришибут. Лезут, как мухи на огонь. Я уж думаю, не лишиться бы мне жизни из-за этих прудов. Народ ведь всякий есть.

— Это тоже наша беда,— сказал я.

— Да еще какая,— тяжело вздохнул Васильев,— вот о чем, Юрий Николаевич, писать-то надо бы».

Этот разговор взят тоже из романа «Глубоко на Глубоком».

А через месяц Виктор Васильевич снова оказался в больнице, на этот раз в онкологической. Последние дни он лежал дома. И ему казалось, что дело идет на поправку.

И все-таки Юрий Куранов добился того, чтобы директор появился в фильме. Жена сделала ему обезболивающий укол, нарядила в праздничный костюм, Виктор Васильевич сел в кресло и полные пятьдесят минут говорил, что надо делать, чтобы процветал совхоз. «И эта его речь,— пишет в романе Ю. Куранов,— это выступление, которое до сих пор лежит в моем столе на узкой магнитофонной пленке, было в тот момент актом высочайшего человеческого мужества. И слушать его слова без глубочайшего волнения невозможно. Ясность мысли, четкость постановки вопросов, простота и яркость изложения...»

Картина вышла на экраны, была показана по телевидению, получила одобрительные оценки. И все-таки: «К моему глубокому стыду, нужно признаться, что право выбора у меня перед съемками было, отношения с руководством студии сложились великолепные, но воспользовался этим я с ущербом для дела,— признается Куранов.— Я сам выбрал режиссера второго типа». И случилось то, что должно было случиться. Автор с удивлением заметил, что режиссер «не проявляет никакого интереса к тому, что ему показывают. Он для вида заводит кое-какие разговоры, но контакта с жизнью, с людьми у него нет... Интерес к работе у него не возникает. И тут-то нужно было разойтись. Но проклятая нерешительность, деликатность, боязнь испортить отношения кого не заводили на дороге, чреватые обидными и грустными последствиями».

Как уже сказано — фильм был снят. Но получился, по словам автора, «кривой». И длинное описание кинополюса заканчивается в романе грустной фразой: «Мое искреннее отношение к кино было осквернено, и вернуться к экрану я уже не смогу».

Этот суровый урок заставил Ю. Куранова задуматься «о людях, которые живут для других, и о тех, кто живет для себя... А

если никто не видит, так и вовсе ничего не делают».

В этой фразе заключен алгоритм, заданный при оценке человека и его характера.

Лет тридцать назад я прочитал первые коротенькие рассказы Юрия Куранова, почувствовал родственную душу и печатно (в «Письмах о рассказе») упрекнул молодого автора за слишком приблизительное изображение действующих лиц.

Приятно подчеркнуть, что в романе «Глубокое на Глубоком» психологический портрет персонажа (любого — и главного и проходного) четок, глубок и достоверен.

Вот директор клуба Антонина Васильевна, у которой намечился этакий «„отрицательный“ тип характера».

«...пришел я к Антонине Васильевне, чтобы посоветоваться, как лучше поправить лестницу да и вообще поукрасить клуб.

— Что вы, Юрий Николаевич,—махнула рукой Антонина Васильевна,—эта лестница все равно развалится.

— Ну тогда нужно новую делать.

— Да ну, что вы. Кто это будет ею заниматься.

— А Бурунов.

— Ему некогда. Да и денег у него нет.

— Деньги даст совхоз.

— Да ну, что вы. Тут большие деньги нужны. Да и это не так просто.

Сгнили перед клубом две длинные скамейки. Прихожу к Антонине Васильевне:

— Ну поставьте хоть новые скамейки.

— Что вы, Юрий Николаевич,—смеется директор клуба,—где их взять? Да и все равно ведь сломают.

Предложил цветы возле клуба посадить.

— Что вы! Здесь тень от кленов вон какая. Цветы не станут расти».

Кому не приходилось сталкиваться с такой «отрицалкой». Что ни предложи — на все найдет возражение. Хлопочет только о том, чтобы в хлопоты не втянули. Перед нами не продукт литературной алхимии (перетолок Соню с Таней), не умышленно-литературная конструкция, а живой человек, обитающий на Псковщине.

Так, ломая обычаи традиционного романа, перед читателем проходит длинная вереница людей, называющих писателя Ю. Куранова Юрием Николаевичем, а друг друга теми именами и фамилиями, которые записаны у них в паспортах.

Роман «Глубокое на Глубоком» резко отличается от документальных сочинений вовсе не тем, что автор изобразил себя в качестве одного из персонажей. Это было и прежде. Темно-русый охотник по

перу в «Записках охотника» не кто иной, как сам Иван Сергеевич Тургенев. И К. Брюллов рисовал себя в картине «Последний день Помпеи», а В. Пукирев в «Неравном браке». И режиссер Э. Рязанов снимался в своих картинах.

Новизна романа «Глубокое на Глубоком» в нарушении привычной субординации между автором и прочими персонажами. Здесь автор не дирижер. Здесь авторская воля над персонажами не довлеет. Наоборот, захваченный потоком неотложных дел, диктуемых жизнью, автор нетерпеливо закатывает рукава и, забыв о своей литературной неприкосновенности, принимается за ту же работу, какую ведут его герои.

Главная проблема, волнующая руководителей совхоза, связана с межхозяйственным планированием, с межхозяйственной специализацией. Неразберихи здесь много. К примеру, новый, заменивший Васильева директор Н. А. Алексеев объясняет автору романа, почему соседнее хозяйство выскочило в передовые: «Мы мясо сдали, а приписали его им. Так и получилось, что они теперь передовики... Мы — головное хозяйство. Мы за всех членов кооперации мясо сдаем, а они нам в какой-то мере компенсируют это, передавая корма, что получают от государства. То есть их корма мы возьем к себе».

Ю. Куранов удивляется — не литературно, а совершенно натурально. И задает вопрос: «Выходит так, что, выполняя на бумаге план по сдаче мяса, совхоз или колхоз практически в его производстве не участвуют?»

Директор совхоза промолчал. Промолчал и секретарь райкома, участвовавший в беседе.

Ю. Куранов подробно описал эту странную кооперацию и опубликовал в виде очерков в «Советской России». Газету схватили мгновенно. А дальше следует фраза, невероятная для произведения художественного: «...мои отношения с некоторыми из моих друзей осложнились». Другими словами, после публикации статей в «Советской России» персонажи романа перессорились со своим автором.

Председатель Опочецкого райисполкома И. П. Павлов жаловался: «Наши соседи, руководящие работники из Великих Лук да и из других районов, обступили меня, пора, мол, вас там, выходит, разгонять, работа ваша вон как критикуется...»

Фантастическая история! Мы, братья-писатели, изо всех сил стараемся покруче конфликт закрутить, столкнуть в принци-

пиальном споре противоположные характеры, а здесь без всякой, так сказать, мобилизации воображения поднялись друг на друга две активные силы, да и не персонажи, а персонажи с одной стороны и автор — с другой. Такой разгорелся горячий, всамделишный спор, что персонажи стали приглашать автора сперва в райком, а потом в обком для объяснений.

Что произошло дальше — читайте роман «Глубокое на Глубоком». Моя рецензия и без того опасно накренилась в сторону самого дистиллированного вида рецензии — пересказового.

Юрий Куранов по натуре своей поэт, лирик. Каждое слово он не просто понимает разумом, но ощущает душевно, переживает поэтически, образно. «Какое дезинфицированное слово „интернат“», — замечает он в одном месте, а в другом — «в самом слове «поселок» есть что-то не очень основательное, временное». Десять лет, проведенные в Глубоком, представляются ему четверостишием, блистающим в его жизни «лазоревым сиянием». (Увы! От таких сомнительных красотостей и автор «Глубокого на Глубоком» иногда не может удержаться.) Даже содержание романа написано у него четырехстопным ямбом:

Страна озер и облаков	5
Страна надежд и вдохновений	91
Страна проблем и размышлений	177
Страна озер и облаков	287

Доверчиво-нежно звучат названия коротеньких главок: «Остров тишины», «Теплое дыхание хлеба», «Весенний звездопад», «Шум дождя и шелест листьев». Тем неожиданней вторгается в текст директивная интонация: «Я склонен думать, что проблема обеспечения современных совхозов и колхозов в полном смысле слова современными руководителями — проблема номер один. Мы должны обеспечить деревню людьми, во всей полноте подготовленными к современным методам руководства, глубоко понимающими с государственных позиций характер трудностей, встающих на их пути, и всемерно отдающими себе отчет в колоссальной — не только хозяйственной, но и нравственной, идеологической — значимости их деятельности. Именно от того, как удастся этот вопрос решить, зависит в ближайшие десять — пятнадцать лет судьба всех угодий Нечерноземья».

Ничего себе — поэт, лирик! — усмехнется читатель. А усмехаться не стоит. Чем милее родные поля, леса, рощи, чем нежнее, благодарнее любить людей, украшающих своим трудом поля и нивы, чем четче

отзывается сердце на их радости и горести — тем решительней, требовательней, непримиримей зазвучит твой голос, когда не все идет как должно, когда не выполняются планы, когда буренки дают молоко малой жирности, когда молодежь бежит из родного дома, от родных отцов и матерей в далекие города.

Совхоз Нечерноземной зоны, описанный Ю. Курановым, особыми достижениями не блещет. Первый директор привел хозяйство в упадок, второй вывел в передовые, а при третьем (во второй половине 70-х) дела снова пошли хуже.

И понятно, почему Ю. Куранов сосредоточил внимание не на агротехнических проблемах, а главным образом на поведении людей в деле, в быту, почему он пристально вглядывается в лица и души, анализирует характеры руководителей, пытается определить, насколько гармонично сочетаются особенности врожденного характера человека с особенностями того дела, которому человек себя посвятил.

Словом, суть романа хорошо выражает название одной из его главок: «Человек и дело».

Ю. Куранов не сочиняет драматических коллизий, не предлагает маниловских рецептов. Даже рассуждая о двух типах режиссеров, он воздерживается от опрометчивого деления людей на абсолютно отрицательных и абсолютно положительных. Впечатление от старого (еще до Васильева) директора совхоза Нейкшина («растеряннорский, пожилой человек», «равнодушно и вяло поглядывает по сторонам», живет по принципу «день прошел — и слава богу») не мешает Ю. Куранову через несколько страниц отметить: «Теперь Нейкшин работает в совхозе зоотехником. И работает хорошо». И автор делает для себя заметку на будущее: «Не так-то просто было добраться до работы, которой он, в сущности, и соответствует».

А вспоминая Васильева (того самого, кто должен был стать героем документального фильма) и вновь оценив его положительные качества, автор добавил: «Но не могу забыть, что одним из главных своих воспитательных действий он считал необходимость распекать квалифицированных руководителей принародно в унижительной форме за мелкие недостатки».

Что же это такое? Тенденция или беспринципность?

Бывает, что, пользуясь диктаторской властью сочинителя, писатель пытается навязать персонажам свои мысли любыми средствами: выпуская на сцену придуман-

ные манекены вместо живых людей, подта-совывая и уродуя факты, всячески украшая «заветную думу» фальшивой бижутерией.

Ю. Куранов — писатель иного рода. Он научился бережно принимать и усваивать уроки жизни и приводить мысли в соответствие с этими объективными уроками. Да и вряд ли этот остротенденционный писатель считает себя тенденциозным. В последней части романа он пишет: «Лучшие творцы искусства нашего любили подчеркнуть, что простой человек всегда стремится как-то сделать свое дело, чтобы сам процесс его остался вроде незаметным, не выставлялся напоказ, чтобы в нем было

нечто от сокровенности, от маленького чуда».

В отличие от большинства беллетристов Юрий Куранов занимается строительством романа на глазах читателя, не обращая внимания ни на привычные законы композиции, ни на теорию сквозного сюжета, по минутно отвлекаясь то на лирический пейзаж, то на рассказ о поэтах, то — о композиторе Дебюсси (это в романе на совхозную тему!).

А в результате перед нами умное, искреннее художественное произведение.

Сергей АНТОНОВ.



ЧИТАЯ РАССКАЗЫ ЛЕОНИДА ЛЕНЧА

Леонид Ленч. Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1982. Том 1. Рассказы. 543 стр. Том 2. Повести и рассказы. 559 стр.

Вспоминаю: начало 50-х годов, воскресенье, вечер. Вся наша семья собралась возле полукруглого деревянного радиоприемника. Передают концерт, выступает общий любимец — артист Театра сатиры Владимир Яковлевич Хенкин. Он рассказывает уморительную сцену, которая происходит на Центральном телеграфе: какой-то мужчина сдает телеграмму, какая-то телеграфистка ее принимает. У мужчины очень плохой почерк. Телеграфистка замучила его вопросами о том, что написано в телеграмме:

— Что значит: «Обнимаю целую почку»?
— Не «целую почку», а «целую лапочку».
— Теперь вы так написали вашу «лапочку», что получилось «лампочку»... Кого вы целуете?

Крик из очереди: «Граждане, нельзя так долго лампочки целовать! Закругляйтесь!»...

Смеется зрительный зал, смеется наша семья. Мне двенадцать лет, я хохочу громче всех, тем самым давая понять, что я уже достаточно взрослый, чтобы оценить комизм этих сентиментальных взаимоотношений мужа и жены... На следующий день, придя в школу, пересказываю историю про плохой почерк в классе. Наш 5-й «в» тоже хохочет. Смех не прекращается даже с приходом учительницы литературы. Перебивая друг друга, мы излагаем ей рассказ Хенкина. Оказывается, она его тоже слышала. Правда, этот рассказ показался ей не столько смешным, сколько лирическим... Это нас несколько удивляет. Но следующее сообщение уже просто ошарашивает:

оказывается, рассказ про плохой почерк придумал вовсе не Хенкин, а писатель со странной фамилией Ленч. Мы-то были уверены, что все забавные истории, которые разыгрывают Миронова и Менакер, Лепко, Хенкин, придуманы ими самими... Оказывается, нет! Даже наш любимейший рассказ про сеанс гипноза, когда сторож Никита, притворившись спящим, выкрикнул своему начальству все, что о нем думает, тот самый рассказ, который так смешно исполняет артист Осип Абдулов, тоже придумал этот самый Ленч. Вообще-то по правде его зовут Леонид Сергеевич Попов, но он взял себе фамилию Ленч, чтобы легче запоминалась и настраивала на веселый лад...

На следующий день учительница приносит в класс тонкую книжечку, где фамилия ЛЕНЧ значится на обложке... Читает нам вслух несколько рассказов и фельетонов. Читает негромко, не педалируя, но обращая внимание на некоторые детали, которые мы просто и не замечали, увлеченные сюжетом... Оказывается, в том рассказе про плохой почерк действовали не «какой-то мужчина» и не «какая-то телеграфистка», а... «мужчина с наружностью лектора... у которого под мышкой была зажата рыжая помесь портфеля с чемоданом», а у телеграфистки было лицо «невывразительное, как незаполненный телеграфный бланк...».

Мы снова смеемся, но уже как-то иначе. Вдумчивей, что ли? Нам приоткрылись нюансы смешного...

Как жаль, что такие уроки юмора не включаются в программу средней школы! Мы заполняем головы детей всевозможными знаниями, забывая, что интеллект без остроумия может быть невообразимо скучен...

Я думаю обо всем этом сейчас, когда передо мной лежит толстый, синий, отличный изданный двухтомник — избранное писателя Леонида Ленча, отметившего свое семидесятипятое, имеющего за плечами больше полусотни книг...

Многие из включенных в избранное произведений я читал. Многие слышал в исполнении самого автора... И смеялся вместе с залом. Впрочем, не всегда вместе. Иногда я улыбался там, где зал безмолвствовал, а иногда зал хохотал там, где я лишь пожимал плечами... Нормальная реакция профессионального отношения к чужому юмору... Ведь «юмористическая ткань организма» в отличие от мышечной при постоянных тренировках не увеличивается, а утончается... А может, и перерождается?.. Отсюда странные мысли лезут в голову...

Вот и сейчас, проглядывая оглавление и встречая названия знакомых с детства рассказов, я вдруг испуганно подумал: а не устарело ли? Ведь юмор — продукт скоропортящийся. То, что вчера казалось смешным, сегодня может вызвать непонимание и недоумение... Леонид Ленч был всегда злободневен. Герои его первых рассказов строили в Москве метро («Девушка из метро»), устраивали самостоятельные агитшествия, бичуя «буржуев» («На прицепе»), охотились за автографом знаменитого оперного тенора Лепестковского («Конек Муськиного бога»), то ешь жили интересом «текущего момента», волновались и шутили по его поводу...

«Раннее зимнее утро. В передней коммунальной квартиры еще совсем темно. Под потолком мутным, баннным светом мерцает электрическая лампочка величиной с кукиш. Катя Ермолаева, студентка-химичка в синем лыжном костюме с большой красной цифрой «13» на груди, надевает перед зеркалом белый берет и при этом ужасно нервничает...» Уже по началу рассказа «На лыжах», по удивительно точным деталям проступает время, в которое происходит эта незатейливая история, связанная с первым молодежным лыжным кроссом по маршруту Москва — Ленинград... Читая его в 1935 году, люди, наверное, смеялись над сюжетным конфликтом между смелой лыжницей Катей и ее «старорежимной» мамашей, постепенно понимающей неоспоримую ценность массовости спорта... Как это бу-

дет восприниматься сегодняшним читателем? Вряд ли такой конфликт покажется смешным... Но я перечитываю этот рассказ и... улыбаюсь. Чему? Может быть, его трогательной наивности... Может быть, приметам ушедшего времени... «Человечество, смеясь, расстаётся с прошлым»... Необязательно при этом громко смеяться, можно и грустно улыбнуться...

А если так, то, значит, юмористический рассказ, написанный без малого пятьдесят лет назад, выполняет и сейчас свое назначение, раз, читая его, размышляешь и улыбаешься. Ранние рассказы Леонида Ленча подтверждают закон нашего жанра: подлинная злободневность юмора обеспечивает ему же долгую жизнь. Время, вызвавшее появление рассказа, остается в нем живой тканью...

Особенно это ощутимо во втором разделе первого тома. Рассказы, собранные здесь, определяют прежде всего время их написания — 1941—1945.

Юмор военной поры Он читается с особым волнением. И не только благодаря точным приметам тяжелого времени. И не только благодаря тому, что в юморе, может быть, как ни в каком другом творчестве, передается душевная сила народа и вера в победу. Поражаешься тому, как мастерски написана каждая вещь. Какое разнообразие приемов, оттенков... «Фронтные сказки» — грубоватые солдатские байки, рассказанные как бы на привале. Лирические новеллы. Монологи... Юмор соединяется с драмой, с трагедией, как это происходит в исповеди старухи Кушаковой, написавшей письмо на фронт (рассказ «Каша»).

Еще один урок: злободневность не отменяет художественности. Пушкины грохочут, но «служенье муз не терпит суеты». Литература в любых условиях должна отвечать требованиям литературы

Девяносто девять рассказов включил Ленч в третий раздел своего первого тома. Начав рассказом «Дружеская услуга» о первой послевоенной встрече двух бойцов (1946), закончил ироническим напутствием «Десять заповедей молодым сатирикам», в котором шутиливо, но в то же время и вполне серьезно высказал свои мысли о том жанре, которому посвятил жизнь...

Сразу вспоминается 1962 год, совещание молодых писателей. Нашим семинаром руководит Леонид Сергеевич Ленч. Нам, именующим себя «писателями-юмористами», впервые напоминают, что в этой формуле слово «писатель» не случайно поставлено

на первое место. Есть истоки нашего жанра, есть традиции русской литературы... Лейкин и Чехонте писали в одно время, но первый так и остался создателем огромного количества газетно-журнального юмористического чтива, второй подчинил свое сочинительство требованиям высокой художественности, превратил юмореску в рассказ, а самого себя в Чехова...

Против этих теоретических рассуждений никто не возражал, но на практике, честно говоря, юмористические рассказы писателей старшего поколения казались мне и моим друзьям по семинару несколько архаичными. Слишком много описательности, слишком литературно правилен диалог... Да и остроты маловато!

Хотелось новых форм, новых приемов, новой степени откровенности разговора. Юмор становился более парадоксальным, фантазмагоричным. Сюжет было необходимо взрывать неожиданностью поворотов, что особенно было важно при чтении рассказов со сцены... «Пора эстрады» была не только в поэзии, но и в юморе...

Ленч был обеспокоен. Он предостерегал нас от чрезмерной эстрадности, негодовал по поводу излишней гротесковости.

Прошли годы, мы убеждаемся, что Леонид Ленч был во многом прав. Юмористический рассказ сегодня, к сожалению, во многом превратился в наспех записанный анекдот, эстрадная репризность стала самоцелью и вытеснила остальные компоненты литературы...

Но судя по многим «странным» и «невероятно страшным» рассказам самого Ленча, которые появились в последние годы (лучший пример — маленькая сатирическая повесть «Арбатский шарик»), споры на семинаре не прошли бесследно и для нашего руководителя... Фантазмагоричность и гротеск в традициях русской литературы и идут пряником от Н. В. Гоголя...

Но все-таки основной для Леонида Ленча всегда была чеховская школа. Об этом много пишет автор предисловия У Гуральник, приводя в качестве аргумента письмо Константина Федина Ленчу: «Во многих рассказах я обнаруживаю чеховский голос, а это очень приятно, особенно в языке. Ясным и лаконичном. Вы экономны, а это редкое достоинство».

Впрочем, и без ссылки на столь авторитетное мнение чеховские интонации несомненны. Доброта, ирония, грусть, связан-

ная с несовершенством человека, и бесконечная любовь к нему — вот что послужило основой для сочинения рассказов типа «Свидание», «Визит», «В электричке» и трогательной серии маленьких новелл под общим названием «Старики и старухи». Впрочем, юмору все возрасты покорны, и нельзя не вспомнить о многочисленных рассказах Ленча, в которых главными героями становятся дети...

«Детский» юмор Ленча не сюсюкающий и не умилительный, в нем всегда описан ясный и по-своему строгий взгляд ребенка на окружающий мир. Этот взгляд моментально обнаруживает фальшь и несуразность, будь это во внешнем облике взрослых, как это случилось в рассказе «Устами младенца», или в самой сути происходящего (рассказ «Спокойной ночи, малыши»).

Во втором томе избранных произведений Леонида Ленча — совсем серьезные повести «Черные погоны», «Из рода Караевых», а также автобиографические рассказы, воспоминания... Я не взял слова «совсем серьезные» в кавычки, хотя это можно было бы сделать, поскольку юмористический взгляд и здесь присутствует чуть ли не на каждой странице, но просто мне хотелось подчеркнуть, что тут автор представлен иными гранями своего творчества. Иными и по масштабам и по задачам.. Здесь, очевидно, нужен и иной критический разбор...

Вообще, наверное, я поступил несколько необдуманно, дав согласие написать рецензию на этот духотомник. Не смог я стать объективным рецензентом, поскольку творчество этого старейшего и уважаемого мастера нашего цеха все время заставляет говорить о самом жанре, о его успехах и просчетах.. Один критик справедливо заметил, что всякий человек, который с серьезным видом будет пытаться проникать в тайны смешного, рискует сам стать объектом того предмета, который исследует...

Наверное, со мной этот казус произошел! Наверное, нормальный читатель будет просто читать рассказы Ленча и смеяться, не задумываясь, как и почему сие происходит. И хорошо! Но если сделанное тобой заставляет читателя живо реагировать, а коллег по перу размышлять и думать о себе, то это и есть лучший отзыв на избранные автором и временем произведения...

Гр. ГОРИН.

ПО ЗАКОНАМ СМЕЖНОЙ ПРОЗЫ

Л. Аннинский. Контакты. Литературно-критические статьи. М. «Советский писатель». 1982. 328 стр.

Л. Аннинский. Лесковское ожерелье. М. «Книга». 1982. 189 стр.

В области литературоведения и литературной критики существует как бы самостоятельный жанр смежной прозы (критики, смежной с прозой), выполняющей задачи критического анализа и подчиняющейся законам художественного мышления. Удельный вес художественности велик в литературоведческих работах таких авторов, как М. Бахтин, Н. Конрад, А. Лосев, С. Аверинцев. Опубликованные недавно «Контакты» и «Лесковское ожерелье» Л. Аннинского написаны по всем законам смежной прозы.

Прежде всего отметим стиль этих книг — заразительный, яркий, метафоричный. Отметим сюжетность критического повествования: скучноватый, казалось бы, отчет о писательской конференции Аннинский выстраивает как совершенную новеллу. Отметим индивидуальную узнаваемость речи: Аннинского не спутаешь с другим критиком. Но главное все же не в этом. Интересно и важно разобраться в самом методе его анализа.

Как известно, художественное мышление всегда конкретно, всегда тяготеет к единичному, которому уже затем — посредством авторской интерпретации — придается обобщенное или даже глобальное значение. Аннинский в этом смысле идет непосредственно вслед за литературой. Он не слишком доверяет абстракциям (даже в благородном гегелевском духе): как интерпретатор текста Аннинский всегда конкретен и деловит. Можно сказать и иначе: литература для Аннинского гораздо более явление жизни, чем искусства (отсюда и перевес этического над эстетическим), и в своих критических этюдах он словно бы снова и снова прописывает жизненную ситуацию, воссозданную писателем.

Иной раз даже кажется, что промежуточное звено литературы исчезает и Аннинский — с его понятийным аппаратом и литературоведческим словарем — напрямую пишет о жизни: «Нужна именно память армянской культуры, склонной не к «пиршеству красок» и не к подхватыванию «мировых новаций», а к аскезе формы и к созерцанию духовного единства прошлой и нынешней реальности. Нужен именно этот пятачок древней земли, откуда остатки Ноева ковчега, можно сказать, видны невооруженным, но имеющим воображение глазом на заснеженной вершине Ара-

рата. И Торгон, отец Гайка, дед Арменака, можно сказать, сам плыл в этом ковчеге с праотцем Ноем, и таинственные события библейской истории, можно сказать, происходили «здесь и только что», и великий Месроп Маштоц понятен без перевода, и от Еревана до Гарни — рукой подать...» Это из этюда о Гранте Матевосяне, но это и проза, смежная с прозой самого Матевосяна, как бы намагниченная ею и заряженная ее энергией (настолько намагниченная и заряженная, что прощаешь даже небольшую стилистическую погрешность: «глаз, имеющий воображение...»).

Конечно, Аннинский не всегда позволяет себе подобные взлеты фантазии и честно выполняет самую будничную работу критика — сопоставляет, анализирует, ведет полемику. Но при этом он не отделяет себя от автора барьером академизма, не скрывает своих личных вкусов и пристрастий. Игра в объективность для Аннинского — плохая игра, потому что у критика нет иного инструмента для проникновения в литературную ткань кроме его же собственного читательского сознания, а личность читателя для литературы не менее важна, чем личность писателя. Аннинский — отдадим ему должное — никогда не выносит критических оценок в обход своего читательского отношения к книге, у него невозможно такое, когда с наслаждением прочитывают, а затем с таким же наслаждением ругают прочитанное. Более того, тщательно фиксируя свои читательские впечатления, Аннинский воссоздает с их помощью ту сиюминутность восприятия книги, с которой и начинается ее критическое осмысление.

Сравнивая «Курземите» Иманта Зиедониса с «Ладом» Василия Белова, Аннинский не боится признаться: «Небезоговорочно, не без колебаний — мне сейчас ближе Белов. Не потому, что корни мои ближе к вологодской почве, чем к землице куршской; тут дело отнюдь не в национальных корнях; на любой национальной почве есть и то и это; вон Шукшин nascковъ русский, а какая взрывная, бунтующая сила и какие праздники-разрядки прорываются тут сквозь будни. Нет, дело не в национальной тяге. Просто меня действительно пленяет та овеванная поэзией, старинная, органическая жизнь, которую реконструирует Белов в своей Тимонихе. Душа моя — с ним».

Читательское и личное не убрано здесь за скобки, а, наоборот, вынесено на передний план и поставлено в самый центр рассуждений, хотя это признание души и будет скорректировано в дальнейшем «резвым умом» (Белов окажется большим романтиком, чем Зиедонис).

Аннинский погружается в свое читательское сознание так же, как писатель — в сознание своих героев. Может быть, в этой параллели есть и преувеличение, но в принципе она верна, Аннинский своим искусством чтения способен увлечь, заразить, вызвать желание увидеть книгу его глазами. Даже такую, как «Война и мир»: «...книга — как храм, как мироздание, как вселенная, а сложена из кирпичей «деловой прозы». Вот это действительно чудо!»

Зададим теперь главный вопрос: в какой же точке читательская интуиция смыкается с аналитическим методом, или, иными словами, какова научная отдача художественности в смежной прозе Аннинского?

В «Контактах» Аннинский имеет дело с современными литературами братских республик, еще не отстоявшимися в нашем читательском восприятии, поэтому художественное чутье необходимо вдвойне: оно помогает схватывать черты неповторимого и уникального в самых разных литературных явлениях. «Уникальность сейчас — такой же пароль во всех концах мира, как сто лет назад — универсальность, — говорит Аннинский. — Это реальная черта ситуации; в основе ее лежит чувство достоинства всякого современного народа, большого и малого...» Вот почему с такой пластичностью выписывает автор «Контактов» характерные признаки литовской школы «подводного видения», эстонской «лабораторной прозы», белорусского реалистического письма, грузинской притчи, восточного орнаментального стиля. Вот почему так рельефно чеканит портреты Йонаса Авижюса, Миколаса Слущкиса, Ояра Вацетиса, Павла Мовчана, Ираклия Абашидзе, Андрея Лупана, Виктора Козько и многих других писателей союзных республик.

Именно в поиске национально неповторимого — одна из главных задач «Контактов»: «...чем более мы непохожи друг на друга, тем лучше друг друга понимаем и тем больше друг другу нужны». Эта же мысль развивается далее в категориях национального и общечеловеческого, соотношению которых Аннинский — со свойственной ему тягой к конкретному — придает пластически-осязаемую окраску: «Чем выше

мы поднимаемся в структуре культурной иерархии, тем труднее «прощупывать» общее; на самом всеобщем уровне мы имеем уже совершенно умопостигаемый образ «всего человечества» или уж — чисто технологические приметы «всеобщей культуры», похожие меж собой, как похожи пылесосы на всех континентах. Однако эта «неощутимость» не мешает нам твердо знать и постоянно чувствовать, что общечеловеческий уровень есть и оказывает на всех нас огромное воздействие». Как видим, Аннинского не упрекнешь в недооценке значения общечеловеческого, и все же акцент поставлен на национальном.

И тут вопрос: почему книга, целиком посвященная литературам братских республик (литовской, эстонской, латвийской, украинской, грузинской, армянской, белорусской, азербайджанской и др.), названа в предисловии книгой о русской литературе и русском читательском опыте? Ответ дан автором здесь же: «В ваше время, когда двенадцать языков, скрещиваясь и пересекаясь в поле русской культуры, вплетаются вместе с нею в мировой духовный процесс, сообщают и самой русской культуре роль далеко не «местную», а делают ее как бы своеобразной «моделью» многонационального человечества...» Стало быть, можем добавить мы, универсальность бывает разная, и хорошая и дурная (аналог гегелевской дурной бесконечности), поэтому язвительный выпад против пылесосов, одинаковых на всех континентах, закономерно соседствует у Аннинского с эпиграфом из знаменитой пушкинской речи Достоевского («Русский человек... со всеми уживается и во все вживается»). Поэтому столь же закономерно и постоянное обращение автора «Контактов» к опыту русской литературы — сравнение Зиедониса с Беловым, Сейсенбаева с Шукшиним, Козько с Горьшиным и т. д.

Если «Контакты» есть своеобразный отчет о русском читательском опыте, то мы вправе ждать от автора психологического среза его впечатлений: чтение слишком многослойный процесс, чтобы ограничиться одними теоретическими доводами. В «Контактах» мы действительно находим место, где этот опыт прочерчен в его психологической данности. Отдавая должное и эстонской «лабораторной прозе», и грузинскому совмещению «видимого» и «невидимого», и «литовской медлительной медитации среди бытовых реалий», и «напряженной романтике украинской новеллы», Аннинский с особым чувством говорит о русской традиции, эпицентр которой — О-

стой и Достоевский, а из современных — Шукшин, Трифонов и Распутин...

К именам Толстого и Достоевского автор мог бы добавить и еще одно имя, возвращающее его в лоно русской традиции, — имя Лескова; посвященная его творчеству книга Аннинского по своей проблематике, стилю и методу вполне может быть поставлена рядом с «Контактами».

Мы часто повторяем привычную фразу о том, что произведения классики живут в наши дни, но сама эта жизнь не часто раскрывается во всей ее полноте. Между тем классическое слово незримо формирует наши эмоции, вкусы, отношение к вещам, и если оказалось возможным выделить Достоевское в характере замечательного музыканта, то Лесковское может быть выделено во многих случаях не только в литературе, но и в музыке, театре, кино, графике. Дело здесь вовсе не в иллюстрировании как таковом и не в создании произведений на тему; гораздо важнее отклик одного вида искусства на другой. Именно об этом заставляет задуматься «Лесковское ожерелье» Аннинского — книга, рассказывающая о судьбе произведений замечательного писателя.

Лев Аннинский останавливается и на опере Шостаковича «Катерина Измайлова» (на сюжет «Леди Макбет Мценского уезда»), на театральные постановки «Левши», на экранизации произведений Лескова. Живо воссоздает картину журнальной полемики вокруг Лескова, воскрешает атмосферу яростных споров и борьбы мнений прежних лет. Живое вмешательство в те журнальные битвы дает как бы побочный эффект: мы ощущаем прошлое через себя и устанавливаем с ним контакты (вспомним заглавие первой книги) по принципу резонансной отдачи.

Особенно пристально вглядывается автор «Ожерелья» в полемику вокруг романа «Некуда», отнюдь не причисляемого к числу художественных шедевров Лескова (интересно, что так же охотно останавливается Аннинский на «неудачных» повестях Гранта Матевосяна или Тимура Пулатова), но зато обнажающего корни его сложного мировоззрения. Вот он пишет: «Что думает... автор, что чувствует? Неясно. Что-то между горечью и злорадством. Что-то нелогичное, не поддающееся ни планиметрии ума, ни светлой глубине сердца. Умом — на крепкого купца надеется, на «Луку Никоновича» (наивность, конечно, как мы теперь знаем). Сердцем — к Лизе Бахаревой пририс, к жертвенным романтикам (и этим недолго осталось, мы — знаем). Но

еще — чутье. Сверхъестественное лесковское чутье. Гениальное ухо, которым он ловит и далекие тектонические гулы из «глубины земли», и близкие, «из-за стены», косноязычные крики». Выделены — чутье, интуиция, художественное подсознание. В этом, по Аннинскому, ключ к Лескову. Стихия лесковской художественности как бы вбирает в себя его общественные симпатии и антипатии, исключает разноречивую оценку.

Аннинский не сглаживает противоречия Лескова. Правда, некий «волевой напор» ощущается там, где он называет Лескова безусловным сторонником социального прогресса и конституционного развития, противником церковного обскурантизма, приписывая все эти качества русскому гуманистическому сознанию XIX века (куда же девать тогда гуманизм Толстого!). Но это дань все той же полемике (так нам думается), в остальном же Аннинский остается верен методу своей смежной прозы. Как и в «Контактах», он видит предмет напрямую, избегая этакое «этикетное» литературоведение. Чисто писательская наблюдательность и чувство слова (слово как бы само ведет) позволяют ему коснуться живой характерности лесковского письма: «Противоречивость реальности не преображалась под его пером ни в философское откровение, ни в психологическую диалектику души, — эта противоречивость как бы выкладывалась в ткань текста, скручивая текст в вязь и порождая знаменитое лесковское кружево, когда не вполне понятно, кто перед нами: автор или шутник-рассказчик, действующий от его имени, и что перед нами: авторская речь или тонко стилизованный сказ; то ли «от дурака» мысль, то ли «от умного», а скорее всего — и то и другое разом, в хитросплетении, в том самом затейливом плетении словес, за которое Лесков и взят потомками в вечность».

«Левша» — знаменитый рассказ о тульских оружейниках, подковавших блоху и посрамивших англичан, — рассматривается Аннинским с тех же позиций: «Мне даже, пожалуй, все равно, подкуют или не подкуют, «посрамят» или «не посрамят». Я понимаю, что игра не в этом. Всем своим читательским сознанием, обкатанным литературой XX века, я настраиваюсь не на сюжет, а на тон. На обертона. И с первой строчки меня охватывает противоречивое, загадочное и веселое ощущение мистификации и исповеди вместе, лукавства и сокровенной правды одновременно». Своим «пожалуй, все равно» Аннинский и сам

как бы подключается к лесковской игре, лесковскому карнавальному жесту (говорим об этом в интонациях Бахтина, потому что от него во многом отталкивается и автор «Ожерелья»), но очевиден и серьезный — литературоведческий — итог его рассуждений. В художественном сознании Лескова обнажено и показано то, что сближает его с исканиями выдающихся новато-

ров XIX века: многоголосие лесковского сказа переключается с полифонизмом романов Достоевского, а лесковское кружево оказывается сотканным из тех же примерно нитей, что и суровая ткань толстовской прозы.

Смежная проза Л. Аннинского чутко отзывается на такие переключки.

Леонид БЕЖИН.



Политика и наука

ТРАКТОР — МАШИНА АВТОРИТЕТНАЯ

Д. С. Комаров, Е. Г. Ховин, Н. И. Заржевский. *Летопись Челябинского тракторного (1929—1945 гг.)*. М. Профиздат. 1972. 376 стр.

Л. С. Комаров, В. Г. Боярчиков. *Летопись Челябинского тракторного. 1945—1980*. М. Профиздат. 1982. 392 стр.

Па-па, купи мне трактор,— просит, молит меня четырехлетний мой сын.— Знаешь, красный такой. Купи-и-и...

Мы с мамой этого самого сына более или менее глубоко изучили его повадки. И родительский опыт плюс интуиция подсказывают нам, что аляповато-багряный пластмассовый трактор за 2 р. 48 к. уж непременно надо купить. И напустив на лица то просительное-жалостное выражение, которое по неписаной, но несокрушимой традиции просто-таки обязан иметь на лице покупатель, трепещущий перед продавцом, мы тянемся к скучающей за прилавком красотке: «Покажите... пожалуйста... если можно... трактор... вон тот...»

«Трактор— машина авторитетная»,— изрек когда-то пожилой тракторист из целинников, и, не будучи расположен к коллекционированию каких-то особенных метких словечек, эту сентенцию я усвоил на всю жизнь. Трактор и впрямь машина авторитетная. В нем есть что-то очень важное, очень начальственное, хотя в то же время он не из чванливых, не из высокомерных начальников: он и сам готов работать денно и нощно, работать не покладая рук. Но если авторитетен трактор, то и заводы, на которых делают тракторы,— заводы авторитетные.

Таким и представляют Челябинский тракторный завод два тома его истории «Летопись Челябинского тракторного». О литературных задачах и свойствах «Летописи...» можно, конечно, спорить. Но бесспорно, что создавали ее старательно, тщательно, факт подбирая к факту, эпизод к эпизоду. Выспрашивали ветеранов, очевидцев великих событий, свидетелей начала строительства на окраине Челябинска завода, заводи-

ща. Завода-гиганта. И на исходе 20-х годов этот завод начали возводить; в народном сознании день за днем укреплялась идея насущной необходимости такого завода, и чисто индустриальной и общественно-нравственной необходимости. Завод стал словом народа, воплощенным в граните, в бетоне, а три с половиной года спустя и в первом тракторе.

Однако я хочу вернуться к тому, с чего начал: ребенок и трактор. Органичность или привнесенность извне в социальный быт новой техники я вполне серьезно рекомендовал бы проверять на детях. Детям чуждо надуманное. Я заметил: дети напрочь отвергли новинку — запоры с цифровым кодом, которые стали кое-где устанавливаться в подъездах наших домов: идея настороженно зашифрованной двери им глубоко чужда. А трактор они принимают безоговорочно. Почему-то в первую очередь трактор.

Возможно, потому, что трактор — машина открытая. Он минимально декоративен. Он весь на виду. Он любит уединение. Не одиночество, нет, а поэтическое уединение; и из всех машин лишь в тракторе может реализоваться непреходящая наша русская жажда побыть наедине с полевым простором и, оставшись с ним с глазу на глаз, исподволь преобразовывать этот простор.

Трактор может, кажется, все: пашет, боронует, сеет, корчует пни и таскает лесины. Но есть у него одна совершенно особая функция, роль: он — спаситель. Читал я где-то, в одной гневной статье о нашей «деревенской» литературе, что ходячим сделался сюжет о трактористе, который жертвует собой, погибает, спасая трактор. Выразалось негодование: это, мол, какое-то

обожествление трактора. Культ его. Но кажется мне, что на вещи можно и по-другому взглянуть: можно лишь изумиться нашей способности находить душу живую даже и в грохочущей массе стали и алюминия. Увидеть в машине друга. И что трактор друг, это знают и замерзавшие в буранных степях, и врачи «скорой помощи» это знают, потому что скорой медпомощи приходилось громыхать по бездорожью и на тракторах тоже. Трактор подвозил продукты туда, куда только он способен был их подвезти. Трактор — последняя опора потерявших надежду. Одним словом, он друг. Дружище. А друзьям платят дружбой же, своеобразным обожествлением их; и не так-то уж плохо, что литература форсирует закономерность: некто спасает спасающего, отдает машине здоровье, а то и жизнь. Искомая, алкаемая всеми нами духовность может быть проявлена и по отношению к, казалось бы, бездушной машине. Андрей Платонов угадал тайну связи рабочего и паровоза. Можно только сочувственно поддерживать того, кто пытается проникнуть в тайну связи рабочего, крестьянина с трактором. Трактор — единственная пока машина, ставшая машиной а р о д н о й. Америка — классическая страна автомобилей. Мы — страна тракторов.

«Летопись Челябинского тракторного» — два тома добросовестного труда литераторов-уральцев, связавших себя с историей своего завода. Книга включена в серию «История фабрик и заводов», задуманную, как известно, еще Горьким и продолжаемую в наши дни.

Возникает совершенно особенный тип издания, литературно еще не осмысленный. Окрестить его стародавним названием «летопись»? Протестует во мне филолог: поэтика подлинной летописи вряд ли может быть безоговорочно перенесена в наше время и в наше понимание мира. Стилизовать поэтику летописи было бы кощунственно по отношению к трудам летописцев-монахов, проскрипивших перьями с XI столетия по XVII; а по отношению к нашему времени это явилось бы литературной натяжкой. Настроение летописца совершенно неповторимо: священный трепет пред ликом жизни и при точном следовании реальному ходу событий, безусловная вера в высший промысел, в чудо. «С самого утра 15 мая на сборке нельзя было протолкнуться — люди хотели видеть чудо рождения первого трактора», — вспоминают современные летописцы о весне 1933 года. Но, разумеется, «чудо» у них — метафора, чисто стилисти-

ческий, единичный отзвук летописи. А вообще-то литература давно уже создала куда более современный жанр — очерк. И «Летопись...» — это просто очерки по истории завода-громадины; завода, жизнь которого определила и облик Челябинска, и облик Южного Урала вообще, а отчасти и облик страны нашей тоже.

Очерк — всепроникающий жанр. Тематическая, фабульная универсальность очерка в книгах о Челябинском тракторном используется с азартом, решительно (можно было бы, впрочем, дерзнуть на большее). Очерк примиряет статистику с лирикой, историографию с юмором, инженерии с общественной педагогикой. А преобладающая материя книг — технология машиностроения и все то, что с ней явно или через цепь опосредований соединено. Уклонюсь от обсуждения специальных, инженерных сторон технологии. Мне важнее другое: литературный аспект. «Летопись...» основополагает традицию, которой предстоит развиваться. Она эксперимент, опыт, равно поучительный и в его заметной неполноте; такую ее и примем.

Журналисты-летописцы поставили себя в положение посредников, толмачей, растолковывающих нам, непосвященным, тонкости машиностроительной технологии, а самим машиностроителям раскрывающих исторический смысл, поэзию, душу их труда. Технология — главный объект заводского летописания, и найден он верно: история любого завода — это, пожалуй, прежде всего история технологии: именно здесь, в этой сугубо специализации, закрытой от непосвященных, герметичной и крайне ответственной сфере каждый раз по-новому повторяется путь, пройденный едва ли не всем человечеством, от кустарного к индустриальному. Журналисты это почувствовали; и история ЧТЗ, завода-гиганта, а вместе с тем и завода-личности, получилась у них историей методологического прогресса, сжатой в полвека. 1933 год: «На сборке моторов, например, не было еще электрованны, чтобы нагревать шестерни и подшипники для горячей насадки. Детали пока подогревались кустарно — в ведре на горне». Рабочий, подогревающий подшипники в ведре, — то, что было вначале. С этого эпизода начинается технологический сюжет «Летописи...». И эпизод за эпизодом — к технологии нынешней, современной.

Что-то в очерках получилось более удачно, что-то менее... Не преодолен еще некий литературный предрассудок, который над очерком тяготеет, в особенности же над очерком производственным: своего рода

эйдофобия. А ежели по-простому — образобоязнь. Робость выдумки. Робость проявить власть над материалом, хотя бы и самую малую: сообщить живому, реальному, по имени названному человеку свойства, присущие литературному персонажу.

Частность вроде бы: воспроизведение слов героев очерков, их прямой речи. В «Летописи...» есть слова, но нет живых голосов. Из года в год рабочие о чем-нибудь «заявляют», что-то «торжественно произносят» или «горячо говорят». И создается режущий слух диссонанс между многообразием того, о чем повествуют, и какою-то в принципе возведенной монотонностью самой повествующей речи. Очерк съезживается, художественно робеет.

А нить повествования найдена безошибочно, умно: технология. В этом отношении «Летопись...» — удача, на фоне которой как-то яснее становится, чем именно должна стать завещанная Горьким «История фабрик и заводов»: историй технологии, понимаемой и узкоспециально, в ее инженерной реальности, и социологически, и романтически, что ли, ибо технология — это и преемственность, и выдумка, и находчивость, и плод вдохновения.

А технология и национальный характер — такая проблема есть? Уверен, что есть. Общемировая индустриализация технологию, конечно, стандартизирует. Но тем интереснее проследить, угадать, как в стандартном, в одинаковом по-своему пробивается национальное. Искать национальное в историческом прошлом, в быте деревни? Тут никто не возражает. И отыскателей наших корней там, в деревне, уважают и чтут. Но все-таки: а завод, а машина? На них-то что, национальное вдруг окончилось?

Продолжаю начатую мысль: Россия и трактор нашли друг друга, и мы — свидетели интереснейшего процесса обрусения безликого механизма. И Челябинский тракторный — это же русский завод, воздвигнутый на границе Европы и Азии, сложившийся на выселках небольшого, даже губернским сроду не бывшего городка, на базе двухсот-летнего диалога человека с металлом. Русские рабочие его строили, вбирая в массу свою и украинцев и узбеков... — интернациональный характер ЧТЗ внятно показан в «Летописи...». ЧТЗ полвека деятельно трудится, и деяния его никак не нивелировали русского склада мышления, а, напротив, что-то в нем выявили.

Покойный преподаватель МГУ, трагически погибший совсем молодым, Владимир Краснокутский высказал однажды гипотетическую мысль: русское мышление — мышле-

ние по преимуществу пространственное, архитектурное, зодческое. Неевклидова геометрия Лобачевского закономерно родилась на Руси. Это уровень высочайший, но и на уровне повседневности — то же: стремление к решению именно пространственных головоломок неизменно томит русский ум.

Сознаю предварительный, спорный характер предположения о пространственной направленности национального мышления как одной из его особенностей. Но я склонен его разделять.

Вот хотя бы кульминация «Летописи...» — переход ЧТЗ на производство танков и самоходных орудий. Завод-кормилец призван стать и заводом-спасителем. В «Летописи...» передана планомерность эвакуации первого военного года и неизбежная пуганица: «Только на мощных, отправленных из Харькова молотах можно было штамповать колесчатые валы для танковых двигателей.. Но приступить к штамповке колесчатых валов завод не мог. Не было фундамента для пятнадцатитонного молота и, что самое страшное, не было одной из половин шаблона: подставки под молот, огромной стальной отливки весом 150 тонн». Запропала куда-то отливка. Нет ее. И выход был найден: шабт осторожно заменили другим, поменьше, а главное, фундамент под молот построили. Необычайно остроумное пространственное решение этой задачи нашел инженер, который «рассчитал свой проект с точностью до микрона».

Он предложил подготовить котлован под фундамент кессонным способом: копать штольно закрытым путем. Этот рискованный проект позволил сэкономить заводу тридцать драгоценных дней. А что значил тогда для завода хотя бы один день экономии, каждому ясно!

Очерки «Летописи...» написаны как бы из глубины цехов, изнутри завода. Отсюда их журналистская точность, добротность; но этим же, возможно, обусловлена их скованность, некая литературная робость. Мне кажется, что повествование о заводе может получиться более полным и щедрым при непрямом участии в нем и, так сказать, человека со стороны, доброжелательного литератора-пришельца. Самому себе не удивись. Удивляются тому, чего раньше не ощущали, не видели. И меня, например, отрадно удивляет одно примечательное явление, о котором очерки то и дело напоминают: игра.

Дело было во время войны, «мальчуган лет 13—14 работал у станка, сверлил детали, затем внезапно бросил работу, схватил

бронзовую втулку, привязал к ней проволоку и начал бегать по цеху, катать эту втулку, как колесо.

— Ты что делаешь?..

— Играю,— на ходу ответил паренек и помчался дальше».

Не от хорошей жизни играл в такую игру этот человечек. Однако фигурка его символична: серьезнейшее дело — машиностроение немислимо без спрятанной в нем, рас творенной в труде игры.

Профессия — не только умение что-то делать. В ней есть игровое, духовное начало — в той метафоре, которая здесь живет.

Что означает фразеологизм «работать играючи»? Вероятно, это не значит просто работать легко, без видимого напряжения. Тут есть и более глубокий смысл.

Поэзия труда, как показывают очерки «Летописи...», включает в себя и игру. Диапазон ее необъятен: возможна и простая мальчишеская забава, и что-то выходящее за пределы привычного, житейского здравого смысла...

О фотографиях. «История фабрик и заводов» — случай, когда литература просто-таки должна сотрудничать с фотографией. С цветной, с черно-белой.

В «Летописи...» неплохо сделаны фотографии тракторов: в песках и в снегах, рядом с ездовыми собаками, на газопроводе и в хлеботородной степи. Много тракторов. Но все же фотообраза трактора нет. Нет того грозного добряка, богатыря, собрата танка, к которому страна привыкла в быту, в обыходе. Фототракторы «Летописи...» не удивляют, не радуют. Не таким, наверно, видит трактор спасающий его от стихий рабочий, не таким видит его и четырехлетний московский мальчик. А уж люди-то... Стран-

но, но 30-е годы на фотографиях получились лучше. Эти фотографии непосредственны, наивны, но они повествуют о некоем творении мира, о заполняемой пустоте и о подвижниках в драных пиджачках и бесформенных брюках. А фотосовременность — групповые снимки, портреты. Краткие, будто из официальной характеристики, подписи. Это все? Все. Жаль, что все: ни тебе неожиданных ракурсов, ни парадоксальных совмещений, ни сценок из заводской жизни, ни, наконец, технологии, о которой очерки сумели добросовестно рассказать.

...В июне месяце на ЧТЗ был юбилей: полвека работы, полвека с того дня, когда сделали первый трактор, детали коего подогрели в ведерке. «Летопись...» не следует рассматривать в виде торжественного подарка к знаменательной дате, и рассуждая о ней, мне хотелось бы снизить возможную патетику тона, отнестись к ней просто как к литературному начинанию, в котором участвовало множество свидетелей, добровольных мемуаристов.

«Ты репортер? Опиши мою жизнь!» — такое, несомненно, приходилось слышать журналисту, выезжавшему на строительство, на завод, в село. Рабочему человеку очень хочется, чтобы жизнь его описали. И он, в общем-то, прав.

«Опиши мою жизнь!» — потребовал ЧТЗ. И создали «Летопись...». Опыт челябинской «Летописи...» по-своему драгоценен; история завода воплотилась в двухтомном документальном повествовании. Жанр очерка расширил свои возможности. И историки следующего завода, надо надеяться, смелее используют достижения челябинцев.

В. ТУРБИН.



ВСТРЕЧИ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Дорогами России. Очерки. Сборник второй. Составитель А. Л. Никитин. М. «Советский писатель». 1983. 486 стр.

Агреном Василий Николаевич, мужчина в летах, неотрывно глядя в окно поезда, нехотко идущего по Валдайской возвышенности из Бологого в Великие Луки, хмурится, сокрушенно качает головой.

— Два часа едем — ни одной деревни! Погляди на эти холмы — пахались. По низинам покосы были. Куда что подевалось. М-да... Валдай — это, знаете ли, край, богом посланный человеку.

Так начинается наше знакомство.

— Я бы не стал строить тут комплексы-гиганты,— рассуждает он.— Тут нужны мелкие фермы, ну, скажем, коров на пол-

сотни, от силы на сотню. И животноводческое звено из трех — пяти трактористов. С набором машин, разумеется...

Я слушаю, размышляю, как это может быть, а поезд идет себе по Валдаю, и пожилой агроном, откинув давно не белую уже занавесочку, смотрит прищурясь в окно. У него загорелая, крепкая шея и седой бобрлик на голове. Он смотрит в окно, фантазирует:

— На таком вот косогоре, в светлом безрезничке, над озером поставил бы симпатичные домики. С возможными в наше время удобствами, ну там газ, водопроводик,

русская банька и прочее. Оплату разработал бы аккордную, чтобы старание стимулировала. Можно даже на такой вариант пойти: дать трактористам квартиры в поселке — все-таки дети, школа, аптека для матери-старушки, — а тут вроде стана. Ну, кто как пожелает.

— Найдутся ли охотники? — возникает сомнение.

— Отбоя не будет! Городские пошли бы. Говорил я с некоторыми.

Это только одна встреча в дороге. Один разговор с человеком, болеющим за судьбу огромного края, имя которому Нечерноземье. Здесь, как, впрочем, и повсеместно, идет промышленное, жилищное строительство, новые города встают, дороги прокладываются, водохранилища растут, но немало пахотной земли, да и вековых крестьянских традиций, теряется по недосмотру, по недомыслию, по небрежности!

Задача, разумеется, не в том, чтобы звать сельского труженика назад, к той опозитивированной сельской жизни, которая существует, пожалуй, лишь в ретроспективных наших пасторальных размышлениях о деревне как таковой.

Современный крестьянин — механизатор, оя на тракторе, на комбайне, он с машиной, и не лучина в его избе чадит, и не в избе он зачастую уже живет, а в блочном доме на две, на четыре семьи, и асфальт перед тем домом положен, а не стежка вытоптана. Как увязать прошлое с настоящим, как воспитать хозяина, сеятеля и хранителя родной земли — вот темы наших встреч. И, конечно: как и что строить на селе, чтоб его житель имел свои, сельские, удобства не хуже городских.

Директор совхоза «Маевский» Юрий Станиславович Янкевич, думающий директор, рассказывает, что беда сельского строительства в том, что действует некая схема, оторванная от жизни. Проектировщики выбирают место, они же составляют проект, банк отпускает кредит, передвижная мехколонна приезжает строить, комиссия из представителей десяти — пятнадцати организаций обходит, глядит, подписывает акт приемки. И ни в одной (подчеркнем — ни в одной) стадии строительства будущий житель не участвует ни голосом, ни рублем. В положении наблюдателя он ждет, что создадут для него приезжие. И забывается подчас, что понятия о жилье в городе и в селе разные. Горожанину давай квартиру с ванной, рядом парк культуры, асфальт на улице непременно, и чтоб набережная на реке, рассуждает Юрий Станиславович, и чтоб трамвай к месту рабо-

ты. Сельскому жителю, современному человеку, связавшему жизнь с сельским хозяйством, дай красивое место — вот он, дефицит красоты! — чистое озеро, лес за околлицей, сухой подпол, жаркую баню..

Да, я соглашаюсь, истинный житель деревни — великий практик, он очень скоро понял и рассудил: если уж жить по-городскому, так поеду-ка лучше в город; а быть серединкой наполовинку он не хочет. Незачем ему эта странная роль.

В книге «Дорогами России», где я и «познакомился» со всеми теми людьми, о которых идет речь, читатель как бы беседует с бывальыми сельскими тружениками, любящими свой край, свое дело. Так построена эта книга — люди и встречи. И не просто констатация и рассуждения на заданную тему, а поиск действенных путей в решении тех задач, которые поставлены перед Нечерноземьем.

«Мы не стремились, — доверительно сообщают авторы очерка «Пашня живая и мертвая», — выработать рецепты от всех недугов на селе: это — хлеб ученых мужей и аграрников-специалистов, — мы пытались осветить лишь в малой части те животрепещущие чувства и мысли людей, с которыми соприкоснулись...

Каждый гектар должен вновь стать ба-тошкой-кормильцем...»

Мысль, характерная для всех авторов сборника, ведущих в нем серьезный разговор об ответственности. Об инициативе общей и личной в сельском строительстве, на фермах, в поле.

Всякие годы, засушливые и холодные, случались на памяти полевода Терентия Семеновича Мальцева, но ни разу не было такого, чтобы на колхозной земле, ему доверенной, не собирали хорошего урожая. Ни разу не числился колхоз «Заветы Ленина» в должниках перед государством. Ни до войны, ни в военное лихолетье, ни после.

— Каждую весну, двадцать лет кряду, позорили меня за поздний сев, — эти слова Мальцева приводятся в очерке «Философия земледелия». — Позорили, ругали почище, чем отец, бывало. И каждую осень, тоже все двадцать лет подряд, хвалили за хороший урожай. Я привык к этому, и когда позорили — не особенно печалился, и когда за высокий урожай отмечали — не очень радовался, знал, что весной снова будут позорить. — Так говорит академик Мальцев. И добавляет: — Но послушать, почему же вы высокий урожай получили, те ругатели не приходили. У них отчеты, им некогда.

Его ругали, а он делал по-своему, зна-

менитый полевод. Это теперь в районах Зауралья привыкли к позднему севу. Но до сих пор не все и не всюду. То, что разрешается Мальцеву, не всякому агроному позволят, и оправдание есть: «Жизнь у Терентия Семеновича вон какая за плечами! Вот и накопил разных наблюдений». А поскольку другие агрономы такими навыками не обладают, то пусть уж лучше раньше отсеются, раньше уберут, так считают те, для кого куда важнее отчитаться бумагой, а не делом. Мальцев листает старую книгу, читает: «Ум без смелости неподвижен, а смелость без ума опасна». Мы за смелость с умом.

Все собранные под одну обложку очерки посвящены сельским проблемам, они о личном хозяйстве, о шефстве, постоянных кадрах на селе, о чистых парах и кормах, и — вот ведь что любопытно — мне, городскому жителю, это интересно!

В одном хозяйстве, может, это и не масштабно, но если широко кинуть взгляд, то вот они, так называемые неперспективные людские поселения, оторванные от центральных усадеб бездорожьем или просто расстоянием, покинутые и полупокинутые деревни, это — сотни тысяч стариков. Сами они вряд ли справятся со своим хозяйством, им помогают родственники-горожане. Дачники. Одновременно учатся любить свою страну, ее природу.

Не видеть всех эти взаимосвязей, не замечать большого труда «дачников» в деревне может только человек, оторванный от реальной жизни или ослепленный узковедомственными взглядами. На земле должны жить люди, это первая заповедь. Земля не может и не должна пустовать.

Но Нечерноземье — не только деревня, проблемы строительства современного крестьянского дома, не только пашня, луг, дорога, новый сорт пшеницы или ячменя, многотрудные заботы по сохранению сельхозтехники, заботы Нечерноземья — это еще и охрана леса, реки, воздуха, одним словом — природы. И вот «дорогами России» приводят нас авторы и герои книги на берег Плещеева озера. Здесь в стародавние времена селились первобытные охотники и рыбаки, первые земледельцы, обживавшие русскую землю для нас, их далеких и, увы, не всегда бережливых потомков. Озеро видело пожары монгольского нашествия, слышало перебранку княжеских междоусобиц, видело разорение края в тяжелую годину Смутного времени, это здесь, по-над берегом, не в ногу шло ополчение освобождать русскую землю от

«двунадесяти языков». Все вынесло озеро. Вынесло и не оскудело. Но — незадача — поставили на берегу химический комбинат. Воду стали брать на технологические нужды скорохватом, без расчета, бетонные плиты побросали в тихую речку Вексу и былинный Трубеж дамбой перегородили...

В давние времена приказ Большого Кремлевского дворца строго следил за размерами выловленной рыбы, за ее качеством, за тем, чтобы ловили ее только редкими неводами установленного образца, ибо шла она не только на стол местных жителей, но и «на царский обиход». Это в ту пору, когда слово «экология» еще и не существовало. Теперь же рыбы заметно поубавилось, вода в озере уже не прозрачная и леса и луга вокруг лежат бесхозные. Так и получилось, приходим мы к грустному заключению, что в ситуации с Плещеевым озером как в нерукотворном зеркале отразилось положение всего Нечерноземья, его тревоги и надежды.

Найти в сложной ситуации наиболее правильное решение, отвечающее современному уровню знаний, существующему законодательству, постановлениям партии и правительства, провести решения в жизнь значит на деле содействовать воплощению той грандиозной программы, которая поставлена сегодня, когда государство не жалеет ни сил, ни средств на успешное развитие сельского хозяйства Нечерноземной зоны. Сегодня это передний край большой народной работы, о чем прямо сказано и на XXVI съезде КПСС.

А что будет завтра? Этот вопрос мы задаем себе вместе с пожилым агрономом Василием Николаевичем, полеводом Терентием Семеновичем Мальцевым, директором совхоза Юрием Станиславовичем Янкевичем и всеми теми беспокойными председателями, агрономами, трактористами, архитекторами, с которыми знакомят нас писатели и журналисты Анатолий Ананьев, Иван Васильев, Федор Абрамов, Антонин Чистяков, Вера Шапошникова, Иван Филоненко, Александр Никитин, Виктор Хохлов, Владимир Мельников, Андрей Никитин, Леонид Иванов, Михаил Зараев, написавшие серьезную, нужную книгу, открывающие самые острые, самые насущные проблемы Нечерноземья. Открывающие энергично и с той смелостью, которая оправдана житейским опытом и знанием дела, заботой о Нечерноземье, в отношении к которому сегодня нет и не может быть ни праздности, ни равнодушия.

Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ. От первого лица. Повести. Л. Лениздат. 1982. 400 стр.

Ленинградский писатель Александр Житинский дебютировал как поэт. Стихи его давнего сборника были написаны профессионально, ровно, но правда переживания в них нередко заслонялась литературностью.

«От первого лица» — вторая книга Александра Житинского — прозаика. Вошедшие сюда повести «Эффект Брумма», «Страсти по Прометею», «Арсик», «Хеопс и Нефертити», «Снюсь», «Лестница» отличаются энергией авторского стиля, сюжетной занимательностью, ненавязчивой, «домашней» фантастикой, которая пронизывает от начала до конца эти абсолютно реальные истории. Здесь присутствует некая научная гипотеза или допущение, придающее происходящему особый привкус энтэровской злободневности, ту степень условности, когда не так уж и важно, действительно ли существовал «эффект Брумма» или это только счастливая находка писателя.

Собранные вместе, эти повести образуют целостный цикл, сцементированный единством стиля, интонации, особенностями психического склада действующих лиц.

Главный герой повестей взрослеет вместе с автором, не являясь, однако, его лирическим двойником. Это вполне самостоятельный характер, развивающийся по своим внутренним законам. В нем угадывается логика духовного возмужания современного молодого интеллигента.

Проза А. Житинского — о сокровенной стороне жизни современника, которому не безразличны «вечные» загадки бытия. Эта обращенность к сокровенному есть уже в «Эффекте Брумма», но там автор как бы любит парадоксальной ситуацией, комичной фантазмагорией, когда провинциальный изобретатель самыми простыми средствами «проверяет» проверенные временем научные положения.

Герой «Лестницы» Пирошников сначала прятался от серьезных жизненных проблем, уходя в самосозерцание. Но странное поведение лестницы, которая возвращала его вспять, не выпуская на волю, лишает Пирошникова иллюзорного равновесия, заставляет действовать целеустремленно. В повести «Лестница» два стилевых пласта: монологи-размышления Пирошникова и нарочито бесстрастный, но ироничный комментарий автора. Взгляд героя на себя, таким обра-

зом, скорректирован жесткой и четкой оценкой с позиции зрелого опыта.

На смену веселым розыгрышам юности приходит вдумчивость, стремление постичь в их единстве диалектические противоречия обновляющегося мира. И диалектику самоопределения героя, призванного трудиться над его обновлением.

Илья Абель.



О СЕЛЬВИНСКОМ. Воспоминания. М. «Советский писатель». 1982. 399 стр.

Имя Ильи Сельвинского одно из самых ярких в созвездии имен, которыми открывается история советской поэзии. О творчестве поэта восхищенно отзывались Максим Горький, Владимир Маяковский, Назым Хикмет. Сельвинский вошел в историю советской поэзии как поэт-новатор, создатель «тактового» стиха, он был мастер эпических и лирических поэм, стихов, поэтических драм и трагедий. Вокруг его творчества завихрились дискуссии. «Конструктивистское» прошлое поэта долгое время не давало покоя его критикам. Многие из эстетических деклараций раннего Сельвинского были уязвимы — недаром с ним горячо полемизировал Маяковский.

После дискуссий 20-х годов о Сельвинском долгое время писали мало и неохотно. И лишь с начала 60-х годов стали появляться работы о поэте, свободные от полемических крайностей (В. Озерова, Д. Молдавского, Л. Озерова, О. Резника и других).

Мы говорим об этом потому, что в сборнике воспоминаний о Сельвинском затронуты различные этапы его творчества, споры о его поэзии. Составители сборника Ц. А. Воскресенская и И. П. Сиротинская собрали значительный, хотя и неравноценный материал, отражающий жизненный и творческий путь поэта.

Здесь звучат голоса его друзей, соратников, учеников. Интересны статьи К. Зелинского и Е. Габриловича, начинавших свой путь вместе с Сельвинским в рядах конструктивистов. Статьи А. Дымшица и В. Огнева — соединение воспоминаний о поэте и творческих суждений о его поэзии, что придает этим работам особую ценность. В. Огнев пишет об экспериментальном духе поэзии Сельвинского, о необыкновенном трудолюбии поэта. Подчеркивая яркую индивидуальность Сельвинского, его вечную неуспокоенность, жажду

совершенства, критик подытоживает: «...неприглаженным, спорным, раздражающим и восхищающим он и выходит к читателю стиха. Даже после смерти».

О годах учебы в семинаре Сельвинского в Литинституте рассказывает С. Наровчатов, сравнивая своего наставника с дирижером, руководившим «несогласным хором» учеников, вложившим всего себя в них — молодых поэтов. Воспоминания О. Резника, Я. Хелемского, А. Волкова, Н. Ушакова, Р. Рзы, Л. Озерова и других показывают и этапы жизненного пути, и многогранную личность поэта. Он прожил яркую, содержательную жизнь: был участником экспедиции «Челюскина» как спецкор «Правды», добровольцем пошел на фронт в дни Великой Отечественной, там, на фронте, в самое трудное время вступил в партию; будучи уже молодым человеком, поехал на целину...

В воспоминаниях, собранных в книге, образ поэта, повторяю, вырисовывается достаточно ярко, но, к сожалению, некоторые из авторов порой мельчат, перегружая свои рассказы второстепенными подробностями быта. Незаурядная личность И. Сельвинского, его богатая событиями биография не нуждаются ни в приукрашивании, ни в ореоле, ни в «дымке таинственности». Не следует, наверное, и поддаваться желанию представить поэта «таким как все», тем самым снизив и упростив его индивидуальность. Жаль, что в сборнике совсем не отражена тема «Сельвинский и русское народное творчество», а ведь фольклор играл значительную роль в творчестве поэта.

Это упущение и отсутствие серьезных комментариев несколько обедняют работу, которая несомненно привлечет внимание читателей.

В сборник вошли воспоминания далеко не всех, кто мог бы рассказать много интересного и значительного о поэте. Но и материал, собранный составителями книги, воссоздает запоминающийся образ крупного советского поэта.

Светлана Анисимова.

Ленинград.



ВАЛЕРИЙ КАПРАЛОВ. *Забывая дорога вдаль. Стихотворения и поэма.* М. «Молодая гвардия». 1982. 80 стр.

Читая книгу стихов Валерия Капралова, веришь в трудную и непридуманную судьбу героя этой книги, много пережившего и испытывавшего в жизни. Пройдя геологом-испытателем по Уралу, Сибири, Поволжью, он сполна узнал, что такое настоящая работа: «Как легка вагонетка пустая! Неподъемна лопата с рудой. И подземная мостовая — штольня с глыбами над головой.. Вот и смена насквозь прогудела. На ущелье сползла тишина. Погрузилось свинцовое тело в невесомость подушки и сна».

Стих Капралова конкретен, порой подчеркнуто заземлен, полон примет и реалий окружающей его жизни; скрытая энергия поэтического слова как бы перетекает в свежий запоминающийся образ: «Раскалялись степи. И стены дома солнечным лучом оштукатурены... Красил зной барак. Молоковозы солнце развозили». Или: «...когда

пилу мы водим по шершавому стволу, то сквозь его глухое колебание нам слышится отчетливо порой, что и у нас была судьба иная, пока мы ничего о ней не знали, покрытые корявою корой». Собственная жизнь представляется поэту звеном в общей цепи природного и общечеловеческого бытия.

Все, что произошло с лирическим героем, произошло не случайно и не впустую, а «чтобы в памяти вспыхнуть потом». Остатки своего след войны: «Я помню: война окончилась, а мы хоронили мать...»

Вот так и помню все: в последний раз нам мама улыбается устало...
А вся война потом прогрохотала,
как длинный поезд, прямо через нас.

Память поэта такова, что благодаря ей прошлое вплотную приближается к настоящему, своей духовной выстраданностью примыкает и срастается с ним. Одушевленное и воскрешенное прошлое обретает второе бытие, не менее подлинное, чем первое: «Я знаю, давно отзвенели подковы... Но то же палящее жгучее солнце штурмует меня, словно сам я — тот город, и щит мой повержен и пикой проколот».

Светом памяти, тревожными зарницами воспоминаний наполнена жизнь поэта, и «Забывая дорога вдаль» — это дорога, по которой ведет автор нас за собой, чтобы и мы, поощренные его строкой, вспомнили о своем прошлом, обо всем, что «ранит память...».

В стихах сборника идет речь о конкретных людских делах, поступках, самые значительные из которых подсказаны не только ближайшей необходимостью, но и глубиной нашего исторического опыта.

Мысль о наследовании живых традиций, бережном отношении к опыту отцов — лейтмотив сборника.

В. Нежданов.



Е. ГОРБУНОВА. Юрий Бондарев. *Очерк творчества.* М. «Советский писатель». 1981. 352 стр.

«Всегда трудно писать о художнике, который живет и работает в одно с тобой время, — признается Е. Горбунова, автор книги о Юрии Бондареве. — Его искусство в неостановимом движении. Осмыслить направление этого движения, его новые проявления и повороты совсем не просто...».

Подобную, «совсем не простую», задачу и ставит перед собою автор крупной монографии об одном из ведущих современных советских прозаиков, и, надо сказать, решает ее с достойной основательностью.

Путь писателя прослеживается Е. Горбуновой шаг за шагом. Критик анализирует нравственно-этическую проблематику ранней бондаревской повести «Юности командиров» и вскрывает конфликтную структуру повестей «Батальоны просят огня» и «Последние залпы». Пишет исследовательница и об остроактуальной проблематике «Тишины» и «Родственников», создавая которые «писатель не устращился сказать правду об одном из очень трудных и сложных периодов в жизни нашей страны». Исследуя роман «Горячий снег», критик спра-

ведливо отмечает, что стержень этого произведения — «судьба и совесть народа... а не только и просто битва в районе города Сталинграда».

О чем бы ни шла речь — о киноэпопее «Освобождение», о «Береге», романе, сопрягающем прошедшее и будущее, о малоформатной ли прозе Бондарева, — исследовательница каждое из новых произведений художника рассматривает в едином контексте его творческого развития. Вот характерный фрагмент: «Поначалу могло сложиться впечатление, будто различие между предшествующими военными повестями Ю. Бондарева и его новыми романами «Горячий снег» и «Берег» не столь уж существенно... Но различие существовало и носило принципиальный характер. Оно заключалось прежде всего в различии содержания, выходящего далеко за пределы конкретного сюжета, жанра и ситуаций, и более всего сказывалось в концепции мира и человека, обретающей в «Горячем снеге» и «Береге» ту философско-обобщающую глубину, историзм и эпичность, которые предопределялись требованиями нового времени».

Отрадно, что творчество Ю. Бондарева рассматривается здесь в неразрывной связи с современным литературным процессом. Весьма интересны и плодотворны, например, сопоставления прозы Бондарева с прозой Быкова или Богомолова.

Автор книги вдумчиво и внимательно вычленяет в творчестве Ю. Бондарева традиции Чехова, Достоевского и в особенности Льва Толстого. Причем Е. Горбунова вскрывает идейно-стилистическую с п е ц и ф и к у этого влияния.

С другой стороны, исследуя, скажем, «Тишину» и «Родственников», критик пишет уже о самом Ю. Бондареве как о создателе — позволим себе такое словосочетание — новаторских традиций в современной советской прозе: «Без сомнения, эти романы стали шагом на пути литературно-профессионального возмужания Юрия Бондарева. Они стали шагом и на пути создания нового типа романа, по форме психологического, «семейного», как называли бы его раньше, но по сути остросоциального, трактующего важные политические проблемы».

Ценным качеством книги Е. Горбуновой является, безусловно, привлечение обширного критического материала — как отечественного, так и зарубежного. В исследовании приведено множество фрагментов из рецензий, статей, откликов западных литературоведов. Солидаризуясь или полемизируя с ними, критик неизменно опирается на четкие методологические критерии. Вообще помимо достоинств чисто аналитических книга Е. Горбуновой привлекает насыщенностью документальной: здесь литературоведческое исследование подкреплено выдержками из многих интервью и бесед, эссе и воспоминаний, переписки и выступлений самого Ю. Бондарева.

Книга Е. Горбуновой носит подзаголовок «Очерк творчества», но по сути содержание ее шире. Это и разговор о пути Юрия Бондарева, и наблюдения над современным литературным процессом, и размышления об общих законах прозы.

Т. Снегирева.



Н. Н. МОИСЕЕВ. Человек, среда, общество. Проблемы формализованного описания. М. «Наука». 1982. 240 стр.

Перевести известные гуманитарные и естественнонаучные идеи, связанные с биосферой, на язык математики ученые пытаются, в сущности, впервые. И в этом новаторская ценность проблемы, поставленной Н. Моисеевым в рецензируемой книге. Разработка математической теории биосферы и составляет, если можно так сказать, научную интригу его сочинения. Появляется искушение, миновав путь логических рассуждений автора, поскорее заглянуть в конец работы: какова же развязка? Удалось ли хотя бы эскизно наметить математическую модель системы «человек — окружающая среда»?

Расчеты даже самых простых моделей, констатирует Н. Моисеев, выводят «естественников, математиков, специалистов в области теории управления, пытающихся моделировать, прогнозировать и программировать развитие биосферы, на традиционную, можно сказать, «вечную» проблематику всех гуманитарных наук — на проблемы человека и человеческой культуры. Оказывается, что без решения антропологических (в широком смысле философской антропологии), культурологических проблем их работа неполна — модели не замыкаются» (то есть не дают точного результата. — Р. Б.). Иной гуманитарий вздохнет с облегчением: значит, остается поле поисков для тех, кто рассматривает человечество не в совокупности некоторых формальных показателей, а прежде всего в особенностях его духовной жизни и культуры. Ну а могут ли вообще замкнуться подобные модели? Что в этом случае произойдет?

По мнению автора книги, имеется принципиальная возможность создать математическую модель динамики биосферы и человечества и с ее помощью выработать верную стратегию дальнейшего общественного развития.

Н. Моисеев последовательно идет от простого к сложному, рассматривая модели неживой природы, живого вещества, общественных процессов. И уже на первой ступени исследования, рассуждая об организации неживой материи, автор, думается, переоценивает возможности формализации. Ведь до сих пор, например, не создана — даже описательно — общая теория динамики земной коры. Не ясны закономерности геологической эволюции, а также ее движущие силы... Короче — масса нерешенных вопросов. Обо всем этом автор не упоминает. Но вряд ли можно создать модель биосферы, не выяснив важнейшие особенности ее неживого компонента. К тому же и земная кора, и биосфера, и человечество — это мозаика индивидуальностей (разных уровней сложности). Может ли их учесть модель? А если абстрагироваться от своеобразия, не утратим ли мы то главное, что характерно для реальных земных объектов?

Последний вопрос особенно важен, когда речь заходит о человеке. Это хорошо понимает и сам Н. Моисеев, утверждая: «Судьба человечества будет зависеть в первую очередь от того, каким он будет — этот че-

ловек будущего, — от того, насколько он будет способен преодолеть свой эгоизм, страсть к стяжательству...» Действительно, человеческая личность, индивидуальность — вот самоценные атомы, неделимые составляющие общества, не позволяющиеся, помоему, в прокрустово ложе математики. У научного метода познания, в том числе у математического моделирования, имеются свои ограничения, которые надо бы точнее определить, дабы не тратить усилия на решение недоступных для науки задач.

И еще: не целесообразно ли прежде всего сделать ретроспективный кибернетический (математический) анализ эволюции биосферы и человечества? Ведь прошлое мы знаем несколько точнее, чем будущее. На этом более достоверном материале и следовало бы опробовать глобальные модели (пока, насколько мне известно, были лишь весьма робкие и локальные опыты такой проверки).

Будущее человека, высвеченное волшебным, фонарем математики, — картина неприглядная. Не исключены и принципиально новые научные открытия, которые еще более усилят метод моделирования. Однако, думаю, как в будущем, так и в настоящем главное — это не потерять человека.

Р. Балавдин.



В. ДРУЖИНИН. Державы российской посол. Роман. Л. «Советский писатель». 1982. 480 стр.

Замысел романа «Державы российской посол» возник у В. Дружинина во время Великой Отечественной войны, когда в смертельный бой вступили не только две огромные армии, но и две непримиримые идеологии. Именно в эту пору фашистские идеологи возродили давнюю фальшивку под названием «Завещание Петра Великого», чтобы «исторически» оправдать вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, вбить клин между нашей страной и ее союзниками по войне. Как известно, пресловутое «Завещание...» приписывало Петру I безудержно агрессивные планы завоевания господства над миром, якобы переданные царем его преемникам как долгосрочная программа действий. В свое время этим фальсифицированным документом воспользовался Наполеон, когда двинул через Неман свою армию вторжения. Не обошлось без «Завещания...» и в годы Крымской войны: союзные державы шумно разыграли эту антирусскую карту, запугивая Запад вековой «угрозой с Востока». Старая ложь и ныне питает писания и речи врагов мира и разрядки.

Наши идейные противники тревожат тень великого Петра весьма часто. Некоторые из них готовы забыть любимое ими «Завещание...» и взять царя-преобразователя как бы в союзники: Петр-де вестернизировал Россию, признав несостоятельным все ее предыдущее историческое развитие, лишённое импульсов прогресса. Один из советников Рейгана, советолог Р. Пайпс, договорился даже до того, что объявил русских

крестьян людьми с первобытным сознанием, слепой, покорной гнету и бичу массой.

Вот почему обращение писателя к бурной эпохе правления Петра I приобретает особенно актуальный характер. Конечно, роман вообще и роман В. Дружинина в частности следует прежде всего оценивать по законам художественной литературы, и, думается, литературная критика еще займется подобным разбором. Мне же как историку хочется остановиться именно на историко-политическом значении этого произведения.

Главный его герой — Борис Иванович Куракин, представитель старинного княжеского рода, боевой офицер, талантливейший дипломат своего времени, верный сподвижник Петра I. В романе прослеживается вся жизнь Куракина — от службы солдатом «потешных» полков Петра до кончины в чине генерал-майора и полномочного посла России во Франции. Перед читателем проходят и яркие события той поры, когда на полях Европы шла война за «испанское наследство». В нее были втянуты помимо Испании Франция, Голландия, Австрийская империя, Пруссия и Англия. А Россия в союзе с Данией, Саксонией и Польшей выступила против могущественной Швеции, добиваясь выхода к Балтийскому морю. Крайне сложная международная обстановка обострялась весьма запутанными родственно-династическими связями правивших в Европе домов. Все это делало работу дипломатов особенно трудной, а нередко и небезопасной. К тому же лишь при Петре I были учреждены постоянные дипломатические представительства России в иностранных государствах. Постигать все тонкости политае русским послам приходилось, что называется, по ходу дела, без подготовительного класса.

В основу повествования положены архивные и библиографические находки, записки и воспоминания Куракина. Главное поприще, на котором проявились его выдающиеся способности, была дипломатия. Куракин исколесил всю Европу, охраняя интересы и достоинство своей страны за рубежом. Приходилось ему выпутываться и из весьма драматических ситуаций, когда действовать надо было инкогнито (как, например, при дворе папы римского), или разгадывать и преодолевать интриги окружения малолетнего французского короля Людовика XV. В Дружинин с большой убедительностью показывает, что в лице Куракина представители государств, имевших с ним дело встречали искусного, умного и тонкого политика, знатока тогдашней дипломатической игры. Лестные отзывы современников-иностранцев отнеслись также к образованности, начитанности российского посла, культуре его общения в самой различной обстановке.

Проводя своего героя по дорогам войны, по замкам, гостиницам и лачугам, сталкивая его с десятками людей разных национальностей и различного общественного положения, автор верен главной идее своего повествования — показать великую силу народа России, поднявшегося на новую историческую ступень в эпоху преобразований Петра I, удивившего мир своим стремительным взлетом, но не стремившегося к мировому господству.

Изучая дипломатические документы начала XVIII столетия, автор книги встретил такие неожиданно злободневные формулировки, что не удержался, чтобы не привести их и не прокомментировать. В самом деле, для нас, людей 80-х годов XX века, слова русско-французского договора 1717 года, заключенного при участии Петра I, П. П. Шафирова и Б. И. Куракина, «мир и безопасность в Европе» звучат знакомо, призывно и современно...

А. Преображенский,
доктор исторических наук.



МАРИС ЛИЕПА. Вчера и сегодня в балете. М. «Молодая гвардия» 1982. 190 стр.

Непринужденность. Искренность. Обширная информация. Это «родовые» качества книги Мариса Лиепы. Личность автора (он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, премий Нижинского и Петипа) проявилась и в ясном, точном языке, которым говорит Лиепа. Он будто именно нам, каждому в отдельности, хочет рассказать нечто интересное о своей профессии, об искусстве, о жизни. В том, что в тексте выдержана интонация прямого обращения автора к читателю, — несомненная заслуга Т. Большаковой, помогавшей автору в работе над книгой.

С нежностью и благодарностью говорит Марис Лиепа о своих родителях, о первых педагогах; с глубоким уважением, с горячей признательностью — о тех, кто учил его в юности, о наставниках в зрелые годы, когда он уже стал большим артистом. Репетиторам, дирижерам, оркестру, балеринам — всем не только нашлось место в книге, но и дана профессиональная, хотя порой и краткая, характеристика.

В книге не соблюдена хронологическая последовательность в расположении материала, что, однако, не мешает нам видеть логику артистического развития Мариса Лиепы.

«Вчера и сегодня в балете» — об этом исповедь автора, рисующего объективную картину положения балета в разных театрах разных стран.

Наибольшее внимание в книге уделено рижской и московской балетным труппам. В Риге Марис родился, здесь учился и даже всерьез увлекся спортивным плаванием. Пришлось решать жизненно важный для него вопрос: спорт или балет? В Москве, в Театре имени Станиславского и Немиро-

вича-Данченко его руководителем был выдающийся мастер балета Владимир Бурмейстер. Дебютант быстро усвоил замечательные традиции этого коллектива. Его исполнение первых же ролей привлекло внимание публики и профессионалов. Главный балетмейстер Большого театра Л. Лавровский пригласил Мариса в труппу ГАБТ. Началось стремительное восхождение М. Лиепы к вершинам искусства. Он танцует не только в балетах, поставленных Лавровским, но и в спектаклях других балетмейстеров.

О каждом спектакле, о каждом постановщике книга рассказывает лаконично, правдиво, убедительно. Заглавная партия в «Спартаке» А. Хачатуряна (постановка Л. Якобсона), принц в «Золушке» С. Прокофьева (Р. Захаров), шекспировский Ромео в знаменитом балете С. Прокофьева (Л. Лавровский), главные роли в классических балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Дон Кихот»... В то время, когда эти спектакли были совсем еще «молоды», танцевали Уланова и Лепешинская, расцветал талант Плисецкой, начинали свой путь к будущим большим успехам Максимова, Васильев...

Увлеченно говорит автор о «Спартаке» в постановке Ю. Григоровича. М. Лиепа явно считает партию Красса в этом балете лучшей своей работой за двадцать семь лет. Успех премьеры во многом предопределило и блестящее исполнительское мастерство его товарищей по спектаклю.

Отдельные главы книги посвящены работе М. Лиепы в кино и на телевидении, творчеству хороших и разных балетмейстеров, педагогической, концертной и постановочной деятельности автора, рассказу о том, как росли его дети, ныне артисты Большого театра. Радует сознание, что не оскудела земля русская даровитыми хореографами — есть кому принять эстафету. Талантливыми балетмейстерами показали себя Н. Касаткина, В. Васильев, В. Васильев, Д. Брянцев и многие другие.

Важными представляются мысли Мариса Лиепы о незаслуженно забытых балетах, о недопустимости поспешных перелицовок спектаклей, ранее поставленных известными балетмейстерами, о взаимосвязанности актера и зрительного зала, о тяжком труде артиста балета.

Каждая страница книги вызывает уважение к этой замечательной профессии. Автор показал, насколько сложен и ответственный труд балетного артиста.

Анна Илупина.

ПАМЯТИ ФЕДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АБРАМОВА

Федор Абрамов ушел из жизни, оставив нам для размышления огромное наследство — летопись нашей деревни последнего сорокалетия начиная с войны и кончая нынешним днем. Ее лица и характеры, душа и язык, нравы и экономика, мирозерцание и труд, личность крестьянина XX века во всей противоречивости его отношения к земле на сломе многовековых традиций и обновляющейся любви к почве, воде, зверю и колосу представлены в творчестве Федора Абрамова энциклопедично и одновременно с обостренным драматизмом. Он создавал свою летопись с крестьянской основательностью и с крестьянским радением о завтрашнем дне. Может быть, острее многих, пишущих о деревне, он чувствовал необходимость ее обновления, необходимость перемен в ее укладе, вызванных новым, современным уровнем социальных отношений. Его художественное чувство опиралось на неподкупный гражданский пафос.

Выходец из архангельской деревни, он прошел путь миллионов крестьянских детей, которым советская власть открыла дорогу к образованию, культуре и творчеству. Окончив университет, он защитил диссертацию по творчеству Шолохова. Как ученый-литературовед он занимался судьбами донского казачества, судьбами колхозного крестьянства послевоенной поры, чтобы как художник, как прозаик вернуться к родной северной деревне и вписать свою главу в историю советской литературы. Он прошел войну, участвовал в боях под Ленинградом, был дважды ранен — военному лихолетью посвящен его первый роман «Братья и сестры».

Творческая судьба Федора Абрамова была тесно связана с «Новым миром», эта связь основывалась на взаимном приятии и взаимном обогащении, на глубокой идейной и художественной общности. Этот союз длился почти три десятилетия. В «Новом мире» были напечатаны крупнейшие произведения Абрамова, принесшие ему общесоюзную и мировую славу: романы «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом», повесть «Пелагея», многие рассказы.

Художественная правда, трезвый, суровый и жизнелюбивый реализм, вера в деятельные силы народа щедро питали абрамовский талант, не давая ему иссякнуть до последних дней жизни писателя. Для каждого, кому дороги судьбы нашей страны, книги Федора Абрамова будут долго служить художественным документом прожитого, надежным источником духовной энергии и нравственным ориентиром.

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе. 2-е, исправленное и дополненное издание в 2-х частях. Чч. 1 и 2. 383 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ю. Давыдов. Две связи писем. Повесть о Германе Лопатине. («Пламенные революционеры») 463 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Левандовский. Кавалер Сен-Жюст. Повесть о великом французском революционере. («Пламенные революционеры») 395 стр. Цена 1 р. 40 к.

Е. Степанова. Карл Маркс. Краткий биографический очерк. Изд. 2-е. 286 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Гусев. Открытие. Повести и рассказы. 304 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Карим. Трагедии. Перевод с башкирского. 303 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Тарасенкова. Мяч на воде. Рассказы и повести. 279 стр. Цена 1 р.

А. Твардовский. Книга лирики. 447 стр. Цена 3 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Велиев. Избранное. Повесть. Романы. Перевод с азербайджанского. 544 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. Гордон. Избранное. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с еврейского. 541 стр. Цена 2 р. 20 к.

Из бирманской поэзии XX века. Перевод с бирманского. 190 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Флобер. Собрание сочинений. В 3-х тт. Перевод с французского. Т. 1. Госпожа Бовари. Саламбо. Романы. 623 стр. Цена 3 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Кондрашов. Небо выбирает нас. Повести. 317 стр. Цена 90 к.

Л. Леонов. Соть. Роман. 352 стр. Цена 1 р. 30 к.

О. Лойко. Янка Купала. («Жизнь замечательных людей») 351 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Светлов. Стихотворения, песни, поэмы. 255 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

О. Дриз. Моя песенка. Стихи. 288 стр. Цена 80 к.

Леонардо да Винчи. Сказки, легенды, притчи. Пересказал с итальянского А. Махов. 142 стр. Цена 50 к.

А. Пантелеев. Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 1. 446 стр. Цена 1 р. 50 к.

Сказки русских писателей. Вступительная статья и составление В. П. Аникина. 687 стр. Цена 1 р. 60 к.

«РАДУГА»

Избранные произведения поэтов Африки. Переводы. 553 стр. Цена 3 р. 70 к.

А. Моруа. Олимпико, или Жизнь Виктора Гюго. Роман. Перевод с французского. 639 стр. Цена 3 р. 40 к.

И. Томан, М. Томанова. Сократ. Роман. Перевод с чешского. 479 стр. Цена 3 р. 20 к.

Р. Флос. Уроки танцев. Роман. Перевод с немецкого. 254 стр. Цена 1 р. 60 к.

«НАУКА»

А. Аникст. История учений о драме. Теория драмы от Гегеля до Маркса. 288 стр. Цена 1 р. 70 к.

Сказки и легенды ингушей и чеченцев. Составление, перевод, предисловие А. Мальсагова. 384 стр. Цена 2 р. 50 к.

«ИСКУССТВО»

В. Блок. Диалектика театра. Очерки по теории драмы и ее сценического воплощения. 294 стр. Цена 1 р. 60 к.

Л. Вороникина. Государственный Эрмитаж. («Города и музеи мира») 456 стр. Цена 2 р. 80 к.

П. Марнов. Книга воспоминаний. Предисловие А. О. Степановой. 607 стр. Цена 2 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Е. Винокуров. У вечных рек. Стихи о Грузии. Переводы из грузинской поэзии. Тбилиси. «Мерани». 117 стр. Цена 50 к.

Гуругли. Девять сказаний о подвигах Гуругли и Аваза-богатыря. Перевод с таджикского. Душанбе. «Ирфон». 160 стр. Цена 80 к.

Р. Мишвеладзе. Новые новеллы. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 223 стр. Цена 80 к.

В. Распутин. Прощание с Матерой. Повести. Красноярск. Книжное издательство. 592 стр. Цена 2 р. 60 к.

С. Смоляницкий. Какая на земле погода... Роман. «Московский рабочий». 335 стр. Цена 1 р. 50 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 25.04.83 г. Подписано к печати 23.06.83 г. А 11523
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27,05 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз. (1-й завод 1—183.000 экз.). Зак. 1467.

Издательство Советов народных депутатов СССР
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 7, 1—272.